ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

ХРЕСТОМАТИЯ


ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова
www.ruslang.ru

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

ХРЕСТОМАТИЯ

Составитель Л. И. Скворцов

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов филологических специальностей вузов



МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1984

ББК 81.2Р—7
С42

4
С-42

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

78248

Рецензенты:

кафедра русского языка и стилистики Пермского государственного университета им. А. М. Горького (зав. кафедрой д-р филол. наук, проф. М. Н. Кожина);
д-р филол. наук В. Д. Бондалетов (Пензенский государственный педагогический институт)

Скворцов Л. И.

С42 Основы культуры речи: Хрестоматия: Учеб. пособие для филол. спец. вузов/Сост. Л. И. Скворцов.—М.: Высш. шк., 1984.—312 с.:

В пер.: 1 р. 10 к.

Хрестоматия по теоретическим вопросам культуры речи издается впервые. В нее включены работы выдающихся лингвистов: академиков С. П. Обнорского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина, проф. С. И. Ожегова и др. В пособии дается представление о лексико-грамматических и стилистических нормах русского языка начала XX в. и трансформации их в послереволюционный период, в работе соблюден исторический принцип подачи материала. Тексты свидетельствуют о больших успехах советских ученых в разработке проблем культуры речи.

О $\frac{4602000000-078}{001(01)-84}$ 185—84

ББК 81.2Р—7
4Р

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. ХРЕСТОМАТИЯ

Составитель
Лев Иванович Скворцов

Заведующий редакцией Л. П. Чебаевская. Редактор Н. А. Захарова. Младший редактор И. И. Лобановская. Художник Э. А. Марков. Художественный редактор Н. Е. Ильенко. Технический редактор Р. С. Родичева. Корректор Е. К. Штурм

ИБ № 4287

Изд. № РЛ-265. Сдано в набор 16.08.83. Подп. в печать 14.12.83. Формат 60×90 1/16. Бум. офс. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем 19,5 усл. печ. л. 19,5 усл. кр.-отт. 23,28 уч.-изд. л. Тираж 50000 экз. Зак. № 513. Цена 1 р. 10 к.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

© Издательство «Высшая школа», 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учение о культуре речи — наука сравнительно молодая и вместе с тем интенсивно развивающаяся как в нашей стране, так и за рубежом. Ее предмет и объект исследования, совокупность методических приемов описания материала определились окончательно лишь в последние десятилетия. При этом особенно весомым был вклад советских языковедов, продолживших и развивших традиции отечественного языкознания, восходящие к трудам М. В. Ломоносова. Весьма плодотворным оказалось и обращение к опыту зарубежных лингвистов (особенно это касается деятельности Пражской лингвистической школы).

Предлагаемое учебное пособие — первая хрестоматия по культуре русской речи. Книга строится с учетом действующей программы университетского курса «Основы культуры речи», а также учебного пособия по этому курсу Б. Н. Головина «Основы культуры речи» (М., 1980). Дополняя пособие Б. Н. Головина, настоящая книга включает развернутое описание литературной нормы и всего круга связанных с нею теоретических и практических вопросов.

Во введении рассматриваются предмет и объект культуры речи, анализируется само понятие языковой нормы, дается обобщенная характеристика основных этапов становления культуры русской речи как самостоятельной научной дисциплины, оценивается вклад русских ученых-языковедов, а также писателей, педагогов, общественных деятелей в разработку теории и практики языковой культуры. Особое внимание уделяется работам советского периода, вопросам нормализации и кодификации на разных языковых уровнях, проблемам нормативной лексикографии, итогам общественных дискуссий о русском языке и путях его развития в современную эпоху.

Основной материал хрестоматии расположен по трем разделам. В первый раздел вошли обширные выдержки из книги В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики». Они дают наглядный образец истории нормализации русского языка в предреволюционный период, определяют структуру литературных норм того времени в их объективной динамике и складывающихся тенденциях развития. Обращение к этим материалам с позиций современности дает преподавателям и студентам-филологам любопытнейшие факты сопоставительного лингвостилистического характера, показывает на конкретных примерах само направление изменений литературных норм в советскую эпоху.

Во втором разделе приводятся выдержки из статей и книг известных советских языковедов (Г. О. Винокура, Л. В. Щербы, С. П. Обнорского, С. И. Ожегова, Ф. П. Филина), в которых рассматриваются общие проблемы языковых норм и нормализации в связи с развитием литературного языка, его функционально-стилистическими преобразованиями, словарным и семантическим обогащением и т. п.

В третий раздел книги включены работы отечественных языковедов (А. М. Пешковского, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, С. И. Ожегова, Ф. П. Филина, Р. А. Будагова), в которых рассмотрены методические, лексикографические и другие специальные научные вопросы теории культуры речи, а также проблемы становления русского литературного языка как средства межнационального общения народов СССР, превращения его в один из ведущих мировых языков современности.

В хрестоматии даны именной и предметный указатели.

Во всех случаях указаны источники публикуемых материалов. Сокращения (пропуски) в текстах обозначаются знаком <...>.

В книге приводятся тексты выдающихся русских советских языковедов — блестящих стилистов и публицистов, прекрасно владеющих формой языкового выражения. Эти тексты — яркий образец воплощения высокой речевой культуры в жанрах современной научной прозы и публицистики.

Материал хрестоматии дает возможность проследить развитие лингвистической теории, расширение проблематики культуры речи, уточнение предмета исследования, категорий и терминов культуры речи. В кратких введениях к каждому из разделов содержится характеристика научной проблематики и даны необходимые комментарии к публикуемым работам.

Составитель выражает глубокую признательность рецензентам — коллективу кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного университета имени А. М. Горького (зав. кафедрой профессор М. Н. Кожина) и доктору филологических наук профессору В. Д. Бондалетову за ценные замечания и уточнения, которые были учтены в процессе подготовки рукописи к печати.

Совершенно очевидно, что первый опыт создания хрестоматии по культуре русской речи не лишен известных недочетов как в выборе материалов, так и в характере их подачи. Составитель и редакция с благодарностью примут все критические замечания и пожелания, направленные на улучшение и совершенствование книги.

Составитель

Введение
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

I

Практическая нормализация русского языка началась, в сущности, с возникновением письменности. Иное дело — теоретическая нормализация, теория и практика культуры русской речи в собственном смысле слова. Начало такой работы связано с составлением первых грамматик, риторик и словарей, с описанием в учебных целях систем литературного, образцового языка, его норм и функциональных стилей.

В истории культуры русской речи и национальной русской культуры вообще особое место принадлежит М. В. Ломоносову, убежденному сторонника нормализации русского языка. Широко известна многогранная и глубокая научная деятельность М. В. Ломоносова, которого А. С. Пушкин справедливо называл «первым русским университетом». В области русской филологии М. В. Ломоносов — создатель научной грамматики русского языка, основоположник работ по стилистике и поэтике, ораторскому искусству, теории прозы и стихосложения. Труды М. В. Ломоносова, и в первую очередь «Российская грамматика» и «Риторика», заложили основы нормативной грамматики и стилистики русского языка. Работа эта была продолжена рядом замечательных русских языковедов — А. Х. Востоковым, Ф. И. Буслаевым, К. С. Аксаковым, Я. К. Гротом, А. А. Потебней и др.

По мнению С. П. Обнорского, «основной костяк выдвинутых Ломоносовым норм языка определил дальнейшие судьбы его развития, пережил эпоху творческой деятельности Пушкина и служит живой основой современного нашего языка»[1].

XIX век, принесший расцвет сравнительно-историческому методу в лингвистической науке, во многом отошел от теоретических проблем стилистики и культуры русской речи, широко очерченных еще Ломоносовым. Появляющиеся тогда пособия и грамматики нередко носили в основном запретительно-пуристический характер, противоречили в своих практических рекомендациях духу народного словоупотребления, живому чутью образованных и демократически настроенных русских людей. Таким образом, они подрывали саму идею законодательной деятельности языковедов-нормализаторов. Возражая мелочным нападкам грамматистов, В. Г. Белинский говорил, что «Карамзин сам был — грамматика», что «Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик», полагая при этом, что не Академия и не лингвисты содержат в чистоте язык, а дух народа, произведения великих писателей (статья «Русская литература в 1842 году»).

В среде русских языковедов конца XIX — начала XX в. довольно

---

[1] *Обнорский С. П.* Ломоносов и русский литературный язык. — В кн.: *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960, с. 176.

популярной была точка зрения А. А. Шахматова, считавшего (с сугубо исторических и историко-лексикографических позиций), что борьба с узаконенной употреблением неправильностью бесплодна и что само дело нормализации совершенно чуждо академической науке. «Странно было бы вообще, — писал А. А. Шахматов, — если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показывать *как* говорят, решалось указывать, как *надо* говорить...»[2] Здесь, конечно, ярко сказались вкусы, наклонности и научные принципы А. А. Шахматова — историка языка, диалектолога и лексикографа.

В дореволюционный период отдельными и жалкими островками выглядели миниатюрные «словарики неправильностей» (В. Долопчева, К. Зеленецкого, И. Огиенко и др.), преследовавшие практические цели. Счастливое исключение составила книга В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» (1-е изд. — 1909 г., 2-е и 3-е — 1913—1915 гг.). Труд этот оказал заметное влияние на развитие теории и практики культуры русской речи. Основанная на большом фактическом материале, извлеченном из произведений русских писателей и публицистов XIX — начала XX в., книга В. И. Чернышева не имеет себе равных, а в важнейших своих рекомендациях сохраняет актуальность и в наше время.

После Великой Октябрьской социалистической революции проблемы нормализации русского языка были выдвинуты потребностями общества на передний край лингвистической науки. Они были прямо связаны с повышением речевой культуры широчайших революционных масс, с задачами приобщения трудового народа к достижениям русской и мировой культуры, с совершенствованием политической пропаганды. Об этом писал на заре Советской власти В. И. Ленин. В первые послереволюционные годы В. И. Ленин настоятельно добивался создания словаря образцового русского языка «для пользования (и учения) всех»[3], выступал против порчи русского языка ненужными иноязычными заимствованиями. Ленинский завет был выполнен изданием четырехтомного «Толкового словаря русского языка» (под редакцией проф. Д. Н. Ушакова) — первенца советской лексикографии.

Интенсивные изменения в русском языке советской эпохи, их связь с изменениями в обществе, актуальные потребности языкового строительства — все это способствовало пробуждению интереса лингвистов к проблемам культуры речи, нормализации русского литературного языка нового времени. В 20-е годы прошли острые дискуссии о языке под общим названием «Язык революции или революция языка?». Социалистическое строительство первых двух десятилетий в нашей стране наглядно показало, что без нормированного языка не может быть образованной передовой нации, успешного воспитания нового человека, быстрой технической и культурной революции. В это время появились работы А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, С. П. Обнорско-

---

[2] *Шахматов А. А.* Несколько замечаний по поводу записки И. Х. Пахмана. — Сб. ОРЯС, 1899, т. 17, № 1, с. 33.

[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 51, с. 192.

го, Г. О. Винокура и др. В 30-е годы прошла дискуссия о диалектизмах в языке литературы, в которой принял участие А. М. Горький.

В 50—60-е годы к вопросам культуры речи проявляется все более возрастающий общественный и научный интерес. Это и понятно. Многие языковые тенденции и процессы определились к этому времени достаточно четко, а другие дали заметный результат (это относится в первую очередь к расширению нормативной базы, к заимствованиям в литературном языке из территориальных и социальных диалектов, а также из просторечия и из других языков, к росту профессионального слоя лексики в системе литературного языка и др.). В связи с этим уточнялись научные принципы культуры речи: объективная и нормативная точки зрения на язык, строгое разграничение в теории и практике кодификации (как нормализаторской деятельности) и нормы (объективно-исторического явления) и мн. др. В эти же годы появились работы Р. И. Аванесова, В. В. Виноградова, Е. С. Истриной, С. И. Ожегова и других советских языковедов, имевшие важное теоретическое и практическое значение. Была издана «Грамматика русского языка» АН СССР (т. 1—2. М., 1952—1954); вышел в свет «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти т. (М.—Л., 1950—1965). Большое значение для теории и практики культуры речи имела непериодическая серия сборников «Вопросы культуры речи» под ред. С. И. Ожегова (вып. 1—8. М., 1955—1967)[4].

В последние десятилетия культура русской речи переживает становление как самостоятельная научная дисциплина со своим предметом и объектом исследования, целями и задачами, методикой и приемами научного исследования и описания материала[5]. Она становится предметом вузовского преподавания[6].

В области культуры русской речи в последние годы наиболее успешно развивались следующие теоретические направления: 1) вариативность норм; 2) функциональность в оценках нормативного характера; 3) соотношение внеязыковых и внутрилингвистических факторов в становлении, развитии и функционировании литературных норм; 4) место и роль литературно-нормированных элементов в структуре национального языка; 5) культура речи в условиях двуязычия и многоязычия и некоторые другие.

В центре внимания исследователей становится функциональный подход к проблемам правильности и нормативности. Именно этот подход позволяет превратить культурно-речевую деятельность из простого (и неминуемо субъективного и ограниченного) «запретительства» в позитивную программу лингвистического воспитания, выра-

---

[4] См. обзор: *Борковский В. И.* Вопросы культуры речи. — Русская речь, 1967, № 1, с. 47 и след.

См. сб.: Актуальные проблемы культуры речи (М., 1970) и ряд монографических исследований: *Горбачевич К. С.* Вариантность слова и языковая норма (Л., 1978); *Скворцов Л. И.* Теоретические основы культуры речи (М., 1980); *Граудина Л. К.* Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты (М., 1980); *Ицкович В. А.* Очерки синтаксической нормы (М., 1982).

[5] См. составленную Головиным Б. Н. программу курса «Основы культуры речи» для филологических факультетов государственных университетов (М., 1976), а также учебное пособие: *Головин Б. Н.* Основы культуры речи (М., 1980).

ботки у говорящих и пишущих языкового чутья, вкуса, умения наилучшим образом пользоваться языком. Теоретической и фактической базой такой деятельности являются исследования в области функциональной грамматики и функциональной стилистики, работы, посвященные структуре современных норм, описанию их изменения и варьирования.

Активно разрабатывались в последние годы вопросы структуры национального русского языка в связи с эволюцией литературных норм; вопросы диалектного «двуязычия» и проблема «полудиалекта» — в общем плане возможностей и условий регионального варьирования современного литературного языка. Следует сказать, что строго нормативная точка зрения отвергает «региональные варианты» литературного языка, когда неправомерно ставятся в один ряд нормы литературной речи и отклонения от них (в виде диалектно окрашенной речи носителей литературного языка). Вместе с тем русский литературный язык, будучи неоднородным в своем составе, теснейшим образом связан с разновидностями русского национального языка, воздействует на них и сам испытывает их влияние. В результате этого взаимодействия он пополняется новыми средствами и обогащается стилистически, повышает вариативность своих элементов, получая возможность обозначать одно и то же явление разными словами и формами.

Для современного русского литературного языка в целом характерна строгая нормативность, регламентирующая употребление разного рода вариантов: равноправных (взаимозаменяемых) или стилистически ограниченных. Проблема вариантности разрабатывается исследователями на разном материале (лексическом, грамматическом, орфоэпическом; в историческом и синхронном планах). Особенное внимание при этом уделяется грамматическому и лексическому аспектам. Не случайно поэтому наиболее полный из существующих у нас теперь словарей «правильностей» носит название «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка», ред. К. С. Горбачевич (Л., 1973).

Актуальными теоретическими проблемами русского языкознания в области речевой культуры являются следующие: историческая изменчивость литературных норм, их устойчивость по отношению к различным сторонам языка, вариативность норм и их колебания, соотношение структуры языка и нормы в процессе речевой деятельности, терминология и терминотворчество, теоретические основы нормализации и языковой политики.

Внимание языковедов в наше время привлекает теоретическое осмысление и исследование самого понятия литературной нормы как совокупности диалектических свойств: устойчивости и подвижности, исторической обусловленности и изменчивости, строгой однозначности и функционально-стилистической обусловленности и т. п. При изучении литературной нормы и ее структуры выдвигается динамический аспект ее понимания и объективной оценки. С позиций динамического подхода, норма — это не только результат речевой деятельности, закрепленной в памятниках письменности, культуры, но и создание инноваций в

условиях их связи с потенциальными возможностями системы языка, с одной стороны, и с реализованными, устоявшимися образцами — с другой. Интерес языковедов к природе литературной нормы вполне закономерен. Языковые нормы в их общественном, культурном бытии — это маяк, по которому языковой коллектив ориентируется в безбрежном океане речевой деятельности. Их изучение, точное описание и закрепление — важная общекультурная задача.

Советская эпоха для русского языка в отношении темпов его развития, эволюции его норм имеет исключительно важное значение. При этом ускоренное развитие по-разному проявляется на разных уровнях языка. В области произношения и ударения, например, это особенно заметно даже в пределах нескольких поколений. Достаточно, например, сравнить орфоэпические рекомендации 1-го и 5-го изданий книги Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение» (разделенные двумя десятилетиями), чтобы убедиться в этом.

В эпоху научно-технической революции, технического и культурного прогресса особенно остро встают вопросы иноязычных заимствований, а также проблемы терминологии и терминотворчества. Культура речи в терминологии и в терминотворчестве предполагает естественное развитие этого слоя лексики на национальной или интернациональной основе (или с использованием интернациональных морфем). При этом решительно отвергается простое занятие — перенимание чужого и чуждого, не привносящего в язык ничего нового, не пробуждающего его внутренних сил и возможностей. Именно поэтому пафос отрицания заимствований может быть понят и сочувственно принят всеми, кому не безразличны судьбы родного языка[7].

Заимствования из одного языка в другой — явление в целом нормальное и неизбежное в истории любого развитого общества. Многообразные связи между народами приводят к обмену материальными и культурными ценностями и, следовательно, к обмену понятиями и их обозначениями. Русский литературный язык всегда справлялся с чужеродными влияниями. Однако было бы неверным полагаться целиком на его здоровую основу. Необходимо постоянное и активное вмешательство в языковую практику, нужна разработка теории языкового заимствования.

Развитие русского языка в условиях научно-технической революции специалисты-нелингвисты склонны иногда связывать с потребностями упрощения языка — технизацией, логизацией, рационализацией самой его структуры. К сожалению, такого рода заблуждения так же наивны, как и устойчивы. Сфера рационализации и упрощения касается узких областей речевой деятельности, связана со специальными технико-практическими нуждами и не применима к языку в целом.

Возрастающая терминологичность общелитературного языка не ведет к его терминологизации, так же как простое накопление техницизмов в речи не приводит к ее технизации. Следует сказать также, что у языка, его структуры и законов функционирования есть своя

---

[7] См.: *Филин Ф. П. Сок* или *джус, обслуживание* или *сервис*? – В сб.: Теория языка. Англистика. Кельтология. М., 1976, с. 151 и след.

логика, во многом отличная от формальной логики. В языке очень много внешне нелогичного и избыточного, но это необходимая избыточность, позволяющая языку быть важнейшим средством человеческого общения, могучим орудием мышления и познания.

Изучение литературной нормы в ее современном состоянии проводится на разных языковых уровнях — орфоэпическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом и др. Очень важным фактором повышения культуры речи является издание словарей — толковых, синонимических, фразеологических, собственно нормативных (разных типов). Помимо словаря «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973), необходимо назвать следующие: Словарь синонимов русского языка. В 2-х т./ Под ред. А. П. Евгеньевой (Л., 1970—1971); Словарь синонимов: Справочное пособие/Ред. А. П. Евгеньева (Л., 1975); однотомный толковый «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, преследующий строго нормативные цели (9-е изд., испр. и доп. М., 1972; 13-е изд., испр. М., 1981); *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь трудностей русского языка (М., 1976); *Скворцов Л. И.* Правильно ли мы говорим по-русски? (М., 1980); *Розенталь Д. Э.* Управление в русском языке (М., 1981) и др.

Новая теоретическая и методическая проблема, выдвинутая в последние годы, — это изучение возможностей статистического метода и его практическое применение в качестве инструмента исследования и вспомогательного принципа нормативной оценки языкового материала (особенно в области грамматических вариантов). В Институте русского языка АН СССР издан частотно-стилистический словарь грамматических вариантов — «Грамматическая правильность русской речи» (авторы Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская; под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова. М., 1976).

В области культуры речи статистика выступает как дополнительный метод описания и оценки в тех многочисленных случаях, когда о вариантах ничего (или почти ничего) нельзя сказать в плане их смысловой или стилистической дифференциации (например, *с помощью — при помощи, в адрес — по адресу* и т. п.). Статистический метод полагает сделать более убедительными выводы и рекомендации нормативного и прогнозирующего характера.

Языковеды-русисты приняли активное участие в общественных дискуссиях о русском языке, в частности в ряде дискуссий, проведенных «Литературной газетой». Сами по себе такие споры и обсуждения — явление вполне нормальное и закономерное в жизни любого языка. В современных спорах речь идет о судьбе иноязычных заимствований, о чистоте и ясности научного стиля, о диалектных, профессиональных и просторечных элементах в канве литературных художественных произведений, о штампованности письменной речи и др. Изучить и понять причины возникновения всех этих явлений, тенденции их развития, указать их место в системе современного языка, дать им объективную оценку — задача науки о культуре речи, имеющей дело с исторически изменчивой нормой. В общественных дискуссиях и спорах о языке еще раз подтверждается положение о том, что литературная норма является одновременно и собственно языковой и вместе с

тем ярко выраженной социально-исторической категорией, что любое общество, а социалистическое общество в особенности, далеко не безразлично к тому языку, на котором оно говорит.

Таким образом, новейший этап исследований по культуре русской речи связан с развитием новых тем и новых подходов к теории культуры языка, а также с рядом практически выраженных организационных мероприятий. В советскую эпоху все более укрепляются функции русского языка как средства межнационального общения народов СССР — в условиях равноправия и развития всех национальных литературных языков и культур.

Современный русский литературный язык неотделим от социалистической культуры, от процесса дальнейшей консолидации советского народа — новой исторической общности людей[8]. Вместе с тем русский язык в современном мире по праву стал одним из самых перспективных мировых языков. Это еще одна его новая важная функция. В книге «Русский язык в современном мире» (М., 1974), подготовленной Институтом русского языка АН СССР совместно с Институтом русского языка им. А. С. Пушкина, рассмотрены вопросы, посвященные историческим связям русского языка, его современному распространению и функционированию, его преподаванию иностранным учащимся (особенно в аспекте лингвострановедения — приобщения обучающихся к социалистической культуре и идеологии).

В целом можно сказать, что современный подход к проблемам культуры речи учитывает широкий круг вопросов, связанных с функционированием и эволюцией русского литературного языка и его норм в структуре языка нации. Он устанавливает глубинные, внутренние связи повышения культуры языка народа с вопросами развития национальной культуры (в историческом и современном аспектах), научно анализирует процессы совершенствования современного русского литературного языка, расширения его функции как средства межнационального общения народов СССР, возрастания его идейно-политической и художественно-эстетической роли в современном мире.

В исследовании актуальных проблем культуры русской речи целесообразно исходить из следующих общих положений:

— Нормы литературного языка — категория объективно-историческая; однако функционирование литературных норм в обществе происходит при постоянной их социальной оценке (и переоценке), в широком смысле слова; в сложном и неоднозначном взаимодействии внеязыковых и внутриязыковых факторов, стихийного и сознательного, общего и индивидуального и т. п.

— Нормативность литературного общения по самой своей природе явление внутриязыковое; постижение этой природы, объективное ее описание — задача и цель культуры речи как специальной лингвистической дисциплины, составляющей основу практических нормативных

---

[8] См.: Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977; Русский язык в национальных республиках Советского Союза. М., 1980; Русский язык как средство межнационального общения народов СССР. Основные направления в разработке проблемы. М., 1982 и др.

рекомендаций и научную базу языковой политики и языкового воспитания.

— Развитие литературного языка есть становление и смена его норм, совершенствование всех его выразительных средств с целью лучшего удовлетворения возрастающих общественных потребностей.

2

Норма языка — центральное понятие теории культуры речи. Вместе с тем это одна из сложнейших проблем, многомерность и разноплановость которой определяются факторами объективно-историческими, культурно-социологическими и собственно лингвистическими, т. е. внутриязыковыми.

Нигилистическое отношение А. А. Шахматова к проблеме нормализации во многом объясняется именно его внутренним протестом против оценочности объективных языковых факторов. Наиболее отчетливо противопоставление объективности и оценочности в подходе к норме проявилось в теоретико-методологических работах А. М. Пешковского, сформулировавшего объективную (т. е. научную) и нормативную (т. е. оценочную) точку зрения на язык.

В современных работах по общему языкознанию выдвигается настоятельное требование разграничивать в теории и на практике два принципиально различных аспекта понятия языковой нормы. «Языковая норма, понятие нормативности, — пишет Г. В. Степанов, — есть социально-историческая категория в том смысле, что самое ее возникновение, формирование и признание за таковую есть история превращения потенциальных возможностей языка как системы выразительных средств в факт осознанных образцов речевого общения в определенной языковой общности в тот или иной период времени»[9]. Разграничивая две стороны вопроса, автор определяет первую из них как формирование возможностей различной реализации языковых средств (это объективный аспект понятия нормы, или объективная норма), а вторую — как принятие этих средств в качестве правильных, образцовых (это оценочный аспект нормы, или аксиологическая норма). Важное и принципиальное в теории, такое разграничение на практике не всегда оказывается столь же категоричным хотя бы потому, что само выделение характерных параметров, критериев нормы так или иначе связано с их оценкой и выбором — как в историческом, так и в синхронном аспектах. Сама природа нормативности как бы предполагает предварительную оценку и выбор (на тех или иных основаниях) фактов, признаваемых в качестве нормативных. Показать это можно, например, на принципах выделения критериев нормы в современном советском языкознании. «С тех пор, как вопросы культуры речи стали обсуждаться в обществе, — писал Ф. П. Филин, — при выборе образца всегда так или иначе выдвигались два основания: «так говорили (писали) раньше, так было принято теми, наследниками которых мы

---

[9] *Степанов Г. В.* О двух аспектах понятия языковой нормы (на испанском материале). — В кн.: Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков / Под ред. М. А. Бородиной, М. С. Гурычевой. М., 1966, с. 226.

являемся в области культуры» (языковая традиция) и «так говорит (пишет) сейчас большинство» (языковое употребление). Эти основания являются решающими и в наше время и останутся таковыми неопределенно длительное время, как бы ни изменялись методы лингвистического исследования»[10]. В этом справедливом утверждении речь идет, таким образом, о сложном диалектическом взаимодействии объективного (в исторической традиции и в современном употреблении) и оценочного (меньше в определении исторически сложившегося, больше — в выборе образца для современного, подвижного). И не случайно автор делает следующую оговорку: «Разумеется, языковая традиция и языковое употребление часто находятся в противоречии друг с другом, в чем и кроется главная трудность определения современных языковых образцов, эталонов»[11]. И в том и в другом случае присутствует известный выбор, при котором оценка языковых фактов (в их соположении) неизбежна; другое дело, что оценка эта может быть выражена в неявной форме.

Заслугой представителей Пражского лингвистического кружка (ПЛК) явилось пристальное изучение языковой нормы как понятия функционального, лингвосоциологического и конкретно-исторического. Норма определялась ими как совокупность структурных средств, регулярно употребляемых определенным языковым коллективом. Наблюдения над изменчивостью нормы во времени и над ее функциональной вариативностью позволили в целом правильно осмыслить ее диалектическую сущность и собственно языковую природу. Б. Гавранек предложил рассматривать норму как обязательность в сфере деятельности, направленную на то, чтобы достигнуть наилучших результатов в сфере реальности[12]. В этом определении обращают на себя внимание такие его составляющие, как обязательность, социальная обусловленность (сфера деятельности), достижение цели (или наилучших результатов), объективность (сфера реальности). Дальнейшие уточнения понятия нормы чешскими лингвистами проходили в плане четкого разграничения понятий «узус» (сложившийся речевой обычай) и «литературный язык» и в условиях строгого и последовательного разграничения понятий «норма» (объективные правила, осуществляемые, реализующиеся в речевой деятельности) и «кодификация» (т. е. установление и описание этих правил, закрепление их в языковедческих пособиях и справочниках[13]).

Структурная лингвистика (восходящая в своих идеях и положениях к учению Ф. де Соссюра) выдвинула на первый план соотношение нормы и системы (или структуры) языка. Наиболее последовательно это проявилось в теоретических построениях Л. Ельмслева и Э. Косериу. В работе «Язык и речь» (1942) Л. Ельмслев предложил три подхода к

---

[10] *Филин Ф. П.* Несколько слов о языковой норме и культуре речи. — В кн.: Вопросы культуры речи. М., 1966, вып. 7, с. 18—19.

[11] Вопросы культуры речи, с. 19.

[12] См.: *Havránek B.* Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur. — Actes du Quatrième Congres international de linguistes. Copenhague, 1938.

[13] См.: Пражский лингвистический кружок: Сб. статей. Сост., ред. и предисл. Н. А. Кондрашова. М., 1967, с. 400 и след.; *Jedlička A.* Spisovný jazyk V současné komunikaci. Praha, 1974 (библиография: с. 205—221).

языку (langue по Соссюру): а) на уровне с х е м ы, когда язык рассматривается как чистая форма; б) на уровне н о р м ы, где язык предстает как материальная форма; в) на уровне у з у с а, где язык выступает как совокупность навыков, принятых в данном обществе[14]. Эти три подхода Л. Ельмслев демонстрирует на конкретном примере французского звука *r*: на уровне схемы (а) *r* рассматривается в сетке синтагматических и парадигматических отношений, характеризуясь чисто негативно и независимо от реального воплощения; на уровне нормы (б) *r* манифестируется в речи, это — звук, отличный от других звуков, но вместе с тем характеризующийся и некоторыми позитивными свойствами (минимум дифференциации); наконец, на уровне узуса (в) *r* характеризуется чисто позитивно через детальное описание артикуляционной базы.

Согласно построению Л. Ельмслева, норма рождается из узуса и акта речи; норма предполагает (детерминирует, по терминологии автора) существование взаимосвязанных явлений узуса и акта речи, но не наоборот. В свою очередь, на другой ступени абстракции норма и узус в совокупности предполагают (детерминируют) существование схемы. Схема в этом построении является постоянным, т. е. детерминируемым, членом; по отношению к ней норма, узус и акт речи — переменные, т. е. детерминирующие, члены.

Уточняя (и в известной степени преодолевая) дихотомию Ф. де Соссюра «язык — речь», Л. Ельмслев предлагает считать основным семиологическим подразделением различие между схемой и узусом. В связи с этим норма в построении Ельмслева оказывается фикцией: «Узус вместе с актом речи и схема отражают реальности. Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса. Строго говоря, она приводит к ненужным усложнениям и без нее можно обойтись»[15]. Отрицание Ельмслевом объективного характера нормы связано, на наш взгляд, с ограничением ее лишь аксиологическим аспектом и прямо вытекает из лежащего в основе теоретических построений автора дихотомического противоположения (соссюровское «язык — речь»).

Стремлением преодолеть соссюровскую дихотомию проникнута и схема, предложенная Э. Косериу, в которой заключаются также три уровня: с и с т е м а — как возможность, как техника и эталоны; н о р м а — как реализация возможностей, заложенных в системе как модели, исторически уже реализованные; р е ч ь — свободная коммуникативная деятельность, имеющая двустороннюю направленность: подравнивание к традиции, во-первых, и подравнивание к собеседнику, во-вторых[16]. Система уровней, разработанная Э. Косериу, генетически

---

[14] *Hjelmslev L.* Langue et parole. – Cahiers F. de Saussure, v. 2, 1942; русский перевод в кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960, ч. 2, с. 56 и след.

[15] Цит. по кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, с. 65.

[16] См.: *Coseriu E.* Sistema, norma y habla. Montevideo, 1952; *Его же.* Sincronia, diacronia e historia... Montevideo, 1958 (русский перев.: *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история. – В кн.: Новое в лингвистике. М., 1963, вып. 3, с. 143 и след.)

связана с представленной выше системой Л. Ельмслева. По мнению автора, в структурах, составляющих язык, важно различать то, что является нормальным или всеобщим (норма), и то, что является функциональным и дается в противопоставлении (система). Норма определяется Косериу как система обязательных реализаций, принятых в данном коллективе и данной культурой. В этом определении обращают на себя внимание следующие параметры: а) системность, б) связь с языком — структурой, в) социальность и г) историчность. Можно полагать, что здесь, в сущности, перечислены все необходимые и достаточные признаки нормы — явления, связанного как с собственно лингвистическими, так и с внелингвистическими, социальными факторами. Норма по этому определению оказывается собственно языковым понятием: она находится в самом языке и выводится из него объективно, а не предписывается ему извне, не переносится из установлений словарей и грамматик. Иными словами, в нем утверждается и закрепляется предложенное деятелями Пражского лингвистического кружка принципиальное в теории и на практике разграничение языковой нормы и ее кодификации.

Главное противоречие в теоретической схеме Косериу в том, что уровень нормы включает у него лишь «обязательные реализации», т. е. характеризуется известной статичностью, хотя, по его же словам, «язык создается посредством изменения и "умирает" как таковой, когда он перестает изменяться». Понятие нормы у Косериу исключает возможности, потенции, т. е. реализации нетрадиционные. Норма у него соответствует не тому, что можно сказать, а тому, что уже было сказано и что по традиции говорится в рассматриваемом обществе. Динамичность языка в этом случае выявляется лишь через систему, в которой только и возможен выход за пределы уже реализованного. Перефразируя Ф. де Соссюра, Э. Косериу утверждает мысль о том, что «в системе не появляется ничего такого, что до этого не существовало бы в норме». Вместе с тем любой сдвиг в норме (реализованном языке) происходит лишь как историческая конкретизация определенной возможности, уже существующей в системе. В то же самое время Э. Косериу как будто понимает, что в живой речи вполне возможны реализации, не предусмотренные системой: «...норма зачастую требует избыточных реализаций или же реализаций, оправданных с точки зрения парадигматики и бесполезных в синтагматическом плане. В силу стремления к парадигматическому единообразию норма может даже требовать реализаций, противоречащих системе».

Как видно, Косериу не смог преодолеть противоречий устойчивости и подвижности, объективно заложенных в норме, в угоду схеме распределив эти свойства по разным уровням. Не последнюю роль здесь сыграло и неразрешимое в рамках описанного подхода к норме противоречие между речью индивидуумов (индивидуальная норма) и представлением об общей речевой деятельности (социальная норма). Между тем высказывания по поводу этого (во многом мнимого) противоречия можно найти в работах советских языковедов и философов 20—30-х годов.

Понятие нормативного тождества лежит, например, в основе рассуждений В. Н. Волошинова о соотношении языка и индивидуальной речи говорящего. Каждое высказывание, по Волошинову, индивидуально и неповторимо, но в каждом есть элементы, тождественные с элементами других высказываний данной речевой группы. «Именно эти *тождественные* и потому *нормативные* для всех высказываний моменты — фонетические, грамматические, лексические — и обеспечивают единство данного языка и его понимания всеми членами данного коллектива»[17]. В речевой деятельности языковое сознание говорящих имеет дело «не с абстрактной системой нормативно-тождественных форм языка, а с языком-речью, в смысле совокупности возможных контекстов употребления данной языковой формы ‹...› Поэтому-то член языкового коллектива н о р м а л ь н о н и к о г д а не ч у в с т в у е т г н е т а непререкаемых для него языковых норм (разрядка наша. — *Л. С.*). Свое нормативное значение форма языка осуществляет лишь в редчайшие моменты конфликта, нехарактерные для речевой жизни (для современного человека — почти исключительно в связи с письменной речью)»[18].

О творческом характере речевой деятельности, о постоянном создании в процессе говорения новых слов и форм (наряду с использованием готовых) писал Л. В. Щерба: «Совершенно очевидно, что хотя в процессах говорения мы часто просто повторяем нами раньше говорившееся (или слышанное) в аналогичных условиях, однако нельзя этого утверждать про все нами говоримое. Несомненно, что при говорении мы часто употребляем формы, которых никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями ‹... ›, не только употребляем слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые»[19].

В современном отечественном языкознании делаются успешные попытки конкретизировать схему Э. Косериу применительно к разным уровням — фонетическому, словообразовательному и др. Вместе с тем предпринимались и предпринимаются попытки к преодолению противоречий этой схемы. Исследователи предлагают ввести широкое и узкое понимание нормы, узаконить понятие вариантности в пределах нормы, осмыслить диалектическое единство нормы. Крайние мнения приводят к отказу от нормативного подхода к норме (абсолютизация «амплитуды колебания», выдвижение функционального по своей природе «принципа коммуникативной целесообразности», определение нормы через «систему норм, варьирующихся от случая к случаю» и т. п.). Сущность всех этих уточнений сводится к тому, чтобы в общей схеме уровней дать более адекватное описание явления, выделяемого в качестве нормы. Простая заданность нормы, реализация уже установленного, статичность и неизменяемость ее удовлетворять уже никого не могут. Известно, во-первых, что устойчивость нормы различна на

---

[17] *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929, с. 64.

[18] Там же, с. 83–84.

[19] *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. — В кн.: *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 24.

разных языковых уровнях и что, во-вторых, независимо от уровней языка нормы характеризуются разной степенью обязательности.

Большинство прежних теоретических описаний нормы в основе своей оказываются таксономическими, т. е. классификационными, описательными. Свойства нормы, объективно распределенные в разных (хотя и связанных диалектически) аспектах, нередко на практике задаются конечным набором фактов или расширенным их списком (ср. многочисленные пособия по культуре речи, словари правильностей и т. п.). Оговорки по поводу исторической изменчивости норм положения не спасают, поскольку эволюция нормы механически выводится из эволюции языка и никак далее не конкретизируется.

Мнимый конфликт статики и динамики в норме, на наш взгляд, во многом порожден традиционно сложившимся распределением этих свойств в синхронии и диахронии языка (в соответствии с требованиями и взглядами Ф. де Соссюра). Преодолеть этот конфликт возможно, если включить в синхронию и статику (т. е. сеть таксономических отношений), и динамику (т. е. порождение высказываний, функционирование единиц языка)[20]. Известно, что Бодуэн де Куртенэ считал статику (т. е. законы равновесия языка) всего лишь частным случаем динамики (т. е. законов исторического движения языка).

В «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929) делается специальная оговорка о том, что «нельзя воздвигать непреодолимые преграды между методом синхроническим и диахроническим, как это делала Женевская школа‹ ... › и синхроническое описание не может целиком исключить понятие эволюции, так как даже в синхронически рассматриваемом секторе языка всегда налицо сознание того, что существующая стадия сменяется стадией, находящейся в процессе формирования»[21]. Действительно, из синхронного описания языка не могут быть исключены ни лексические (или стилистические) архаизмы, ни устаревающие варианты орфоэпической или грамматической нормы и т. п.

На уровне речевой деятельности, или на уровне нормы, можно говорить, как нам кажется, о норме воплощенной (реализованной) и норме невоплощенной (потенциальной, реализуемой). Вторая творится с учетом первой, с известной оглядкой на нее и подравниваясь под нее. При этом обе они, находясь на одном уровне, противопоставлены (на иной ступени абстракции) другому уровню — языку-структуре, или языку-схеме. Р е а л и з о в а н н а я н о р м а состоит из двух частей: 1) актуализованная часть (современная, продуктивная, активно действующая, хорошо осознаваемая и практически кодифицированная) и 2) неактуализированная часть (в нее включаются архаизмы, устаревающие варианты нормы, а также редкие в употреблении варианты, дублеты и т. п.). Р е а л и з у е м а я н о р м а, в свою очередь, также

78948

www.ruslang.ru

[20] Ср. главу «Проблема разграничения синхронии и диахронии» в кн.: Общее языкознание. Методы лингвистических исследований / Под ред. Б. А. Серебренникова. М., 1973, с. 107 и след. См. также: Основы теории речевой деятельности. М., 1974, с. 51 и след.

[21] Пражский лингвистический кружок, с. 18.

распадается на две части: 1) становящиеся нормой неологизмы и новообразования на разных уровнях языка и 2) принципиально некодифицируемая область речевой деятельности (индивидуальные, окказиональные, создаваемые к случаю и т. п., но необходимые в процессе общения образования). Каждая из двух частей подтипов или разновидностей нормы противопоставлена по степени актуализованности, осознанности говорящими и пишущими (Л. В. Щерба называл это «светлой точкой языкового сознания»). Актуализованные части реализованной и реализуемой нормы и составляет то, что можно назвать «светлым полем сознания нормы» — ядром динамически понимаемой структуры нормы. Это целевой, функциональный, или телеологический, подход к проблеме нормы и нормативности (в отличие от инвентарно-таксономического, или описательного, подхода). Предложенная схема уточняет (с нормативных позиций) принятое во многих современных работах отношение «система — норма», носящее более общий характер[22]. Из этой схемы можно вывести ряд принципиальных следствий.

1. Понятие нормы не может быть ограничено реализованной частью; оно необходимо включает потенциальную сферу. 2. Реализованная норма является односторонне обусловленной (детерминирующей) сферой: она зависит от структуры, подравнивается под нее. Реализуемая норма — сфера двусторонне обусловленная (детерминирующая): она зависит не только от структуры, но и от реализованной нормы, подравниваясь под ту и другую. 3. Норма не может быть задана конечным набором однородных фактов, а неминуемо выступает в виде двух списков — обязательного и допустимого (дополнительного). Это источник нормативной вариантности, т. е. вариантов в пределах нормы. 4. Независимо от уровней языка нормы обладают разной степенью обязательности, что обусловлено их распределением по разным сферам.

Предложенная схема снимает возможность представить норму в качестве некоего недостижимого образца или идеала. Она справедлива для всех случаев нормы, которая возможна и вне пределов собственно литературной речи (с ее понятиями авторитетности, образцовости, традиционности и т. п.). Норма языка при этом приобретает свойства научного понятия, определяясь не абстрактным образцом, а необходимым набором реальных признаков или симптомов. Она становится в ряд любой другой нормы, например нормы права.

Сопоставление нормы языка и нормы права показательно даже в пределах энциклопедических определений. Если в норме права подчеркивается общеобязательность социального поведения (по установленным государством правилам), то в норме языковой отмечаются

---

[22] «Норма» при этом обычно оказывается шире «системы»; она выступает как регулятор между системой и речью (речевой деятельностью, ситуацией и текстом и т. п.). Из работ последнего времени см., например: *Будагов Р. А.* Что такое развитие и совершенствование языка. М., 1977, с. 232–233; *Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А.* Математическая лингвистика. М., 1977, с. 9; *Каспранский Р. Р.* Норма и стиль. – В сб.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1974, вып. 5.

исторически обусловленная общеупотребительность языковых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период.

Категорическая императивность правовых норм (в отличие от норм языковых) поддерживается и усиливается указанием в их определении на взаимные права и обязанности субъектов регулируемых ими отношений, а также «санкциями» за неисполнение установленных обязанностей. Вместе с тем известный типологический параллелизм в определениях (и самом объекте) норм права и норм языка дает интересный материал для выявления многих конкретных сущностных черт собственно лингвистического феномена.

Подобно тому, как описание или систематизация действующего законодательства подразделяется на инкорпорацию (т. е. объективное описание, простое упорядочение без каких-либо оценок) и кодификацию (имеющую цель систематизировать и регламентировать более или менее строго существующие законодательные акты), можно говорить о научном описании языка и нормативном его описании. Принципиально — это два разных подхода к явлениям языковых отношений и реализаций, и их строго следует различать в теории и на практике[23].

Понятие языковой кодификации (или кодификации нормы) в отличие от объективно-теоретического описания структуры постепенно входит в научный обиход и превращается в лингвистический термин.

Терминология нормы права дает и другое полезное для языкознания разграничение — деление кодифицируемых норм на императивные (обязательные) и диспозитивные (восполнительные, применяемые в тех случаях, когда вопрос не урегулирован соглашением сторон). Императивные нормы в языке — это обязательные реализации, вытекающие из возможностей структуры. Нарушение их в речи выводит говорящего (или пишущего) за пределы родного языка (ср. нарушения норм спряжения, склонения, согласования в грамматическом роде, числе и т. п.). Диспозитивные нормы в языке —это те рекомендации, которые даются с опорой на структуру (структурные отношения) или выступают как следствие тех или иных теоретических или культурно-исторических предпосылок (часто с сознательными допущениями и схематизациями). Императивные нормы меняются вместе с языком, и в плане кодификации можно говорить об их более или менее полном описании. Диспозитивные — уточняются, видоизменяются или отменяются при очередных попытках (или в очередные этапы) кодификации.

Различие этих двух типов норм в современных нормативных словарях отражают два типа помет: предупредительные «не», «неправильно», «недопустимо», с одной стороны, и «допустимо», «устарелое« (или «устаревающее»), «и», «специальное», «в профессиональной речи» и т. д. — с другой (ср. пометы в словаре-справочнике: Русское литературное произношение и ударение/Под редакцией

[23] См.: *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точка зрения на язык. — В сб.: Русский язык в школе. Труды постоянной комиссии... Под ред. Д. Н. Ушакова. М. — Пг., 1923. вып. 1.

Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. М., 1960, а также в словаре-справочнике: Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка/Под ред. К. С. Горбачевича. Л., 1973).

Предложенное понимание динамической нормы позволяет уточнить и дифференцировать нормативные оценки языковых явлений. По отношению к фактам реализованной нормы можно говорить содержательно об отклонении от нее или следовании ей, точно также по отношению к фактам реализуемой нормы — о соответствии или несоответствии нормативным требованиям. К синонимичным элементам реализованной нормы применима оценка по отклонению от традиции, к разного рода неологизмам и новообразованиям применяется оценка по соответствию возможностям структуры. Параллели с терминологией нормы права дают возможность более строго дифференцировать не только виды (или типы) языковых норм, но и самой их оценки и подхода к ним. Подобно тому, как в теории и практике судопроизводства различают официальную кодификацию (проводимую государством) и неофициальную, или научную (проводимую юридическими организациями или отдельными юристами)[24], можно и нужно различать в области языка кодификацию научную и кодификацию официальную. Научная кодификация проводится языковедческими учреждениями или отдельными специалистами; ее результаты закрепляются в словарях, учебниках и учебных пособиях, в разного рода справочниках. К сфере официальной кодификации следует отнести деятельность разного рода специальных терминологических комиссий, а также комитетов по наименованиям и переименованиям (названий учреждений, улиц, географических названий и т. п.).

Ср. *Пе́ру* (правильно *Перу́*) в «Малой советской энциклопедии» (3-е изд. М., 1959, т. 7); *Перу* (Peru) — в БСЭ (3-е изд. М., 1975, т. 19); *Лос-Анжелос* (Los Angeles) в «Малой советской энциклопедии» (3-е изд. М., 1959, т. 5); *Лос-Анджелес* — в БСЭ (3-е изд. М., 1974, т. 15); *Канн, Канны* (Cannes) — в БСЭ (3-е изд. М., 1973, т. 11), только *Канн* в «Атласе мира. Западная Европа» (М., 1975). Идея динамичности нормы в обобщенном виде присутствует уже в описании Л. В. Щербой структуры восточнолужицкого наречия. Детализируя и уточняя синхронный принцип описания живого языка, Л. В. Щерба отмечал динамичность самого описания: «светлой точке языкового сознания» и «твердым нормам» он противопоставлял все другие речевые факты, выделяя среди них новые явления нормативного плана, уходящие из живого употребления элементы, а также явления каузального характера: «Вообще я старался схватить язык в его движении: выдвинуть на первый план твердые нормы, находящиеся в светлой точке языкового сознания, а затем показать, с одной стороны, умирающие, а с другой стороны — нарождающиеся нормы, находящиеся в бессознательном состоянии и лишь воспроизводимые или творимые в отдельных случаях»[25]. В этом рассуждении Л. В. Щербы в неявном виде присутствует понятие о системном и нормативном уровнях языка; в нем содержится важное в лингвистическом (и лингвопсихологическом)

[24] См.: БСЭ. 3-е изд., т. 12, с. 375.

[25] *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915, т. 1, с. 8–9.

отношении положение о светлом поле (или «точке») языкового сознания — то, что мы сейчас могли бы назвать ядерной частью нормативной системы (в отличие от неядерных, или периферийных, ее частей).

Элементами динамизма характеризуется известное определение нормы, предложенное С. И. Ожеговым в ряде статей и в наиболее полном виде сформулированное в статье «Очередные вопросы культуры речи» (1955). В этом определении особенно важно подчеркнуть исторический (и непрерывный во времени) характер литературных норм, их системную упорядоченность (совокупность) и, наконец, вариативность и динамичность их порождения и функционирования в условиях постоянной социальной корректировки (оценки): «...норма — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» (разрядка наша. — *Л. С.*).

В последующих исследованиях динамическое понимание нормы выступает в более расчлененном и явном виде. Н. Ю. Шведова в качестве нормативной оценки синтаксических новообразований выдвигает, например, два фактора: во-первых, массовую и регулярную воспроизводимость и, во-вторых, активное взаимодействие с другими звеньями системы языка[26]. При этом определяющим фактором справедливо называется второй (системная обусловленность). Это общее положение автор иллюстрирует синтаксическим новообразованием *заявить на кого-н., заявление на кого-н.* (ср. старое *заявить о ком-н., заявление о ком-н.).* Новое глагольное управление возникло по аналогии с *жаловаться на кого-н., жалоба на кого-н.;* оно приобрело массовую употребительность и регулярно воспроизводится в различных жанрах письменной и устной речи. Решающим при этом оказывается развитие новых связей: под влиянием *заявление на кого-н.* (только с одушевленными существительными) появилось *заявление на что: заявление на жилплощадь (на развод, на гараж* и т. п.). Ср. также *наблюдать за чем-н.* (вм. традиционного *наблюдать что-н.,* под влиянием *следить за кем-чем*), *желание к чему-н* (вм. традиционного *желание чего*, по аналогии с *стремление к чему-н.*) и мн. др. Из этого делается обоснованный вывод по поводу существа грамматической нормы. Это—не обязательно лишь старое, закрепленное традицией употребление; «грамматическая норма — это такое образование и употребление форм и категорий, которое, во-первых, последовательно воспроизводится в коллективной языковой практике носителей литературной речи — в определенных условиях ограничения (функционально-стилевых) или вне всяких ограничений — и, во-вторых, обнаруживает

[26] См.: *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966, с. 12.

тенденцию к живому взаимодействию с другими звеньями системы»[27]. Нетрудно заметить, что в этом определении грамматической нормы перечислены основные элементы предложенной нами схемы: фиксированность реализованной нормы, двоякая ориентированность реализуемой, создаваемой вновь нормы (зависимость ее от старой нормы, с одной стороны, построение по системным отношениям — с другой).

Негативная оценка новообразований (с позиции старой, традиционной нормы), согласно нашей схеме, может быть интерпретирована как неправомерное ограничение области нормативности лишь фиксированной ее частью, без учета объективно существующей, т. е. создаваемой в процессе речевой деятельности, нормативной сферы. Кстати, здесь, по-видимому, и находится выход из «порочного круга», устанавливаемого Ю. М. Скребневым при определении границ между ошибкой и новообразованием: «Новообразование есть ошибка, легализованная употребительностью. Чем шире употребительность языкового факта «...» тем меньше оснований для оценочных суждений. Этот порочный круг вполне преодолим в популярных пособиях по культуре речи, однако не в теории»[28].

Конечно, абсолютизация ретроспективного взгляда на природу нормы лишает исследователя возможности достоверно оценивать новые факты с точки зрения их нормативности. Однако это не значит, что «стабильность нормы принципиально несовместима с функционированием языка»[29]. Это противоречие снимается при динамическом подходе к норме, по которому ее стабильность оказывается относительной, сложной по своей структуре, исторически и коммуникативно обусловленной. Из сказанного выше ясно, что ошибки и новообразования могут быть разграничены по чисто лингвистическим основаниям и перспективность новых фактов в системе литературных норм может быть предопределена. Обращаясь к определению нормы, следует особенно выделить и подчеркнуть конкретно-исторический характер самого понятия нормы (и нормативности), чем и объясняется выдвижение на первый план в разных по времени и обстоятельствам формулировках ее исторической обусловленности.

С конкретными условиями развития чешского литературного языка связаны, например, требования ПЛК о функциональном и системном подходе к нормализуемым фактам. Выдвинутые в работах ПЛК принципы вариантности нормы «...», требования разграничивать в теории и на практике объективную норму и ее кодификацию во многом объясняются полемикой чешских языковедов с пуристическими деятелями журнала «Наша речь» («Naše řeč») в начале 30-х годов[30].

---

[27] *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе, с. 12—13.

[28] *Скребнев Ю. М.* К вопросу об «ортологии». — ВЯ, 1961, № 1, с. 140.

[29] *Скребнев Ю. М.* Очерк теории стилистики. Горький, 1975, с. 69; Об относительной ретроспективности литературной нормы см.: *Костомаров В. Г.* О ретроспективности учения о культуре речи. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка, 1966, т. 25, вып. 2, с. 81 и след., а также: *Леонтьев А. А.* Будущее языка как проблема культуры речи. — Вопросы культуры речи. М., 1967, вып. 8, с. 7 и след.

[30] См.: *Гавранек Б.* Задачи литературного языка и его культура. — В сб.: Пражский лингвистический кружок, с. 338 и след.

Польский языковед В. Дорошевский, говоря о языковой правильности, языковых ошибках и критериях оценки этих понятий[31], специально отмечал: «Прилагательное *правильный* как определение слова или формы слова обозначает, собственно, следующее: употребляемый в речи данной эпохи, этапа языкового развития, или соответствующий норме, господствующей в данное время в данном обществе».

В. В. Виноградов в качестве критериев правильности, нормативности новых явлений справедливо выдвигал на первый план соответствие структуре языка, опору на «живые тенденции народного творчества», оправданность «внутренними законами развития языка», активными процессами в области грамматики, семантики, словоупотребления, словообразования и т. п.[32] В цикле своих статей 50—60-х годов он выдвинул задачу изучения норм в речевой жизни общества — на всех уровнях языковой системы, в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях[33].

Определение нормы как общепринятых «в данном языковом коллективе на данном отрезке времени языковых средств» дано Ф. П. Филиным[34], как «социально-историческая категория» языковая норма рассматривается в исследовании Г. В. Степанова, посвященном испанскому языку Америки[35].

Исходя из предложенного выше динамического взгляда на норму, можно дать следующее ее определение: Языковая норма, понимаемая в ее динамическом аспекте, есть обусловленный социально-исторически результат речевой деятельности, закрепляющей традиционные реализации системы или творящей новые языковые факты в условиях их связи как с потенциальными возможностями системы языка, с одной стороны, так и с реализованными образцами — с другой. Иначе говоря, уровень нормы (детерминирующий уровень системы) в аспекте порождения предполагает обязательное включение детерминированной части. В этом, собственно, и состоит существо динамического понимания нормы — не только как воспроизведения реализованных возможностей системы, возведенных общественной практикой в ранг образца, но и как постоянного в процессе живой коммуникации порождения языковых фактов, ориентированных одновременно и на систему, и на реализованный образец. При этом система понимается также динамично: учитываются ее движение во времени, изменения и преобразования в новых общественно-исторических условиях, совершенствование в зависимости от потребностей коммуникации, мышления и т. п. В динамическом плане должен быть осмыслен и реализованный образец — как широкий культурно-исторический фон,

---

[31] См. предисловие к кн.: Słownik poprawnej polszczizny / Под ред. В. Дорошевского и Г. Курковской. Варшава, 1973, с. VII и след.

[32] См.: *Виноградов В. В.* Задачи советского языкознания... — ВЯ, 1952, № 1, с. 26.

[33] См.: *Виноградов В. В.* Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. — ВЯ, 1961, № 4; *Его же.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания. — ВЯ, 1964, № 3.

[34] *Филин Ф. П.* О нормах и стилях литературного языка. — В кн.: Проблема нормы и социальная дифференциация языка: Тезисы докладов. М., 1967.

[35] См. *Степанов Г. В.* Испанский язык Америки в системе единого испанского языка. Л., 1966, с. 9.

постоянно пополняемая сокровищница литературного языка. Культура речи и норма как ее важнейший элемент могут быть осмыслены и осмысливаются с разных точек зрения: социолингвистической[36], психолингвистической[37], учебно-педагогической, художественно-эстетической и т. д., однако в структурно-лингвистическом аспекте, предполагающем динамическое понимание природы нормы.

Динамическое понимание нормы помогает решить вопрос о ее реальном воплощении. Традиционные взгляды на норму как на идеал, недостижимый в речевой индивидуальной практике, в целом отражают противоречие (антимонию) общего и частного (единичного, индивидуального). Действительно, взгляд на норму как на идеал вытекает субъективно (с позиции отправителя и получателя) из следующих причин и предпосылок: 1) затруднения, встречающиеся в своей и в чужой речи; 2) признание коллективного опыта (традиции) как недосягаемого по объему; 3) признание авторитета словарей и пособий как отражения (и закрепления) этого опыта, научной его интерпретации; 4) признание художественного опыта (совокупность литературного творчества прошлого и настоящего) как безграничного по своим масштабам и т. п.

Между тем норма языка — это воплощенная (и воплощаемая) реальность. Это социальный регулятор речевой деятельности, ориентированной на литературное (образцовое, правильное и т. п.) употребление. Подобно тому, как языковая система выводится из наблюдаемого материала (текстов в широком смысле слова), норма языка выводится из соответствующих воплощений, реализаций. Например, для словаря и грамматики — это образцовые тексты; для орфоэпии — устная традиция, принятая за образец и т. п. «Лингвисты глубоко правы в том, — отмечал Л. В. Щерба, — что, разыскивая норму данного языка, обращаются к произведениям хороших писателей, обладающих очевидно в максимальной степени... оценочным чувством („чутьем языка“)..»[38] Осознание нормы, связанное с развитым чувством языка (и его оценки), отборная (классическая) литература и монологическая форма книжной речи — таковы важнейшие элементы и требования, выдвинутые Л. В. Щербой для определения источников литературной нормативности.

Л. П. Якубинский предлагал искать объективный критерий современного национального языка в печатном слове — языке газет, журналов, книг с оговоркой, что это должны быть лучшие газеты и лучшие авторы. Якубинский прекрасно понимал, что для периода конца 20-х—начала 30-х годов, в который он писал, устная речь характеризовалась заметным колебанием нормы, которое отчасти сказывалось и в печатной практике. И тем не менее он не без основания полагал, что недостатки, которые имеет печатный язык, относятся скорее к стилю, чем к норме[39].

---

[36] См.: *Пилинський М. М.* Мовна норма і стиль. Київ, 1976, гл. 1, с. 13 и след.

[37] См.: *Леонтьев А. А.* Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969, гл. 2.

[38] *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. — Изв. АН СССР, ООН, 1931, № 1, с. 127.

[39] См.: *Якубинский Л., Иванов А.* Очерки по языку. М., 1932, с. 152 и след.

Интересные мысли по поводу реального воплощения нормы были высказаны Г. О. Винокуром. Он предлагал в качестве объекта нормализаторской практики и источников выявления нормы найти такую языковую систему, которая по своей функции не отличалась бы от практического языка и вместе с тем осознавалась бы именно как система. «Такая область есть. Это — *нехудожественная литература* в самом широком смысле слова, т. е. литература газетная, журнальная, научная, язык канцелярии, писем, наконец, язык рекламы»[40]. Иными словами, Г. О. Винокур видел воплощенную норму в языке науки и делопроизводства, в языке прессы, т. е. в том, что мы теперь назвали бы языком массовой коммуникации.

В приведенных высказываниях, сделанных в разное время и по различным поводам, следует подчеркнуть глубокую убежденность авторов в реальном существовании и объективном воплощении норм литературного языка того или иного периода его развития. В свое время Л. В. Щерба убежденно говорил о том, что «на самом деле хорошее психологическое (мы бы сказали теперь: синхронно-нормативное, динамическое. — *Л. С.*) описание данного языка в данный момент времени само по себе дает понятие о ближайшем его прошлом и возможном будущем»[41].

Изменения норм происходят вместе с общими изменениями языка, но обладают специфическими свойствами. Специфика эта вытекает, в частности, из шкалы переходных ступеней между нормативным и ненормативным (допустимым устарелым, возможным в тех или иных условиях) в пределах литературного языка, а также зависит от степени осознанности ее носителями литературной речи и от ряда других факторов.

В условиях литературного (нормативного) общения мы можем не замечать ошибок в своей и чужой речи, если эти ошибки социально обоснованы и их возможности, по словам Щербы, заложены в данной языковой системе. Ощущение нормы, как и сама норма, отмечал Щерба, может быть и слабее и сильнее в зависимости от разных условий: наличия сосуществующих вариантов, возможности их сравнения и оценки, от практической важности нормы для носителей языка и т. п. В ряде случаев нормативными могут быть колебания, объективно существующие в языке. В этом случае нормой оказывается граница этих колебаний[42].

Литературные нормы различаются по степени «крепости» в разных ярусах языка и варьируются в разных условиях общения (ситуациях речи). Что касается различия по степени «крепости», то здесь определяющим оказывается отношение «система — норма». В области орфоэпии, например, система практически целиком определяет норму.

---

[40] *Винокур Г.* Культура речи. (Задачи современного языкознания.) — Печать и революция, 1923, кн. 5, с. 107. Ср. с этим рассуждения Н. Ю. Шведовой о роли языка газеты в утверждении и смене литературных норм (см.: *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе).

[41] *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие, с. XIX.

[42] См.: *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.

Отсюда возникает понятие образца, идеала для сферы произношения. Очень часто такой идеал оказывается в прошлом (для русского языка — так называемое старомосковское произношение). Надо заметить, что разного рода сдвиги в области произносительных норм, наблюдаемые за последние 50—60 лет, как раз и объясняются чаще всего выравниванием под давлением системы (ср. произношение *верх, четверг, жара* и *шаги*; прилагательных на *-кий, -гий, -хий* и т. п., закрепляемых иногда в театральном произношении по традиции).

В области лексики система не находится в таком тождественном отношении к норме. Отсюда понятие не столько «образцовости», сколько правильности, точности, смысловой и стилистической уместности слова в высказывании, в контексте и т. п.[43] Содержательный план здесь отчетливо превалирует над планом выражения.

В области грамматики отношения системы и нормы строятся иначе. На первый план выступают критерии моделей и образцов и соответствия им сомнительных (с позиций говорящих и пишущих) реализаций. Немотивированность фразеологических сращений приводит к довольно жесткому условию воспроизводимости и т. п. Что же касается варьирования нормы в различных условиях общения, то предлагаемый вместо стилевых (ситуативных, контекстных и т. п.) норм общий принцип «коммуникативной целесообразности»[44] нуждается, на наш взгляд, в существенных уточнениях и оговорках. Главные из них состоят в том, что при таком общем социопсихологическом подходе не учитывается разная степень коммуникативной близости общения. В общении незнакомых или малознакомых людей правильность (в смысле образца) перекрывается этикой (неудобно поправить, перебить, поскольку смысл сказанного понятен). В то же время для тесно контактного общения характерна большая строгость к языковым ошибкам или неточностям.

В последнее время в ряде работ выдвигается понятие стилистической (или стилевой) нормы как сосредоточения всех функционально-стилевых требований к речи. В учебном пособии «Стилистика русского языка» (ред. Н. М. Шанский, авторы: В. Д. Бондалетов, С. С. Вартапетова, Э. Н. Кушлина, Н. А. Леонова. Л., 1982) приводится, например, такое определение: «Функционально-стилевые нормы — это нормы реального использования языка в данной сфере общественной жизни и одновременно правила, а также приемы речевого творчества в соответствии с конкретными задачами коммуникативного характера» (с. 40). По мысли авторов, стилевые нормы касаются трех основных параметров стиля: отбора языковых средств; правил их сочетаемости, а также соотношения или пропорции (включая частотность) межстилевых и собственно стилевых языковых явлений.

[43] Ср. понятие о «текстовой норме». *Пеньковский А. Б., Шварцкопф Б. С.* Взаимодействие текстовых и языковых норм при порождении текста. — В сб.: Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1975, ч. 1, с. 50—51.

[44] См.: *Костомаров В. Г., Леонтьев А. А.* Некоторые теоретические вопросы культуры речи. — ВЯ, 1966, № 5. Критические замечания см.: *Филин Ф. П.* Об изучении общественных функций языка. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка, 1968, т. 27, вып. 4.

3

Научная языковая нормализация проходит в постоянной борьбе с двумя крайностями: пуризмом и антинормализаторством. Пуризм — это неприятие всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение по различным мотивам: логическим, «научным», эстетическим, идеологическим и т. п. В основе пуристического отношения к языку лежит взгляд на норму как на нечто неизменное, невозможное с точки зрения закрепленной временем традиции.

Пуризм есть не только стремление очистить язык от засоряющих его новообразований и неологизмов, например от элементов лексических, орфоэпических и т. п., идущих в литературное употребление из территориальных и социальных диалектов, просторечия, профессиональной речи и т. п. В широком смысле пуризм — это излишне строгое непримиримое отношение к любым заимствованиям, новшествам, вообще ко всем субъективно понимаемым случаям искажения, огрубления и порчи языка. В разные исторические эпохи объект пуристической оценки да и сам характер пуризма различны. А потому отношение к нему должно быть конкретно-историческим, учитывающим языковую ситуацию, задачи культурного строительства, эпоху развития литературного языка и структуру сложившихся или складывающихся норм и мн. др. Положительные стороны языкового пуризма могут состоять в искренней заботе о развитии самобытной национальной культуры (в условиях разрушающих влияний со стороны других языков и культур), а также в принципиальном обращении к богатствам родного языка, попытках пробудить и активизировать его внутренние смысловые и словообразовательные ресурсы. Надо особо отметить, что пуризм как педагогический и методический прием используется в обучении образцовой речи, в частности в школьном преподавании родного языка. Отрицательных сторон в пуризме гораздо больше, чем положительных. Они состоят прежде всего в субъективно-вкусовом подходе, в ненаучности и антиисторичности, в непонимании (а то и в непризнании) объективных законов поступательного развития языка. Пуризм всегда или по преимуществу ретроспективен: в соответствии с принятым взглядом на язык в нем признается лишь то, что закрепилось в употреблении, и отрицаются новые факты и новые явления. Пуризм проявляется, наконец, в прямом консерватизме, когда проповедуется и утверждается отказ от освоенных языком заимствований и предлагается их последовательная замена новообразованиями из исконных морфем (последние при этом понимаются часто ненаучно и неисторично).

Истоки и виды пуризма различаются в разные исторические эпохи. Среди разновидностей пуризма выделяются прежде всего эстетически-вкусовой (или эмоциональный), логический (или ученый, начетнический), идеологический (или общественно-политический, официально-консервативный) и др.

Яркий пример последнего — декрет Павла I «об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими» (1797), по которому вместо *отечество* было «повелено употреблять» *государство*, вместо *граждане — жители* или *обыватели*; слово *общество* «совсем не писать» и т. п. (см.: Русская старина, 1871, вып. 1—6).

Пуризм проявляется обычно в периоды важных общественных событий (подъем демократического движения, революции, войны и т. п.) и связанных с ними значительных сдвигов в огранизации языка, когда он быстро и наглядно реформируется, вбирая в себя много заимствований, неологизмов и иных новообразований[45].

Для русской демократической литературы и критики XIX в. пуризм был воплощением формального и консервативного отношения к языку (позиции А. С. Шишкова, Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, М. П. Погодина и др). Сходные воззрения были в основе лингвистических концепций В. И. Даля; его борьба с «чужесловами» шла вразрез с прогрессивным течением русской общественной мысли.

В истории русского литературного языка пуризм был иногда закономерным протестом против злоупотребления иностранными словами. Засорение русского языка (в пределах живой разговорной речи дворянства) галлицизмами сатирически изобразил Д. И. Фонвизин в комедии «Бригадир» (см. диалоги Советницы и сына бригадира). А. С. Грибоедов («Горе от ума») назвал такую речь смесью «французского с нижегородским». На принципе высмеивания макаронической речи тамбовской помещицы построена поэма И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже». Большое прогрессивное значение пуризм (как сознательное отношение к родной речи) имел для многих литературных славянских языков, особенно претерпевших перерывы в своем развитии. Так, в заключительном разделе «Тезисов Пражского лингвистического кружка» (1929) специально говорится о вреде преувеличенного пуризма: «*Забота о чистоте языка* находит свое отражение в культуре языка, как это и вытекает из предыдущих объяснений, но всякий преувеличенный пуризм вредит истинной культуре литературного языка независимо от того, какой это пуризм: с логическими, историческими или народническими тенденциями»[46]. Пуристическое отношение к языку в различной степени характерно для книг о языке писателей Б. Тимофеева, А. К. Югова, К. И. Чуковского[47] (несмотря на то, что у последнего есть специальные гневные рассуждения против современных пуристов).

Что касается антинормализаторства, то это проповедь вседозволенности в языке обычно с позиции ложно понимаемой народности всего языка в целом. В основе взглядов убежденных антинормализаторов лежит отрицание научной нормализации языка, поклонение стихийности в его развитии (ср. высказывание А. Югова: «Язык сам собою правит»).

Крайности, как известно, сходятся: в основе и пуризма, и антинормализаторства оказываются научный нигилизм, опора на собственный речевой опыт, языковой вкус. Однако еще в 20-е годы А. М. Пешковский отмечал, что для литературного языка «наивный

[45] См.: *Винокур Г. О.* Культура языка. 2-е изд. М., 1929, с. 85 и след. Ср. *Горнфельд А. Г.* Муки слова. 2-е изд. М.–Л., 1927, с. 145 и след. См. также: *Виноградов С. И.* Дискуссии о языке первых послеревопционных лет. – Русская речь, 1977, № 2, с. 37 и след.

[46] Пражский лингвистический кружок, с. 40.

[47] См.: *Тимофеев Б.* Правильно ли мы говорим? Л., 1961; *Югов А.* Судьбы родного слова. М., 1962; *Чуковский К.* Живой как жизнь. М., 1962. Научный анализ этих книг см. в работе: *Будагов Р. А.* Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 320 и след.

нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть единственно жизненное отношение», а «выведенный из объективной точки зрения квиетизм был бы смертным приговором литературному наречию»[48].

Нигилистическое отношение А. А. Шахматова к нормализаторской деятельности языковедов в наше время можно считать окончательно преодоленным. В основе взглядов советских языковедов лежит признание принципиальной возможности и необходимости регулировать социальную речевую деятельность, решать теоретические и практические вопросы культуры речи и языковой политики.

Понятие «культура речи» обозначает, с одной стороны, степень соответствия речи литературным нормам, а с другой стороны, — раздел языковедческой науки, исследующий проблемы нормализации с целью совершенствования литературного языка как орудия культуры.

Обычно термин «культура речи» употребляется как синоним термина «культура языка» (ср., например, нем. «Sprachpflege», англ. «culture of speech» или «speech culture», польск. «Kultura języka», чеш. «jázyková kultura», словацк. «jazyková kultúra»; болг. «езикова култура» и т. п.). Однако в отечественном языкознании существует традиция разграничивать «культуру языка» (когда имеются в виду свойства образцовых текстов, закрепленных в памятниках письменности, а также потенциальные свойства языковой системы) и «культуру речи», под которой понимают конкретную реализацию языковых свойств и возможностей в условиях повседневного и массового — устного и письменного — общения[49]. Впрочем, такое разграничение до сих пор нельзя считать достаточно строгим или общепринятым, несмотря на то, что и в собственно теоретическом и в прикладном, практическом отношениях оно представляется важным и перспективным. Известная книга Г. О. Винокура «Культура языка» (2-е изд. М., 1929) в одних своих главах посвящена проблемам культуры речи (см. «Язык быта», «Язык прессы» и др.), а в других — проблемам культуры языка (см. «Искусство слова и культура языка»). Понятие «культура речи» рассматривается как составная часть более общего понятия «культура языка» в книге Ю. Д. Дешериева и И. Ф. Протченко «Развитие языков народов СССР в советскую эпоху» (М., 1968, с. 232—233). В БСЭ (3-е изд.) и лингвистических словарях-справочниках подобного рода разграничение не проводится.

Подход к проблемам культуры речи, к кругу относящихся сюда вопросов предполагает историческое, социальное и собственно лингвистическое осознание явлений нормы и литературного языка в их функциональной связи и диахронической изменчивости.

«Понятие изысканной, или «правильной», речи, — писал Л. Блумфилд, — это побочный продукт определенных социальных условий<...> Изучающий письмо, литературу, или филологию, или правильную речь,

---

[48] *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точка зрения на язык. — В кн.: *Пешковский А. М.* Избранные труды. М., 1959, с. 53—54.

[49] См., например, статьи Виноградова В. В. в журнале «Вопросы языкознания» (1961, № 4; 1964, № 3) и др. Ср. обзорную статью Костомарова В. Г. «Проблемы культуры речи» в кн.: Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.

если он достаточно последователен и целеустремлен, сможет понять (после ряда тщетных попыток), что ему бы следовало изучить сначала язык и лишь затем вернуться к поставленным вопросам»[50].

Представители Пражского лингвистического кружка рассматривали проблемы культуры речи в тесной связи с основными функциями литературного языка и с практическими задачами нормализации (кодификации). «Под культурой языка, — говорится в тезисах ПЛК, — понимается четко выраженная тенденция к развитию *в литературном языке (как разговорном, так и книжном) качеств, требуемых его специальной функцией*»[51]. Таких качеств оказывается три: 1) устойчивость; 2) ясная, точная и легкая передача самых разнообразных оттенков; 3) оригинальность языка. В связи с этими выделенными качествами определяются следующие практические задачи в области культуры и критики славянских языков: для произношения — преодоление нефункциональных различий (вариантов); для орфографии — ясность, простота и устойчивость во времени; для словаря — стремление к максимальному обогащению и стилистическому разнообразию, наряду с поисками смысловой точности словоупотребления; для синтаксиса — стремление не только к индивидуальной экспрессивности, но и к богатству возможных дифференциаций значений; для морфологии — устранение бесполезных архаизмов, увеличивающих расстояние между книжным и разговорным языками.

Культура речи означает использование языковых средств, оптимальных для данной речевой ситуации. Другими словами, она предполагает владение говорящим различными функциональными стилями.

Функциональное осмысление культуры речи и связанных с нею практических проблем кодификации также восходит к деятельности чешских языковедов, представителей Пражского лингвистического кружка. Культура речи, кодификация, отмечает Б. Гавранек, появились как научные проблемы лишь тогда, когда язык начали рассматривать как средство для достижения определенной цели, когда провели различие между высказываниями и системой языка[52]. Разграничивая норму как целиком внутриязыковое явление и кодификацию как явление внеязыковое (описание нормы в учебниках), Б. Гавранек определяет языковую норму как систему языка, взятую в плане ее обязательности, — с задачей достичь намеченного в сфере функционирования языка.

Решая теоретические и практические вопросы нормализации, языковеды должны учитывать функциональность современного литературного языка и его структуру.

В тезисах «Общие принципы культуры языка» (1932) пражские языковеды предложили ряд общих положений для теоретического нормативного вмешательства в языковую практику:

---

[50] *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 36.

[51] Тезисы Пражского лингвистического кружка. — В кн.: Пражский лингвистический кружок, с. 39.

[52] См.: *Havránek B.* Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.

1. Подобное вмешательство должно поддерживать стабилизацию литературного языка. 2. Целью такого вмешательства является не архаизация и не насильственное сдерживание развития литературного языка, а стремление к стабилизации, которое определяется целесообразностью (функциональная точка зрения), вкусом данной эпохи (точка зрения общеэстетическая) и соответствием подлинному состоянию современного литературного языка (синхронная точка зрения). 3. Это вмешательство не должно насильственно углублять различия в грамматическом строе разговорного и книжного языка, если речь не идет о функциональном использовании именно этих различий. 4. Это вмешательство не должно устранять из литературного языка все колебания и все грамматические и лексические дублеты. Стремление к стабилизации литературного языка не должно приводить к его нивелировке[53].

В этих принципиальных положениях особое внимание привлекает тезис о трех подходах к стабилизированной норме (функциональном, общеэстетическом и синхронном), а также тезис о колебаниях и вариантах (дублетах), представляющих существенную черту любого литературного языка. Действительно, целесообразность (функциональность) и вариативность представляют важнейшие стороны общей проблемы культуры речи, так сказать, ее сердцевину. Между тем абсолютизация одной из этих сторон, рассмотрение ее в отрыве от другой приводит современных исследователей к созданию особых дисциплин или учений, претендующих на господствующее место в проблемах речевой культуры. С одной стороны, это так называемая ортология, с другой — принцип коммуникативной целесообразности.

Ортология, или учение о правильной речи, строится, по замыслу ее создателей, как отрасль языкознания, основной категорией которой является категория вариантности, осмысливаемая и оцениваемая с точки зрения тенденций языкового развития[54]. Ортологический подход или аспект, не получив в дальнейшем своего развития, тем не менее, внес свой вклад в теорию культуры речи, обостренно и нарочито выдвинув на передний план категорию вариантности (в пределах нормативности).

В теоретическом отношении представляют несомненный интерес попытки терминологического разграничения понятий «вариативность», «вариантность» и «вариабельность» — в применении к вариантам нормы. Наиболее общее из них — в а р и а б е л ь н о с т ь. Это свойство языка (или его уровней) в целом, способность к варьированию нормативных средств. В а р и а т и в н о с т ь — это взаимозаменяемость вариантов в пределах синхронного подхода и в рамках литературности, нормативности; это функционирование нормативных вариантов в речевой деятельности. В а р и а н т н о с т ь — это сопо-

[53] См.: тезисы «Общие принципы культуры языка». — В кн.: Пражский лингвистический кружок, с. 397.

[54] См.: *Ахманова О. С., Бельчиков Ю. А., Веселитский В. В.* К вопросу о «правильности» речи. — ВЯ, 1960, № 2; *Ахманова О. С., Беляев В. Ф., Веселитский В. В.* Об основных понятиях «нормы речи» (ортология). Филол. науки, 1965, № 4. См. критическую оценку этого подхода в статье Скребнева Ю. М. (ВЯ, 1961, № 1).

ложение вариантов (как в синхронном, так и в историческом аспекте), употребление которых отмечено в речи (литературность — нелитературность, старое — новое, правильное — неправильное и т. п.)[55]. Точки роста или сферы напряженного столкновения вариантов целесообразно рассматривать как «зоны вариантности» («вариантные зоны»)[56].

Что касается принципа коммуникативной целесообразности, то он восходит в общем виде к функциональной лингвистике вообще и к функциональной стилистике в частности.

Предысторию такого подхода можно усматривать в рациональной точке зрения на культуру речи и нормативность, выдвинутую еще младограмматиками: нормативно то, что наилучшим образом выполняет коммуникативную функцию языка; неправильно — то, что может быть неправильно понято или понимается с трудом (см. исторический обзор: *Дзекиревская Л. Н.* К проблеме нормы в языке и стиле. — В сб.: Вопросы германской и романской филологии. М., 1963).

Принцип коммуникативной целесообразности был выдвинут в теоретическом плане В. Г. Костомаровым и А. А. Леонтьевым (1966) и в плане практическом — Б. Н. Головиным (1966). По мнению В. Г. Костомарова и А. А. Леонтьева, «правильность литературного выражения выступает функцией коммуникативно-стилистической целесообразности и, так сказать, соразмерности каждого данного высказывания (а также — с убывающей силой зависимости — каждой данной ситуации, речевого жанра, стиля, вообще более широкой и всеобщей сферы применения языка)»[57]. Критерий коммуникативной целесообразности, как полагают авторы, существен при определении нормативности явления и вообще культуры речи, ибо язык прежде всего — средство общения, а всякое общение целенаправленно. Несмотря на последнюю оговорку, в целом точка зрения авторов сводится к тому (хотят или не хотят они этого субъективно), что понятие нормативности и правильности поглощается понятием «коммуникативной целесообразности», перекрывается ею. В этом случае, прояснив цель и ситуацию, культура речи как лингвистическая дисциплина теряет свой объект и свой существенный конструктивный элемент — литературную норму.

Б. Н. Головин соотносит целесообразность и норму, считая их двумя регуляторами человеческой речи, рассматриваемой в нормативно-стилистическом плане (в связи с этим вводится понятие «хорошей речи и ее качеств»). Если требования нормы жестки и узки, то требования целесообразности — мягче и шире. Проявление нормы не зависит от условий применения языка (содержание, цель, обстановки речи); проявление целесообразности целиком определяется этими условиями. Норма осуществляется в пределах языковой структуры; целесообразность выводит говорящего за ее пределы «в сложную область связей и отношений языка и действительности, языка и сознания». Наконец, «норма выбирает из немногих вариантов, лишь один из

[55] Ср. разграничение «вариативности» и «вариантности» в кн.: *Вербицкая Л. А.* Русская орфоэпия. Л., 1976, с. 19.

[56] См.: *Горбачевич К. С.* Зоны вариантности слов и нормы русского литературного языка. — ВЯ, 1974, № 5.

[57] *Костомаров В. Г., Леонтьев А. А.* Некоторые теоретические вопросы культуры речи. — ВЯ, 1966, № 5, с. 5—6.

которых, — литературный. Целесообразность может выбирать из очень большого ряда языковых фактов, и все они могут быть вполне литературными»[58]. По мнению Б. Н. Головина, норма (строгость, жесткость выбора, предписания) господствует в области произношения, ударения, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации. В лексике заметнее, чем в грамматике, скрещиваются жесткие предписания нормы и мягкие рекомендации целесообразности. Что касается стилистики, то в ней господствует целесообразность.

Думается, что известные недостатки и противоречия описанных подходов (ортологических и коммуникативных) могут быть во многом сняты, если ввести членение в общее понятие «культуры языка» (речи) и говорить о «правильности речи» и «культуре речи» как двух ступенях освоения литературного языка и двух способах владения им.

Первой, низшей, ступенью оказывается правильность речи. О правильности мы говорим при овладении литературной речью и ее нормами. Оценки вариантов на уровне правильности речи: правильно — неправильно, по-русски — не по-русски и т. п. (ср. *орать на все горло* вместо *орать во все горло*, а также *хочут* вместо *хотят, суть да дело* вместо *суд да дело* и т. п.). Правильность речи является, в сущности, предметом школьного обучения. Программа средней школы и предполагает в общем виде привитие навыков правильной речи (преимущественно в области грамматики).

Второй, высшей, ступенью освоения литературного языка является культура речи в собственном смысле. О культуре речи можно говорить в условиях владения литературной речью, в условиях правильности (т. е. владения литературными нормами). Оценки вариантов на уровне культуры речи иные: лучше — хуже, точнее, уместнее и т. п. (ср. архаическое и книжное *от времени до времени* и современное нейтральное *время от времени*, которые вместе противопоставлены неправильному *от времени* в том же значении, скажем, в устах иностранца).

Идея разграничения двух принципиально различных аспектов культуры языка в отечественном языкознании принадлежит Г. О. Винокуру. Впервые она была высказана в общем виде в книге «Культура языка» (1929), а затем конкретизирована в более поздних работах, и в частности в опубликованной посмертно статье 1945 г. «Из бесед по культуре речи». «Понятие культуры речи, — пишет Г. О. Винокур, — можно толковать в двояком смысле, в зависимости от того, будем ли мы иметь в виду одну только п р а в и л ь н у ю речь, или же также речь умелую, и с к у с н у ю»[59]. Искусная речь предполагает умение говорить не только правильно, но и мастерски, как пишут и говорят мастера художественной речи. Поэтому главная особенность такой мастерской речи заключается в ее активности, в ее творческом характере.

Среди вариантов, сосуществующих в языке, следует различать, с одной стороны, варианты в пределах нормы, а с другой — варианты, из которых один нормативен, а другой (или другие) — не нормативен.

[58] *Головин Б. Н.* Как говорить правильно: Заметки о культуре русской речи. Горький, 1966, с. 45. См. также: *Его же.* Основы культуры речи. М., 1980.

[59] *Винокур Г. О.* Из бесед о культуре речи. — Русская речь, 1967, № 3, с. 10.

Поскольку накопление и исчезновение тех или иных языковых элементов происходит одновременно, в языке допустимы и неизбежны нормативные колебания, когда одна и та же языковая единица может иметь две формы (например, в произношении: более новое [дв'ер'] наряду со старым [д'в'ер'] или более новое [сла́тк'ий] наряду со старым [сла́ткый] и т. п.). Обычно более новая форма вытесняет более старую. «Однако не всегда можно решить, какая форма является новой и прогрессивной, а какая — старой, отмирающей. При этом не следует забывать, что не всегда появление двояких форм бывает вызвано борьбой старого и нового. Иногда эта двойственность возникает в результате искажения литературной нормы недостаточно грамотными людьми или в результате проникновения в язык тех или иных диалектных явлений и т. д.»[60]. Преодоление многонормативности на практике предполагает разные подходы к ее изучению и оценке. Определяющим, по-видимому, оказывается стилистический, функциональный подход. Вместе с тем в ряде случаев может быть применен метод математический: статистическая, частотная, вероятностная и т. п. оценка фактов вариантности, функционально незначимых (объективные дублеты, варианоиды и т. п.)[61].

Что из нового считать отклонением от нормы? В общем виде этот вопрос принято решать так, как это было предложено Л. П. Якубинским еще в 30-е годы: «...Не все то новое, что появляется в национальном языке, в речевой практике носителей национального языка, является отклонением от его норм. Отклонением от норм является лишь то «новое», которое не дает ничего нового в области смысловой, только по поводу дублетов можно говорить о колебаниях нормы»[62].

При языковедческом подходе (предполагающем научный анализ явления) вопрос этот может быть решен с позиций «тьо́римой нормы» — соответствия новообразования структуре (системе) языка и системе традиционных норм. Однако на практике преобладает иной — стихийный подход, состоящий в подравнивании собственной речи к чужой, признаваемой авторитетной в нормативном отношении. «Поскольку язык есть «навык, умение», то языку научаются от тех, кто «говорит лучше», от тех, кто *умеет* (или считается умеющим), а не от тех, кто не умеет»[63].

Реальное ощущение говорящими языковой нормы в конечном счете вытекает из их признания коллективного характера языка. «В самом языке как системе нет ничего, что противоречило бы «литературности» определенных форм или слов или правил словосочетания. Однако если эти формы и слова кажутся нам неприемлемыми, то потому, что источник их распространения «не авторитетен для нас в языковом отношении»[64].

---

[60] *Барлакович Л.* Становление и развитие нормы в русском литературном языке. Jzyk rosyjski, 1961, № 4, с. 7.

[61] Подробнее об этом: *Градошна Л. К.* Статистика и норма. — В кн.: Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970, с. 326 и след.

[62] *Иванов А., Якубинский Л.* Очерки по языку. Л.—М., 1932, с. 155.

[63] *Соссюр Ф.* Синхрония, диахрония и история. — В кн.: Новое в лингвистике. М., 1963, вып. 3, с. 197.

[64] *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, с. 52.

Фактор социального престижа — важный внеязыковой стимулятор и «регулировщик» нормативных установлений и оценок. Для русского языка советской эпохи этот фактор приобретает решающее значение. Языковые нормы (и сам язык) развиваются у нас в условиях широкой доступности социально-авторитетных образцов, предоставляемых средствами массовой коммуникации, — печатью, центральным радиовещанием, кино, театром, публичными выступлениями и т. п. «Наша эпоха характеризуется известной централизацией языкового развития. При этом бурный рост экономики и культуры в большей степени способствует обновлению традиционных форм, чем их консервации»[65]. Этот вывод, имеющий непосредственное отношение к практике лингвистических рекомендаций, к языковой политике наших дней, нельзя не признать справедливым.

Если исходить из теоретической предпосылки о том, что язык является функциональной системой, то изменения в нем следует искать в слабых точках этой системы — там, где она не вполне соответствует потребностям говорящих. «Однако «необходимые» изменения ограничиваются устойчивостью традиции: сильная культурная норма может обусловить неограниченно долгое сохранение даже «несбалансированной» системы»[66]? Вместе с тем еще Л. В. Щерба отмечал, что «раз упростившись и избавившись от лишнего балласта, полученные системы держатся очень твердо и хорошо сохраняются (ср. склонения и спряжения)»[67].

Перспективность той или иной нарождающейся нормы следует оценивать исходя из динамических тенденций русского языка. Два условия нужны, чтобы рекомендовать одну из сосуществующих норм: во-первых, это системная ее обусловленность и, во-вторых, широкая употребительность.

Давние и по-разному системно обусловленные ошибки вроде *одеть* (вместо *надеть*), *крайний* (вместо *последний*), *кофе остыло, крепкое кофе* (вместо *кофе остыл, крепкий кофе*) и т. п. становятся (если уже не стали) нормами обиходно-разговорной речи и имеют перспективу со временем стать нормами литературного языка. Однако установившийся на них взгляд как на нелитературные формы — в условиях расширения и укрепления кодификации — преграждает им путь (по крайней мере, в ближайшие десятилетия) в литературный язык.

Эволюция языковых норм должна быть изучена в связи с процессами языковой эволюции. В настоящее время весьма ценными в нормативно-оценочном плане оказываются те исследования, которые на конкретном материале выявляют причины и основные движущие силы изменения и развития на разных уровнях языка. Так, говоря о лексико-семантических изменениях, Д. Н. Шмелев различает внеязыковые причины, к которым относит изменения в реальной действительности и изменения в составе носителей языка, а также собственно внутриязыковые причины[68]. Он выделяет основные движущие силы, которыми

[65] *Скрелина Ю. М.* К вопросу об орфоэпии // ВЯ. 1964. № 1. с. 141.
Новое в лингвистике. с. 299.
[67] *Щерба Л. В.* Восточнославянское наречие // Избр. работы по русскому языку. М., 1957. с. 193.
[68] См.: *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964. с. 55.

определяется развитие языка в целом: это, во-первых, стремление к мотивированности языкового знака (или тенденция к экспрессивности) и, во-вторых, стремление к автоматической воспроизводимости языкового знака (или тенденция к регулярности)[69].

В. В. Виноградов считал одной из характерных черт в развитии разных функциональных сфер русского устного речевого общения в советскую эпоху «наряду с широким распространением элементов канцелярского, официально-делового или документального стиля немотивированное применение письменно-книжных оборотов и конструкций, выходящих за границы своих стилистических норм»[70]. Такого рода анализы механизма эволюции языка на разных его уровнях позволяют конкретизировать и уточнять нормативные оценки, дают надежный критерий для разграничения ошибочного и нового, отклонения и естественного изменения.

В понятие культуры речи входит знание реальной системы языка в ее историческом развитии и умение на этой основе давать нормативные оценки языковым явлениям, осуществлять научно обоснованную регулятивную лингвистическую функцию. «Понятие «культуры языка» (и «культуры речи»), — пишет В. В. Виноградов, — должно быть осмыслено в двух разных планах: объективно-историческом и нормативно-стилистическом, или инструктивно-регулятивном. <...> Именно в плане научной теории о закономерностях развития системы того или иного живого языка и должны оцениваться новые явления в языке и отклонения от установившихся норм»[71].

В разграничении этих двух планов лежит, на наш взгляд, решение «парадокса» А. М. Пешковского о невозможности примирения объективной и нормативной точек зрения на язык.

Культура речи предполагает достаточно высокий уровень общей культуры человека. Знание исторических бытовых реалий, лежащих в основе крылатых слов и выражений, восходящих к античному миру, позволяет правильно и точно употреблять такие выражения, как *вернуться к своим пенатам*,[72] *ахиллесова пята*, *нить Ариадны* и мн. др.

Набор так называемых ошибок и отклонений на разных уровнях языка представляет собой сложную и расчлененную шкалу языковых фактов и их оценок говорящими с позиций литературности. В теоретическом отношении весьма важно определить, что́ вызывает сопротивление и оценку говорящих, а что́ естественно входит в их языковую практику. Последовательный анализ таких фактов, противоречия и столкновения объективного узуса и субъективной по своей природе нормализации (кодификации норм) выделит участки, не подвергаемые (или

[69] См.: *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка, с. 240. См. также написанные Шмелевым Д. Н. главы в книге «Лексика современного русского литературного языка» (из серии «Русский язык и советское общество». М., 1968, с. 92 и след.).

[70] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания. — ВЯ, 1964, № 3, с. 17.

[71] Там же, с. 6–7.

[72] См.: *Винокур Г. О.* Из бесед по культуре речи. — Русская речь, 1967, № 3.

принципиально неподверженные в силу чисто практических причин) регламентации и нормализации.

Важнейшая задача совершенствования культуры речи — изучение языковых норм (на всех уровнях) в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях. В первую очередь это относится к нелитературным и окололитературным сферам — профессиональной речи, городскому просторечию, жаргонам и сленгу, разным видам полудиалектной и интердиалектной речи и т. п. Именно здесь мы вступаем в область формирования, утверждения, кристаллизации будущих литературных норм.

Г. О. Винокур одним из первых сформулировал задачи языковой политики. «Языковая политика, — писал он в книге "Культура языка", — есть не что иное, как основанное на точном научном понимании дела руководства социальными лингвистическими нуждами». Вместе с Е. Д. Поливановым, Л. П. Якубинским, Л. В. Щербой, В. Н. Волошиновым Г. О. Винокур заложил основы теоретического обоснования и осмысления языковой политики Советского государства: «...Средняя линия употребления письменного языка, с одной стороны удерживающая язык на высоком уровне современной культуры, а с другой — не допускающая отрыва его от народной почвы, и есть руководящая линия языковой политики Советской власти»[73].

4

Наука о культуре речи в собственно лингвистическом плане представляет собой теоретическую и практическую дисциплину, смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, историей литературного языка, обобщающую их положения и выводы как с целью живого, оперативного воздействия на языковую практику, так и с целью «определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с движением стилей художественной литературы»[74]. Следует подчеркнуть, что и различие по крепости, и характер варьирования норм в разных условиях общения определяют в целом состояние нормативной системы в данный исторический период развития литературного языка.

Литературный язык — высшая форма национального языка, признак национальной самобытности, носитель и посредник культуры и цивилизации. От других разновидностей национального языка литературный язык отличается тем, что его функциональное и стилистическое расслоение гораздо сложнее и богаче. Это вытекает из более широких задач литературного языка (по сравнению, скажем, с диалектной речью), большей осознанности и обязательности его норм, преобладания публичных и письменных форм проявления и т. п. Понятно, что существование языковых норм не ограничивается сферой исключительно литературного языка. И в диалектах, и в просторечии есть свои нормы. Однако нормы диалекта не осознаются как обязательные и

---

[73] *Винокур Г. О.* Русский язык (исторический очерк). — В кн.: *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 109.

[74] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания, с. 9.

осуществляются только косвенными средствами — негативно (сопровождаясь оценками «так не говорят», «мы так не скажем» и т. п.). По мнению Б. Гавранка, нормы литературного языка отличаются от норм народного (диалектного) языка не по существу, т. е. качественно, а лишь по степени обязательности и осознанности, т. е. количественно[75]. Стремление к стабильности, устойчивости — главный признак любой нормы. Но лишь в литературном языке эта стабильность и обязательность норм подкрепляется их кодификацией в соответствующих авторитетных руководствах — словарях, грамматиках и разного рода справочниках. «Термин «литературный язык» в том смысле, как он употребляется, обозначает не особый, самостоятельный язык, противостоящий общенародному, а только определенный слой языка, управляемый особыми нормами. <...>Мы приписываем нормам литературного языка качества особой «правильности» и «общеобязательности», в противоположность нормам (естественным — *Л. С.*), господствующим в диалектах и просторечии»[76].

А. М. Пешковский считал наличие языкового идеала у говорящих главной отличительной чертой литературного языка, формирующей и созидающей его. «С точки зрения естественного процесса речи, с точки зрения, так сказать, физиологии и биологии языка, эта черта совершенно неестественна. <...>Но эта-то неестественность и оказывается как раз у с л о в и е м с у щ е с т в о в а н и я литературного наречия»[77]. Функциональное размежевание и усложнение языковой системы приводит к стилистической дифференциации литературного языка. Синонимические средства в этом случае играют значительную роль и не могут рассматриваться как уродливость или исключение. Ср. мнение Л. В. Щербы по поводу создания настоящей и полной стилистики русского литературного языка: «В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок. Из всего сказанного ясно, что развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом»[78].

Проблема культуры речи, в ее широком аспекте, — это проблема литературного языка. В каждом языке существуют своя специфика, свои актуальные вопросы и аспекты его изучения и нормирования. Для современного русского языка — это проблемы взаимодействия письменной и устной форм речи, формирования различных жанров и видов массовой информации, научной и деловой речи, взаимодействия стилей

[75] См.: *Havránek B.* Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.

[76] *Томашевский Б. В.* Язык и стиль. — В кн.: *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М.—Л., 1959, с. 326.

[77] *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точка зрения на язык. — В кн.: Пешковский А. М. Избранные труды, с. 54.

[78] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык. — РЯШ, 1939, № 4, с. 25.

в пределах литературного языка, соотношения литературного языка с территориальными и социальными диалектами.

Культура речи как общественная наука предполагает широкое лингвистическое воспитание и массовое стилистическое просвещение, иными словами, — внедрение в массы говорящих и пишущих современных достижений науки о языке.

При научном решении теоретических и практических вопросов культуры речи необходимы комплексный подход (собственно лингвистический, а также социолингвистический, психолингвистический) и разные методики анализа и оценки (количественные и качественные). В ряде случаев это приводит к неоднозначности ответа, к выводу о существовании двух и более вариантов употребления, противопоставленных друг другу стилистически, семантически, нормативно-хронологически, по сфере употребления, частотности и т. д. или не имеющих такого противопоставления (дублетов).

Признание вариантности норм вовсе не обозначает нормативного релятивизма (или принципа «нормативной относительности» или научно объясняемой «вседозволенности»). Это признание лишний раз показывает сложность и подлинную научность общих и частных проблем речевой культуры как основу перспективной нормализации. Нормы языка не вырабатываются наукой; они существуют объективно и возникают задолго до нормализации (словарей, грамматик, самой науки о языке). Другое дело, что наука может влиять на функционирование норм, помогая их естественной эволюции или тормозя ее, укрепляя сложившуюся систему норм или расшатывая ее своим безучастным к ней отношением.

Языковед-нормализатор — это прежде всего исследователь. Исследователь структуры языка, его исторического развития и функционирования. Языковед-нормализатор — сначала беспристрастный (по возможности) наблюдатель и аналитик и лишь потом (в силу полученных знаний, объективных данных) — ценитель и рекомендатель.

Авторитет языковеда и его нормативного мнения — это авторитет изученных им источников, собранных и описанных, научно проанализированных фактов. В этом состоит отличие научной позиции в вопросах нормализации (или в отдельных нормативных оценках) от всякой другой языковой критики — с позиций эстетических, общекультурных или собственно вкусовых, индивидуально-субъективных и т. п. Следует добавить, что такая позиция практически не оставляет места для языкового пуризма — в разных его проявлениях и истоках.

Реальным воплощением литературной нормы традиционно считались и считаются тексты лучших национальных писателей — мастеров художественного слова. В наше время к ним добавляются другие жанры литературного употребления, в первую очередь язык массовой коммуникации — газет, радио и телевидения, кино, устных выступлений и т. п. И совершенно естественно поэтому в наши дни особенно актуальная задача изучения и научной нормализации русского литературного языка, повышения культуры устного и письменного общения, популяризации научных лингвистических знаний.

«Две взаимно связанные задачи стоят перед языковедами, — писал С. И. Ожегов, — создание пособий, доступных широким слоям трудящихся, и одновременная теоретическая разработка языковедческих проблем, непосредственно относящихся к вопросам языковой нормализации и, тем самым, к вопросам повышения культуры речи»[79]. Эти задачи продолжают стоять перед советскими языковедами и в наше время.

Развитие литературного языка есть становление, совершенствование и обновление его норм в связи с новыми потребностями общества на новых этапах его истории. Будучи в основе своей языком русской нации, русский литературный язык сохраняет функцию вершины национального языка и в наши дни.

Замечательный русский педагог-демократ К. Д. Ушинский писал: «В языке своем народ в продолжение многих тысячелетий... сложил свои мысли и свои чувства. Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражалась в слове»[80].

История языка — это вместе с тем и история народа, на нем говорящего и пишущего. И в этом смысле всякий развитой национальный язык, накопивший в своей сокровищнице памятники письменности, отражающие духовную жизнь народа, представляют собой своеобразный самобытный стиль национального выражения. По верному замечанию Л. В. Щербы, «...каждый язык отражает культуру того народа, который на нем говорит»[81]. В культурно-историческом аспекте культура языка рассматривается и расценивается как важный элемент общенациональной культуры.

Известно, что в любой области знания идеалом науки является установление параметров и характеристик, свойственных существу изучаемых объектов, а также описание динамических законов изменения или функционирования этих величин. В этом отношении многое еще предстоит сделать в новых исследованиях по культуре речи и теории нормализации. Одновременно необходимо накопление новых фактов, нужна выработка специальных методик наблюдения и оперативной научной оценки живых процессов языкового развития.

Трудности стоящих перед исследователями задач не освобождают от необходимости их научного решения. Об этих трудностях писал в предисловии к своей книге «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» В. И. Чернышев (1914): «Нелегко определить и то, что является современным в языке, что стоит в нем прочно, что является случайным наносом, что отжило свой век. В языке всякой определенной эпохи для ее современников много неясного: слагающегося, но не сложившегося, вымирающего, но не вымершего, входившего вновь, но не утвердившегося»[82].

---

[79] *Ожегов С. И.* Вопросы культуры речи. — Вестник АН СССР, 1953, № 10, с. 15.

[80] *Ушинский К. Д.* О первоначальном преподавании русского языка. — В кн.: *Ушинский К. Д.* Собр. соч. М. — Л., 1949, т. 5, с. 344.

[81] *Щерба Л. В.* Преподавание иностранных языков в средней школе: Общие вопросы методики. М., 1947, с. 53.

[82] *Чернышев В. И.* Избранные труды. В 2-х т. М., 1970, т. 1, с. 449.

Преодолеть эти трудности в известной мере можно лишь путем широкого введения элементов историзма в исследование, применением принципа историко-сопоставительного подхода к современным проблемам речевой культуры. И, может быть, нигде так, как при изучении вопросов культуры речи, не ощущается со всей очевидностью тот факт, что филология — единая наука, гуманистическая сущность которой прямо связана с культурным наследием народа, с удовлетворением многообразных потребностей социалистического общества в наши дни.

«Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, уменье пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием — самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности», — писал В. В. Виноградов[83].

Высокая культура речи остается верным подспорьем человеку-творцу и активному участнику социальных процессов в эпоху научно-технической революции. В общественных условиях Советского государства достижения научно-технической революции органично соединяются с задачами коммунистического строительства, развитием науки и культуры нашего народа.

В эпоху НТР в области языка и культуры речи со всей остротой встают вопросы границ необходимых иноязычных заимствований, а также проблемы терминологии и терминотворчества (на национальной или интернациональной основе, а также с использованием интернациональных морфем), развития языка науки и техники.

НТР оказывает заметное влияние на устную и письменную речь современной эпохи. Современный русский литературный язык от этого влияния усложняется и стилистически перестраивается; однако он не становится от этого более логичным или более рациональным, оставаясь в своих истоках языком русского народа. Эпоха НТР — важный социальный стимул развития национальных языков, самораскрытия их внутренних богатств и потенциальных возможностей[84].

В условиях научно-технической революции литературный язык усложняется (подчиняясь при этом своим внутренним закономерностям); он тоньше и точнее служит человеку для выражения мыслей и чувств, но он отнюдь не механизируется, оставаясь живым языком. И в эпоху НТР культура развивается на базе национального языка; вне национального языка нет подлинной, самобытной культуры. Мировая, интернациональная культура не безнациональна и не наднациональна; она всегда включала в себя лучшие достижения национальных культур, ибо творец культуры — народ. И в этом плане повышение культуры речи рассматривается советскими языковедами как важное звено работы по повышению всей культуры развитого социалистического общества.

---

[83] *Виноградов В. В.* Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. — ВЯ, 1961, № 4, с. 19.

[84] См. сб.: Научно-техническая революция и функционирование языков мира. М., 1977.

Языковая политика Советского государства основывается на творческом наследии В. И. Ленина и удерживает литературную речь на высоком уровне современной культуры, связанной и с письменными традициями, и с народными истоками живого словоупотребления наших дней. Эта политика находит свое отражение в постановлениях пленумов и съездов КПСС по национальным вопросам, в обращениях ЦК КПСС к съездам писателей СССР и РСФСР, в выступлениях партийной литературной критики.

Наследие В. И. Ленина в области русского языка — пример страстного партийного и патриотического отношения к языку, а также к созданной на нем художественной литературе и публицистике.

Бережное отношение к языку как величайшей национальной сокровищнице, точное использование его как средства общения, совершенствование речевой культуры трудящихся масс — таковы важнейшие ленинские заветы в области языкового строительства Советского государства. В наши дни они получили реальное воплощение в стопроцентной грамотности населения, подъеме народного образования, в широкой и многоплановой лексикографической работе, в мощном развитии филологической науки всех национальностей и народностей Советского Союза.

В ряде предреволюционных работ В. И. Ленин решительно выступил против буржуазно-либерального лозунга общегосударственного языка (каковым либералы мыслили русский язык) и говорил о необходимости добровольного, а не принудительного, «*из-под палки*» приобщения всех наций России к «великому русскому языку»[85]. Эти теоретические и политические положения легли в основу программы партии большевиков по национальному вопросу.

В условиях братской дружбы и взаимного доверия народов СССР национальные языки развиваются на основе равноправия и взаимообогащения. При этом русский язык стал языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР. «Фактором исключительного значения в экономической, политической и культурной жизни страны, в сближении всех ее наций и народностей, в их приобщении к богатствам мировой цивилизации служит русский язык, естественно вошедший в жизнь миллионов людей любой национальности», — отмечал тов. Ю. В. Андропов[86].

Успехи научного описания и изучения структуры современного русского литературного языка и его норм ничуть не уменьшают, а в известной мере даже стимулируют необходимость активного вмешательства общественности — писателей, журналистов, педагогов, широких кругов советской интеллигенции в вопросы языкового развития, повышения речевой культуры, совершенствования новых общественных функций русского языка как средства межнационального общения народов СССР и как международного, мирового языка современности.

---

[85] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 24, с. 294.

[86] *Андропов Ю. В.* Шестьдесят лет СССР. М., 1982, с. 9.

Раздел первый
ИЗ ИСТОРИИ НОРМАЛИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

ВВЕДЕНИЕ

Содержание настоящего раздела составляют подробные извлечения из работы Василия Ильича Чернышева (1867—1949) «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики», опубликованной в 1909 и 1913 гг. Это наиболее известный труд В. И. Чернышева, своеобразная энциклопедия по стилистике русского языка своего времени. Рукопись книги (по представлению А. А. Шахматова) была удостоена премии Академии наук. А. А. Шахматов в своем официальном отзыве оценил работу В. И. Чернышева как обширный, кропотливый и полезный труд. Он отмечал, что собранные в ней данные представляются полезным материалом и для исторической грамматики русского языка и для грамматики современного литературного языка.

Конечно, работа В. И. Чернышева не могла претендовать на роль подлинной стилистической грамматики русского языка. В этом отношении она подверглась критике со стороны А. А. Шахматова. Условием для построения стилистической грамматики должна была явиться разработка целого ряда теоретических вопросов, но это, во-первых, не входило в задачу автора и, во-вторых, в то время еще и не могло быть осуществлено. В. И. Чернышев хорошо понимал, что не все вопросы можно решить грамматическим путем и предполагал дополнить книгу кратким «Стилистическим словарем», который должен был содержать «затрудняющие для употребления случаи, которые относятся не к грамматической, а к лексической (словарной) стороне языка». К сожалению, этот интересный замысел автора остался неосуществленным. Но и сделанное В. И. Чернышевым сыграло большую роль в последующей разработке языковедами вопросов стилистики, в улучшении практического владения богатствами русского языка широкими слоями общества. В. И. Чернышев стремился сблизить грамматику и стилистику, восстановить отечественные традиции, восходящие еще к трудам М. В. Ломоносова, и многое сумел сделать в этом отношении.

Узкому пониманию правильности языка, насаждавшемуся догматическими школьными грамматиками, В. И. Чернышев противопоставил научно обоснованный взгляд на литературный язык как на сложное взаимодействие целых разрядов синонимичных, но в то же время стилистически разнородных грамматических форм и синтаксических оборотов речи.

В качестве исходных позиций в книге В. И. Чернышева выдвигаются принцип изменчивости языка и его норм, а также идея вариантности нормы, опоры на широкий круг источников при нормативном описании и оценках. В ней собран и описан огромный грамматический и лексический материал, относящийся к различным частям речи, формам словоизменения и словообразования. Автор приводит ценнейшие данные о вариантности нормативного употребления, связанные с сосуществованием в языке старого и нового, исконного и заимствованного, книжного и разговорного, общенародного и диалектно ограниченного и т. д. Материал книги В. И. Чернышева позволяет осмыслить стилистическую и семантическую значимость употребления многочисленных народных форм, слов и выражений в произведениях И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и других русских писателей. Этот материал дает широкое представление о лексико-семантических и стилистических нормах русского литературного языка конца XIX—начала XX в. (часто на фоне XVIII и даже XVII вв.). Он позволяет выделить нормы словоупотребления и словоизменения, которые претерпели трансформацию в процессе развития русского литературного языка в послереволюционную эпоху. В книге затронуты вопросы фонетической, морфологической, лексической и синтаксической стилистики, а также проблемы, связанные с использованием стилистических фигур, выбором форм и слов для выразительности речи.

Не только историко-лингвистический, но и собственно практический интерес для современного носителя русского литературного языка представляют разделы книги

В. И. Чернышева, посвященные колебаниям в роде имен существительных (например, *рельс — рельса, зал — зала* и т. п.), склонению иностранных слов, словообразованию и произношению прилагательных (*дальний — дальный*), образованию, склонению и употреблению числительных и местоимений, образованию и произношению глаголов в неопределенной форме на *-ть* вместо *-ти* (например, *увесть, перевесть*) и мн. др.

Книга В. И. Чернышева оказала заметное влияние на развитие теории и практики нормализации русского литературного языка, на формирование учения о культуре русской речи как самостоятельной научной дисциплины. Оценивая труд В. И. Чернышева, В. В. Виноградов писал, что он представляет собой «замечательное явление в русской филологической литературе» и «сохраняет свое значение до сих пор».

Материалы раздела могут быть использованы в самостоятельной работе студентов при изучении изменений орфоэпических, лексических, грамматических и других норм русского литературного языка в XX в. При этом следует учитывать известную устарелость применяемых автором терминов (например, «собирательное существительное» для некоторых форм множественного числа существительных, именование «окончанием глагола» постфикса *-ся*, *-сь*; архаичность некоторых синтаксических терминов и т. п.).

В. И. Чернышев

ПРАВИЛЬНОСТЬ И ЧИСТОТА РУССКОЙ РЕЧИ

ОПЫТ РУССКОЙ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ

Из «Предисловия» к 1-му изданию

В предлагаемой книжке собраны и приведены в систематический порядок примеры и правила употребления тех форм и оборотов речи, которые наиболее затрудняют пишущих и говорящих. Вопрос: «Как лучше, как правильнее сказать?» нередко мы задаем себе и другим. На этот вопрос всегда даются одинаковые ответы. Иногда указания, высказанные в самой решительной форме, не удовлетворяют нас потому, что неодобряемые формы и обороты речи мы находим у наших образцовых писателей. Иногда же, наоборот, мы часто видим нарушение несомненных правил речи в книгах, в газетах, в письме и в разговоре более или менее образованных лиц. Такие противоречивые показания производят смешение понятий и затемняют даже те вопросы стилистической грамматики, относительно которых существуют ясные и прочные решения.

Несмотря на значительную свободу, допускаемую русским языком в употреблении форм и оборотов, русская стилистическая грамматика имеет некоторые весьма устойчивые правила, которые не колеблются и оттого, что они нарушаются изящными писателями. И сами писатели являются для нас авторитетными в тех только случаях, где они не погрешают против общепринятых норм.

Правила стилистической грамматики извлекаются нами из трех основных источников лучшей русской речи: 1) общепринятого современного употребления, 2) произведений образцовых русских писателей, 3) лучших грамматик и грамматических исследований литературного русского языка.

Пособием для разрешения разбираемых вопросов служат также данные народного языка.

15 февраля 1909 года

Из «Предисловия» ко 2-му изданию

...В виде дополнения к данному изданию предполагается потом выпустить небольшой русский стилистический словарь, который будет содержать те затруднительные для употребления случаи, которые относятся не к грамматической, а к лексической (словарной) стороне языка. В 1-м издании книги некоторые данные такого рода вводились (с известной натяжкой, отчасти оправдываемой практической целью книги) то в один, то в другой ее отдел. Теперь они будут совсем выведены. Действительно, такие формы, как *жневье, загинала, ремянный, слюня, четвериньки* и под., хотя и отличаются своим звуковым составом от общепринятых *жнивье, загибала,ременный, слюна, четвереньки*, но эти отличия не произошли вследствие изменения одних звуков в другие, как, например, получилось *рехнуться* из *ряхнуться*. Мы имеем здесь слова, различные по образованию, и место для суждения о них не в грамматике, а в словаре.

6 октября 1913 года

Первоначальная стилистика не затрудняется решением вопроса о правильности и чистоте русской речи. Неправильным считается то, что несогласно с грамматикой, а нарушением чистоты речи признается употребление архаизмов, провинциализмов, неологизмов и варваризмов.

Практика иногда чрезвычайно легко разрешает вопрос о том, что допустимо и что нетерпимо в языке, особенно в школе, где первым и последним критическим судьею является учитель, нередко сам же и создающий кодекс одобряемого, разрешаемого и не допускаемого в речи своих воспитанников. Труднее разрешаются сомнения о правильности выражений, когда приходится критиковать речь взрослых людей, способных выставить в защиту своих привычек и взглядов теоретические основания и пример других образованных людей или — еще лучше — образцовых писателей. Критическое отношение к последним окажется уже весьма затруднительным и потребует известных знаний в языке и значительной осмотрительности в решениях. Прежде всего нужно признать, что стилистические мерки и вкусы существуют для известного времени и меняются так же, как меняется язык. Для времен Ломоносова, Карамзина, Пушкина, Тургенева были различные понятия о правильности речи, и, вместе с изменением языка, эти классические писатели в некоторых случаях перестали быть для нас авторитетными; их выражения иногда стали для нас непригодны. Ломоносов, например, допускал сравнительную степень на *-яе (светлее)*, рекомендовал средний род для всех существительных на *-ище (великое домище)*, полагал, что «лутче сказать *толкаючи*, нежели *толкая*», и т. п.

Очень внимательный к языку Карамзин находил в свое время хорошими нетерпимые теперь формы: *домы, постеля, розница, передражнивая, ярмонка, картеча.*

Пушкин сам признавался в пристрастии к галлицизмам («Мне галлицизмы будут милы, Как прошлой юности грехи, Как Богдановича стихи...», «Евгений Онегин»). Употреблял он и народные формы, которые теперь не допускаются в литературном языке, как *три дни, казачей сабли, пламя поздное, цалует* и др.

Следуя правилам и обычаям своего времени, во всех таких случаях авторы, очевидно, не совершали ошибки против языка. Значит, здесь мы не имеем дела с неправильностью, но встречаемся с формами устаревшими, вышедшими из употребления, словом, с архаизмами языка.

Тот или другой живой и ходячий оборот речи, та или иная форма языка, обычные для данного времени, потом стареются, постепенно выходят из употребления, наконец делаются архаичными, мертвыми. Само собою разумеется, что они архаичны только для нас, живущих в новую эпоху языка, принявшую другой словарный состав и новую грамматику. Для авторов, изучавших язык в более старое время, архаизмы эти должны были казаться имеющими все права на употребление. Державин, Жуковский, Пушкин, Белинский, Тургенев и др., конечно, владели в совершенстве языком лишь своего времени и,

как питомцы старой школы, для последующих эпох необходимо должны быть несколько архаичны. Эта архаичность не есть недостаток их стиля (как это было бы у писателей, намеренно или по незнанию держащихся более старого языка), но необходимая черта времени.

Кроме изменений от времени, русский литературный язык много изменялся от влияния на него языков иностранных, в особенности родственного ему славянского церковного языка и французского, господствовавшего в нашем образованном классе в конце XVIII и начале XIX столетия. Если замирание старых слов и форм происходило с некоторой постепенностью, то новые иностранные слова и обороты входили в известные эпохи быстро, натиском. Такой наплыв иностранных слов был при Петре Великом; напор галлицизмов мы видим при Карамзине и его последователях до Пушкина включительно. Последний в «Критических заметках» определил и окончательное действие этого натиска. «Множество слов и выражений, — говорит он, — насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке». Консервативным писателям этой эпохи казались странными выражения: *делать влияние на разумы* (faire l'influance sur les esprits), *черта злословия* (un trait de satire) и др., представляющие буквальный перевод французских оборотов. Шишков справедливо замечал, что русский глагол *вливать* требует предлога *в*: *вливать вино в бочку*; но со временем к подобным оборотам привыкли, и для теперешнего читателя фраза «Пушкин имел огромное влияние на писателей своего и ближайшего поколения» кажется совершенно русскою, как кажутся русскими слова: *церковь*, *история*, *мастер* и т. п.

Славянские формы и обороты не только во множестве влились в русскую литературную речь и совершенно с ней сплавились, но и сейчас еще ведут в ней борьбу за существование. Так, например, мы колеблемся при выборе слов: *середина* и *средина*, *чрез* и *через*, *терпенье* и *терпение*, *помошник* и *помощник*, *дрожжи* и *дрожди*.

Влияние народной грамматики на литературную было, конечно, несравненно значительнее, чем влияние чужих языков. Не только Пушкин и последующие писатели, но и Ломоносов и Карамзин признавали за народным языком обширные права на употребление в речи образованных людей и в книгах. Здесь, как и в других влияниях, употребление только ограничивало авторов, не принимая значительных нововведений или не давая распространения формам, мало употреблявшимся в образованном классе. Например, Ломоносов допускал формы: *преж*, *чхнул*, *мочно*, *мочную*, *заскрыпев*, *крычали страм*, *дыхать взотти*, *испужавшись*, *признаваюсь*, *сумневаюсь*, *другов*, *салдатов* и др., которые теперь вовсе непозволительны. У Карамзина находим: *волосов*, *два дни*, *большая розница*, «*в самом сердце* (т. е. раздражении) голос ее был так приятен...», *живучи* (в другом трактире) *обо двор* — все формы и выражения теперь не принятые. У Крылова видим: *приколона ленточка*; у Гоголя: *снеленат*; у Пушкина, *копытом мочным*, *разуздывает*, *достальное*, *зачали*, *встали изо стола*, — такие народные формы, которых теперь не допустит ни один школьный учитель в тетради своего ученика.

Стремление давать практические указания входило в значительной степени в русские грамматики, начиная с Ломоносова и кончая Буслаевым.

Чем ближе к нашему времени, тем больше стилистика удаляется из грамматик. Литературный язык считается вполне сложившимся; колебания допускаются все меньше и меньше; в школе неограниченную власть приобретает тот или другой учебник, иногда весьма далекий от идеального совершенства; в печати корректоры с большим упорством и непониманием портят язык и слог знаменитых писателей, воображая, что они «исправляют ошибки», переделывая их богатую и свободную русскую речь по плохим школьным грамматикам.

Все это говорит, что обсуждение вопросов стилистической грамматики в наше время дело не лишнее. Прежде всего это нужно для практического применения языка. Некоторые недоумевают при многих вопросах употребления, например, можно ли написать в родительном падеже *меду, чаю*, и останавливаются на мнимограмотных *меда, чая*; другие, видя у авторов не соответствующие нынешнему употреблению формы, считают их за «ошибки», а при перепечатке старых авторов многое из их выражений, форм и оборотов речи даже и переделывается на новый лад. Так, в некоторых изданиях значительно изменены, а отчасти искажены Пушкин, Крылов, Жуковский, Некрасов и др. Желательно одним помочь при затруднении, другим уяснить ту историческую точку зрения, которой нужно в данном случае держаться.

Старинное и ходячее понятие о «неправильности» приходится почти совсем устранить из обращения, когда мы исследуем язык великих писателей. Державин, Пушкин, Лермонтов, Тургенев почти не делали «ошибок» в истинном смысле этого слова. Они лишь употребляли формы и обороты, которые не перешли в современный нам язык, или гораздо свободнее нашего пользовались народным языком.

Еще вопрос — что́ нужно переделывать? — язык ли великих писателей или устарелые и односторонние грамматики, которые его не одобряют. В создании литературного языка талантливые писатели идут впереди, грамматика должна идти вслед за ними. Поэтому от действительных «неправильностей» языка нужно отличать «мнимые», которые устанавливаются дилетантскими учебниками и статьями и часто признаются многими, но не имеют для себя достаточных теоретических оснований и отвергаются лучшими писателями. Нередко педантическая стилистика имеет притязание предписывать правила языку вместо того, чтобы изучать его законы, или же делает односторонние и неосновательные выводы из ложно понятых случаев употребления слов и форм. Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, например Греч. В своих учебниках он требует употреблять сочетания *два черные ворона, три пуховые шляпы* и под. и считает неправильными сочетания *два черных ворона, три пуховых шляпы,* не допускает таких причастий, как *неувядаемый,* вполне усвоенных русским языком, или деепричастий, как *войдя, брося* и под., введенных в употребление лучшими писателями, и др.

В этом отношении типической можно признать статью Н. М. Николича «Неправильности в выражениях, допускаемые в современной

печати» («Филологические записки», 1877, в. 1; 1878, в. 1). Автор действительно указывает в ней несколько несомненных ошибок писателей в образовании, изменении и сочетании форм, например: «*зажжа* свечу»; «деятельность Л-ого, *навевшая* общую панику»; «болезнь, *свевшая* его в рановременную могилу» («Древняя и новая Россия», 1876, № 7, стр. 225); «руки *спеленуты*»; «обещали поместить на первые *откроющиеся вакансии*»; «все листья *осыпятся*»; «не имеющие своего состояния или *жениного*»; «после разговора с *Карениным*»; *отчайный, нечайно*; «было не то что стыдно, а неловко за *самою* себя» (из «Анны Карениной» Толстого); «*реальной его основой есть* все-таки официальное положение и общая образованность».

Но значительная часть указаний и рассуждений Николича основана на недоразумении. Автор как будто отождествляет правила употребления форм русского языка с собственными стилистическими привычками, а печать считает чем-то вроде учебного заведения, которое не должно выходить в письме из рамок школьных грамматик.

Однако печать не ученица, а зрелая деятельница и в некоторой степени создательница языка. Многообразие и глубина ее содержания требуют всего богатства форм и выражений, принадлежащих современному языку.

Поэтому напрасно г. Николич, как и некоторые другие стилистические критики, считает ошибками против правил языка:

1. Употребление таких форм и оборотов, которые встречаются реже других, но терпимы в языке. Таковы, например: «идеи, на которых он *воспитался*»; *в течении, в продолжении*; «Была отслужена панихида *по усопшим предкам*»; «Австрийское правительство осталось *недовольным* письмом вождя старочехов».

2. Сохранившие еще известную долю живучести архаизмы, например употребление прилагательных на *-ший* и *-ейший*, вроде *высший, худший, старейший* в смысле сравнительной степени («Многие из них тщеславятся перед народом как бы чем-то и *высшим* перчаток»; «состояние, *худшее* самого сурового рабства»; множественное число глагольного сказуемого при подлежащих собирательного значения («Значительное *большинство* студентов вовсе *не могут* пользоваться ученьми сочинениями»).

3. Обороты и слова, вновь входящие (а теперь уже и вошедшие) в литературный язык: «*вопрошающе* взглянула»; «*вызывающе* поддакивала»; «*репетировать* учеников»; «*приготовлять* уроки»; «перевести *фразу*».

4. Формы просторечия и народного языка: *угáщивал; разжáлывали; счетá; адресá;* «На дворе монастыря, *по-за* окнами храмов, видны монахи, странники и странницы».

5. Формы и выражения канцелярские, военные, школьные и т. п.: «из сумм, *заведываемых* земством»; «деятельность общества, *председательствуемого* таким-то»; «будучи *предшествуем* благодеяниями»; «согласно *вашего желания*»; «всякий пользуется местом сообразно *взятого* им *билета*».

Наконец, необходимо признать, что классические авторы, грамматики, стилистическая критика, собственно, — не прямые, а кос-

венные источники для изучения современного нам литературного языка, так как представляют нам русский язык в прошлом состоянии, хотя и не далеком от нас. Основной источник лучшей современной речи — нынешнее ее употребление. Если какая-нибудь форма или оборот теперь совсем не приняты, то никакие авторитетные писатели и ученые, некогда ими пользовавшиеся, не могут свидетельствовать в пользу их употребления в нынешнем языке. Однако следовать современному общему употреблению в языке совсем не так легко, как это может показаться сначала. Прежде всего во многих случаях очень трудно решить вопрос: является ли данное словоупотребление общим, т. е. все ли образованные люди так говорят, все ли признают это употребление? Число лиц, говорящих литературным языком, огромно, а личный опыт каждого говорящего ограничивается сравнительно небольшим случайным кругом людей. Притом каждый говорящий так осваивается с своим собственным словоупотреблением, что чрезвычайно легко впадает в ошибку, думая, что все говорят так, как говорит он.

Нелегко определить и то, что является современным в языке, что стоит в нем прочно, что является случайным наносом, что отжило свой век. В языке всякой определенной эпохи для ее современников много неясного: слагающегося, но не сложившегося, вымирающего, но не вымершего, входящего вновь, но не утвердившегося.

Необходимо еще обратить внимание на то, что само употребление подчиняется сложным и противоречивым влияниям и в силу этого дает иногда две, три формы одного и того же грамматического значения. Поэтому приходится определять, признать ли два образца употребления равноправными или же одно признать «правильным», достойным подражания, другое — «неправильным» появившимся вследствие худого, неразборчивого отношения к речи. Вообще надо отличать хорошее и худое употребление и не принимать последнего себе за образец. Одна из причин изменения литературного языка в том и состоит, что хорошее употребление борется с худым и вытесняет его. Это исправление существующего употребления производится обыкновенно под влиянием традиции, установленной образцовыми писателями, или научной теории языка. Таким образом, современное употребление языка иногда невозможно уяснить себе, не изучая авторов и грамматики.

Вообще мы должны признать, что для изучения современного литературного языка необходимо пользоваться всеми его источниками, т. е. существующим употреблением, словоупотреблением писателей и грамматиками, излагающими факты употребления в научном и критическом освещении. Всех свойств языка изучить невозможно, но тому, кто желает лучше его понимать и хорошо им владеть, необходимо пользоваться всеми доступными средствами его изучения, тщательно выбирая источники, внимательно наблюдая факты и усердно вникая в смысл своих наблюдений. <...>

§13. Славянизмы

60. В русском литературном языке, как известно, есть значительная примесь славянских слов и форм. Притом последние во множестве случаев очень давно стали настолько сродны русскому употреблению, что не производят ни на кого впечатления чего-то чуждого, пришедшего извне. Только научная грамматика может точно определить славянский элемент в русской речи и выделить из нее славянизмы. Людям, незнакомым с славянской грамматикой, слова: *тщетно, единственный, принуждаю, помощь, враг, срам, плен* — кажутся чисто русскими, между тем это несомненные славянизмы. Они определяются точными фонетическими признаками, которые различают следующие группы слов.

I. Славянское *е* (не *ё*) под ударением: *житие, бытие, копие, вопиет, Лев* и др.; русское *ё*, тоже ударяемое: *житьё, бытьё, копьё, Лёв, тщётно* (народное). Поэтому такие слова с *е* под ударением, как: *вертеп, ковчег, крест, небо, пещера, треба* и т. п., мы должны признать обрусевшими славянизмами.

Эти славянизмы отчасти поддаются русскому влиянию, особенно в языке народном. Так, при *крест* (с *е*) мы имеем: *крёстный отец;* при *небо, перст, пещера* имеем народные *нёбо, пёрст, пещора*. При обычных произношениях *бытие, житие, копие, вопиет* встречаются более редкие, но не чуждые старому и современному литературному языку произношения: *бытиё, житиё, копиё, вопиёт.*

II. Есть небольшое число слов, в которых славянскому начальному *е* соответствует русское *о*: славянские *един, елень, езеро* и некоторые другие; русские *один, олень, озеро*. Слова *еще, едва, единство, единица, единорог* и под. оказываются, таким образом, славянизмами, присвоенными русскому языку. Некоторые славянизмы такого рода в нашем употреблении имеют известные ограничения; мы, например, говорим *един*, но лишь в особых выражениях, происходящих из книжного языка: «*един* бог без греха», «*един*, как перст». <...>

IV. Русское *т* обращается в *ч*: *хотеть — хочу, светить — свечу, ответ — отвечать*; на месте славянского *т* имеем *щ*: *хощу, свеща, отвещати* и т. п. Все слова русского языка, имеющие *щ* на месте *т*, мы должны признать несомненными славянизмами. Таковы, например: *освещение, освящение, пища, хищный* (от *хитить*; ср. русское народное *хичный*), *изящный* (от *изъять*), *насущный* (от *суть*), *клевещу, ропщу, укрощать, обогащать, похищать* и т. п. Таким образом, славянизмами у нас являются не только отдельные слова, но также и целые категории слов, например ряд глаголов несовершенного вида на *-ать* (*посещать* и пр.), ряд форм первого лица: *сообщу, запрещу* и т. п.

Славянизмы *хищный, насущный, изящный* исключительно употребляются в литературной речи.

Кроме этих, есть славянизмы, не связанные для нас ясно с *т*, но имеющие *щ*, соответствующее русскому *ч*; таковы все причастия на *-щий: текущий, стоящий, висящий, ходящий* и др. (ср. русские *текучий, стоячий, висячий, ходячий* и т. п.); также некоторые отдельные слова:

мочь, помочь и *мощь, помощь, мощный; ночь, ночной, всенощная* (народное северное произношение *всенощия*, где *щ* из *ч*) и *нощь, всенощная, полнощный; овочь, овощной* (народные; последнее имеет *щ* из *ч*) и *овощь, овощной; обчество, вообче* или *вобче* (народные) и *общество, вообще*.

И в отдельных словах мы отдаем почти всегда полное предпочтение славянским формам, а русские употребляем очень редко: некоторым кажутся они «неправильными», «искаженными» словами.

Однако в словах *всеночная* и *всенощная, еженочный* и *еженощный* мы и теперь колеблемся между формами русскими и славянскими.

Формы *мочь, помочь* мы встречаем лишь в языке старом или близком к народному, например у Фонвизина, в стихах Кольцова, в «Капитанской дочке» Пушкина; в языке старого времени допускалось и слово *мочный* (встречается в статье Надеждина о Пушкине). Теперь мы обыкновенно употребляем только *мощь, немощь, помощь, мощный*. Слово *мочь* теперь сохранилось только в выражениях: *мочи нет, сколько есть мочи*, и в сложении с приставками: *немочь, невмочь*. Заметим также выражение: *бог помочь*! В средине прошлого столетия слово *мочь* обращалось еще в литературном языке, как это видно из академического Словаря, приводящего пример: «В свое время он большую *мочь* имел в городе».

Слова *овощ, овощный, общество, вообще* литературный язык употребляет только в славянской форме. Славянский вид, с *щ* вместо русского *ч*, имеет еще слово *пещись*, употребляемое лишь в старом и книжном языке (обыкновенно же мы говорим и пишем: *печься о ком, о чем*).

В славянском языке *т* обращалось в *щ* также перед мягкими *р* и *в*; поэтому славянизмами же являются и *умерщвлять* (несовершенный вид при *умертвить*), *ухищряться, изощрять(-ся)* и производные. Русский разговорный язык склонен употреблять форму *умертвлять*, которую и находим у Фонвизина: («Вечная жертва предрассуждения, вас *умертвляющего*!» («Торгующее дворянство», 652). Однако наш письменный язык, подчиняясь требованиям грамматик, избегает этой формы. Русская же форма *ухитряться* более употребительна, чем славянизм *ухищряться;* однако имеем: *ухищрение, изощрение, изощренный*.

Глаголы *изострить, испестрить* в несовершенном виде, помимо у нас церковнославянскую форму: *изощрять* (в отвлеченных значениях), *испещрять*, которая сообщается и причастиям: *изощренный, испещренный* (сравните русские: *обострить отношения, обострять отношения, обостренные отношения*).

Рядом с этими книжными формами, со звуком *щ*, существуют разговорные, с сочетанием *ст*: изострять (изострять свой ум), *испестренный (испестренный цветами луг)*, которые нельзя считать нетерпимыми в литературном языке. Некоторые грамматисты и писатели проводили в обращение и формы совершенного вида со звуком *щ*: *изощрить, испещрить*. Первое из них упрочилось и в литературном языке; мы, например, говорим: *изощрить способности учащихся*.

61. В некоторых словах славянскому начальному *ра, ла* соответству-

ет русское начальное *ро, ло*. Таким образом, мы должны признать славянизмами слова: *работа, рабочий* (сравните русское народное *робота*), *расту, возраст, растение, растительность, растительный* (сравните русские: *рос, рост, росток, рослый, подросток*), *разум, распря, разница, разный, разниться* (сравните русские: *розница, розный, розно*), *равный, равнина, равенство* (сравните русские: *ровный, ровня, вровень, уровень, ровесник*), *ладья* (сравните русские: *лодка, лодочка, лодочник*). Здесь русские и славянские формы частью отличаются и по значению.

62. К числу славянизмов относятся также некоторые слова, имеющие *з* твердое вместо *г*: *досязать, осязать, подвизаться, притязать, истязать, состязаться, состязание, притязательный, отверзать*; также имеющие *щ* вместо *к*, которое находим в устарелом глаголе *проницать* (теперь обыкновенно: *проникать*; однако прилагательное *проницательный* от первого глагола окрепло в литературном языке); кроме того, мы употребляем его в некоторых глаголах несовершенного вида, например: *брящать, мерщать* (при *брякать, меркнуть* и *смеркаться*).

63. В XVIII и начале XIX века совершенный вид глагола *приближаться* обыкновенно употреблялся в форме *приближиться*, находящей свое объяснение в старом русском и церковнославянском языке. У Карамзина, Пушкина, Жуковского мы теперь не часто видим формы этого последнего глагола только потому, что позднейшие издатели исправляли, согласно с теперешним употреблением, *ж* на *з*.

Современный язык знает только формы: *приблизиться, приблизилась, приблизься* и т. п.

§ 14. Иностранные слова

64. Особенно благоприятные условия для колебаний в форме представляют слова иностранные, вошедшие в наш язык. На форму их оказывало влияние прежде всего народное произношение заимствованного слова, не допускаемое современным образованным языком, но терпимое раньше; например: *анбар* (встречается у Карамзина), *билиярд, щекатурить, галдарея, кардон, пантомина, пукет, пукля сертук* (некогда рекомендовалось Гротом), *сурьезно, ярмонка* и др.

65. Мы видим здесь, что старый литературный язык был ближе к народному; общепринятые теперь формы: *амбар, амбарчик, бильярд, штукатурить, выштукатурить, галерея, картон, пантомима, букет, букли, сюртук, серьезно, ярмарка* — утвердились не так давно. Они явились вследствие научного анализа, точно определяющего, из какого языка заимствовано то или другое слово и какую оно должно иметь форму. Так, сообразно с формою латинского языка, мы считаем правильным *проект*, а не *проэкт*. Сообразно с польским имеем *реестр* (rejestr), а не *реэстр*. Точно так же ряд слов из греческого с начальным э мы употребляем с *е*, потому что получили их не прямо от греков, а при посредстве славянского языка, в котором они имели *е*, а не *э*. Таковы: *евангелие, евнух, елей, епархия, епископ, епитимия, ехидна* с их производными. Изредка мы встречаем: *эпитимия, эхидность*

(Тургенев, Первое собрание писем, 201) и под., более близкие к греческому языку формы, но история языка и существующее употребление говорят за формы с *е*.

Другой ряд греческих слов мы имеем с э, потому что они пришли к нам позднее, главным образом при посредстве языков латинского, немецкого, французского. Таковы: *эгида, экзема, экзотический, эклектизм, эклиптика, эклога, экономия, экстаз, элегия, электричество, эмблема, энергия, энклитика, энтомология, энтузиазм, энциклопедия, эпиграмма, эпиграф, эпидемия, эпизод, эпилепсия, эпилог, эпитафия, эпитет, эпопея, эпос, эпоха, эротический, эстетика, этика, этимология, этнография, эхо* и др.

Многие греческие слова нам известны в двоякой форме: во-первых, в той, в которой мы получили их в древности прямо из Византии или позднее из греческих книг; во-вторых, в той форме, которую эти слова приняли в языках французском и немецком, из которых перешли и к нам. Слова первого рода имеют *в, ф, и*, которым в словах второго рода соответствуют *б, т, е*. Таким образом, имеем: 1) *варваризм* и *барбаризм, амфивия* (устарелое) и *амфибия*; 2) старинные *амефист, афеист, феатр, фема, феология, феократия* (рекомендуется, впрочем, Гротом) и современные *аметист, атеист, театр, тема, теология, теократия;* однако *апофеоз* теперь более употребительно, чем *апотеоз* («Этот человек — *апотеоз* мелочного самолюбия» — Белинский, V, 359); 3) *катихизис* и *катехизис, риторика* и *реторика, христоматия* и *хрестоматия*.

Хорошим примером, соединяющим все три указанные особенности, является старинное *вивлиофика* и современное *библиотека*.

66. При заимствованиях из языка письменного возникает вопрос, как читать некоторые чужие написания, например: произносить или не произносить букву h или греческое густое придыхание. Вследствие неодинаковых ответов на этот вопрос имеем одни и те же иностранные слова в разных формах: *гидальго* и *идальго, герань* и *ерань, гекзаметр* и *экзаметр* (реже), *Гипократ* и *Ипократ, Гипокрена* и *Ипокрена, гипотеза* и *ипотеза* (старинное), *гипотека* (старое) и *ипотека, гипохондрия* (старое) и *ипохондрия, ирой, ироизм, ироический* (старинные) и *герой, героизм, героический, Омир* (старинное) и *Гомер, омеопатия* (старинное) и *гомеопатия, оризонт* (старинное) и *горизонт, гелиотроп* и *элиотроп* (старинное), *гетерия, гетерист* и *этерия, этерист* (старинные) и др.

Здесь же укажем старинные *физиогномия* (греческое, через французское посредство la physiognomie), *физиогномист* при современных упрощенных (вероятно, под влиянием *астрономия, экономия* и под.) *физиономия, физиономист*.

Там, где чужое письмо расходится со своим произношением, для нас возникает трудный вопрос, что передавать на письме у нас: выговор слова или его орфографию? Так, в литературном языке имеем *эксплуатация, эксплуатировать* (по произношению) и *эксплоатация, эксплоатировать* (ближе к французскому письму); при *драпри, Токвиль* (по произношению) имеем и орфографические *Токевиль, драпери;* точно так же большинство пишут у нас *сентиментальный,* руководствуясь

французской орфографией; немногие, следуя произношению, пишут *сантиментальный* (сравните *сантим* при французском centime). Также при обычном немецком *штранд* (согласно с произношением) изредка встречаем и орфографическое *странд*.

67. Особые трудности возникают при заимствовании, когда в азбуке заимствованного народа нет букв для точной передачи соответствующих звуков; так, мы не имеем ни звуков, ни букв для немецкого *ö* и французского *u*, почему и передаем их приблизительно — то через *ю*, то через *и*: *Мюллер* (старое) и *Миллер*, *Нюренберг* и *Нирнберг* (старое), *кунстштюк* (чаще) и *кунстштик* (сокращенно *куншгик*), *кюммель* и *киммель*, *капюшон* и *капишон* (реже, но ближе к народному).

Хотя мы имеем звук, соответствующий французской и немецкой букве h (*г* в слове *бога*), но у нас нет для него буквы, так что немецкий и французские g и h мы передаем и читаем одинаково. Уже Ломоносов высказывал пожелание, чтобы в употребительных иностранных словах g и h смешивались в выговоре. Между тем мы и теперь слова Hugo, Heine, Hamburg и т. п. читаем и пишем неправильно, с русским *г* вместо иностранного h, причем, по замечанию акад. Корша, слово *гороскоп* может показаться скопищем гор, а столица Голландии не отличается от морской птицы. Впрочем, русское письмо и произношение в данном случае не вполне последовательно; так как h приближается также к звуку *х*, то последнее и пишется в некоторых словах: *Бетховен*, *Ховен*, *Хусс* и др.

68. Так как наше письмо иногда не указывает точно произношение иностранных слов, то некоторые из них слышатся у нас в неправильной форме. Например, говорят: *доктринёр*, *партнёр*, *репортёр* по образцу *актёр*, *гувернёр*, *контролёр*. Но в первых словах имеется звук *е*, совсем не приближающийся к нашему *ё*; их настоящая форма с *е*: *доктринер*, *партнер*, а *репо́ртер* имеет *е* неударяемое. <...>

70. При общепринятой теперь латинской форме *вулкан* встречается, особенно в старом употреблении, и французская *волкан*, откуда *волканический*.

При французской форме *сафир* имеем более употребительную немецкую *сапфир*.

Отметим еще колебания между формами *клоб* (старинное) и *клуб*, *лазорь* и *лазурь*, *ноль* и *нуль*, *номер* и *нумер*, заметив, что формы с *у*, то есть *клуб*, *лазурь*, *нуль*, *нумер*, теперь более приняты (некоторые, впрочем, отличают *номер* в смысле «*выпуск журнала*» от *нумер* в значении *комната в гостинице*»), а *клоб* совсем устарело.

И еще — конечно, вследствие различного происхождения, — в некоторых иностранных словах мы колеблемся в выборе *с* и *ш*, особенно в сочетании со следующим *т*: *снурок* и *шнурок* (чаще; сравните общепринятые: *шнур*, *шнуровать*), *спринцовка*, *спринцевать* и *шприцовка*, *шприцевать*, *пастет*, *пастетный* и (чаще) *паштет*, *паштетный*, *штиль* (старинное, так всегда у Ломоносова) и *стиль* (современное, согласно с французским), *стора* и *штора*. Слова *статский* и *штатский* определились в своей форме сообразно со значением: последнее употребляется обыкновенно в смысле невоенный («переменил военный костюм на *штатский*»); однако такое словоупотребление не

вполне последовательно; также нередко встречается *статская служба* (невоенная).

Слово *шкап* мы получили сначала, вероятно, из нижненемецких говоров; в таком виде утвердилось оно и в народе. Затем к нам пришло слово *шкаф* из верхненемецкого языка и привилось в образованном классе. И теперь еще обе формы твердо держатся в языке, и трудно установить, которая форма предпочитается употреблением. Грот рекомендует форму *шкап*, но современное употребление едва ли идет за ним. <...>

Близко к английскому источнику мы имеем *шкуна* и ближе к голландскому *шхуна*.

Старинное русское *калоша (колоша)*, более принятое в наше время, рекомендованное и Гротом, не вытеснило, однако, чуждой народному языку французской формы *галоша*. Некоторые колеблются и теперь между этими двумя формами. Так, у Куприна: «Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без *калош*» («Детские рассказы», 22). «Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких *галошах*» (24—25).

«Да пришли мне *калоши* с Михайлом» (П у ш к и н, Письмо к брату, 1824 г.). «Я на минуту остановился в передней, чтобы снять *калоши*» (Л е р м о н т о в, Княжна Мери). «В передней раздался стук *калош*» (Т у р г е н е в, Новь). «Константин, снимая *калоши*, прислушивался...» (Т о л с т о й, Анна Каренина, 113).

Форма *галстук* (русская переделка немецкой *галстух* — Halstuch), имеющая при себе и производную *галстучек*, усердно утверждается и распространяется нашей школой. Чисто немецкая форма *галстух* не только не рекомендуется Гротом, но даже совсем им не допускается и считается «неправильной». Однако в «правильности» ее не может быть сомнений, а употребление утверждено образцовыми писателями; упорно держится она и в наше время.

«Он был наряден, как жених, от *галстука* и двойной цепочки до лаковых ботинок» (Т о л с т о й, Анна Каренина, 468).

«Под истертым черным *галстухом* на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз» (П у ш к и н, Египетские ночи, изд. 1841 г., стр. 247). «Надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный *галстух*» (А к с а к о в, Воспоминания, 183). «Карл Иваныч... оправил перед зеркалом свой *галстух* и повел нас вниз» (Л. Т о л с т о й, Детство, изд. 1864 г., стр. 9). «Обломов всегда ходил дома без *галстуха*» (Г о н ч а р о в, Обломов, 9). «[Губернатор] с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой *галстух*» (Т у р г е н е в, Отцы и дети, изд. 1862, стр. 94).

71. Иногда колебания в форме иностранных слов происходят вследствие того, что при заимствованном слове возникает еще его русская переделка, которая тоже приобретает права на общее употребление. Например, имеем книжные *шпаклевать, шпаклевка* и народные *шпатлевать, шпатлевка*; имеем книжное, взятое с немецкого, *шпиковать* и народное *шпиговать*.

72. Колебания в форме иностранных слов происходят еще оттого, что у отдельных писателей встречаем попытки придавать чужлым

словам, уже утвердившимся в известной форме, вид, более соответствующий иностранному произношению. Так, Белинский, писавший обыкновенно: *водевиль, водевильчик, водевильный,* с 1839 г. пытается ввести более близкое к французскому произношение: *водвиль, водвильный, водвильчик.* У него же находим *апплодисман, рутиньер, трибюна, индюстриальный* — формы, более сближенные с французскими. Григорович употребляет чисто французское *аккомпаньеман*, а Гончаров — более близкое к французскому *аккомпоньемент* вместо общепринятого теперь *аккомпанемент.*

73. Во многих случаях очень трудно точно передать на чужом языке иностранное слово; из стремления к более точной передаче возникают иногда разные формы для одного и того же слова. Так, при общепринятом *джентльмен* встречаем еще *джентельмен*, при обыкновенном *лаццарони* имеем и *лазарони*, при обычном *гяур* есть и *джяур.*

74. Перейдем к некоторым случаям употребления иностранных слов в русском языке в связи с их правописанием.

После слогового *и* Грот рекомендовал употреблять э: *гиэна, гигиэна, диэта, клиэнт, пиэтист* и пр.; современное употребление дает чаще формы с *е*: *гигиена, гиена, диета, клиент, пиетист* и т. д.; также *геенна* (ад).

После гласных *о, у* обыкновенно употребляем э: *дуэль, дуэт, поэт, менуэт* и пр.

Иностранные слова, имеющие широкое *е* после согласной, как *тема, мер, проблема* и др., давно нами пишутся и произносятся с *е*. Уже Грот заметил, что переделывать их снова, чтобы приблизиться к французскому произношению, на *тэма, мэр,* как это видим иногда в современной печати, не следует. То же нужно сказать и о латинском *факсимиле*, которое иногда встречается в виде *факсимилэ.*

75. Заимствованные *сургуч, сурьма* иногда являются и с мягким *с*: *сюргуч, сюрьма*; однако литературному языку более свойственны первые формы.

76. Имея прилагательное *латинский,* с мягким *т*, мы должны бы и существительное употреблять в форме *латынь*; обыкновенно, однако, последнее встречается в обращении с твердым *т*, согласно народному произношению: *латынь, по-латыни.*

77. Сочетания *иа, ио, ие* в словах иностранных мы обыкновенно произносим как двусложные: *ариергард, аудиенция, баталион, биллион, билиард, бриллиант, вариант, вариация, империал, компанион, материал, миллиард, миллион, миниатюра, почталион* и др. Только в немногих словах утвердилось произношение с *ь* вместо *и*: *дьявол, дьякон, дьяк, итальянец, медальон, павильон, папильотка, пьеса, фамильярный*: их и следует употреблять в этой форме. Грот стремился и некоторые слова первой категории сблизить в форме с их французским источником, рекомендуя произносить и писать: *арьергард, батальон, бильярд, брильянт, компаньон, почтальон.* Подобные произношения, конечно, иногда слышатся в образованном обществе, но не так часто, чтобы им дать преимущество перед издавна утвердившимися формами с слоговым *и*. <...>

80. В заимствованных словах мы часто затрудняемся вопросом, одну или удвоенную согласную писать и говорить.

Прежде всего не следует удваивать согласную в словах, не имеющих удвоения в первоисточнике, что иногда встречается в нашем употреблении. Необходимо принять для следующих слов только формы: *дилетант, драма, Иларион, Илиада, импресарий, карикатура, литература, лотерея, пилигрим, привилегия, проблема, шулер.*

Затем в русском письме и произношении в словах более или менее давно заимствованных имеется ряд форм, в которых удвоение исчезло и не должно вводиться вновь; таковы слова: *адрес, амуниция, апелляция, аплодировать, ассесор, арест, афиша, барьер, грамота, канцелярия, карета, катар, команда, компрометировать, конкуренция, оказия, офицер, панихида, форейтор.*

В некоторых словах мы колеблемся между книжными формами с удвоением и народными без него: *аттака* и *атака, баккалавр* и *бакалавр, баттарея* и *батарея, каммергер* и *камергер, коммиссия* и *комисия, корридор* и *коридор, параффин* и *парафин, Парнасс* и *Парнас, троттуар* и *тротуар, Фаддей* и *Фадей.*

Во многих же словах удвоенная согласная сохраняется в письме и произношении. <...>

81. Удвоение гласных в письме уместно только там, где и в выговоре заимствованное слово имеет два отдельных гласных звука: *Аарон, Авраам, Исаак, Ваал, Лаокоон, пиит, геенна, Аа* (река в Курляндии), *Цеэ* (Zehe).

Не следовало бы передавать удвоение из чужого письма, если оно обозначает не двойную, а только протяжную (долгую) гласную. Поэтому было бы лучше в письме употреблять исключительно: *Ахен, Аргау, Гага, Валь, Трансваль, Шпре* и пр. (а не *Аахен, Гаага, Трансваааль* и под., вызывающие неправильное произношение с двумя гласными). <...>

83. Особого рода (не фонетические) изменения в иностранных словах происходят вследствие того, что в народной среде чужие слова сближаются с подходящими по звукам своими и под влиянием последних первоначальные звуки чужого слова подменяются звуками, взятыми из русских слов. Таким образом, латинское *високосный,* под влиянием *высоко*, переделано в *высокосный* <... >, *кацавейка* подпало влиянию слова *куцый* и является часто в форме *кацавейка*, греческое *клирос* отождествлено с *крылом* и превратилось в *крылос*, *маис* иногда является в виде *майс*, по влиянию слов вроде *май, майся,* в слове *приосаниться* чужой корень *сан* подменялся некогда своим *сам* и в языке явилось слово «*приосамиться*, слово *сироп* обратилось в *сыроп* под влиянием *сырой.*

Необходимо, впрочем, заметить, что хотя эти подвергшиеся «народной этимологии» слова и встречаются иногда у авторов, однако современный литературный язык предпочитает употреблять их в чистой форме: *високосный, кацавейка, клирос, маис, приосаниться* (народная форма этого слова теперь совсем не допускается), *сироп;* только *казовый* вытеснило первоначальную форму *хазовый,* и последняя теперь не встречается в обращении. <...>

85. Обыкновенно в иностранных словах книжный язык стремится удерживать их первоначальную форму. Так, в невзыскательном употреблении мы нередко встречаем формы *магнитизм, магнитизировать,* составленные нами под влиянием *магнит;* однако литературный язык одобряет данные слова только в той форме, какую указывает их первоисточник: *магнетизм* (франц. magnetisme), *магнетизировать* (нем. magnetisieren).

Впрочем, образованные под влиянием *экзамен* русские формы *экзаменовать, экзаменатор* более приняты, чем сближенные с латинским первоисточником формы *экзаминатор* (рекомендуется Гротом), *экзаминовать* (употреблялось в таком виде Гречем). При литературном *цензировать* (нем. zensieren) в печати встречается и *цензуровать* (русская переделка под влиянием *цензура).*

86. При образовании других иностранных глаголов мы не руководствуемся русскими звуковыми отношениями, но берем производные слова в той форме, какую они имеют в первоисточнике. Поэтому при *аннексия* имеем *аннектировать* (говорят и *аннексировать*), при *дезинфекция — дезинфицировать,* при *инспекция — инспектировать*, при *коллекция — коллектировать* (нем. kollektieren) и *коллекционировать* (франц. collectionner), при *синдикат — синдицировать*, при *фальсификация — фальсифицировать*, при *электрофикация — электрофицировать.*

При *претензия* имеем прилагательное *претенциозный*, откуда *претенциозность.*

87. Заметим, что иностранная форма сохраняется лучше в словах, редко употребляемых и недавно вошедших в обращение. В более старых прилагательных *апокалипсический, апоплексический, синтаксический* и под. держится эта русская форма. <...>

§ 15. Сложные слова

88. В сложении слов соединительные гласные *о* и *е* являются соответственно твердому или мягкому окончанию первой части сложения: при *сад, дом, путь, земля, медный, синий* имеем *садоводство, домоводство, путешествие, земледелие, медно-красный, синехвостка* и пр. Однако при *кровь* имеем *кровообращение, кровопролитие, кровоизлияние, кровопускание, кровотечение* и пр.; при *конь* имеем конокрадство (но *коневодство*), при *червь — червообразный, червогонный, червоточина,* при *честь — честолюбие,* при *шесть — шестопсалмие.* Соответственно старинному *дальный* имеем *дальнобойный*, а согласно теперешнему *дальний* имеем *дальневосточный.*

Формы *кровеобращение, кроветечение, кровеочистительный, червегонный, червеобразный* менее употребительны, но встречаются в литературном языке.

89. Современный литературный язык в слове *Новгород* склоняет только вторую часть сложения (*Новгорода, Новгороду* и пр.), а прилагательное употребляет без соединительной гласной (*новгородский*); в старом известны народные формы *новогородский* и *Новагорода, Новугороду* и т. д.

При современных *царьградский, Царьграда* имеем старые *цареградский, Цареграда*. <...>

90. В ряде слов основа первой части сложения берется то от существительного, то от прилагательного, так что получаются две формы одного и того же слова: *варшаво-венская* и *варшавско-венская* (железная дорога), *болгаро-турецкая* и *болгарско-турецкая, итало-турецкая* и *итальяно-турецкая* (война), *рязано-уральская* и *рязанско-уральская* (железная дорога), *с.-петербурго-приморская* и *с.-петербургско-приморская* (железная дорога), *кругоглазые* и *круглоглазые, цементобетонный* и *цементно-бетонный*.

Заметим: *взаимодействие, взаимоотношение*, а не *взаимноотношение, взаимнодействие*, как встречается иногда в просторечии.

91. При сложении *рукопожатье* имеем *рукожатье* (менее употребительное).

При старом и народном *солнопек* (от корня *солн*, который видим в *солнышко*) имеем подновленное *солнцепек* (менее употребительно), составленное под влиянием *солнце*. Сравните также *солноворот* и *солнцеворот*.

В старом языке была в большом употреблении форма *противу*, в современном обращается только *против*. В прежнем языке преобладали и отчасти дошли до нас сложения с первым словом: *противуположный, противуположность, противупоставить, противустать, противустоять*, даже *противуречие*; в современном языке господствуют сложения, связанные с формою *против: противоположный* (здесь и дальше *о* — соединительная гласная), *противоположность, противопоставить, противостоять, противостать, противоречие* и пр.; однако обыкновенно: *противугнилостное средство*.

При слове *между* имеем разного рода сложения: 1) без соединительной гласной: *междуведомственный, междукостный, междумускульный, междуреберный, междуначалие, междуцарствие*; 2) с соединительной гласной: *междоусобие, междоусобный*. Колеблемся в формах: *междоречие* и *междуречие*.

92. Там, где при сложении слов получаются два одинаковых слога, один может пропускаться: *противосставать* из *противовосставать* (устарелое), *сиворонок* (редко) и *сивоворонка, знаменосец* и *знаменоносец* (оба употребительны в современном языке, но последнее меньше). Впрочем, *знаменосец* можно считать сложением, подобным *времепровождение, времесчисление*.

93. Изредка встречаются также словоупотребления, в которых мы допускаем неправильности во второй части сложения. Таково, например, слово *салотопленный* (образовано под влиянием 1-го лица глагола *топить*) вместо *салотопенный* (*салотопенный завод* — академический Словарь). Заметим еще, что *слезотечение* есть невольное течение слез без плача, *слезоточение* есть проливание слез, плач.

94. В слове *полоумный* первая часть сложения, как и в *полорогий*, имеет значение *полый* (пустой); вследствие неправильного сближения с *пол* в значении «половина» (как мы видим, например, у Даля) некоторые придают этому слову форму *полуумный*, современным языком не допускаемую.

При общепринятом сложении *неудобоваримый* встречается в разговорном языке и неправильное *неудобосваримый*.

95. В следующих сложных словах мы имеем соединения, в которые вошла форма родительного падежа: *богадельня, сумасброд, сумасшедший, христарадничать*. Этим словам иногда напрасно придавали форму сложенных при посредстве соединительной гласной *о*: *богодельня* (для такой формы, впрочем, есть основание в славянском языке), *сумосброд, сумосшедший, христорадничать*.

Слова *сумасшедший, сумасшествие* в разговорном языке обыкновенно слышатся в упрощенной форме: *сумашедший, сумашествие*. Некоторые, между прочим Буслаев («Историческая грамматика», §80), допускали такую форму и в книжном языке.

96. Перестановка частей сложения встречается очень редко: *лизоблюд* и *блюдолиз* (обе формы встречаются в литературной речи).

97. В сложении числительных с прилагательными теперь в большем употреблении формы родительного падежа: *двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести-, ...сорока-* и т. д. (*двухклассный, трехлетний, четырехугольный, пятиаршинный, шестиэтажный, сорокалетний*, однако: *сороконожка, девяностолетний, столетний, тысячелетний*).

98. Однако при числительных *три* и *четыре* имеем в некоторых словах общепринятые образования с формами: *тре-, четыре-* (*трезубец, треножник, треугольник, треугольный, четырегранник, четыреугольник, четыреугольный* и др.).

В сложении с формою *четыре* обыкновенно находим слова у Гнедича: *четыребляшный, четырехколесный, четырехслойный*. «...»

100. Старинное сложение с *дву-* (форма двойственного числа) удержалось и теперь в значительном числе слов: *двуглавый, двугодичный, двугорбый, двугранный, двугривенный, двукопытный, двукратный, двуличный* и т. д. Однако часть таких образований вытеснена позднейшими с формою *двух-*; например, вместо прежних *двулетний, двумесячный* имеем теперь *двухлетний, двухмесячный*. Не потеряно еще старое *двуколёсный* (Пушкин, Современник, I, 24), но есть уже и новое *двухколёсный*.

ЧАСТИ РЕЧИ

§16. Образование существительных

101. В «Исторической грамматике» Буслаева читаем: «Некоторые слова допускают [суффиксы] *-ышь* и *-уш*; например, *солнышко* и *солнушко, перышко* и *перушко* и др.; прежде *-уш-* чаще употреблялось и в книжном языке, а теперь выходит из обычая; но в разговорном и особенно в областном доселе держится крепко» (§63). Теперь можно сказать, что образования с суффиксом *-уш-* совершенно изгнаны из книжного языка, хотя в разговоре слышатся не только в областных говорах, но и в образованной речи. У писателей старых поколений немало примеров с *-уш-* в словах среднего рода и на письме. «...»

Но от слов мужского рода уменьшительные образуются на *-ушко* или *-ушка*: *соловушко* (архаичное) и *соловушка* (новое), *воробушко* и *воробушка* (сравните старинное и народное *батюшко* и литературное

-ятюшка) и т. п. Смешение окончаний среднего и мужского рода, как в следующем примере, не допускается.

«Андрей один, как *воробышко*, забился в темный угол» (Г р и г о р о в и ч, Светлое христово воскресенье, 265).

Сравните более употребительную форму *воробушек*: «Самый маленький *воробушек* лежит мертвый» (Л. Т о л с т о й, Как тетушка рассказывала...).

Краюшек вместо *краешек* — областное южновеликорусское произношение. Также и *мякуш, мякушек* вместо *мякиш, мякишек*.

От *камень* имеем *камешек* (правильно образованная, ср. *кремень — кремешек*, общепринятая форма), *камушек* (форма собственно, южновеликорусская, но проникшая и в литературный язык; заметьте колебания между литературным и областным у Аксакова) и *камышек* (редкая форма).

«Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть *камушков*, широко расстилались перед нами» (С. А к с а к о в, Детские годы Багрова-внука, 29). «Отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами *камешков*» (там же). «...Толкая ногой *камешки* в воду...» (Г о н ч а р о в, Обломов, 196).

102. Говорят и пишут с суффиксом *-як: лозняк, сосняк, ольшняк*, но у Тургенева и Фета, очевидно, по южному наречию: *лозник, сосенник, ольшаник, липник*. Однако и литературный язык допускает колебания между *березник* и *березняк*. «...»

103. Народное *постеля* (откуда: *в постеле*), считаемое теперь нелитературным, вполне допускалось в языке старых писателей, от которых перешло и к более новым.

Жуковский употребляет слово *лешай* как существительное на *-ай*, подобно *оратай, ходатай, вожатай* (при *вожатый*) и др. «Два *лешая* дерутся на дороге, Кусаются, брыкаются...» (Сказка об Иване Царевиче, Стихотворения, т. VI, изд. 1849 г., стр. 247). «Поехал, глупым *лешаям* оставив На произвол, начать ли снова драку Иль помириться» (там же, стр. 248).

104. Старый язык охотно употреблял существительные на *-ство*, которые у нас теперь уже не обращаются. Остатки их мы находим еще у Крылова и Пушкина.

«В Москву переведен через мое *содейство*» (Г р и б о е д о в, Горе от ума, д. I, явл. 4). «Безумный плачет лишь от *бедства*, а умный ищет средства, Как делом горю пособить» (К р ы л о в, Соловьи). «Везде разметаны *ее свирепства* жертвы» (К р ы л о в, Мор зверей). «Игнатий Некрасов успел привести ее [мысль] в *действо*» (П у ш к и н, История Пугачевского бунта, II).

Обратно, вместо нынешних *беспокойство, довольство, чувство*, имеем старинные *беспокойствие* (изредка встречается и теперь), *довольствие* (теперь употребляется только в смысле «продовольствие»), *чувствие*. Также изредка употребляем и старинное *странствие*, обыкновенно же — *странствование*.

105. Новые книжные слова на *-ость*, означающие свойства того или другого качества, не являются произведением новейших писателей, как это иногда заявляют, но давно уже понемногу входят в литератур-

ный язык. Еще у Ломоносова есть *желтость, кислость*, у Сумарокова — *жаркость*, у Державина — *лишность, людскость* (слово, распространенное тогда и после), *отличность, прямовидность* (перспектива), *чертность*, у Крылова — *зеленость* (слово, известное и раньше), у Гоголя — *красивость*, у Гоголя — *земность*, у Лермонтова — *каменность, упрямость*, у Тютчева — *светлость, тихость*.

106. При обычных существительных *броня, греча, добыча, конопля, круча, ровня, суша, яблоня* мы имеем и менее употребительные *бронь, гречь* (южновеликорусское), *добычь, конопель* (южновеликорусское), *кручь* (то же), *ровень, сушь, яблонь*. Обыкновенно: *кудель*, но есть и *куделя* (народное). При *герань* некоторые употребляют и *герания*. Теперь употребляем только *роль*; у старых авторов часто встречается *роля* (польское rola). <...>

§17. Склонение существительных мужского рода

111. В именах существительных мужского рода старинный русский язык и народный употребляют в родительном падеже окончание *-у* гораздо чаще, чем оно употребляется теперь. Вследствие этого у образцовых писателей формы на *-у* сравнительно обильны, но значительная часть их не считается обязательной для современного языка и может даже не допускается им. При этом слова, имеющие в родительном падеже *-у*, большею частью допускают и окончание *-а*. Случаи употребления и стилистическое отношение двух этих форм верно определил уже Ломоносов, рекомендовавший для славянских, книжных, отвлеченных значений формы на *-а*, а для разговорных — формы на *-у*, указавший формы на *-у* для собирательно-вещественных, разделяемых по числу или весу: *анису, бархату, бисеру, воску, квасу, чесноку, льду*; для некоторых имен, означающих место и время: *базару, берегу, верху, низу, веку, лугу* и др. («Грамматика», §172—179).

Так как в современном употреблении правильные формы родительного на *-у* нередко подменяются новыми мнимограмотными формами на *-а*, то следует рекомендовать формы родительного на *-у* в выражениях наподобие: *очень много анису, покажите атласу, купил бархату, пришлите бисеру, принес винограду, мешок воску, много воздуху, в рае много гною, купи гороху, принеси дегтю, много дыму, насыпали сильно, нитка жемчугу, наиграть жиру, подай изюму, принес картофелю, выпил стакан квасу, налил керосину, достал пряжу, сварил немного клею, дайте коньяку, насеяли клеверу «...»*

112. К этому разряду приближаются такие отвлеченные имена существительные, которые изменяются количественно, обозначая меру или степень предмета или качества. Таковы: *блеск, визг, вес, жар, зной, крик, лоск, пыл, рост, свет, сбор, спор, срок, слух, страх, толк, ход, шаг, штраф, шум* и другие односложные слова, не переносящие ударения на окончание. Сюда же относятся имеющие более одного слога: *гонор, голос, доход, задаток, задор, запах, испуг, оброк, отдых, откуп, покой, прибыток, промах, простор, размах, товар, убыток, холод, шорох, эгоизм, ясак* и некоторые другие. Здесь, однако, всегда

допускались и формы на *-а*, а в современном языке они несомненно преобладают.

113. К этой же группе надо отнести выражения: *что есть духу, только и разговору*; *только и толку* и под. <...>

120. Редкие случаи родительного с окончанием *-у* после предлогов *для* и *у* нужно считать народными и старинными оборотами, которые современному литературному языку уже не свойственны.

«Аркадий... подозвав возвратившуюся Фифи, стал для *контенансу*... гладить ее по голове» (Т у р г е н е в, Отцы и дети, 129). «Взор искрой засверкал, бьет у *рту* пена клубом [у льва]» (К р ы л о в, Лев и комар (вариант). «У *дому* ждут ломовые извозчики...» (Н е к р а с о в, Дешевая покупка). <...>

124. Если при существительном стоит определение, то вместо формы родительного на *-у* мы часто вилим форму на *-а*. В таких случаях привычная форма родительного в именах прилагательных, например *чистого*, вызывает привычную форму имени существительного, например *льда*; форму же *льду* мы привыкли связывать с прилагательным *чистому*.

«Сколько капитал этот мог приносить в год *доходу*, сколько она могла из этого *дохода* тратить...» (Щ е д р и н, Господа Головлевы, 203). «Перелинявши, червяки сильнее стали есть, и *листу* пошло еще больше» (Т о л с т о й, Шелковичный червь). «Я собрал их [червяков] и положил им свежего *листа*, но они отворачивали головы от листа и ползли прочь» (там же).

125. Впрочем, здесь мы не имеем дела с твердо установленным в языке правилом, а лишь с некоторым направлением нашего грамматического сознания и привычек речи. Употребляющие формы родительного на *-а* при определении часто пользуются ими и без него, а те, которые привыкли пользоваться формами на *-у*, употребляют их и после определения. «...»

128. В существительных вещественных и собирательных окончание *-а* употребляется лишь в тех случаях, когда нет значения делимости и количества: *вкус чая, после чая, белизна снега, дороговизна сахара, вред табака, бутылка для уксуса, болезнь мозга, хуже яда, истребление леса, воля народа* и т. п.

«В них сладость *меда*, благовонье розы» (Я з ы к о в, Странный случай). «Глубокое озеро, дно которого состояло из белого *песка*» (А к с а к о в, Семейная хроника, 26). «Кадки с водою и ящики для *песка*...» (К у п р и н, Детские рассказы, 79). «И соли от *сахара* не отличаю» (А н д р е е в, Жизнь человека, 172). «После *чая* ляжет тотчас на диван» (Г о н ч а р о в, Обломов, 112).

129. Однако отступления от этого правила так часты, что примеров на его нарушение можно собрать не меньше, чем на его соблюдение. К отступлению от данного правила имеется много оснований: 1) слабая грамматическая школа и неразвитое чутье языка у части пишущих и говорящих, 2) широкое распространение некоторых часто встречающихся форм на *-у* (*чаю, табаку, песку*) во все категории родительного падежа, 3) трудность отличить в некоторых случаях разделительное значение от других, 4) влияние на литературный язык старинного и

народного, имеющих гораздо больше форм на *-у*, чем современный литературный язык.

130. И относительно невещественных названий немало случаев в языке писателей, когда колебания между двумя формами родительного обнаруживаются почти в одинаковых условиях. Например:

«Поцеловав и благословив четырех малолетних дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей он считал ни за что: «что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из *дому*...» (А к с а к о в, Семейная хроника, 12). Там же: «убежали из *дома*» (30). «Сон пропал, *аппетиту* не стало» (Ч и р и к о в, Как что случилось, 125. Разговорное). «В этот день он не обедал — совсем не было *аппетита*» (Ч и р и к о в, там же, 139—140. Слова автора). «Крови не будет уже *ходу* по телу» (Л. Т о л с т о й, Яблони). «Соку уже не было *хода* из кореньев в сучья, листья и цветы» (Л. Т о л с т о й, там же).

Если Аксаков и Чириков в приведенных примерах различают формы на *-у* и *-а* тем, что первые употребляют в словах действующих лиц, а вторые в речи автора, то Толстой употребляет в данном случае две формы как совершенно равные одна другой.

131. Писатели уже давно не держатся строго в круге слов, употребляющихся с окончанием *-у*, как это можно видеть из следующих примеров, в которых нужно видеть недочеты языка.

«Уже нет *воска* и фитиль догорает» (А н д р е е в, Жизнь человека, 190). «Приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и *меда*...» (Л е р м о н т о в, Бэла, 184). « — В первый раз *от рода*, — отвечал он, самодовольно улыбаясь» (Л е р м о н т о в, Фаталист, 151). « — Не хотите ли подбавить *рома*? — сказал я моему собеседнику» (Л е р м о н т о в, Бэла, 173). «Дали [чаю] совсем без *сахара*» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, 11, 177). <...>

134. В именах мужского рода единственного числа винительный падеж сходен с именительным, если предмет неодушевленный *(вижу дом, сад)*, и с родительным, если предмет одушевленный (*вижу отца и брата*).

Это правило, однако, не соблюдается строго тогда, когда название одушевленного предмета относится к неодушевленному: *рисую двуглавого орла, делаю бумажного змея, изваял Зевса* (статую), *смотрю в телескоп на Юпитера, читаю «Обломова», выписываю «Учителя»* (журнал), *получил Станислава* (орден) и т. п.; но также: *пускаю змей, выписываю «Киевлянин», читаю «Народный учитель»* и др. «...»

136. При этом отвлеченные на *-тель: числитель, знаменатель, делитель, множитель* — употребляются как одушевленные: *помножить числителя на знаменателя, найти общего наибольшего делителя* и т. п. «...»

140. При числительных *две, три, четыре* винительный падеж может иметь форму именительного, когда говорится об одушевленных предметах особенно женского рода: *украл две лошади, отпущено провизии на тридцать три женщины, взял на воспитание четыре девочки*. Однако обороты с *двух, трех, четырех* лучше. «...»

143. Мы видим, что в данном круге слов окончание *-у* является гос-

подствующим (исключения оговорены нами). Колебания между формами на *-у* и на *-е* в большинстве случаев не являются произвольными, но зависят от смысла и характера речи.

В выражениях, принявших значение наречий (*на скаку, наяву, на юру* и пр.), возможно только окончание *-у*. <...>

Формы на *-у* вообще имеют значение места и в предложении являются обстоятельством по вопросу *где*, формы на *-е* имеют значение дополнений и отвечают на вопросы *в чем, на чем*. Поэтому мы говорим: «Скот стоит на подножном *корму*», но: «Зимой я разорился на *корме* скота»; «Трава *в лугу* еще не скошена», но: «Он хочет купить пашню, а *в луге* не нуждается»; «Живет *в лесу*», но: «Знает толк *в лесе*»; «Был *в отпуску*», но: «*В отпуске* ему отказали»; «Завяз *в снегу*», но: «*В снеге* у нас нет недостатка»; «Купил сено *в торгу*», но: «*В торге* этом он не принимал никакого участия»; «Сижу *в углу*», но: «Сын не откажет матери *в угле* и хлебе».

Некоторое, хотя очень нерешительно, влияние на употребление формы предложного падежа имеет определение; именно определяемые формы чаще имеют окончание *-е*, чем *-у*. Мы употребляем, например: *на берегу* и *на самом береге*; *на ветру* и *на сквозном ветре*; *в году* и *в прошлом годе*; *на лбу, на горячем лбу* и *в чистом холодном лбе* (два определения вызвали форму на *-е*); *в порту* и *в военном порте*; *на пруду и на этом-то пруде; в саду и в страшном саде; на суку* и *на том самом суке; в торгу* и *в этом торге; в углу* и *в своем угле*. <...>

Наконец, формы на *-у* и *-е* связаны с ударением слов. Формы на *-у* мало проникли в такие слова, которые имеют при склонении ударение на окончании (нельзя сказать: *на столу́, в кабаку́, в рукаву́, в снопу́, на двору́, на суду́* и т. п.), а также и в те, которые сохраняют везде ударение именительного падежа (невозможны формы: *на сту́лу, в сара́ю, в около́тку, в уча́стку, на база́ру* и т. д.). Таким образом, предложный на *-у* всего чаще является у слов, в которых при склонении ударение передвигается, начиная с именительного или родительного падежа множественного числа:

1) зоб — зо́ба — зобы́ — в зобу́, шкап — шка́па — шка́пы — в шкапу́, бал — ба́ла — балы́ — на балу́, вал — ва́ла — валы́ — на валу́, пол—по́ла—полы́—на полу́, пир—пи́ра—пиры́—на пиру́ и т.п.;

2) род — ро́да — родо́в — в роду́, зуб — зу́ба — зубо́в — на зубу́, год — го́да — годов — в году́ и пр.

Так как в литературном языке многие слова не отличаются устойчивостью в ударении падежных форм, то вместе с колебаниями в ударении является раздвоение и в употреблении форм предложного падежа. <...>

В некоторых словах современное употребление колеблется между двумя формами, не отдавая предпочтения ни той, ни другой. Говорят: *на балу* и *на бале* (реже), *на бережку* и *на бережке, в быту* и *в быте, на вороту* и *на вороте, на ветру* и *на ветре, в гробу* и *в гробе, в жиру* и *в жире, в квасу* и *в квасе, в кругу* и *в круге, во мху* и *в мохе, на мыску* и *на мыске, на острову* и *на острове, в отпуску* и *в отпуске, в пруду* и *в пруде, в уголку* и *в уголке, в узлу* и *в узле, в хлеву* и *в хлеве, в холоду* и *в холоде, в цвету* и *в цвете* (в смысле физическом), *в чаю* и *в чае, в чану* и

в чане, в шагу и *в шаге, в шару* и *в шаре, в шкафу* и *в шкафе*. Ясное дело, что в подобных случаях нам всего удобнее держаться такого словоупотребления, которое мы уже усвоили по привычке.

В ряде случаев употребляем обыкновенно или же исключительно формы на *-у*: *в бою, на боку, на борту, в бреду, на валу, в возу, на Дону, на жару, в жару, в клею, в Клину, в Крыму, в ладу, во льду, на лбу, на лугу, в лесу, в меду, в мозгу, на мосту, в мелу, на меху, в носу, в пару, на пиру, на плоту, в плену, в полку, на полу, в порту, в пуху, в пылу, в раю, на ранту, во рту, в саду, на смотру, в сору, в спирту, в стогу, в строю, на току, в тылу, в углу, в чаду*.

Реже случаи, когда мы из двух форм предпочитаем предложенный на *-е*: *на коле, в кусте, в мире, на неводе, на острове, на шесте, в шуме*. (Другие случаи оговорены раньше.)

144. В современном литературном языке следующие формы существительных мужского рода в именительном (и винительном) падеже множественного числа имеют окончания *-а, -я* вместо *-ы, -и*: *адреса, альта, аптекаря, асессора, баса, бензеля, берега (брега), бока, борта, боцмана, буфера, бега, векселя, вензеля, вечера, воза, волоса, вороха, веера, века, ветра* (редко), *глаза, года, голоса, города, грифеля, гроба, директора, дисканта, дома, доктора, дупеля, дьякона, егеря, желоба, жемчуга, жернова, закрома, инспектора, катера, кивера, кителя, колера, колокола, консула, конюха, короба, корпуса, корректора, края, крейсера, кренделя, кузова, купола, кучера, леера, лектора* (редко), *лиселя, лихтера, лоцмана, луга, лекаря, леса, маклера, мастера, невода, норота* (при *норот*), *номера* и *нумера общлага, окорока, округа, омута, оратора* (очень редко), *ордена, ордера, острова, откупа, отпуска; офицера, паруса, паспорта, перепела, писаря, повара, погреба, пойнтера, полога, попечителя* (редко), *порта, потроха, поезда, пояса, пристава, прииска, провода, промысла, профессора, раза, редактора, ректора, рога, рукава, слесаря, слога, служителя, снега, сорта, стога, сторожа, стрепета, струга, счета, суда* (им. ед. теперь *судно*, в древнем языке *суд*, которое видим в *сосуд* и *судок*), *тенора, терема, тетерева, тока, тома, тона, тополя, торбаса, тормоза, улья* (редко), *учителя (законоучителя), фактора, фельдфебеля, фельдшера, фельдъегеря, флигеля, флюгера, холода, хлева, хутора, цензора* (стар. *цесора*), *циркуля, черепа, шафера, шелка, шенкеля, шкипера, шомпола, штемпеля, штурмана, шулера, щеголя, юнкера, якоря, ястреба*.

Окончание *-а* всегда соединяется с ударением. Оно может стоять только в словах с подвижным ударением, не переносящих ударения в родительном падеже единственного числа и переносящих во множественном: *бе́рег — с бе́рега — эти берега́*, но: *ку́ст — куста́ — кусты́* (исключаются: *общлага́, рукава́, хлева́*).

Таким образом, употребление форм именительного падежа множественного числа на *-а* (*-я*) и на *-ы* (*-и*) связывается еще с различной акцентовкой форм множественного числа. Первые формы имеют ударения на окончании слова (*острова́ — острово́в — острова́м — острова́ми — об островах*), вторые — на основе (*ку́полы — ку́полов — ку́полам — о ку́полах*). Это надо иметь в виду и при наших

колебаниях и затруднениях в выборе форм на *-ы* и на *-а*. Мы предпочитаем формы: *консулы, крейсеры, мичманы, редакторы, офицеры, порты, прииски, попечители, ректоры, лекторы, промыслы, факторы, соколы,* потому что обыкновенно употребляем их с ударением на основе: *ми́чманов, офице́ров, попечи́телей, ле́кторов, фа́кторов* и т. д., но для тех, кому привычны произношения с ударением на окончании: *мичма́нов, офицеро́в, попечителе́й, ректоро́в, лекторо́в, корректоро́в, факторо́в,* естественно и употребление форм на *-а* от этих слов: *мичмана́, офицера́, попечителя́, ректора́, лектора́, корректора́, фактора́, сокола́.* Мы не допускаем формы *оратора́*, между прочим, и потому, что не терпим произношения: *ораторо́в, ораторам* и пр.

145. В немногих случаях формы на *-ы, -и* и *-а* отличаются по значению: *мехи́* (кузнечные или сосуды) и *меха́* (шкуры зверей), *о́бразы* (воображаемые лица изображения) и *образа́* (иконы), *хле́бы* (печеные) и *хлеба́* (хлебные растения), *цветы́* (растения) и *цвета́* (краски), *по́воды* (побуждения, основания: «*поводы* к совершению поступка») и *повода́* (поводья: «Тут рыцарь прыг в седло и бросил *повода*» (К р ы л о в, Рыцарь), *по́ясы* (географические) и *пояса́* (для того, чтобы подпоясываться), *о́рдены* (рыцарские и монашеские общества) и *ордена́* (знаки отличия). <...>

Впрочем, мы иногда встречаем у авторов *меха* вместо *мехи*. Колеблемся также в выражении: «поступить на *хле́бы*» (северное) и «поступить на *хлеба́* к кому» (южное). <...>

146. Употребление в большинстве случаев давно узаконило приведенные выше формы с окончанием *-а* (*-я*) вместо *-ы*(*-и*) в именительном падеже множественного числа имен мужского рода. Относительно редких словоупотреблений мы уже сделали необходимые оговорки. Если взять только самое близкое к нам время, то мы увидим полное господство в языке приведенных выше форм на *-а*. Однако они входили в наш литературный язык постепенно, и если рассматривать его за более продолжительный период времени, то мы увидим в нем много примеров широкого распространения исчезнувших ныне или исчезающих на наших глазах старых форм на *-ы, -и*. Мы и теперь еще видим часто колебание между старыми и новыми формами: *адресы* и *адреса, возы* и *воза, вееры* и *веера, годы* и *года, гробы* и *гроба, директоры* и *директора, дупели* и *дупеля, дьяконы* и *дьякона, егери* и *егеря, инспекторы* и *инспектора, конюхи* и *конюха, желобы* и *желоба, жемчуги* и *жемчуга, кренделя* и *кренделя, жерновы* и *жернова, закромы* и *закрома, коростели* и *коростеля, лоцманы* и *лоцмана, омуты* и *омута, округи* и *округа, офицеры* и *офицера* (реже), *пекари* и *пекаря, паспорты* и *паспорта, порты* и *порта, приставы* и *пристава, прииски* и *прииска, проводы* и *провода, профессоры* и *профессора, слоги* и *слога, служители* и *служителя, соболи* и *соболя, стоги* и *стога, сорты* и *сорта, счеты* и *счета, томы* и *тома, тоны* и *тона, тополи* и *тополя, тормозы* и *тормоза, фельдфебели* и *фельдфебеля, хлевы* и *хлева, шелки* и *шелка* (реже), *щеголи* и *щеголя* и др. Возникает вопрос, каких форм нам держаться в употреблении? Мы видим вообще поступательное движение и победу новых форм с *-а, -я* над формами с *-ы, -и*, и это дает нам основание смело держаться новых форм, если мы усвоили их

употребление. Ведь и формы *века, дома, края, паруса, писаря, пояса, учителя, рога, снега* лет сто тому назад должны были казаться вульгарными, малограмотными.

147. Формы, живущие в современном языке, мы уже перечисляли; оговорим те из встречающихся у старых писателей, которые вышли из обращения или заметно устарели: *векселя, веки, домы, краи, лекари, парусы, писари, поезды, поясы, роги, снеги, сторожи, учители.*

Остается еще назвать несколько старых форм, которые в современном употреблении несомненно господствуют над новыми: *волосы, консулы, попечители, розы*; сюда же, пожалуй, можно отнести и форму *офицеры*.

В общем наиболее стойко окончание *-а* в именах парных: *берега, бока, глаза, рога, рукава*. Здесь сохранилась древняя форма двойственного числа.

Затем немалое число форм дают иностранные слова, особенно с неударяемыми окончаниями *-ер, -ор, -ель*.

148. Интересы замечания о склонении и формы склонения некоторых слов именительного падежа мужского рода у Пушкина.

Пушкин склонял *татаре, татар*, как *бояре, бояр* («Критические заметки», 127): «*Татаре* тщеславятся этим скрыпом...» («Путешествие в Арзрум», «Современник», I, 24). «*Татаре* наши окружали их раненых...» (там же, 62).

Именительный множественного *бусурмане* у него образован от *бусурманин*: «*Бусурмане* на короля наскочили» («Видение короля»).

Пушкин склонял *цыганы, цыганов*, как *истуканы, болваны, -ов* («Критические заметки», 127). Такого словоупотребления держался и Буслаев, замечавший: «Форма *цыгане* вместо *цыганы* ошибочна, потому что единственное число *цыган* не оканчивается на *-ин*» («Историческая грамматика», §96). Встречается оно и теперь: «Встречал я посреди степей, Над рубежами древних станов, Телеги мирные *цыганов*» (П у ш к и н, Цыганы. Эпилог). «Шуткины были смуглые, черноволосые, как *цыганы*» (С о л о г у б, В толпе, 118).

Вместо *болгарин, молдаванин, мусульманин* у Пушкина находим, согласно с народным языком, *булгар, молдаван, мусульман*: «Кирджали был родом *булгар*» («Кирджали»); (сравните у Батюшкова: «Меч сверкает в руке *болгара*» — «Предслава и Добрыня», 286; «Ненавистный *болгар*, жених ее» — Там же, 287). «Где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин, и грек, и *молдаван* тяжелый» («Из путешествия Онегина»). «Где, в гаремах наслаждаясь, Дни проводит *мусульман*» («Талисман»). «В Юрзуфе бедный *мусульман* Недавно жил...» (черновые наброски).

В таком виде в разговорном языке юга России слово это дошло до наших дней: «Ты поп, я *мусульман*» (слова татарина, хорошо говорящего по-русски) (Ч е х о в, Дуэль, 117).

Отметим еще встречающееся у Лермонтова *чечен* (теперь обыкновенно: *чеченец*): «Сидел *чечен* однажды предо мною» («Измаил-Бей», I; 4). «Злой *чечен* ползет на берег» («Казачья колыбельная песня»).

Теперь мы имеем словоупотребление: *татарин — татары,*

басурманин — басурмане («Чему смеются *басурмане*?» — П у ш к и н, (Гробовщик) и *басурман — басурманы* («Вот затрещали барабаны — И отступили *басурманы*» — Л е р м о н т о в, Бородино), *цыганы* и *цыгане* (чаще), *молдаванин — молдаване* («Был у меня муж, *молдаванин*» — М. Г о р ь к и й, Старуха Изергиль, 130); «Ночью *молдаване* тихо пели свои молитвы» («Русские ведомости», 1913, № 28), *мусульманин — мусульмане* («*Мусульмане* готовы на всякие жертвы» — «Новое время», 28 июля 1914 г), *молоканин — молокане;* также: *чеченец — чеченцы.*

При *болгарин* имеем *болгары — болгар* («А *болгары* — народ расчетливый» — «Биржевые ведомости», 25 августа 1914 г., № 14333); «Воззвание *болгар*» («Русское слово», 12 августа 1914 г.). Здесь соединились падежные формы разных слов: *болгарин—болгаре* (в современном языке обыкновенно не употребляется) — *болгар* и *болгар* старинное — *болгары — болгаров* (старинное). <...>

Во множественном числе при форме *барин* употребляется другое слово — *господа*; формы *баре* и *бары* теперь имеются только в народном языке. <...>

Боярин у поэтов может иметь форму *бояры*, взятую из разговорного языка. <...>

149. В именах молодых животных на *-енок* именительный множественного числа обыкновенно оканчивается на *-ята*: *жеребенок — жеребята, медвежонок — медвежата, мышонок — мышата, крысенок — крысята, ягненок — ягнята, поросенок — поросята, котенок — котята, теленок — телята, цыпленок — цыплята* и т. п.

При *ребенок* в смысле «младенец, дитя» множественное обыкновенно *дети* (другое слово): «Мать получает пособие на *ребенка*»; «Мать получает пособие на *детей*».

В старых грамматиках указываются для некоторых слов формы множественного числа на *-и: гусенки, цыпленки, медвежонки.* Современный литературный язык таких форм не допускает. Редки они и у авторов. Только у Гоголя, в устах приятной дамы, находим совершенно необычные *ребенки* («Вся деревня сбежалась, *ребенки* плачут, все кричат, никто никого не понимает» — «Мертвые души», III, 183) и редкое *котенки*, отчасти объясняемое особым, непрямым значением слова («Шея его... казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых *котенков,* болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы» — «Шинель»). У Фонвизина встречаем *цыпленков* («Весь наш стол состоял из двух не изжаренных, а сожженных *цыпленков*» — Письмо из Ниренберга 29 августа 1784 г.), но лишь в сочетании с *двух.* Это сочетание нужно сопоставить с обычными: *два цыпленка, два утенка, два гусенка, два медвежонка,* по влиянию которых могут получаться и другие падежные окончания.

При *щенок* имеем *щенки* («Вы, *щенки*, за мной ступайте!» (П у ш к и н, Утопленник); здесь *щенки* в приложении к детям) и *щенята* (от предполагаемого *щененок*; пример на форму множественного числа см. выше). «Они кувыркаются и визжат от радости, как *щенки* на солнце» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, II, гл. 2).

Опенок во множественном числе обыкновенно: *опенки*.

При формах на *-ята* есть ласкательные на *-ятки, -яточки, -енятки, -еняточки*. <...>

Слова *бесенок, чертенок, жиденок* имеют обыкновенную форму множественного числа на *-енята: бесенята, чертенята, жиденята* (как бы от *бесененок* и пр.). При *лисята* имеем еще *лисенята*, при *волчата* встречается *волченята* (реже). У Гоголя в «Тарасе Бульбе» встречаем также *жиденки: куча жиденков, двое жиденков*. При *внук* имеем *внуки* и *внучата* (последнее от употребляемой теперь только в народном языке формы *внученок*).

150. Родительный падеж множественного числа, равный основе (древняя форма), вместо обычного *-ов* имеют в современном литературном языке следующие слова: *глаз, волос* (старинное *волосов*), *сапог* (реже: *сапогов*), *чулок* (реже: *чулков*), *брелок, погон, аршин, алтын, раз, гренадер* (и *гренадеров*), *гусар* (и *гусаров*), *драгун, кирасир, сапер, улан, бахтиар, кадет* (и *кадетов*), *гардемарин* (и *гардемаринов*), *рекрут* (и *рекрутов*), *солдат* (старинное *солдатов*), *башкир, киргиз* (и *киргизов*), *монгол* (чаще: *монголов*), *могикан, тунгус* (и *тунгусов*), *старожил* (и *старожилов*), *человек* (у старых, особенно у церковных писателей часто: *человеков*).

Укажем еще устарелые: *аромат, недуг, нерв, акр, стерлинг, пуд, фут* (изредка встречается и теперь), *матрос, пистолет, зуб, рог*.

Родительный множественного, равный основе, имеют также имена на *-ин*, опускающие во множественном числе суффикс *-ин*: *дворянин — дворян, мещанин — мещане — мещан, крестьянин — крестьяне — крестьян, гражданин — граждане — граждан, славянин — славяне — славян* (у старых авторов есть и *славянов*), *армянин — армяне — армян* и т. д. <...>

Отдельно нужно сказать о родительных множественного, не имеющих окончания: *бар, господ, цыган, грузин, осетин, сарацин*, у которых именительный множественного не подходит к предыдущему типу.

Пушкин некогда задавал и разрешал вопрос: «Как надобно писать: *турков* или *турок?* То и другое правильно. *Турок* и *турка* равно употребительны» («Критические заметки»). Сам он употреблял обе данные формы. Теперь мы не допускаем уже формы *турков*, не употребляем и *турка*, так что и здесь в нашем языке объединились в одно склонение два разных слова: *этот турок — много турок* (форма, полученная от женского рода, но для нас связанная с мужским).

151. Винительный падеж множественного числа имен предметов одушевленных во всех родах сходен с падежом родительным, а предметов неодушевленных — с именительным: *знаю отцов, матерей и детей; вижу кресты церквей, крыши домов и деревья*.

Имена *рябчик, рак, омар, устрица* и пр., употребленные в смысле кушанья, принимаются нами как предметы одушевленные: *изжарили рябчика, съел рака, омара, устрицу; люблю рябчиков, раков, омаров* («А *омаров* ты любишь?» — А н д р е е в, Жизнь человека, 143), *устриц* («А ты разве ешь *устриц*?» — Ч е х о в, Устрицы).

Названия предметов одушевленных, приложенные к неодушевленным, употребляются как последние. <...>

Уже Греч указал, что «имена собирательные всегда употребляются как наименования неодушевленных, хотя бы составлены были из предметов одушевленных. По этому правилу, например, должно говорить: «Цесарь покорил многие воинственные *народы*», а не «многих воинственных *народов*», и «разбил *войска* неприятельские», а не «*войск* неприятельских» («Чтения о русском языке», I, 215).

Поэтому следует употреблять: «народ, *который* люблю, а не: «народ, *которого* люблю», и под.

Имена предметов отвлеченных могут употребляться как одушевленные, если они означают людей. <...>

Сравните более употребительные: «он нашел себе достойный *образец*»: «превратился в *призрак*»; «похож на эти *творения*» и т. д. «Они не были похожи на эти презренные и жалкие *творения*» (Г о г о л ь, Старосветские помещики).

Слова *власти* и *лица* в значении людей обыкновенно употребляются как названия предметов неодушевленных («опирается на светские *власти*», «называю такие *лица*, которые мне знакомы»), но возможно употребление: *просить властей, называть известных лиц.*

В выражениях, обозначающих переход лиц в должность, сословие или какое-либо общественное состояние, при глаголах *поступить, принять* и под. с предлогом *в* винительный падеж предметов одушевленных имеет всегда форму именительного: *произвели в генералы, отдан в солдаты, записан в купцы, поступил в учителя, принят в студенты* и пр. В следующем примере неправильное словоупотребление: «Идет лов провинициалов в момент перехождения их в *студентов*» («Биржевые ведомости», 19 августа 1910 г., № 11874).

152. Обыкновенная форма творительного падежа множественного числа от имен мужского рода на *-ь* имеет окончание *-ями*, но у писателей встречается для некоторых слов старинная и народная на *-ьми: гвоздьми, гостьми, зверьми, желудьми, когтьми, козырьми, корольми.* <...>

Теперь обыкновенно употребляем: *гвоздями, гостями, зверями, желудями, когтями, козырями* («Хвать королей по усам всех *козырями*» — Г о г о л ь, Пропавшая грамота), *королями*. Встречаем, однако, и *зверьми, желудьми, крыть козырьми.*

Люди в творительном падеже имеет форму *людьми.*

153. Слово *сосед* мы склоняем во множественном числе по мягкому склонению, а *холоп* по твердому, но у писателей XVIII и первой половины XIX века встречаются как раз обратные изменения. У Пушкина обычны склонения: *соседы, соседов, соседам, соседами.* Встречаются они и у Белинского. *Холоп* во множественном числе Пушкин употреблял по мягкому склонению: *холопей, холопями.* То же и Белинский.

154. Крестное имя и слово *князь* при именах лиц стало теперь всегда изменяться по падежам. У писателей конца XVIII — и первой половины XIX века оно не всегда склонялось; такие формы, как *Александр Ивановича Боброва, Александр Ивановичу Боброву*

(«Грамматика» Барсова) и под., считались прежде более грамотными и более вежливыми: «Ждем *князь Петр Ильича*» (Г р и б о е д о в).

155. Слово *день* в старинном и народном языке имеет особые формы склонения: родительный единственного *дни*, родительный множественного *ден*, предложный единственного *на дню*. Формы эти довольно долго держались в литературном языке, особенно разговорном, но теперь их можно считать вытесненными из литературной речи.

156. Множественное число слова *человек*, ныне неупотребительное, было одною из самых обычных форм у поэтов XVIII века. Поэтому мы находим его и у Крылова: «Как агнцы, кротки *человеки*, И молоком текут там реки» («Волк и кукушка»). Теперь форму *человеки* употребляют только в выражении: «Все люди, все *человеки*»: «Все мы были люди, все *человеки*, все чувствовали свои слабости» (Щ е д р и н, Признаки времени, 23).

157. Мы имеем два употребительных в литературном языке слова: *кочан* (южное) и *кочень* (северное). Первое склоняется: *кочáн, кочана́*, множественное число — *кочаны́*; второе *кóчень, кóчня*, множественное — *кóчни*. Первое слово под влиянием второго для некоторых падежей утратило правильные формы своего склонения, так что при именительном *кочан* мы встречаем родительный *кочна́*, именительный множественного *кочны́, кочни́* или *кóчни*.

158. Слово *зодчий* в старом языке склонялось как существительное: *зодчия, зодчию* и т. д.

§18. Средний род

159. Слово *плечо* в именительном падеже множественного числа принимает обыкновенно форму *плечи*, но встречается и старинная и народная *плеча*. В родительном падеже мы чаще употребляем форму *плеч* (восходящую к *плеча*), чем *плечей* (форма, связанная с *плéчи*). В творительном падеже при обыкновенной форме *плечами* изредка наблюдается и *плечьми*. Также имеем *колено* (часть ноги) — именительный множественного *колена*, родительный *колен* и *колени* (как и *плечи* — остаток двойственного числа) — *коленей, коленям, коленями, на коленях*. Мягкие формы вообще употребляются чаще твердых, но форма *колен* тоже очень употребительна.

160. *Ухо* в творительном падеже множественного числа имеет у нас форму *ушами*, но у старых писателей, согласно с народным языком, иногда находим *ушми*, впрочем, лишь в выражении: «конь *ушми* прядет».

161. Слова среднего рода на *-ко* с неподвижным ударением в именительном падеже множественного числа обыкновенно оканчиваются на *-и: лыко — лыки, веко — веки, лукошко — лукошки, очко — очки, яблоко — яблоки, окошко — окошки, колечко — колечки, личико — личики, перышко — перышки, ушко — ушки* и пр.; отсюда старинное *вóйски* при *вóйско* (сравните нынешнее *войскá* с переносом ударения на окончание). Некоторые из них и в родительном падеже множественного числа принимают окончание *-ов*, по мужскому роду: *ушков* («обе иголки без *ушков*»), *озерков, очков, облаков, яблоков*.

Имена на *-ечко* имеют родительный множественного на *-ечек: блюдечек, колечек, местечек, семечек* и т. д., но существительные на *-ико* имеют родительный множественного с *-ов: колесиков, личиков, плечиков.*

В народном выражении *с сердцов, без сердцов* имеем тоже родительный множественного на *-ов* (ср. народные: «на хватает *местов*», «много *делов*»).

162. Косвенные падежи малороссийских фамилий на *-о* и русских слов на *-ишка* и *-ушка (-юшка), -ла* из *-ло: Шевченко, Короленко, мальчишка, соловушка, батюшка, Гаврила, Данила, верзила, воротила, заправила* — в современном русском литературном языке перешли в склонение слов женского рода на *-а* (согласно с произношением их по московскому наречию): *у Шевченки, у Короленки, у мальчишки, у соловушки, у батюшки, Шевченкой, Короленкой, мальчишкой, соловушкой, батюшкой, Гаврилой, верзилой, воротилы* (именительный падеж множественного числа) и т. д.

Впрочем, малороссийские фамилии на *-енко* и *-ко* и собственные имена лиц на *-о* перешли в указанное склонение не вполне. Некоторые еще и теперь склоняют их как слова на *-о*. Так, у Чехова в «Дуэли» правильное склонение в среднем роде: *Самойленко, Самойленка, Самойленку, Самойленком* (стр. 59, 61 и др.). У Короленко тоже видим *Шевченком, Гандылом,* при именительном *Гандыло* («История современника», 6); родительный падеж *Гандыла* (там же, 7).

Наконец, для нас вполне естественно совсем не склонять эти слова: *у Шевченко, у Короленко, с Шевченко, с Короленко* и т. д.

Уничижительные на *-ишко*, означающие предметы неодушевленные, колеблются в склонении между формами среднего и женского рода: 1) *городишко, домишко, крестишко, чинишко, местишко* и под., родительный падеж *городишка, домишка, крестишка,* дательный падеж *городишку, домишку, крестишку* и т. д.; 2) именительный падеж *городишка, домишка, крестишка*, родительный падеж *городишки, домишки, крестишки*, дательный падеж *городишке, домишке* и т. д.

163. Под влиянием аканья и собственные имена городов *Вильно, Гатчино, Гродно, Ковно* перешли в склонение женского рода: *уехал в Вильну, в Гатчину, в Ковну* (последнее, впрочем, редко; обыкновенно в винительном и предложном падежах: *в Ковно*).

164. Слово *чудо* в старом языке иногда склонялось по множественному числу без наращения *-ес: чуда, чуд, чудам* и пр.

165. В употребляющемся в виде наречия выражении *поделом* мы сохранили древнюю форму дательного падежа множественного числа на *-ом;* в других случаях, когда то же сочетание имеет значение предлога и имени, мы употребляем только *по делам*: «*По делам* твоим оправдаешься и *по делам* твоим осудишься».

166. Так как имена на *-е*, по общему правилу, в именительном падеже множественного числа должны иметь окончание *-я*, то нам следует употреблять формы: *голенища, терния, лезвия, острия* (а не *голенищи, тернии* и т. п.).

167. В старом языке имена на *-ище* могли иметь родительный мно-

жественного на *-ей* вместо формы, равной основе: *детищей, логовищей, пугалищей, чудовищей* и др. Теперь такое окончание удержалось только в форме *голенищей* при *голенищ*.

168. Правильная форма родительного падежа множественного числа имен среднего рода на *-ье* и *-ие* (*платье, кушанье, подворье, угодье, здание*) должна иметь окончание *-ий: кушаний, подворий, угодий* и под. (сравните: *волненье — волнений, желание — желаний*). Это мы и видим, например, в таких случаях, как: *захолустий, зданий, копий, кочевий, кушаний, платий, подмастерий, поместий, похмелий, терний, угодий, ущелий*.

Но у писателей встречаются формы народного языка: *воскресеньев, захолустьев, кушаньев, лохмотьев* (предполагаем в единственном числе *лохмотье*), *платьев, подмастерьев, поместьев, снадобьев, терниев, угодьев, устьев*.

Народные формы: *платьев, подмастерьев, лохмотьев*, впрочем, вошли в общее употребление и считаются вполне литературными. Другие из перечисленных выше форм на *-ев* тоже, почти все, употребительны в образованном языке. Только *воскресеньев, терниев* кажутся нам простонародными формами.

169. Имена на *-мя: время, пламя, семя* и т. п. — в разговорном языке и теперь часто склоняются как имена на *-е* (*поле*); говорят: *нет время, около знамя, купил семя*. Однако ни пример живой речи, ни многочисленные случаи употребления последних форм писателями не утвердили за этими формами общего употребления, и они считаются нелитературными.

Пушкин тщательно избегает таких форм, может быть, после того, как критика заметила неправильность в одном из его ранних произведений: «на *теме* гор» (см. «Критические заметки», V, 135; «Уж утро хладное сияло На *теме* полунощных гор» — П у ш к и н, Руслан и Людмила, изд. 1820 г., стр. 62); во 2-м изд., 1828 г., исправлено: «На *темени* полнощных гор». Такую форму допустил он потом только в сказке: «Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек— Это было б лишь *время* трата» («Сказка о купце Кузьме Остолопе», изд. 1841 .). Говорят, что Лермонтов, по указанию Краевского, хотел исправить форму *из пламя* в стихотворении «Есть речи — значенье...», но затруднился подобрать подходящее выражение и оставил в первоначальном виде стихи: «*Из пламя* и света Рожденное слово». Однако указанные формы встречаются не только при Пушкине, но и после, а изредка и в наше время.

В родительном падеже множественного числа, кроме исключения *семян*, известны еще: *стремян* (и *стремен*), старинное *времян*, народное *гумян* (от *гумно* — другого склонения).

«Как из *стремян* вы вышибли его, он сутки замертво лежал» (П у ш к и н, Скупой рыцарь, изд. 1836 г., стр. 111). <...>

§19. Женский род

171. Старые грамматики отличали слово *любовь* от собственного имени *Любовь*, требуя для первого в родительном, дательном и предложном формы *любви*, а для второго — *Любови*. В самом языке

www.ruslang.ru

это различие не проводится строго, и поэтому поэты свободно пользуются формой *любови* в значении нарицательного имени. Мы также говорим *Любви Петровны* (сравните: «Веры, Надежды, *Любви* и матери их Софии»), но чаще *Любови Петровны*. Наконец, некоторые, избегая затруднения в выборе формы косвенного падежа от слова *Любовь*, совсем не склоняют это слово: «его жены *Любовь* Дмитриевны».

172. *Церковь* в дательном, творительном и предложном падежах множественного числа имеет обыкновенно твердые окончания: *церквам, церквами, о церквах*. Формы *церквям, церквями, о церквях* теперь считаются не вполне литературными.

173. *Мать и дочь* — обыкновенные формы именительного, винительного и звательного падежа; в книжном языке изредка встречаем в этих падежах формы *матерь* и *дочерь*.

174. Из форм мужского рода, оканчивающихся в именительном падеже множественного числа на *-а(-я)*, в народном языке (южные говоры) окончания *-а* проникло и в формы женского рода; говорят: *дверя, податя, печа, площадя* вместо *двери, подати* и пр. Такого рода формы встречаются изредка и у писателей: *залежа, зеленя, мелоча, леса* (от ед. ч. *лéса*).

175. Творительный падеж множественного числа имен женского рода на *-ь* допускает у нас в некоторых словах двойные формы: *дверьми* и *дверями, костьми* (чаще всего в выражении *лечь костьми* которое, однако, является и в виде *лечь костями*) и *костями, плетьми* и *плетями, сетьми* и *сетями*. Также имеем *дочерьми* и *дочерями, свечьми* и *свечами*.

176. В народных говорах нередко смешиваются дательный падеж с родительным; говорят: *у кумé, у сестрé, у пáпи (-у папе) у мáми (-у маме)*. Такое употребление было свойственно, между прочим, Грибоедову, в рукописях которого находится: «Я должен *у вдове, у докторше* крестить» (академическое издание, II, 215); «была *у батюшке*» (II, 216). Литературный язык совершенно не допускает такого смешения, и следующая ошибка Пушкина была тотчас же замечена критикою: «В чертах у Ольги жизни нет, как *у Вандиковой Мадоне*: Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна На этом глупом небосклоне» («Евгений Онегин», глава III, 5, издание 1827 г.). Впоследствии Пушкиным исправлено: «Точь-в точь *в Вандиковой Мадоне*».

177. Слово *кайма* во множественном числе нередко является у авторов в южновеликорусской форме: *кóймы, кóймами* и т. д.

178. Имена женского рода на *-а, -я* в родительном падеже множественного числа должны оканчиваться на *-ь* или твердый согласный, но разговорный язык допускает иногда окончание *-ей*, которое встречается и у писателей. Из форм на *-ей* укажем прежде всего устарелые: *тучей, вельможей, бурей, зарей, каплей, мышцей, пращей, рощей, офицершей, пустыней, Добрыней*. <...>

В современном языке имеем: *туч, вельмож, бурь, зорь* («Ночь была тихая, с нерешительным светом двух *зорь*» — Л а ж е ч н и к о в, Внучка панцирного боярина, изд. 1883 г., стр. 460), *капель, мышц, пращ, рощ, офицерш, пустынь, Добрынь*. Но в ряде слов женского

склонения на *-а* и *-я* современный литературный язык употребляет только окончание *-ей: пашей, ханжей, вожжей, броней, парчей, клешней, ноздрей, головней, саклей, лютней, западней, юношей* и др.; также *бредней* (единственное *бредня* находим у Кантемира: «Больше глазу Верить станут своему, нежель моей *бредни*» (Сатира 4).<...>

В некоторых других имеем колебания между двумя формами: *барж* и *баржей, доль* и *долей, тонь* и *тоней, торговль* и *торговлей, притч* и *притчей, оглоблей* и *оглоблей, распрь* и *распрей, купль* и *куплей, петель* и *петлей, святош* и *святошей, сплетен* и *сплетней, свеч* и *свечей*. «...»

Здесь нужно иметь в виду, что некоторые имена этого рода употребительны с двойными окончаниями *-я* и *-ь*: *басня* и *баснь, песня* и *песнь, туфля* и *туфель* (редко), *яблоня* и *яблонь*. Формы на *-ь* от первых двух слов старинные, книжные, теперь употребляются редко. *Песнь* мы встречаем лишь в высшем, торжественном слоге. Родительный множественного на *-ей* от таких имен вполне правилен: *баснь — басней, песнь — песней, туфель — туфлей, яблонь — яблоней*. Но так как мы обыкновенно употребляем формы на *-я: басня, песня, туфля, яблоня*, то и родительные падежи множественного числа от данных слов должны иметь у нас формы: *басен, песен, туфель, яблонь*.

179. *Сажень* в родительном падеже множественного числа имеет формы: *саженей, сажен* и *сажень* (редко). <...>

180. *Ступень* в родительном падеже множественного числа имеет *ступеней;* форма *ступень* вместо *ступеней* встречается, кажется, только у петроградских авторов. <...>

181. *Сирень* теперь обыкновенно склоняется только в единственном числе; у Пушкина встречаем это слово как необычную форму родительного падежа множественного числа: «Кусты *сирень* переломала, По цветникам летя к ручью («Евгений Онегин», глава III, строфа 38. Вместо: *сиреней*).

182. Родительный падеж женского рода множественного числа от имен на *-ья* иногда затрудняет пишущих: «Меньшая из копенгагенских *гостьей*... затеяла... что-то вроде пляски» («Биржевые ведомости», 18 мая 1908 г., № 10509). Следует: *гостий*, как *келий* («Он настроит дымных *келий* По уступам гор» (Лермонтов, Спор), *вещуний, плясуний, колдуний* («Знаю, что этакой плут и не в *колдуний*, а во что-нибудь и поважнее не сразу поверит» (Писемский, Леший). «Народная месть преследовала колдунов и *колдуний* в эпохи общественных бедствий, например засухи» (Костомаров, Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа).

183. В старинном и народном языке встречаются иногда формы родительного падежа множественного числа на *-ов, -ев* от имен женского рода. Так, у Державина находим: *кикиморов* («Как нет *кикиморов* явленья»), *стихиев* («Сквозь мрак времен, *стихиев* споры»), *Фивов, фуриев*. В современном языке встречаем иногда неправильное *юнгов* вместо *юнг:* «Высочайше утверждены Положение и штат школы *юнгов* в Кронштадте» («Школа и жизнь», 27 августа 1912 г.).

184. Слово *курица* во множественном числе обыкновенно имеет форму: *куры, кур* и т. д.; только народный язык допускает *курицы, куриц,* а по влиянию его находим такое словоупотребление и у авторов.

«По улице бродило несколько *куриц*» (П у ш к и н, Капитанская дочка, 111). «Даже *куриц* не было видно на улице, даже собак» (Т у р г е н е в, Касьян с Красной Мечи, 223).

Слюна имеет во множественном числе *слюни, слюней* (от старинного и народного *слюня*).

§ 20. Собирательные формы

185. Собирательные формы среднего рода единственного числа на *-е* вошли в современный литературный язык, хотя и употреблялись авторитетными писателями, особенно часто Крыловым. <...>

186. Собирательные формы на *-ьё* в литературном языке встречаются редко. Укажем: *гвоздьё, дурачьё, вороньё, зверьё, батожьё.*

Надо принимать во внимание еще то, что собирательные на *-ьё* (с ударением на окончании) склоняются только в единственном числе и распадаются на два разряда: 1) имеющие при собирательном единичное название: *батог — батожьё, ворон — вороньё, дурак — дурачьё;* 2) имеющие одно только собирательное название: *тряпьё, бельё, старьё* и т. п.

187. Собирательную форму с окончанием *-ья* или *-овья* в именительном падеже множественного числа принимают следующие существительные мужского рода: *батог — батожья* и *батоги, боров — боровья* (редкое) и *борова, брат — братья, брус — брусья, волдырь — волдырья* (старинное) и *волдыри, волос — волосья* (редкое) и *волосы, волоса, ворон — воронья* и *вороны, грозд — гроздья* и *грозды, деверь — деверья* и *девери, друг — друзья* и *други* (только у поэтов и в выражении: *други и приятели*), *дядя — дядья* и *дяди, зуб — зубья* (у гребня) и *зубы* (у человека), *зять — зятья, зятевья* (старинное) и *зяти* (старинное), *камень — каменья* и *камни, клин — клинья* и *клины* (редкое), *клок — клочья* и *клоки, клуб — клубья* (редко) и *клубы, кнут — кнутья* и *кнуты, князь — князья* и *князи* (редкое), *колос — колосья, кол — колья* и *колы* (единицы; «учитель ставит всем *колы*»), *ком — комья* и *комы* (редкое), *копыл — копылья, корень — коренья* (в кушанье) и *корни* (у дерева), *короб — коробья* и *короба, кочан — кочанья* и *кочаны, крюк—крючья* и *крюки, кузов — кузовья* и *кузова, кум — кумовья, кус — кусья* (старинное), *лист — листья* (на дереве) и *листы* (бумаги, железа), *лоскут — лоскутья* и *лоскуты, луб — лубья, муж — мужья* (по отношению к жене) и *мужи* (старинное; знатные, властительные люди; мужчины), *обод — ободья* и *ободы, обода, пень — пенья* и *пни, повод — поводья* (чаще) и *повода, полоз — полозья* и *полоза, прут — прутья* и *пруты* (редко), *пузырь — пузырья* и *пузыри* (чаще), *пупырь — пупырья* и *пупыри, сват — сватья* (редко) и *сваты, сокол — соколья* (народное) и *соколы, струк — стручья, струп — струпья* и *струпы, стул — стулья, сук — сучья* и *сукú, сын — сыновья* и *сыны* (старинное и народное), *уголь — угольи* и *угли* (реже), *хлоп* — (в этой форме редко) — *хлопья, холоп — холопья* и *холопи* (обыкновенно: *холопы*), *череп — черепья* (редко) и *черепы, черепа, шурин — шурья.*

Живой язык и проза отличают по значению формы *листы* (бумаги) и *листья* (на дереве), но поэты, а частью и прозаики издавна так часто употребляют *листы* вместо *листья*, что подобные... выражения уже нужно считать правильными для стихотворного языка. <...>

188. В именах женского рода собирательные формы необычны. Встречается только изредка *дырья, жердья*; обыкновенно: *дыры, жерди*. Форма *щелья*, указываемая старыми грамматиками, вышла из употребления. В «Исторической грамматике» (§ 97) Буслаев говорит: «... от слов: *дерево, камень, уголь, щель* и др. — мы употребляем двоякую форму множественного числа: а) простую: *дерева, камни, угли, щели,* и б) собирательную: *деревья, каменья, уголья, щелья* и проч.».

189. В среднем роде собирательное окончание *-ья* в именительном падеже множественного числа принимают слова: *дерево — деревья* и *дерева, дно — донья* (редко) и *дны, звено — звенья, колено — коленья* (суставы растений), *колена* (племена и части ноги; в стихах для рифмы пишется иногда по произношению: *колены*), *колени* (только части ноги), *крыло — крылья* и *крыла* (старинное), *перо — перья, полено — поленья* и *полена* (редко), *помело — помелья* и *помела, сило — силья, шило — шилья*.

190. В некоторых случаях простая и собирательная формы отличаются по значению. Все такие различия нами уже оговорены.

Вообще в литературном языке наблюдается «падение» собирательных форм. Некоторые из них устарели и забываются; новых совсем не создается. В современном употреблении трудно, например, встретить формы: *холопья, черепья, боровья, кочанья, коробья, волдырья, пузырья, дырья, щелья, донья, помелья, силья, шилья,* были когда-то, как видно из прежних авторов и грамматик, были в полном обращении. Затрудняясь в употреблении собирательных форм, мы стараемся нередко избежать в речи множественного числа от таких слов, как: *дядя, сват, шурин, дно, кнут, полено, помело, шило*, или же заменяем, с той же целью, данные слова другими, подходящими по смыслу. Например, вместо *шурин* говорим: *брат жены — братья жены,* вместо *дно корабля — днище*, откуда: *днища кораблей,* и т. д.

Даже основное представление о значении собирательных форм нами более или менее утрачено. Собирательные имена означают, собственно, совокупность мелких или многочисленных единиц в целой массе. Поэтому лучше сказать: «*дерева* для постройки», «огромные *камни*», толстые корни *дерева*», «*дны* у кораблей», «крупные *угли*», но: «в лесу все *деревья* вырублены», «зеленеющиеся *деревья*» (а не *дерева*), «*каменья* на дне реки изрезали мне ноги», «мелкие *коренья*», «*донья* у бутылок», «мелкие *уголья*».

191. Так как в склонении собирательных существительных весьма нередко возникают затруднения при выборе формы родительного падежа, то рассмотрим условия употребления этой формы.

Собственно собирательные имеют в родительном падеже два окончания: *-ев* и *-ей*. Первое обыкновенно имеют те слова, которые оканчиваются в именительном на неударяемое *-ья*: *братья — братьев, собратьев, холопья — холопьев, полозья — полозьев, уголья — уголь-*

ев, листья — листьев, каменья — каменьев, лохмотья — лохмотьев, дырья — дырьев, крылья — крыльев, коленья — коленьев, поленья — поленьев и т. д.

Окончание *-ей* имеют в родительном падеже те собирательные, у которых в именительном ударяемое *-ья*: *князья — князей, друзья — друзей, мужья — мужей, сыновья — сыновей, зятья — зятей, кумовья — кумовей, деверья — деверей, тетеревья — тетеревей.* Однако при формах *зятья, кумовья, деверья, дядья, сватья* мы имеем также родительный на *-ёв, зятьёв, деверьёв, кумовьёв, дядьёв, сватьёв.* Последние формы распространены в употреблении не менее, чем формы на *-ей.* Форма *мужьёв* принадлежит только старинному и народному языку, но от *шурья* мы знаем только *шурьёв.*

Окончание родительного *-ий* восходит к книжным формам именительного *-ия*: *братия — братий, собратий, крылия, коскрылия — крылий, воскрылий. Недовольство братий* значит: недовольство монахов; *недовольство братьев* — недовольство родных братьев; *стоны братий* — стоны соплеменников.

Родительный на *-ей* неударяемое восходит к именительному на *-и*; поэтому формы *дядей, холопей, коленей* и т. п. мы не должны считать собирательными.

Точно так же не собирательными являются формы: *тетеревов* (от *тетерева*), *колен* (от *колена*), *сынов* (от *сыны* — старинное и народное; теперь употребляется только в выражении *сыны Отечества* и под.), *крыл* (от *крыла*; старинное; встречается и теперь в поэзии, так как долго держалось в книжном языке; по-видимому, прежде форму *крылья* относили преимущественно к мельнице).

Формы *зятевей* (от *зятевья*), *тетеревей* (от *тетеревья*) надо оговорить как народные, особенно первую. Последняя не вполне чужда литературному языку, но чаще все-таки употребляем: *тетерева — тетеревов.* Точно так же *камни — камней* для нас обычнее, чем *каменья — каменьев. Деревья — дерев* употребляем реже, чем *деревья — деревьев.* О лесе, саде обыкновенно: *деревья — деревьев.*

21. Славянизмы и иностранные слова

193. В старом языке иностранные слова на *-о* склонялись как имена среднего рода; другие иностранные слова переделывались на русский лад и склонялись соответственно приданным им окончаниям. Здесь литературный язык старого времени был в полном согласии с народным, в котором и теперь приняты словоупотребления *в пальте, в депе, на бюре, жилей, филей* и т. п. Не очень еще давно акад. И. И. Срезневский не смущался тем, что русские люди говорят *без пальта, в пальте, под пальтом*, хотя и указывал, что мода смеется над такими выражениями. Книжная речь здечь, однако, взяла верх над народной, и мы теперь не склоняем подобных слов. Из прежних употреблений не чужды и современному языку: *алой, кофей, эхо* (склоняемое в единственном числе по среднему роду). Но вместо старых употреблений: *на бюре, в домине, желей, какаом, каррея, лазарон, мадама, филей, чичерон* — теперь приняты только несклоняемые

формы этих слов: *бюро, домино, какао, желе, карре, филе, лазарони* и *лацароні, чичероне, мадам*.

Иностранные собственные имена на *-о* и -э обыкновенно употребляем тоже в несклоняемой форме: *Бруно, Корреджио, Отелло, Сафо, Аруэ* и т. д.

22. Род существительных

194. Увеличительные на *-ище* от слов мужского рода: *возище, домище, сапожище, огородище*, и уничижительные на *-ишко*: *возишко, домишко, рублишко* и т. п. — в современном литературном языке относятся к мужскому роду. В старом языке обыкновенно употреблялся здесь средний род. При Ломоносове *великое домище* слышалось чаще, чем *великий домище* (см. его «Грамматику», § 140).

«Не возик и не воз, *возище* то валит». (Х е м н и ц е р, Обоз).

195. Литературное акающее наречие отчасти, а южновеликорусские акающие говоры в значительной степени перевели слова среднего рода на *-о* в женский на *-а*. Это последствие аканья отразилось и на языке наших писателей, у которых находим формы: *ведерка, лукошка, лыка, мониста, мочала, огнива, перила, перла* — вместо: *ведерко, лукошко, лыко, монисто, мочало, огниво, перило, перло*, а также и ставшие более или менее полноправными *карло* и *карла, чучело* и *чучела*.

У Пушкина, *при карло, карла* и т. д., обыкновенно преобладают формы *карла, карлы, карлой*, по женскому склонению («Руслан и Людмила»). Эти формы, по женскому роду, надо считать лучшими еще и потому, что при них нет смешения с собственными *Карл*: *нет карла* и *Карла, говорит с карлом* и *с Карлом*.

196. Колебания в роде слов в живом литературном языке нашего времени относительно немногочисленны; но родовые формы некоторых слов установились прочно не так быстро и не без борьбы. Поэтому у авторов находится немало отступлений от принятых родовых форм, особенно в словах иностранных. Укажем: *авантюр* (редко) и *авантюра, амальгам* (редко) и *амальгама, антилоп* (старинное) и *антилопа, апогей* и *апогея* (редко), *апофеоз* (изредка встречается и *апотеоз*) и *апофеоза, арабеск* и *арабеска, арьергард* и *арьергарда* (старинное), *архив* и *архива* (старинное), *атом* и *атома* (старинное), *багет* и *багета, бакенбарда* и *бакенбард, бандероль* мужского рода (реже) и женского, *баранок* (южно́е) и *баранка, бацилла* и *бацилл* (реже), *бедра* (старинное) и *бедро, бекеш* мужского рода (редко) и *бекеша, берёста* и *берёсто* (старинное), *берлог* (старинное и народное) и *берлога, бисквит* и *бисквита, бланк* и *бланка* (реже), *богословие* и *богословия* (старинное), *болиголов* и *болиголова* (реже), *боль* мужского рода (старинное) и женского, *бордюр* и *бордюра* (редко), *ботвинья* и *ботвинье* (народное; в литературном языке редко), *ботинок* (реже) и *ботинка, ботфорт* и *ботфорта* (чаще во множественном числе), *браслет* и *браслета* (реже), *брешь* мужского рода (редко), *брешь* женского рода и *бреша* (старинное), *брызг* и *брызга* (в единственном числе употребляются редко), *бук* (редко) и *бука, валенок* и *валенка, ворс* и *ворса, виньет* и *виньетка, вирш* и *вирша, взяток* (старинное; знаем, собственно, родительный падеж множественного числа *взятков*; единственное число употребляется лишь в особом

значении, о чем смотри дальше) и *взятка, войлок* и *войлоко* (народное), *вуаль* мужского рода и женского, *выводок* и *выводка* (реже), *гайдамак* и *гайдмака* (малороссийское), *гардероб* и *гардероба* (старинное), *гарнитур* и *гарнитура* (реже), *глист* и *глиста, гошпиталь, госпиталь* мужского рода и женского (старинное), *гравюр* (старинное) и *гравюра, грозд* и *гроздь* (женского рода), *диагональ* и *диагонал* (старинное) *дрязг* и *дрязга* (в единственном числе употребляются редко), *душ* и *душь* женского рода, *дуэль* мужского рода (старинное) и женского, *дыб* (редко) и *дыба, ералаш* и *ералашь* (женского рода), *жар* и *жара, желатин* и *желатина, жираф* и *жирафа, жнива* и *жниво, завес, завесь* и *завеса, заголовок* и *заголовка* (старинное), *закуток* и *закутка, залавок* и *залавка* (реже), *зал* (театральный, зрительный и под.); *зала* и *зало* (старинное), *заморозок* и *заморозка* (реже), *занавес* и *занавесь, заработок* и *заработка* (реже), *зебр* (редко) и *зебра, знамень* (старинное) и *знамя, илем* и *ильма, индиго* и *индиг* (редко), *испуг* и *испуга* (старинное), *кал* и *кало* (реже), *кадриль* мужского рода (старинное) и женского, *канделябр* и *канделябра* (реже), *капель* мужского рода (очень редко) и женского, *карьер* (старинное) и *карьера, картофель* мужского рода и женского (областное, между прочим, петроградское), *каскад* и *каскада* (старинное), *катаракт* и *катаракта, кафизм* (очень редко) и *кафизма, кегль* и *кегля* (в единственном числе употребляются редко), *киот* и *киота, клавиш* и *клавиша, клоак* и *клоака, клякс* и *клякса, коленка* и *коленко* (редко), *комод* и *комода* (старинное), *конопель* и *конопля, консоль* мужского и (реже) женского рода, *контральт* и *контральто, контроль* мужского рода и женского (редко), *костоед* (реже) и *костоеда, кросна* и *кросно, кринолин* и *кринолина* (редко), *крылец* (старинное и народное) и *крыльцо, кудель* и *кудря* (в единственном числе употребляются редко), *кур* («Попался как *кур* во́ щи» — поговорка) и *кура* (народное; изредка встречается в петроградской печати: «Десяток яиц уступают за 1 коп., живую *куру* за 5 коп» — «Биржевые ведомости», 12 сентября 1914 г., № 14369); вообще же знаем лишь множественное число: *куры*), *лазурь* мужского рода (старинное) и женского, *лебедь* мужского рода и женского (народное), *лепт* (старинное) и *лепта, мавзолей* и *мавзолея* (старинное), *манер* и *манера, метод* и *метода* (но только: *научный метод, метод исследования*), *мирра* (употребляется только в женском роде) и *мирро?* (знаем лишь форму родительного падежа единственного числа: *мирра* у Пушкина), *мирт* и *мирта, миф* и *мифа* (старинное), *миазм* и *миазма, мозоль* мужского рода (народное) и женского, *молекул* и *молекула, мол* и *мола* (старинное), *моль* мужского рода (старинное) и женского, *настурций* и *настурция, начал* и *начало, насест* и *насесть, нашест* и *нашесть, недоимок* (реже) и *недоимка, нерот* и *нероте, ниш* и *ниша, нутр* и *нутро, овощ* (мужского рода) и *овощь* (женского рода; в единственном числе употребляется редко), *ожог* и *ожога* (старинное), *облак* (старинное и народное) и *облако, одеколон* и *одеколонь* (старинное), *озимь* мужского рода (очень редко) и женского, *округ* и *округа, орбит* (очень редко) и *орбита, осокор* и *осокорь* мужского и женского рода, *отель* мужского рода и женского (редко), *оттенок* и *оттенка* (старинное), *паникадил* (редко) и *паникадило, папах*

(старинное) и *папаха, параллель* мужского рода (редко) и женского, *парий* (редко) и *пария, перечень* мужского рода и женского (редко), *перигей* и *перигея* (редко), *перл* и *перло* (старинное), *пламень* (как и *знамень;* старинная, чуждая разговорному языку форма; долго держалась в нашей поэзии и, как редкость, дошла до нашего времени) и *пламя, плевальник* и *плевальница, плес, плесо* и *плеса* (южное), *поверток* и *повертка, подклет* и *подклеть, полумисок* (реже) и *полумиска, портфель* мужского рода и женского (редко), *постав* и *постава* (редко), *поступок* и *поступка* (старинное), *пращ* (очень редко) и *праща, привес* и *привеса, привесок* и *привеска, примéс* и *примесь, пролаз* и *пролаза, проруб* (южное) и *прорубь, просек* и *просека, протор* (*«протóры* и убытки»), *протора* и *проторь* (*«прóтори* и убытки»), *прохлад* и *прохлада, псалтырь, псалтирь* мужского рода и женского, *профиль* мужского рода и женского (реже), *рельс* и *рельса, рояль* мужского и женского рода, *рез* и *резь, санаторий* и *санатория, сикер* и *сикера* (реже), *сикомор* и *сикомора* (реже), *силок* и *сило, скирд* и *скирда, скобель* мужского рода и женского (редко), *скрин* и *скрыня, снежок* и *снежка* (южновелирусское; в единственном числе употребляется редко), *Содома* вместо *Содом, спич* мужского рода и женского (редко), *ставень* и *ставня, станс* и *станса* (старинное), *стать* и *статье* (старинное), *степень* мужского рода (старинное) и женского, *студень* мужского рода и женского (реже), *стул* и *стуло* (южное), *сенокос* и *сенокоса* (редко), *табель* мужского рода (редко) и женского, *табурет* и *табуретка, такт* и *такта* (старинное), *титул* и *титло* (старинное), *террас* (старое) и *терраса, тлен* и *тлень* (редко), *тополь* мужского рода и женского (южное), *туфель* (старинное) и *туфля, ужин* и *ужина* (старинное), *укор* и *укора* (старинное и народное), *улиток* (старинное) и *улитка, упрек* и *упрека* (старинное), *фарс* и *фарса* (старинное), *фасад* и *фасада* (старинное), *фиал* и *фиала* (старинное), *фелонь* мужского рода (реже) и женского, *фрегат* и *фрегата* (старинное), *хвой* (реже) и *хвоя, хмель* мужского рода и женского (редко), *ход* и *хода* (только в значении конской выступки), *цитат* (редко) и *цитата, червь* мужского рода и женского (редко), *черед* и *чреда, череда, чинар* и *чинара, чинуш* (реже) и *чинуша, штурма* (старинное и народное) и *штурм, щиколоток, щиколок* и *щиколотка, щиколка, есства* и *естество, эполет* и *эполета, эстафет* и *эстафета, ярем* и *ярмо, яства* и *ястве*.

Все приведенные здесь формы, отступающие от книжного языка нашего времени, являются или 1) архаизмами, как *амальгам, апогея, архива, бедра, берлог, знамень, комода, крылец, лепт, облак* и др. (все эти слова оговорены, как старинные или редкие в современном употреблении), или 2) принадлежат народному языку, как *баранок, ботвинье, заработка, проруб, сенокоса, хода, яблок* и др. (все оговорены, как народные или редкие в употреблении). В очень немногих случаях мы видим у авторов, даже у Пушкина, ошибочное употребление рода: *пращ* вместо *праща, озимь* мужского рода вместо женского, *мирра* (родительный падеж единственного числа) вместо *мирры* (здесь правильная форма так же хорошо укладывается в стих, как и неправильная; странно, что Пушкин, его друзья и критики не заметили этой легко исправимой ошибки), *сикимора вместо сикомор.*

Замечательно, что между устарелыми родовыми формами много полонизмов. В конце XVIII и начале XIX века польское культурное влияние ослабевает и сменяется западноевропейским; тогда вытесняются и польские родовые формы, особенно на *-а*: *арьергарда, бреша, гардероба, каскада, комода, станса, фарса, фасада, фрегата* и др.

Во всех случаях, которые выше не оговорены, мы считаем слова, колеблющиеся в роде, более или менее равноправными в употреблении.

Всего более это относится к словам заимствованным, особенно таким, которые оканчиваются на *-ь* и, таким образом, легко могут входить в группу слов мужского и женского рода. Это, например, слова: *бандероль, вуаль, дуэль, кадриль* и т. д.

На род этих и других заимствованных слов отчасти указывают иностранные первоисточники, в данном случае французские <...>. Эти указания, однако, не следует понимать в том смысле, что мы должны руководствоваться в употреблении данными того языка, из которого заимствовано то или другое слово. Единственным основанием для нас может быть только сложившееся русское слово-употребление. Если мы и входим здесь в некоторые исторические справки, откуда взято то или другое слово и какой род оно имеет в своем первоисточнике, то делаем это только для объяснения русской формы слова, а никак не для утверждения того или другого употребления. Вопреки французскому языку, мы употребляем *дуэль* всегда в женском роде, *вуаль* и *душ* часто и в мужском и в женском, хотя французский язык для первого слова требует мужского рода, а для второго — женского, и т. д.

Во многих склоняемых чужих словах род даже не может удержаться. Так, все заимствованные французские слова на твердую согласную могут войти у нас только в склонение типа *стол* и, таким образом, переходят в мужской род, хотя многие из них во французском рода женского.

Иногда мы произвольно составляем род слов из форм, неясных по роду. Например, узнав слова *бакенбарды, сикоморы* во множественном числе, одни для единственного представляют себе *бакенбард, сикимор*, другие *бакенбарда, сикомора*. Эти формы вводятся и в литературный язык.

197. Само собою разумеется, что к числу существительных, колеблющихся в роде, не должно относить тех слов, которые с разными родовыми формами имеют и разные значения. Таковы: *апостроф* (надстрочная запятая на месте пропущенной буквы) и *апострофа* (риторическая фигура — обращение: «После сей *апострофы* опять обращаюсь к тебе, мой философ» — А. Григорьев); *взяток* (поноска пчелы: «Главный *взяток* начинается обыкновенно во второй половине июня» — Бутлеров) и *взятка* (подарок чиновнику); *змей, змий* (большое тропическое животное; мифический дракон; библейский змей-искуситель; детская игрушка для запускания в воздухе: «Хочу туда... где рыщет лев, пресмыкается *змей*» — Гончаров, Фрегат «Паллада», 5; «Мы через дебри и овраги на *змее* огненном летим» — Фет, На железной дороге; «В сердце мое закрадывается *змий* сомнения» — Щедрин, Признаки времени, 178; «Дети пошли в поле и взяли *змей*» — Толстой) и *змея*; *саламандр* («И пламем жруща

саламандра он в прах твоих повергнет ног» — Д е р ж а в и н, На отправление в армию фельд. гр. Каменского; «Вышесказанный *саламандр* есть вымышленный зверь, дышащий и живущий в огне» — Д е р ж и в и н, Объяснения к стихотворениям, стр. 593, 2-е акад. изд.) и *саламандра; семинарий* (занятия студентов под руководством профессоров) и *семинария*; *юрт* (округ, станица) и *юрта*.

Иногда разные родовые формы утвердились в различных выражениях: *манера обращения* и *таким манером, на манер; сделать блестящую карьеру* и *скакать во весь карьер* («Пролетит во весь *карьер*» — А. М а й к о в, Неаполитанский альбом; «Он пустил в *карьер* лошадь с самого места» — Л е с к о в, На ножах).

198. В связи с колебаниями в роде нас затрудняют иногда и формы родительного падежа множественного числа, в особенности если нужные нам слова не употребляются в единственном числе (например, *обоев* или *обой*?); иногда же форма единственного не соответствует форме родительного падежа множественного числа (например, при *яблоко* встречаем иногда *яблоков* вместо ожидаемого *яблок*). Мы имеем: *вокабул* и *вокабулов* (реже), *выселков* и *выселок* (реже), *гобоев* и *гобой* (неправильное), *граблей* и *грабель, дровней* и *дровень* (реже), *каверз* и *каверзов* (неправильно), *кикимор* (от *кикимора)* и *кикиморов* (ошибочно или от народного северного *кикимор* по м. р.?), *комментариев* и *комментарий* (неправильное; впрочем, нередко употребляется в литературном языке), *кальсонов* (сравните: «Нога... упрямилась лезть в *кальсон*» — А. К о с о р о т о в, Конец Алатынских) и *кальсон* (реже), *конфет, конфект* и старые и народные *конфектов, конфетов* (от старинного *конфект* по мужскому роду — как немецкое Konfekt вместо *конфекта*), *манжет* и *манжетов* (неправильное), *нападок* (эта форма лучше, потому что в единственном числе мы обыкновенно говорим *нападка* в женском роде) и *нападков, обоев, побоев* (лучшие формы; сравните: *бой — боев, прибой — прибоев* и пр.) и *обой, побой, опилков* (реже) и *опилок, панталон* и *панталонов, пинов* вместо *пинн* или *пиний, помой* и *помоев* (чаще), *пересудов* и *пересуд* (реже), *потемок* и *потемков* (реже), *потуг* (реже) и *потугов, просонков* и *просонок, спросонков* и *спросонок* (формы на *-ов* лучше, потому что мы говорим *спросонку* — по мужскому роду), *раз* и *разов* (редко), *спазм* (сравните: «Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую *спазму*» — Д о с т о е в с к и й, Униженные и оскорбленные, 126) и *спазмов* (реже), *сумерек, сумерок* и *сумерков* (реже), *фресков* (от *фреск*) и *фресок* (от *фреска*: «И вот эту *фреску* посмотрю потом получше, — подумал он» — «Русские ведомости», 17 февраля 1913 г.), *фруктов* (правильное) и *фрукт* (просторечие от народного *фрукта*), *хор* (от *хоры*) и *хоров*(реже), *шаровар* и *шароваров* (просторечие), *ширм* и *ширмов* (народное), *экивоков* и *экивок, яблок* (от среднего рода *яблоко;* правильная форма *яблок* употребляется реже, чем неправильная *яблоков*) и *яблоков* (от старинного и народного *яблок* — по мужскому роду).

199. Иностранные не склоняющиеся слова на *-а, -е, -и, -о, -у*, означающие предметы неодушевленные единственного числа, употребляются обыкновенно в среднем роде: *такое амплуа, такое антраша, бронзовое*

бра, пушистое боа, такое амбре, одно безе, это глассе, миндальное желе, шелковое кашне, теплое кофе, отдельное купе, потерянное портмоне, открытое фойе, свое алиби, зеленое драпри, открытое жалюзи, избранные жюри, выигранное пари, крымское бордо, центральное бюро, условное вето, военно-топографическое депо, измятое жабо, купленное индиго, голландское какао, старое пальто, прелестное пианино, это сорго, старое фортепиано, вкусное рагу, такое бижу. <...>

Относительно слова *какао* необходимо, впрочем, заметить, что оно преимущественно употребляется в мужском роде; *кофе* тоже обыкновенно имеет форму мужского рода: *молотый кофе, холодный кофе* (франц. le café; конечно, сказывается влияние и русского *кофей*).

23. Число

200. Некоторые имена существительные, не употребляющиеся обыкновенно во множественном числе, в особенности имена отвлеченных понятий и названия действий и состояний, у писателей встречаются, однако, в форме множественного числа.

Имена отвлеченных понятий и действий допускаются во множественном числе вполне законно, когда они употреблены в смысле частном, а не общем, т. е. относятся к одному предмету или случаю. Мы можем говорить во множественном числе: *блаженства, вдохновения, вежливости, довольства, дружбы, дымы, клеветы, лжи, стуки, шорохи* и т. д., разумея разного рода блаженства, вдохновения, дружбы и т. п., отдельные дымы клеветы, лжи, стуки и т. д.

Точно так же такие слова, как вражда, заискивание, нищета и др., мы можем представлять в смысле различного способа их проявления, и тогда возможно употребление их во множественном числе.

201. Имена вещественные употребляются во множественном числе лишь для означения разнородных предметов. Просторечие употребляет обыкновенно формы множественного числа, говоря об урожаях, «*ржи, овсы, сена* хорошо (или худо) родились». Также о чае, кофе говорят: «занимаются *чаями, кофеями*». (...)

202. Интересно, что, употребляя некоторые слова в форме именительного падежа множественного числа, мы в то же время избегаем формы родительного. Говорим *мечты, толпы, тяготы, хвалы, черты,* но обыкновенно не употребляем или избегаем форм *мечт, толп, тягот, хвал, черт.* При именительном *годы* (жил там многие *годы*) в родительном обыкновенно говорим *лет* (жил там много *лет*) вместо *годов*. Последнее словоупотребление теперь является простонародным. <...>

203. *Зло* во множественном числе не употребляется, но имеем выражение: «Из двух *зол* (неприятностей) выбрать меньшее».

Неправильно употребляется иногда в современной печати и у авторов *козла* вместо *козлы* (произносится: *ко́злы*, а изредка: *козлы́*).

204. Некоторые имена существительные мы употребляем обыкновенно лишь во множественном числе. Язык литературный допускает их иногда и в единственном, согласно со старым и народным употреблением.

«Получил, в первый раз в моей жизни, маленький *аплодисмент*» (С. А к с а к о в, *Семейная хроника*, 418). «Нет дел — играю на *бирюльке*» (Д е р ж а в и н, Умеренность). «Сигурд нашел в ней спавшего в полном *доспехе* воина» (Г р а н о в с к и й, Песни Эдды, 486). «Но ты не верь: здесь хитрый *ков*, здесь тайная погибель скрыта» (Ж у к о в с к и й, Поликратов перстень).

205. В немногих случаях (в именах и наречиях) мы колеблемся между формою единственного и множественного числа, не отдавая явно предпочтения ни той, ни другой: *кресло* и *кресла*, пользоваться *общею симпатиею* и *общими симпатиями; спозаранку* и *спозаранков, спросонку* и *спросонков, спросонья* и *спросоньев* (реже), *впросонках* и *впросонке* (реже). <...>

207. Вместо множественного числа у писателей, подобно языку народному, нередко встречается единственное в собирательном значении.

«В саду служанки, на грядах, Сбирали *ягоду* в кустах» (П у ш к и н, Евгений Онегин, гл. III, строфа 39, изд. 1827 г., стр. 48). «Уста его... оледенели, и *волос* его встал дыбом» (Л а ж е ч н и к о в, Ледяной дом, ч. IV, гл. III, 42). «Луга и поля... покрытые... мелкою *вишнею*» (А к с а к о в, Семейная хроника, 23). «Насажав дворовую *птицу* на верхи возов...» (А к с а к о в, Семейная хроника, 18). «[Базарная площадь] была заставлена возами, заполнена шумом, гоготанием продаваемой *птицы*, ржанием лошадей» (К о р о л е н к о, История современника, 375).

208. Имена собственные вообще во множественном числе не употребляются, но разговорный язык допускает иногда от таких имен формы множественного числа; за ним следует и литературный. Такое употребление вполне уместно, когда собственное имя означает не лицо, а тип, то есть относится ко многим.

«Долго ли мы будем жить, как совы, бояться света дневного, слушать совиную мудрость *Нилов Андреевичей*!» (Г о н ч а р о в, Обрыв, т. IV, гл. 2, стр. 223, изд. 1886—1889 г.). «Коронки всех иван-да-*марий, верóник,* кашек и гвоздик Идут в стога, в большой гербарий...» (С л у ч е в с к и й, В немолчном говоре природы).

209. Из удержавшихся в современном литературном языке форм двойственного числа следует оговорить: *колени, плечи* (при *колена, плеча*), *двести,* в которых конечное и получилось фонетически из древнего *ѣ*. Настоящую древнюю форму двойственного числа имеем только в выражении *воочию,* реже *в-очью, в-очию*. Во всех других случаях остатки форм двойственного числа понимаются нами как слова единственного числа (*оба ученика*) или множественного (*колени, обе протянутые рýки*).

§24. Словообразование прилагательных

210. Прилагательные *гостиная, портной* и под., употребляемые у нас в значении существительных, уже не имеют при себе слов определяемых, но старинные и народные сочетания их с существительными теперь еще изредка встречаются в языке писателей.<...>

Некоторые слова употребляются то в форме прилагательных, то в форме существительных: *кофейная* и *кофейня*, *спальная* и *спальня*, *читальная* и *читальня*. Чаще употребляются существительные формы. <...>

212. Из родительных определительных падежей, означающих фамилии, образуются изредка такие словоупотребления, в которых родительный падеж переходит в самостоятельное определение: из *перо Ломоносова* имеем *пером Ломоносовым*, из *дочь Пафнутьева* в винительном падеже получаем *Пафнутьеву дочь*, из *дом Щербацкого* находим *Щербацкого дома*. Эти редкие употребления принадлежат собственно народному языку, а не литературному.

213. В старом русском языке были весьма обычны такие прилагательные-определения, как: *почитанье книжное (чтение книг)*, *псковское взятие (взятие Пскова)*, *погребление монастырское (ограбление монастыря)*, *полоняная весть (весть о полоне, плене)* и т. п., где современный русский язык допускает только существительное. Так как названный оборот еще сохранился отчасти в народном языке, то по влиянию его, как редкость, он встречается и у современных писателей. Иногда авторы употребляют такие сочетания как архаизмы (*смертный час, книжное чтение* и т. п.).<...>

214. Отчественные прилагательные в разговоре и письме у нас обыкновенно употребляются с суффиксами *-ович, -евич (Иванович, Петрович, Сергеевич* и т. д.). Прежние писатели охотнее пользовались народными формами на-*ыч, -ич*. Так, у Пушкина находим: *Антон Пафнутьич* («Дубровский», гл. XVII). У Грибоедова Фамусов говорит: *Сергей Сергеич, Александр Андреич*. У Лермонтова есть: *Максим Максимыч*. У Тургенева в «Бурмистре» аристократ-барин везде называется *Аркадий Павлыч*; и в других местах «Записок охотчика» у него обыкновенно имена на *-ыч*, а не-*ович*.

В общем, как старый язык, так и современный соединяют с полными прилагательными значение большей вежливости и относят их к лицам с более высоким общественным положением. Сокращенные формы на *-ыч, -ич* употребляются в простом обращении или к лицам, не занимающим значительного положения в обществе.<...>

216. Прилагательные, произведенные от собственных имен, основа которых оканчивается на-*г* или *-х*, меняют эти звуки, по законам русской фонетики, на *ж, ш*. Поэтому при *Волга, Коломяги, Ладога, Луга, Молога, Острог, Рига, Прага, Устюг* имеем *волжский, коломяжский, ладожский, лужский, моложский, острожский, рижский, пражский, устюжский*; также от *варяг, печенег, лях, чех, волох* прилагательные имеют форму: *варяжский, печенежский, ляшский, чешский, волошский*. Неправильные формы встречаются в современной печати (особенно часто в названиях уездов сохраняют основу существительного), встречались они и в старом языке.

Некоторые, не очень давно вошедшие в язык прилагательные такого рода представляют исключение из общего правила: при *Выборг, Гамбург, Ольденбург, Оренбург, Петербург, Ямбург* имеем производные с неизменной основой: *выборгский, гамбургский, ольденбургский, оренбургский, петербургский, ямбургский*.

217. В первой половине XIX столетия некоторые прилагательные еще употреблялись у писателей согласно с языком разговорным, с твердыми окончаниями вместо мягких: *дальный, малолетный, поздное* и др. Такие употребления изредка встречаются и позднее.

Теперь, по влиянию школы и учебников грамматики и правописания, в печати исключительно употребляются формы с мягкими окончаниями: *давний, дальний, долголетний, дольний, излишний, малолетний, односторонний, поздний.*

Как остаток от прилагательных, имевших прежде твердое окончание, в современном языке существуют наречия *внутренно* и *искренно*.

218. Древнее прилагательное *завтрий* потеряло именительный падеж, а в косвенных приобрело на письме твердые окончания, вероятно из слова *завтра*; впрочем, в разговорном языке, а отчасти и в письменном употребляется еще и мягкое окончание.

«Не откладывай до *завтрого*, Что сегодня можешь выполнить...» (Пушкин, Бова, изд. 1841 г.). «Но к *завтрому* вы отдохнете и обдумаете» (Достоевский, Бесы, I, 101).

219. Сравнительно новым явлением в русском литературном языке оказывается употребление прилагательных в смысле дополнений и обстоятельств. Здесь надо различать следующие случаи:

1) Образование новых слов, соответствующих именам с предлогом: *загробный, замогильный, домогильный* (редкое), *дореформенный, посмертный, безбровый, бестенный, безвыходный, безлучный, бестрепетный, довременный, предрассветный, предзакатный* и т. п.

2) Употребление уже существующих прилагательных в значении обстоятельств времени. Хотя мы и не допускаем таких выражений, как *осенний сад* вместо «сад осенью» или *вечерние свечи* в значении «свечи, зажигаемые по вечерам», однако встречаем подобные выражения у выдающихся писателей. Таковы: *погребальная речь* (которая говорится при погребении), *ночной разбойник* (разбойничающий по ночам), *вечерний звон* (бывающий по вечерам), *зимний труд* (во время зимы) и т. д. Поэтому нельзя считать совсем нетерпимым и стих А. Блока: Помилуй, боже, *ночные души*! (скитающиеся ночью).

220. Некоторые прилагательные имеют одну краткую форму (*должен*), другие — одну полную (*двоякий, деловой*). Авторы позволяют себе иногда придавать таким прилагательным непринятые окончания. Обыкновенное словоупотребление, старинное и современное, знает только одни краткие или полные формы: *воздушный, господень, должен, двоякий, деловой, красноносый, многие, печатный, посторонний, проезжий, нищий, родной, ручной.*

221. Имена прилагательные, оканчивающиеся на *-нный*, имеют в кратком окончании мужского рода то *-ен*, то *-нен*. Чтобы не смешивать одного окончания с другим, нужно обращать внимание на состав и происхождение прилагательных.

Прилагательные, произведенные от существительных, корень (или основа склонения) которых оканчивается на *-н*: *временный* (*своевременный*), *длинный, истинный, неизменный, пространный, пустын-*

ный, склонный (*благосклонный, непреклонный, неуклонный*), *странный, ценный* и пр., имеют в кратком окончании *-нен: временен* (*своевременен*), *длинен, истинен, неизменен, пространен, пустынен, склонен, благосклонен, непреклонен, неуклонен, странен, ценен* и пр.

К этой же группе отнесем и те прилагательные, которые, не имея *н* в корне, имеют его в словообразовательной основе существительного; они тоже оканчиваются в краткой форме на *-нен: бездыханен, благоуханен, искренен, надменен, несомненен* (сравните: *дыхание, благоухание, искренность* и пр.).

К этой же группе относятся и те немногие прилагательные, которые имеют окончание *-нный* после слога *не: болезненный — болезнен, приязненный* (*неприязненный*) *— приязнен, неприязнен, безукоризненный — безукоризнен, безбоязненный — безбоязнен.*

Так как причастия на *-нный* имеют в краткой форме окончание *-ен* (*брошенный — брошен, спрошенный — спрошен, оконченный — окончен, окровавленный — окровавлен, разрешенный — разрешен* и т. д.), то и прилагательные, полученные из причастий, должны бы принять такое же словообразование. Действительно мы имеем: *возвышенный — возвышен* («образ мыслей его *возвышен*»), *определенный — определен, неожиданный — неожидан, почтенный — почтен, распространенный — распространен* (первое *н* принадлежит корню), *рассеянный — рассеян, совершенный — совершен.*

Но в общем прилагательные данного рода отличаются от причастий удвоением *н*. Таким образом, мы употребляем или даже предпочитаем при *неожидан — неожиданен,* при *определен — определенен, неопределенен,* при *почтен* (устарелое) *— почтенен.*

Затем имеем ряд прилагательных с окончанием *-енный,* почти всегда неударяемым. С ударением можем указать только *блаженный, прокаженный,* допускающие одно краткое окончание: *блажен, прокажен* (малоупотребительное) и *обыкновенный,* имеющее окончание с удвоением *н*: *обыкновенен, необыкновенен.*

Прилагательные с неударяемым *-енный* колеблются в кратком окончании мужского рода между формами на *-енен* и *-ен*; последние, т. е. такие, как *воинствен, искусствен, посредствен, явствен,* встречаются чаще. Руководствуясь существующим в настоящее время употреблением, укажем: *безнравственен, бесчувственен* и *бесчувствен, сочувствен, величествен, двусмыслен, единствен, естественен* и *естествен, легкомыслен, медленен* и *медлен, многочислен, могуществен, мужествен, невежествен, ответствен, подведомствен, посредственен, родственен* и *родствен, свойственен* и *свойствен, таинствен, тождественен.*

222. Не многие употребляют прилагательные на *-щий: зрящий, плодущий,* которые Буслаев считал вошедшими в книжный язык («Историческая грамматика», § 55). Но *завалящий, злющий* (реже: *злущий, гулящий, пропащий, работящий* нередко встречаются у писателей.

223. Современный литературный язык имеет ряд прилагательных на *-чий, -лый, -мый,* близких к причастиям: *бродячий, висячий, вонючий, гремучий, горючий, дремучий, жгучий зрячий, живучий, кипучий,*

колючий, ревучий (Пушкин), *могучий, шипучий* и др.; *загорелый, заматерелый, исхудалый, опустелый, поблеклый, сиплый, тухлый, чахлый* и под.; *невыносимый, незаменимый, неистощимый, необитаемый, необходимый, неуловимый, неумолимый* и т. п.

Старый литературный язык предпочитал иногда употреблять на месте таких прилагательных причастия: *могущий* вместо *могучий, жгущий* вместо *жгучий, живущий* вместо *живучий*.

224. Старые стилисты отличали некоторые близкие по форме прилагательные от причастий, например: *усильный* и *усиленный*. Так, у Аксакова в «Семейной хронике» было напечатано: «Софья Николаевна... уступая *усиленным* просьбам старика, приезжала на бал на самое короткое время» (105), но в списке опечаток автор просил вместо *усиленным* читать *усильным*. Сравните там же причастие *усиленный*: «Верстах в семнадцати от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан, и *усиленный* его водами, недалеко от города Бугуруслана соединяется с большим Кинелем» (28).

Хотя мы обыкновенно говорим *крахмальный* (прилагательное), но и *крахмаленный* (причастие) нельзя считать не имеющим права на употребление. <...>

226. Если прилагательное или причастие употреблено в значении существительного, то при нем может стоять еще прилагательное для определения: *милый ближний, бедная больная, бедный слепой* и т. п. Прежде были противниками такого словоупотребления: «Не хорошо, — писал Греч, — когда сойдутся два прилагательные без существительного: *бедный слепой, свирепый дикий;* последнее должно превратить в существительное: *бедный слепец, свирепый дикарь*» («Чтения о русском языке», II, 210). Однако во многих случаях нет возможности последовать такому совету, так как мы обыкновенно не имеем для подобных прилагательных соответствующих существительных. Да и *слепец* не вполне соответствует *слепой*: первое слово книжное, малоупотребительное; точно так же *дикарь* более принято, чем *дикий* в смысле существительного. Слово же *ближний, больной, городовой* и под. нам нечем заменить.

§ 25. Склонение прилагательных

227. В родительном, дательном и творительном падежах прилагательных на *-ий* после *ж, ч* мы иногда встречаем у писателей, точно так же как и в народном языке, форму женского рода на *-жей, -чей* вместо общепринятой на *-жьей, -чьей*. Литературный язык, собственно, почти не знает таких форм притяжательных на *-жая, -чая*, от которых могли бы получиться родительные на *-ей*. Имеем только необычное *лебяжья грудь* (см. пункт 231), общепринятое *монаршая милость — монаршей милости* и редкое *кошачая* («Его *кошачая* походка, Брюшко и короткий, лежлый взор...» — Данилевский, Адвокатство женщины, III, изд. 1901 г., стр. 56), откуда родительный, дательный и творительный должны иметь форму *кошачей* («Лаской *кошачей* геройство в нем тщась

усыпить...» А. М а й к о в, Брингильда); также: *княжая — княжей* («И царевича венчают *княжей* шапкой» — П у ш к и н). Обыкновенно же имеем: *вражья сила — вражьей силы, верблюжья шерсть — верблюжьей шерсти, ко́шачья ласка — ко́шачьей ласки* и т. д.<...>

229. В других случаях подобные именные формы склонения прилагательных встречаются редко. Укажем: дат. п. *вражью, щучью* (в особом окаменелом выражении), *мужичью,* им. п. мн. ч. *турии.*

«Прокрасться в ночь ко *вражью* стану» (П у ш к и н, Полтава, III). «По *щучью* веленью все тебе готово» (К о л ь ц о в).

230. Только при неумелом обращении с русским языком можно смешивать прилагательные притяжательные на *-жий* с другими, то есть склонять, например, *свежий, досужий, горячий,* как *медвежий, волчий* и т. п.

«Я употребил часть своего *досужьего* времени на составление этого руководства» (Р. О р б и н с к и й, Руководство для преподавателей грамотности, Одесса, 1861, стр. III).

231. В стихах, ради размера, прилагательные иногда ставятся в необычной или устарелой растянутой форме: *лебяжая грудь, бабию речь* и т. п.

232. Прилагательные краткого окончания *бел, бос, бела, боса* и т. п. у нас вообще не склоняются; только в некоторых выражениях сохранились формы старых падежей по именному склонению: *среди бела дня, на босу ногу,* причем говорим также: *среди белого дня, на босую ногу.*

233. В склонении прилагательных нужно обратить внимание на родительный падеж женского рода с окончаниями *-ыя, -ия (влажныя земли),* теперь почти совершенно исчезнувший из литературного языка, но державшийся очень долго и встречающийся еще в стихах Пушкина, Лермонтова, Майкова и др.

234. В народных говорах прилагательные притяжательные краткого окончания склоняются, как полные: *бабушкин дом — бабушкиного дома, бабушкиному дому, старостин сад — старостиного сада, старостиному саду* и т. п. Такое неправильное склонение встречаем мы не только в современной периодической печати, но даже у знаменитых писателей.

«Отец уже сидел, переодетый, вымытый и свежий, возле *матушкиного* кресла» (Т у р г е н е в, Первая любовь, 358). «Она исполняла в доме роль *Колиного* дядьки или гувернера» (Т у р г е н е в, Новь, 41). «Алексей Степаныч... вызвался пособить *сестриному* горю» (С. А к с а к о в, Семейная хроника, 156). «В углу установлен был большой глиняный таз с водою, приготовленный для ночного мытья детского и *мужниного* белья» (Д о с т о е в с к и й, Преступление и наказание).

Обыкновенно употребляем: *матушкина кресла, сестрина горя, бабушкина дома, иродова избиения, батюшкина кулака* и т. д., как в следующих примерах.

«Царь... хлопнул дверью и ушел из *царевнина* терема» (К а р а м з и н, Прекрасная царевна). «Какова сыну обновка к *дядину* сговору?» (Ф о н в и з и н, Недоросль). «Захватили кафтаны на плечи и

пошли через дорогу к *Машкину* Верху» (Л. Толстой, Анна Каренина).

Однако предложный падеж таких слов мы уже обыкновенно образуем по склонению прилагательных, а не существительных: *о бабушкином доме, о сестрином имении, в дочернином сердце, о папенькином гневе* и т. п.

235. В отчествах женского рода литературный язык не допускает долгого окончания, как это было в старинном языке и встречается иногда в народном. Следует говорить и писать: *нет Марьи Ивановны* (а не *Ивановной)*, *кланяйтесь Вере Григорьевне* (а не *Григорьевной*) и т. д.

236. Малоупотребительные во множественном числе отчественные имена женского рода в творительном падеже множественного числа принимают у нас обыкновенно форму существительных: *Петровнами, Ивановнами, Степановнами* (как *царевнами*); у старых писателей иногда находим в творительном падеже множественного числа окончание *-ыми* по склонению прилагательных. Изредка оно встречается и в наше время.

237. Прилагательные, означающие названия городов и селений на *-ов, -ев, -ово, -ин, -ино,* склоняются как существительные на *-о* и твердый согласный; родительный падеж: *Саратова, Юрьева, Лыскова, Лихвина, Горохина, Бородина,* дательный падеж: *Саратову, Юрьеву, Лыскову, Лихвину, Горохину, Бородину,* предложный падеж: *о Саратове, о Юрьеве, о Лыскове, о Лихвине, о Горохине, о Бородине.* В творительном падеже некоторых слов есть колебания. Те названия, которые потеряли характер прилагательных и чувствуются как имена предметов, склоняются по образцу существительных: *Саратовом, Черниговом, Ростовом, Гдовом, Юрьевом, Киевом, Лысковом, Кашином, Лихвином;* другие немногие слова, не утратившие связи с прилагательными, имеют в творительном падеже окончание *-ым*, как у прилагательных: *Царицыным, Горохиным.* Естественно, что здесь возникают колебания: *Азовым* (старое) и *Азовом, Лихвиным* и *Лихвином, Бородиным* и *Бородином* и т. п.

238. Особенно надо сказать о таких формах, как: *в Архангельском, в Николаевском* и т. п. вместо *в Архангельске, в Николаевске.* Это прилагательные (*Архангельский город*), которые принадлежат только старинному и народному языку и не встречаются в современном литературном. Теперь употребляем: *живет за городом Архангельском; сторожат в Николаевске* и т. п.

239. Древние формы именительного падежа множественного числа нечленных прилагательных: *ради, виноваты, сыты, голодны* и др., нередко слышимые в народе, теперь не допускаются в литературе, но встречаются у старых писателей.

240. Славянизм *прочая* (именительный падеж множественного числа среднего рода) теперь сохранился только в императорском титуле. Сокращение *и проч.* мы обыкновенно читаем: *и прочее.* У писателей, однако, встречается и более старая форма этого слова.

У писателей подобные формы именительного падежа множественного числа среднего рода встречаются и от других слов, как заимствование из славянского

«Способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им *вся сокровенная* Головлевских дел» (Щ е д р и н, Господа Головлевы).<...>

§ 26. Степени сравнения

243. От таких образований, в которых обнаруживается гибкость русского литературного языка, сообщающаяся ему из разговорного просторечия, нужно отличать формы: 1) полученные из языка церковнославянского (например, *горше, паче*), 2) заимствованные из провинциальных наречий, например *дешевлее* (встречается у Гоголя; обыкновенно: *дешевле*), *краше* (от *красный* в смысле «красивый, прекрасный», по старинному и народному употреблению), *слаже*, 3) одинаково принадлежащие к обоим этим разрядам (*пуще*).

244. Некоторые имена прилагательные (и наречия) имеют в сравнительной степени две формы — на *-ее* и *-е*: *богаче* и *богатее* (устарелое), *более* и *боле* (старинное и народное), *горче* и *горчее* (народное), *громче* и *громчее* (народное), *гуще* и *густее* (менее употребительно, чем первое), *далее* и *дале* (старинное и народное), *жальче* и *жальчее* (реже), *долее* и *доле* (старинное и народное), *звонче* и *звончее*, *круче* и *крутее* (реже), *ловче* (народное) и *ловчее*, *позже* и *позднее*, *проще* и *простее*, *тяжеле* (старинное и народное) и *тяжелее*, *ярче* и *ярчее* (народное). Мы видим, что чистому и современному литературному языку принадлежат далеко не все приведенные формы.

245. Старые грамматики устанавливали различия между формами сравнительной степени на *-ше* и *-ее*. Формам на *-ше: больше, дальше, дольше, меньше, раньше, старше, тоньше* — присваивалось значение прилагательных; формы на *-ее, более, далее, долее, менее, ранее, старее, тонее* — считали наречиями. Книжный и живой язык не знал такого различия в старое время, не знает и в нынешнее.

В общем, и в живом и в письменном нашем языке господствуют формы на *-ше*; формы на *-ее*, имеющиеся при них, отзываются книжностью.

Только в некоторых оборотах данные формы более разграничены. Так, для выражения сложной сравнительной степени употребляются только *более, менее;* также в сочетаниях: *тем более, тем не менее, и так далее.*

246. *По-* при сравнительной степени означает ослабление качества: *побольше, покрасивее* (несколько, немного больше, красивее). Поэтому не должно соединять подобных прилагательных с *очень, гораздо, несколько.*

247. В первой половине XIX века прилагательные на *-ейший* еще понимались и употреблялись в значении сравнительной степени; теперь это почти не допускается.

«*Огромнейший* первого камень схватил» (Ж у к о в с к и й, Одиссея, IX, 537). «Его [Греча] грамматики суть важные явления в истории нашего языка, и с них начинается *основательнейшее* его изучение» (Белинский, III, 475).

248. Неупотребительны теперь превосходные степени из прилагательных на *-ейший* в соединении с *самый*, как было обычно у писателей

первой половины XIX века. Уже Греч вооружался против такого оборота: «Пред сравнительною степенью [разумеются формы на *-ейший* и *-айший*] употреблять слово *самый* непозволительно; например, нельзя говорить: *самый сладчайший*» («Чтения», II, 210). Теперь говорим только: *самый ближайший, самый кратчайший путь.*

249. При сравнительной степени может стоять иногда и в литературном языке, подобно народному, прилагательное относительное, соответствующее придаточному предложению с *чем: рассердился больше прежнего* (*-чем прежде*), *жить там лучше здешнего* (*-чем здесь*), *нынче мороз сильнее вчерашнего* (*-чем вчера*), *он принял меня лучше тогдашнего* (*-чем тогда*).

250. Сравнительная степень на *-ее* сокращается в *-ей*, когда на окончание падает ударение, *белéй, тяжелéй, смелéй, скорéй;* но только: *бóлее, мéнее* (ударение на корне). Сокращенные формы последнего рода: *бóлей, невéрней* допускаются только поэтами.

«Что за радость биться с долей? Дал бог сон — чего же *болей*» (М е й, Невинной душке). «Стихло. Бледней и *неверней* Горных вершин очертанья» (Ч ю м и н а, Вечер).

251. Если прилагательное относительное употребляется в значении качественного, то оно может иметь степени сравнения; говорим, например: *характер самый ангельский* (то есть самый кроткий), *небеснее.*

252. Живой русский язык часто выражает превосходную степень прилагательных и наречий повторением слова, иногда с присоединением ко второму приставки *пре-*. Такие формы не чужды и литературному языку.

«Она занимала большой деревянный дом на Остоженке, *теплый-претеплый*» (Т у р г е н е в, Несчастная, 71). «Здесь был еще молодой человек с завитой в *мелкие, мелкие* барашки головой и с выпуклыми глазами...» (П и с е м с к и й, В водовороте, 233).

253. Народные формы превосходной степени на *-ущий* и *-енный* встречаются у авторов только в очень немногих словах: *большущий, здоровенный.* Сюда же примыкает форма *тьмущая* в выражении *тьма тьмущая.*

254. Если при причастии стоит наречие, то причастие уже не может иметь смысл прилагательного, а потому не может быть соединено с *самый* для выражения превосходной степени. Обыкновенное словоупотребление: *помощь тяжело трудящегося* (причастие) *сословия*, или же: *помощь самого трудящегося* (прилагательное) *сословия.*

§ 27. Имена числительные

255. Некоторые числительные сравнительно в недавнее время утратили свою способность изменяться по всем падежам. Для нас уже невозможно употребление форм: *стом, стами*; необычно: *во сте*; вполне возможно: *пятидесятью, шестидесятью* вместо *пятьюдесятью, шестьюдесятью* и под., которые еще рекомендуются современными грамматиками и которые нередко мы видим в книжном языке.

256. Числительные *сорок, девяносто* и *сто* во всех косвенных падежах теперь имеют одну форму родительного: *к сорока рублям,*

сорока рублями, о девяноста рублях, во ста верстах и пр. Однако после предлогов *по* и *ко* эти числительные могут принимать форму дательного падежа: *по сороку* (устарелое), *по девяносту, ко сту, по сту,* но могут и не изменять своей формы: *по сорока* (теперь всегда так), *по девяноста, ко ста, по ста.*

257. Числительное *тысяча* в творительном падеже единственного числа имеет, кроме правильной формы *тысячею,* неправильную *тысячью,* которая весьма употребительна в живом языке и у авторов. Также и в родительном множественного при правильной форме *тысяч* употребляется иногда неправильная *тысячей.*

Восемь имеет в творительном падеже *восьмью* (*осьмью*) и *восемью* (чаще).

258. У Пушкина встречается замечательная форма: *четырью* (по образцу *пятью, шестью*). Она принадлежала старому петербургскому просторечию и держалась в нем еще в сороковых годах, как это видно из книги «Справочное место русского слова» (СПб., 1843), в которой читаем: «Часто говорят: он моложе *четырью* годами; правильно: *четырьмя* годами» (стр. 122).

Несомненно, из народного языка у него *семьдесять.* Впрочем, формы *шестьдесять, семьдесять, восемьдесять* были не чужды и старому литературному языку; академический Словарь даже предпочел их формам с твердым окончанием, которые теперь употребляются исключительно.

259. К именам числительным можно отнести и слово *пол,* употребляемое только в сложении со словами: *полгода, полмесяца, полчаса, пол-аршина, полверсты, полдюжины, полпуда, полфунта* и пр. (в значениях меры *пол* слагается с родительным падежом), *полдень, полночь* (сочетания *пол* с именительным вообще редки), *полсутки* («Андрюша *полсутки* ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком» — Гончаров, Обломов, II, 4; «*Полсутки* иной раз жду, где-нибудь на тротуаре у твоих ворот» — Достоевский, Униженные и оскорбленные, II, 260) при обыкновенном *полсуток.*

Во всех косвенных падежах таких слов *пол* принимает форму *полу: от полудня до полуночи, около полуверсты, с полуфунтом, в полуверсте* и т. д.

260. При числительном *тысяча* существительное обыкновенно принимает в склонении форму родительного падежа множественного числа: *тысяча рублей, от тысячи рублей, к тысяче рублей, тысячу рублей, тысячею рублей, о тысяче рублей.*

261. Числительное *сто* в сложении с *две, три, четыре, пять, шесть* и т. д. в косвенных падежах изменяет обе части сложения: *двух сот, двумя стами, о двух стах, к четырем стам, о пяти стах, шестью стами* и т. п. Стоящее при числительном существительное в этом случае или согласуется с ним, или во всех падежах принимает форму родительного множественного числа: *двумя стами рублями* или *двумя стами рублей, к трем стам десятинам* или *к трем стам десятин, о пяти стах жителях* или *о пяти стах жителей* и т. д.

Слово *тысяча* в подобных случаях, как и существительные, принимают форму, одинаковую с числительными, или употребляется в

родительном падеже множественного числа: *тремя стами тысячами, о четырех стах тысячах, к пяти стам тысячам* и т. д. или же: *тремя стами тысяч, в четырех стах тысяч, к пяти стам тысяч* и под.

262. Числительное *тысяча* (и *миллион*) в сложении с другими числительными (до *ста*), подобно слову *сто*, в косвенных падежах изменяет обе части сложения: *двумя тысячами, трем тысячам, пяти тысяч, о шести тысячах* и т. д. При этом существительное изменяется вместе с числительным или остается всегда в родительном падеже множественного числа.

263. Числительное *полтора* (мужской и средний род) и *полторы* (женский род) утратило для нас большую часть своих старых падежных форм. Формы *полутора* со множественным числом существительного обыкновенно заменяет у нас все косвенные падежи мужского и женского рода. Так, мы говорим и пишем в единственном числе: *по полутора рублей* (старое: *по полутору рублю*), *полутора рублями* (старое: *полуторым рублем*), *о полутора рублях* (старое: *о полуторе рубле*), *около полутора недель* (старое: *около полуторы недели*), *к полутора неделям* (старое: *к полуторе неделе*), *полутора неделями* (старое: *полуторою неделею*), *о полутора неделях* (старое: *о полуторе неделе*); во множественном числе: *полутора* (произносится: *пóлтора*) *суток* (старое: *полуторы сутки*), *полутора суток* (старое: *полуторых*), *полутора сутками* (старое: *полуторым*), *полутора сутках* (старое: *полуторыми*), *о полутора сутках* (старое: *полуторых*).

264. Числительное *первый*, употребленное в значении *прежде*, может принимать окончание сравнительной степени *-ее*. В разговорном языке мы знаем также старинную и народную форму превосходной степени *первейший* (*мука первейший сорт*).

265. Мы не решаемся употреблять по-народному сочетания *сам* и сокращенных числительных порядковых: *друг, четверт, пят, шост* (иногда полных: *сам третéй, сам седьмóй, сам восьмóй*) и под., хотя и знаем их у писателей. Только говоря об урожае, мы употребляем *сам-пят, сам-десят* и т. п.

Таким же провинциализмом является для нас и: *друг дружку, друг подле дружки* вместо *друга* и пр. Общепринятыми являются выражения: *друг друга, друг к другу, друг за другом* и т. д.

266. Числительные собирательные *двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро* употребляются: 1) при именах личных, то есть означающих людей мужского рода, и при слове *дитя* среднего рода, 2) при существительных, употребляющихся только во множественном числе, 3) при прилагательных, имеющих значение личного существительного имени, 4) когда числительное употреблено без имени, 5) при местоимениях *мы, вы, они, нас, вас, их* и т. д., 6) в некоторых сочетаниях, имеющих смысл наречий (*вдвоем, вчетвером, вшестером, по двое, надвое, натрое, втрое, вчетверо* и под.).<...>

267. Литературный язык не допускает соединения собирательных числительных с именами женского рода; поэтому нередко встречающиеся теперь сочетания *трое дверей, трое женщин, четверо дочерей, трое лошадей* и под. нужно признать неправильными.<...>

§ 28. Местоимения

269. Личное местоимение *он* в косвенных падежах после предлогов принимает вставочное *н*: *от него, к нему, с ней* и т. д. Но после предложных наречий: *кроме, мимо, около, между* и др., а также и после двусложного предлога *ради* некоторые затрудняются писать и говорить с *н* или без него. Общепринятыми теперь нужно считать формы с *н*, хотя в старину их избегали, да и теперь они не так обязательны, как в случае, подобных *из него, по нем, к нему* и т. д.

270. Форма *ней* для родительного падежа местоимения *она* после предлогов, когда-то не одобряемая грамматиками, теперь может считаться принятой и утвержденной в языке образцовыми писателями.<...>

272. Возвратное местоимение *себя* обыкновенно ставится при личных вместо косвенных падежей от них: «Я нашел платок у *себя* в кармане» (а не у *меня*): «*Ты* часто бываешь недоволен собою» (а не *тобою*); «*Она* обронила письмо *у себя* в комнате» (а не *у нее*). Обороты с личным местоимением вместо возвратного не чисто русские. Мы не говорим: «*Я* весь вечер провел у *меня* в кабинете», но только «у *себя* в кабинете».

273. Уже Греч обратил внимание на то, что в русском литературном языке при сравнительной степени вместо личных местоимений могут употребляться притяжательные: «Он пишет не хуже *вас*» и «не хуже *вашего*»; «Петр трудится не меньше *тебя*» и «не меньше *твоего*». В современном образованном языке, однако, последние словоупотребления редки; они принадлежат более языку старому и народному.

274. Местоимение *свой* относится у нас ко всем трем лицам во всех родах и числах: «Я взял *свою* шляпу», «Ты взял *свою* шляпу»; «Он взял *свою* шляпу»; «Она взяла *свою* шляпу»; «Мы взяли *свои* шляпы» и т. д. Притяжательные местоимения *мой, твой, его* означают принадлежность 1-му, 2-му и 3-му лицу, но обыкновенно не соединяются с соответственными лицами, т. е. не говорят: »Я взял *мою* книгу»; «*Ты* взял *твою* тетрадь»; «*Он* получил *его* заработную плату», но обыкновенно заменяют в этом случае местоимения отдельных лиц общим местоимением *свой*: «Я взял *свою* книгу»; «Ты взял *свою* тетрадь, а *мою* забыл»; «Он получил *свою* заработную плату, а *твою* ему не выдали» и т. д.

Когда притяжательные местоимения *мой, твой, наш* и пр. противополагаются или сопоставляются, тогда часто ставят их вместо *свой*: «Я возьму *мою* чашку, а ты *свою*» (или *твою*), «Я продал *мой* дом, а он *свой* не хотел продать».

275. Местоимение *некий* (слово книжное; разговорное *какой-то*) составлено из *кой* и должно бы склоняться как последнее: *коего — некоего, коему — некоему, коим — некоим, о коем — о некоем, кои — некии* (по условному правописанию здесь *и* после *к*, подобно именительному падежу, где *некий* вместо *некой*), *коих — некоих, коим — некоим* и т. п. Но так как под влиянием правописания именительный падеж стал произноситься с мягкой согласной в конце, то мягкая основа проникла и в другие падежи: в творительный единственного числа мужского рода, где мы употребляем форму *некиим*, и во все

падежи множественного числа, где получилось склонение с мягкой основой: *некие, некиих, некиим* и т. д. В женском роде единственного числа сохранилась твердая основа: винительный падеж *некую*, прочие *некоей*.

276. Местоимения *столько, сколько* и *несколько* затрудняют в употреблении своими падежными формами: они изменяются частью по именному, частью по местоименному склонению. 1) Кроме именительного, они все имеют дательный после предлога *по*: *по стольку, по скольку, по нескольку*; в исключительных случаях (в старом языке) встречается родительный на *а*: *до скольки, нескольки* (обыкновенно: *скольких, нескольких*); 2) часто употребляются формы множественного числа с окончанием прилагательных: *стольких, скольких, нескольких, стольким, скольким, нескольким, столькими, сколькими, несколькими, о стольких, скольких, нескольких* (последние формы производят от утраченных *стольский, скольский, нескольский*; сравните: *много, помногу, многие*).

277. Для нас необычны народные винительные падежи: *всеё, одноё, тоё*, хотя они встречаются у писателей. Но *самоё* более принято, чем *саму*, хотя и последнее встречается в печати.

278. Писатели употребляют изредка старинные местоимения: *всяк, всяческий* (откуда общепринятое наречие *всячески*), *кой, каковой, оный, сей, таковой, толикий*, которые для большинства современных образованных людей уже представляются неупотребительными.

Местоимение *кой* употребляется теперь только изредка в деловых бумагах («Поступило в приход 240 рублей, *кои* внесены в казначейство»), да и то лишь в косвенных падежах; в выражениях: *кой чёрт, в кои-то веки, в кою-то пору, ни в коем случае*.

В сложении с местоимениями *кто, что, какой*, как несклоняемая их часть, имеется форма *кое*: *кое-кто, кое-что, кое-какой*. Но в разговорном языке и у писателей встречается (реже) и форма *кой*: *кой-кто, кой-что, кой-какой*.

В сложениях с местоимениями и наречиями Грот, кажется, напрасно различал *кое-как, кое-что* и *кой-как, кой-где, кой-куда*. Современное употребление во всех случаях предпочитает сочетания с *кое*: *кое-кто, кое-где, кое-куда* и т. д.

Если при сочетаниях *кое-кто, кое-что* употребляется предлог, то он, разделяя сочетание, стоит перед вторым склоняемым местоимением: *спросить кое у кого, поговорить кое о ком, догадываюсь кое по чему, узнать кое о чем*. Постановка предлога впереди сочетания почти не встречается. *Кое-какой* имеет формы *из кое-какого, о кое-каком, для кое-какого*, но возможны употребления *кое в каком, кое для каких*.

Местоимение *сей* в разных формах представляет смешение русских элементов с славянскими. Славянские *сей, сия, сие*: «*Сей* дом продается», «*Сия* тетрадь принадлежит ученику второго класса Ивану Колосову», «*Сие* письмо по прочтении прошу возвратить мне». Русские формы *сесь, ся, се* вообще устарели и сохранились лишь в некоторых падежах и выражениях. Несомненно, русские *о сю пору, по сю сторону* (винительный падеж женского рода), *то да се, ни то ни се*

(именительный падеж среднего рода), *того-сего, ни с того ни с сего, о том о сём* (родительный и предложный падежи мужского и среднего рода), *до сих пор* (родительный падеж множественного числа; на русское происхождение указывает народное *до сех пор* — по-русски склонение данного местоимения совпало с *тот*), *ни в тех ни в сех*.

279. Указательное местоимение *то* в старом языке нередко употреблялось там, где мы теперь допускаем только *это*.

«В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на *то* никакого внимания» (П у ш к и н, Пиковая дама, изд. Морозова, IV, 303).

280. В просторечии употребляются еще местоимения *вашенский, нашенский* (вашего, нашего сословия, разбора).

«Уж на что ж еще и поддевают дураков из *вашенского брата*!» (А. М а й к о в, Три правды).

Просторечию также принадлежат выражения *наш, ваш брат, наша, ваша сестра* (мы, вы и нам, вам подобные).

281. Буслаев замечал: «Притяжательное *ихный*, столь употребительное в речи разговорной и столь необходимое, еще довольно туго входит в язык книжный» («Историческая грамматика», § 57). Теперь можно положительно считать его не вошедшим в общее и свободное обращение, хотя оно и нередко встречается у авторов, обыкновенно с мягким окончанием.

282. *Самый* при существительных может стоять вместо *даже*. Впрочем, для нас такое употребление устарело.

«Многие поджигали народ, и *самые* бояре» (К а р а м з и н, История Государства Российского, VIII, 99). «Люди питались злаками, *самые* цари изволили лакомиться уткой с шафраном» (Щ е д р и н, Признаки времени, 12).

283. Местоимение *сам* обыкновенно служит к усилению личных местоимений и лиц: «Я *сам* сделаю»; «Ты *сама* приходи»; «Он *сам* это сказал» и т. п. Иногда личное местоимение совсем не употребляется, и в речи является только одно слово *сам*: «*Сам* узнаешь, будет время, Бранное житье» (Л е р м о н т о в).

В значении *невольно* местоимение *сам* может относиться и к предмету, а не лицу: «*Сам* топор вот так и ходит» (Майков). «Рад бы не плакать, да слезы *сами* льются» (Д а л ь).

В употреблении *сам* нередко смешивается с *самый*, особенно в косвенных падежах. Чтобы избежать такого смешения, нужно помнить, что местоимение *сам* служит к определению лиц; поэтому следует не допускать таких словоупотреблений, в которых *сам* относится к предметам, а не к людям, хотя такие случаи и встречаются у авторов.

«Но прелестнейшую картину представляло *самое* озеро» (Ж у к о в с к и й, Отрывки из письма о Швейцарии, 208). «*Самая* смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного» (П у ш к и н, Путешествие в Арзрум, II).

Форма местоимения *сам* меняется оттого, что оно может стоять при личном местоимении и при возвратном: 1) «Я *сам* вижу *себя* в зеркале»; 2) «Я вижу *самого себя* в зеркале»; 1) «Ты любишь *сам себя*»;

2) «Ты любишь *самого себя*»; 1) «Она *сама себе* нравится» и 2) «Она нравится *самой себе*».

284. Местоимение *ничто* в просторечии означает иногда *нисколько*; в таком значении употребляют его и писатели: «Денег нет *ничего*» (Л. Толстой, Анна Каренина, 149).

Ничего изредка может употребляться вместо *ничего* и даже вместо *никто* (последнее, впрочем, необыкновенное словоупотребление): «*Ничего* ее бы не спасло!» (Пушкин, Капитанская дочка, изд. 1836 г., стр. 183).

Выражение *без ничего* (остался) вместо *безо всего* или *ни чем* уже в 40-х годах отмечено как неправильное (см. «Справочное место русского словаря», СПб., 1843, стр. 7).

285. Местоимение *весь* в некоторых выражениях имеет славянскую форму именительного падежа множественного числа среднего рода *вся*: «пуститься (пускаться) во *вся* тяжкая» (здесь и прилагательное является в той же форме), «звонить *во вся*» (как наречие; но *во все* колокола»), *все и вся*, «бранить *всех и вся*».

§ 29. Словообразование глаголов. Виды

286. Под влиянием народного языка речь наших писателей гораздо более богата видовыми формами, чем обыкновенный язык представителей городского образованного класса. В больших городах уже давно и заметно утрачивается это богатство языка. Греч в 1840 г. заявлял, что составители русских грамматик «выдумывали несбыточные и небывалые» формы, например *бывывало, хаживал* («Чтение о русском языке», I, 289). Конечно, это заявление показывает, что Греч плохо знал живой и литературный русский язык (грамматику он знал хорошо). В существовании «несбыточных и небывалых» форм не может быть никаких сомнений.

«*Бывывали* и мы при деньгах» (Даль). «Профессор мой *хаживал* к батюшке, и говаривал с ним обо мне» (Карамзин, Мармонтелевы повести, 99). «Я не раз *хаживал* туда смотреть, как ...вытискивали пестрые узоры обоев» (Тургенев, Первая любовь, 313). «С Гектором они старые приятели еще по обозам, в которых они вместе *хаживали* между Томском и Красноярском» (Елпатьевский, Гектор, 161).

Однако несомненно, что петроградская живая речь уже и в то время в значительной степени утратила богатство чисто русских видовых образований. Потеря чутья к видовым формам здесь очень явно обнаруживается в непонимании видовых оттенков глаголов *слыхать* и *видать*. Именно в Петрограде в народе часто говорят *слыхал* вместо *слышал* и *видал* вместо *видел*. Такое употребление встречается и в речи образованных петроградцев, а также у некоторых преимущественно петроградских писателей.

«Я *слыхал*, что у г. Ольхина изготовляется изданий более чем на 280 000 рублей ассигнациями» (Булгарин; у Белинского, VIII, 347, предлагающего вместо *слыхал — слышал*). «На Патмосе, свой день, великое виденье Один, из всех людей, воочию *видал* — борьбы добра и зла живое напряженье...» (Случевский, Воплощение зла).

Богатство и правильность видовых словоупотреблений наши авторы заимствуют из родовых провинциальных наречий, из общения с теми классами населения, которые не подверглись сильному влиянию жизни больших не чисто русских городов, чужих народов и языков.

Нельзя, впрочем, говорить о совершенном падении видов и в языке больших городов. Если некоторые старые видовые формы забываются, то наблюдается и прирост видовых образований. Так, заимствованные слова: *арестовать, ассигновать, конфисковать* и под., еще недавно известные только в одной этой форме, теперь уже получили вновь образованные живым языком формы несовершенного вида: *арестовывать, ассигновывать, конфисковывать.* Из этих форм две первые вошли в общее обращение, да и третья встречается нередко.

287. Уже Греч обратил внимание на то, что «в просторечии есть еще одна модификация однократного вида: *толканул, дерганул*. Это значит: чуть-чуть, едва толкнул, дернул» («Чтение о русском языке», I, 297). Такое видовое образование действительно существует и преимущественно в просторечии. Означает оно мгновенность действия, но не его слабость. Разницы по смыслу между *толкнуть* и *толкануть, рубнуть* и *рубануть* и т. п. образованиями мы не чувствуем.

288. В языке старинном и народном при отрицании *не* употребляется иногда многократный вид вместо однократного: *не бывали* вместо *не были, не женивался* вместо *не женился, не живал* вместо *не жил* и т. п. Это оборот, усиливающий отрицание. Остатком таких сочетаний в современном литературном языке является обыкновенное употребление *не видал, не слыхал* вместо *не видел, не слышал,* также *не расслыхал* вместо *не расслышал.*

Неправильно употребляемые в просторечии формы *увидал, увидать* в значении однократном, т. е. вместо *увидел, увидеть*, приняты и в языке образцовых писателей. То же нужно сказать и о словах *услыхать, расслыхать*, которые, будучи произведены от многократного *слыхать,* употребляются в однократном значении.

289. В русском языке по употреблению замечательны еще некоторые глаголы, означающие движение. Именно, мы имеем глаголы неопределенного движения: *бегать, гонять, катать, плавать, ползать, летать, таскать, бродить, водить, возить, лазить, носить, ходить, ездить*; рядом с ними у нас есть соответствующие глаголы определенного движения: *бежать, гнать, катить, плыть, ползти, лететь, тащить, брести, вести, лезть, нести, идти, ехать*. Те и другие глаголы — вида несовершенного; при этом первая группа по смыслу несколько приближается к многократному виду.

При сопоставлении настоящего времени вторых глаголов с прошедшим мы обыкновенно пользуемся прошедшими первой группы: «Ты уже *ходил* домой, а я еще только *иду*». «*Я веду* лошадь в кузницу, а ты *водил* ли?» «*Носил* ли ты свое письмо на почту? *Я* свое уже *несу*».

Особенно часто мы встречаем глаголы типа *ходить* после отрицания. Картинные выражения Пушкина: «К нему и птица *не летит*, и тигр *нейдет*» («Анчар») — в прозе мы передадим: к нему и птица *не летает*, и тигр *не ходит*. Мы говорим: «Он еще *не бегал* (или: *уже бегал*) в лавочку» (но: «Он *бежит* в лавочку»; *бегает* имело бы много-

кратное значение); «Ты меня *гнал* из своего дома, а я тебя *не гонял*»; «Ты уже *ведешь* лошадь в поле, а он еще *не водил*» (также: «а он уже *водил*»); «*Не вози* ему сена: он за него не платит»; «Лучше туда *не ходить*» (но: «Туда непременно надо *идти*»); «Ты еще *не ходила* (или: *уже ходила*) за молоком, хотя я сказал: «*иди*» (или: *не ходи*); «Ты уже *едешь* в город, а я еще *не ездил*» (также: «а я уже *ездил*»). Мы видим, что иногда глаголы типа *идти* не допускаются после отрицания.<...>

292. Говорят: *помалчивай, помалчивает, помалчивал* и *помалкивай, помалкивает, помалкивал*. Какие формы лучше и почему явилась разница в словах одинакового значения? Словари Академии и Даля указывают лишь *помалчивать*; только редактор 3-го издания Словаря Даля проф. Бодуэн де Куртенэ внес в этот словарь и форму *помалкивать*, которая, действительно, не только есть в языке, но и весьма распространена в обращении. Примыкают данные формы с *ч* и с *к* к двум разным по образованию группам глаголов. К первой группе принадлежат весьма употребительные слова: *помалчивать — отмалчиваться, замалчивать, замалчиваться, смалчивать, умалчивать* («Об этом история *умалчивает*»). Первая семья глаголов имеет переходное значение, т. е. действие направляется на что-либо, выражаемое дополнениями по вопросам *что, от чего, о чем* и др.

Вторая группа глаголов представляет малоупотребительный ряд образований на *-ивать* к группе глаголов: *замолкать, смолкать, умолкать*. Правда, мы почти не говорим: *замалкивать, смалкивать, умалкивать*, хотя по-русски это вполне возможно: «Шум стал *замалкивать*» (обыкновенно: *замолкать*); «*Смалкивает* громкий говор, все успокаивается» (обыкновенно: *смолкает*); «*Умалкивает* лай собак» (обыкновенно: *умолкает*). Из этой семьи глаголов у нас часто употребляется только слово *помалкивать*. Оно не внесено в прежние словари только по недоразумению: старые филологи, вероятно, думали, что *помалкивать* не самостоятельное слово, а искажение глагола *помалчивать*. Но то, что смешали прежние лексикографы, и теперь еще ясно отличается живым языком и писателями, сохранившими форму *помалкивать* и употребляющими ее правильно. Дело в том, что *помалкивать* принадлежит к семье глаголов непереходных, и мы употребляем это слово там, где не должно быть никакого дополнения: «Сиди да *помалкивай*», но: «Об этом ты *помалчивай*»; «Про меня ты *помалчивай*».

293. При глаголе *рассветать* правильно образованное прошедшее время должно иметь форму *рассветало*; но в языке, кроме этой формы, очень часто употребляется еще *рассвело*. Это, собственно, образование от малоупотребительного совершенного вида *рассвести*; сравните: *расцветать — расцветало, расцвести — расцвело* и т. п. То же нужно сказать и о формах *рассветает* и *рассветет*: первая образована от *рассветать* и означает настоящее время, вторая происходит от *рассвести* и показывает будущее время. *Рассвенет* образовано от народного *рассвенуть* (из *рассветнуть*).

§ 30. 294. В неопределенном наклонении окончание *-ть* вместо ударяемого *-ти* хотя и не вошло в общее употребление, но допускается даже лучшими нашими стилистами. Формы на *-ть*, вместе с формами

на *-ти*, дает и академический Словарь для многих глаголов, преимущественно сложенных с предлогами, именно: *выползть, гнесть, гресть, завезть, завесть, загресть, заместь, занесть, затрясть, зацвесть, месть, навезть, нагнесть, наползть, обнесть, обресть, оскресть, отвезть, отнесть, отплесть, отползть, отскресть, отцвесть, перебресть, перевезть, перевесть, перегресть, переместь, перенесть, перерость, перекресть, плесть, побресть, повезть, повесть, погресть, подвезть, подгресть, поднесть, подскресть, ползть, поместь, развесть, поразгресть, порость, посвесть, посместь, поснесть, пособлюсть, потрясть, поувезть, поувесть, превознесть, привесть, пригнесть, пригресть, приместь, принесть, приползть, прирость, пробресть, провезть, провесть, прогресть, проместь, процвесть, разбресться, разгресть, разнесть, расплесть, растрясть, свезть, свесть, соблюсть, увезть, увесть*. Мы видим все глаголы с основами на *з* и *с*. Конечно, общепринятыми и более распространенными остаются формы на *-ти*: *гнести, грести, мести, плести, ползти* и пр. С их производными. Однако обыкновенно только: *грызть, красть, лезть, пасть* (совершенный вид к *падать*; но: *пасти скот*), *прочесть, вычесть, счесть, сесть, прясть*.

295. Книжное *погребсти* (сравните новое церковное *погребсти*) образовано неправильно, потому что *б* перед *т* уже перешло в *с*: *гребу — грести, скребу — скрести* (ср. неправильное южное *скребсти*) и пр. Здесь *б* вторичное, взятое из формы изъявительного наклонения. Старые грамматисты, установившие, под влиянием церковного языка, форму *погребсти*, очевидно, желали еще различить значение *погребать* от значения *погрести* — поработать веслами.

296. В просторечии иногда слышатся старинные и народные формы *клять, проклять, заклять*. В литературном языке допускаются только формы: *клясть, заклясть, проклясть*. Вместо *застрять* встречается иногда *застрясть*.

297. Народные *найтиться, обойтиться, пройтиться* и под. вместо *найтись, обойтись, пройтись* совершенно не допускаются в нынешней литературной речи, но прежде их употребляли и писатели.

298. Старинные и народные формы неопределенного наклонения на *-чи*: *печи, стеречи* — совершенно не употребляются новыми писателями (...)

299. Глагол *идти* с приставкою *при-* прежде чаще у писателей имел форму *прийти, прийдет* и т. д. Также прежде часто употреблялись формы: *приму, приймет* и пр. Теперь такие формы почти вышли из обращения. Обыкновенно мы говорим и пишем: *приду, придешь, придет, придется, придут, придем, придти* или *притти, приди, придя, приму, примешь, примет, прими* и пр.

Но там, где краткое *и* в глаголе *идти* получилось после приставки, оканчивающейся не на *-и*, а на другой гласный, например *о, а, е,* звук *й* обыкновенно сохраняется в литературном произношении и письме, т. е. мы имеем формы: *войду, пойду, отойду, сойду, уйду, найду, перейду, войти, найти, зайти* и т. д. После *ы* имеем старинные и народные формы *выду, выдешь, выдет* и пр.

Они не чужды нашему литературному языку, но общепринятые

литературные произношения и написания теперь: *выйду, выйдешь, выйдет, выйдем, выйдете, выйдут, выйдя.*

В повелительном наклонении сокращенные формы *выдь, выдьте, поди, подите* чаще допускаются и в литературном языке, при считающихся более правильными книжных *выйти, выйдите, пойди, пойдите.*

В неопределенном наклонении употребляем *выйти* и *выдти, вытти, зайти* (старинные *выйдти, зайдти*).

300. Глагол *обнять* в будущем времени в повелительном наклонении часто слышится в народной форме *обойму, обойми,* которая встречается и у писателей. Общепринятыми считаются формы *обниму, обнимешь, обними* и пр.

301. От глаголов *гнести, блюсти, клясть* мы не затруднимся составить прошедшее время: *гнёл, -а, -о, блюл, -а, -о, клял, -а, -о,* но обыкновенно мы вовсе не употребляем таких форм первого глагола, а вторых избегаем, хотя у авторов последние изредка встречаются. Обыкновенно берем другие слова: *угнетал, наблюдал, проклинал* и т. п.

§ 31. 302. Глаголы с приметою *-ну-* бывают двоякого рода:

1) Примета *-ну-* всегда удерживается и означает мгновенность и однократность: *блеснуть, брякнуть, вернуть, визгнуть, ворохнуть, взгрустнуться, вздремнуть, всхрапнуть, глянуть, грянуть гульнуть, давнуть, дрогнуть (вздрогнуть), дунуть, зевнуть, капнуть, кашлянуть, клюнуть, кольнуть, крикнуть, крякнуть, курнуть, пискнуть, плюхнуть, помянуть, рвануть, рискнуть, свистнуть, скрипнуть, стукнуть, треснуть, трухнуть, тряхнуть, турнуть, хрустнуть, черкнуть, шевельнуть* и т. п.; сюда же относятся всегда удерживающие *-ну-*: *гнуть, тянуть.* Некоторые из приведенных глаголов имеют сокращенную неизменяемую форму: *бряк, прыг, толк, тяп, стук, шлеп, шмыг* и под. (*-брякнул, прыгнул, толкнул* и т. д.).

2) Примета *-ну-* может сохраняться и опускаться в прошедшем времени глагольных и причастных форм и означает обыкновенно переход в известное состояние: *блекнуть, брюзгнуть, -вергнуть, виснуть, -выкнуть, вянуть, гаснуть, грязнуть, гибнуть* (*гиб* не употребляется; изредка: *гибла, гибло, гибли*; обыкновенно же: *гибнул* и пр.), *глохнуть, -двинуть, -дохнуть, дрогнуть* (в значении *зябнуть*: «Собака *дрогла* (или *дрогнула*) на морозе» — длительное действие; но в значении однократном *-ну-* не может быть опущено: «он *вздрогнул*»; «Неприятельское войско *дрогнуло* от этого неожиданного нападения»), *дряхнуть, дрыхнуть, зябнуть, киснуть, воскреснуть, крепнуть, липнуть, мерзнуть, меркнуть, мокнуть, -молкнуть, мякнуть, никнуть, пухнуть, слабнуть, слепнуть, сохнуть, -сякнуть, тихнуть, -торгнуть, тухнуть, охрипнуть, исчезнуть, чахнуть.*

Есть глаголы, в которых двоякие формы (с суффиксом *-ну* и без него) имеет не только прошедшее время, но и неопределенное наклонение; это: *-бегнуть* и *-бечь, -стигнуть* и *-стичь, стынуть* и *стыть* с их приставками.

Под влиянием конечного слога *-ну* в глаголах будущего времени иногда составляются с *-ну-* и формы прошедшего и неопределенного наклонения: *поклянусь — поклянулся, прокляну — проклянуть.* И у авторов изредка мы встречаем такие неправильные образования: «Но

когда я *поклянулся* Не нанесть тебе обиды, Ни на шаг в минуту боя Не попятиться... пойдем!» (Ж у к о в с к и й, Сид, IV). «О, нет! Я б не решился *проклянуть*!» (Л е р м о н т о в, К***).

§ 32. 303. Глаголы так называемого среднего залога, образованные с суффиксом *-е-*, в народном языке иногда более употребительны с суффиксом *-а-*: *холодать, свистать, обеднять* и т. п. формы последнего рода употребляются и писателями, причем *свистать* встречается не реже, чем *свистеть*.

Заметим, что между *холодать* и *холодеть* есть отличия в употреблении: *холодать* говорится о погоде («на дворе *холодает*»; но также: «на дворе *холодеет*»); о предметах говорят *холодеть* («руки и ноги *холодеют*»). При том *холодать* чаще употребляется на юге России; на севере обыкновенно: *холодеть*.

Частое употребление форм на *-ать*, конечно, не дает еще основания предпочитать их формам, которые старше в литературном языке, правильнее и еще более распространены в обращении.

«Машинист *свистел* что было силы» (Т о л с т о й, Девочка и грибы). «И молвил: «с божией стихией Царям не *совладать*» (П у ш к и н, Медный всадник, изд. 1841 г., стр. 11). «Невеста, не *совладев* с собою, приказала отнести посылку назад» (С. А к с а к о в, Семейная хроника, 156).

304. В южновеликорусских говорах часто слышатся глаголы, образованные от сравнительной степени: *поболеет, поменеет, похужеет* (ударение как в сравнительной степени: *бóлеет, мéнеет* и т. д.) и т. п. Образования эти встречаются и у писателей южновеликорусских не только в разговоре простолюдинов и провинциальной интеллигенции, но и в речи авторов.

«Павлу Петровичу скоро *полегчило*» (Т у р г е н е в, Отцы и дети, 240). «Да и самое лицо побледнело и будто *похужело*» (Т у р г е н е в, Отчаянный, 251).

305. Образования *плеснеть, заплеснеть, заплеснелый* так же распространены в обращении, как и формы *плесневеть, заплесневеть, заплесневелый*.

306. *Постылеть* (*постылею*) и *опостылеть* более свойственны литературному языку, чем *постыть* (*постыну*), *опостыть*. Последние — собственно народные формы, встречающиеся в разговорном языке и у поэтов.

307. При общепринятых образованиях *закостенеть, окостенеть, закостенелый, окостенелый* изредка встречаются формы и от необычного глагола *закостеть*.

308. От *бежать* имеем формы *бегу, бегут, бежал, беги*. Не допускаемые теперь в литературном языке формы *разбеглись, убегла, побегли, бежат* встречались нередко в языке писателей XVIII и начала XIX века. И теперь в народном языке имеем: *бег* (произносится «*бёк*»), *бежат*.

309. В народном языке и просторечии отчасти смешались глаголы с приметами *-е-* и *-и-*; говорят; *воспеть* вместо *вопить, выздоровлю* вместо *выздоровею, гнусел* вместо *гнусил, долит* вместо ожидаемого неупотребляемого *долеет, одолит* вместо *одолеет, ржавит* вместо

ржавеет, заржавит вместо *заржавеет, кишил* вместо *кишел, коптеть* вместо *коптить, обессилит* вместо *обессилеет, опротивит, опротивят* вместо *опротивеет, опротивеют, опостылит, опостылило* вместо *опостылеет, опостылело, просолодит* вместо *просолодеет, старится, состарился* вместо *стареется, состарелся, тяготит* вместо *тяготеет* и пр. Такого рода смешение форм встречается и у авторов.

Впрочем, формы *стариться, состариться* в литературном языке почти не отличаются от *стареться, состареться:* «Ты рано *состарился*» (академический Словарь). «Он *состарился*» (Д а л ь).

Вообще глаголы с приметою *-е-* и *-и-* (*стареть, старею* и *старить, старю, тяготеть, тяготеет* и *тяготить, тяготит* и др.) употребляются в разных синтаксических оборотах; «Тяжелая жизнь меня *состарила*» (действительный залог) и «От тяжелой жизни он скоро *стареет*» (средний залог); или же отличаются по значению: «Этот человек с годами все более *фальшивеет*» (становится фальшивее); «Этот человек *фальшивит*» (обманывает).

§ 33. 310. Иногда неправильно образуют глаголы не от корня, но от сравнительной степени, например: *разжижил* вместо *разжидил, утоньшить, утоньшают* вместо *утончить, утончают* (ср.: *сгустил, нагустил* от *густый*, а не *сгущил* от *гуще*).

При глаголе *разжидить* существительное имеет форму *разжижение* (*разжижение* мозга), при *утончить* имеем *утончение, утонченность*.

311. В южновеликорусских говорах вместо *манить, заманить, поманить* и пр. употребляется *мануть, замануть, помануть*. Такое словоупотребление встречается у Лескова, а иногда и в современной печати.

§ 34. 313. Несовершенный вид глаголов *отнять, поднять, снять* имеет две формы: *отнимать, поднимать, снимать* и *подымать, отымать, сымать*. Такого рода формы употребляются и в совершенном виде: *подыму, подыми*. Последнего рода формы не все признают литературными, но считать их неправильными невозможно, так как они широко распространены в живом образованном языке и очень часто встречаются у писателей, особенно слово *подымать*. *Сымать* и *отымать*, однако, теперь не допускаются.

314. Глагол *читать* с производными *прочитал, прочитаю* принадлежит разговорной речи, глагол *честь* (*прочел, прочту*) употребляется обыкновенно в книжном языке. Первый употребителен, но писатели не избегают и второго. Также говорим и пишем: *рассчитай* и *разочти, сосчитай* и *сочти, вычитаю* и *вычту* и т. д. Современный литературный язык, впрочем, употребляет лишь *прочесть, прочту, прочел*, и то не часто. Особенно устарели простые формы от *честь* в смысле «читать», также *начесть, начел, прочетший, прочетши*.

315. *Брызгать* (*брезгаю, брезгал, брезгай*) и *брезговать* (*брезгую, брезговал, брезгуй*) одинаково допустимы в литературном языке, но последнее более употребительно.

316. Глагол *линевать* с производными (*налиневать, облиневать, разлиневать, линевание* и пр.) в живом языке, особенно в Петрограде и на юге России, весьма часто является в форме *линеить* или *линовать*

(*разлинеить, облинеить, разлиновать, налиновать, линовка* и т. д.). Последние формы проникли и в литературную речь. Однако в образованном языке лучше употреблять издавна усвоенную им форму *линевать* с ее производными (сравните слова *линейка, линия*, не оправдывающие формы *линовать*).<...>

318. При книжных образованиях *увещать, завещавать, увещавать* (два последние устарели, хотя и рекомендуются Гротом) существуют в разговорном языке и у писателей образования *увещать, увещевать, увещеваю, увещевал, завещевать*, которые хотя и не показываются в грамматиках, но утверждены в языке употреблением.

По образцу *увещевать* имеем форму *усовещевать*, при рекомендуемой языковедами (например, Далем, Гротом) *усовещивать* (несовершенный вид при *усовестить*).

«Дядя принялся сначала *усовещевать* племянника» (Григорович, Рыбаки, V, 295). «Но мужу не пришлось ее *усовещевать*» (Тургенев, Отцы и дети, 177).

319. Обыкновенно мы употребляем глаголы *расщепать, отщепать* с суффиксом *-а-* (ср.: *щепать, нащепать*, а не *щепить*), но и употребляемые некоторыми глаголы *отщепиться, расщепить* (отсюда *расщепленный*) с суффиксом *-и-* нельзя считать совсем нелитературными.

320. Вместо *исчёрканный* («книга *исчёркана* карандашом»), *перечерканный* («рукопись *перечёркана* автором, просматривавшим ее») петроградские литераторы иногда говорят и пишут *исчирканный, перечирканный* (как слышится иногда в Петрограде от народа). Здесь смешиваются разные глаголы: *черкать* и *чиркать*. *Черкать* значит «делать черты». Мы говорим: *черкать ногтем, черкать пером, черкать карандашом* и т. д. *Чиркать* — производить шорох: «Я слышал, как в темноте кто-то *чиркнул* спичкой».<...>

323. От корня *вед* образуются глаголы с суффиксами *-а-, -ыва-* и *-ова*; от корня *след* — с суффиксами *-ыва* и *-ова-*. Свободное употребление таких форм, хотя и находит некоторые ограничения в школьных грамматиках, должно считаться вполне нормальным явлением богатого и гибкого русского языка. Таким образом, имеем: *завéдывать (завéдываю, завéдывал, завéдывающий), завéдовать (завéдую, завéдовал, завéдующий); исповéдывать (исповéдываю, исповéдывал, исповéдывающий), исповéдовать (исповéдую, исповéдовал, исповéдающий), исповéдать (исповéдаю, исповéдал, исповéдающий),* в народном языке, а иногда и в образованном просторечии последняя форма известна с другим ударением: *исповедáть (исповедáю, исповедáлся), проповéдывать (проповéдываю, проповéдывал, проповéдывающий), проповéдовать (проповéдую, проповéдовал, проповéдующий), проповéдать (проповéдаю, проповéдал, проповéдающий), заповéдывать (заповéдываю, заповéдывал, заповéдывающий), заповéдовать (заповéдую, заповéдовал, заповéдующий), заповéдать (заповéдаю, заповéдал, заповéдающий), иссléдывать (иссléдываю, иссléдывал, иссléдывающий), иссléдовать (иссléдую, иссléдовал, иссléдующий), рассléдывать (рассléдываю, рассléдывал, рассléдывающий)* и *рассléдовать (рассléдую, рассléдовал, рассléдующий).*

§ 35. 324. В глаголах вида несовершенного и совершенного у значи-

тельной группы слов в русском языке наблюдается чередование форм с ударяемой коренной гласной *а* перед окончаниями *-ывать, -ивать* и неударяемой, тоже коренной *о*: *вынашивать* и *носить, поворачивать* и *поворотить, спрашивать* и *спросить, отталкивать* и *оттолкнуть, выпрастывать* и *выпростать, вздрагивать* и *дрожать, рассматривать* и *рассмотреть, похохатывать* и *хохотать* и т. п. Приведем собрание слов несовершенного вида с ударяемым коренным *а*, соответствующим неударяемому коренному *о*: *вкола́чивать (выкола́чивать, закола́чивать, подкола́чивать, скола́чивать, накола́чивать, прикола́чивать), выора́чивать (завора́чивать, приора́чивать, сора́чивать), выва́живать, выгора́живать (загора́живать, отгора́живать, перегора́живать), выпрова́живать, высáсывать, выздора́вливать, вылáвливáть (улáвливать), вылáмывать (отлáмывать), высмáркиваться, вынáшивать (донáшивать), выскáкивать (вскáкивать, отскáкивать, проскáкивать), выскáльзывать, высмáтривать (засмáтривать, подсмáтривать), выспрáшивать (допрáшивать, расспрáшивать, спрáшивáть), вытáлкивать (втáлкивать, оттáлкивать, подтáлкивать, стáлкивать), забáлтываться, забрáсывать (выбрáсывать, разбрáсывать), зáхаживать (ухáживать), намáчивать (отмáчивать, смáчивать), натáлкиваться, настáивать, насторáживаться, облокáчиваться, обмáкивать, останáвливаться, отворáчиваться, оттáчивать (подтáчивать), перепáхивать, подкáлывать (покáлывать, скáлывать), подкáпывать, приволáкивать, приворáживать, просмáтривать, разгáвливаться, разговáривать (отговáривать, уговáривать), раскланиваться (откланиваться), укорáчивать* и т. п.

325. В этой группе глагольных образований явственно выделяются слова, имеющие сочетания *-ов, -ев*, чередующиеся с *у* (*совáть — сую́, жевáть — жую́*); все они в литературном языке имеют формы несовершенного вида с ударяемым *о*: *арестóвывать, набалóвывать, забаллотирóвывать, забастóвывать, завербóвывать, обворóвывать, разжёвывать, прожёвывать, подкóвывать, прикóвывать, конфискóвывать, облицóвывать, преобразóвывать, организóвывать, вырисóвывать, обрисóвывать, разрисóвывать, обоснóвывать, оснóвывать, всóвывать, засóвывать, подсóвывать, застрахóвывать, подтасóвывать, втолкóвывать, растолкóвывать, приторгóвывать, разочаровываться, прошпигóвывать, оштрафóвывать* и пр.

Вообще же предыдущая группа слов оказывается весьма стойкой в языке, и только в немногих случаях мы встречаем формы с *о* вместо привычных нам с *а*; такова теперь устарелая, но в старом языке более принятая форма *перепорхивать*.

326. Затем имеем не очень большую группу глаголов, в которых употребление колеблется между формами с ударяемыми *а* и *о*: *вырабатывать* и *выработывать, зарабатывать* и *заработывать, обрабатывать* и *обработывать, разрабатывать* и *разработывать, заболачивать* и *заболочивать, заготавливать* и *заготовливать, ускаривать* и *ускоривать, замораживать* и *замороживать, заподазривать* и *заподозривать, подмораживать* и *подмороживать, оспаривать* и *оспоривать, затрагивать* и *затрогивать, дотрагиваться* и *дотрогиваться, притрагиваться* и *притрогиваться, настраиваться, настраи-*

вать и *настроивать, перестраивать* и *перестроивать, устраивать* и *устроивать, опорачивать* и *опорочивать, успокаивать* и *успокоивать, опоражнивать* и *опорожнивать, задабривать* и *задобривать, сдабривать* и *сдобривать, удабривать* и *удобривать, присваивать* и *присвоивать, усваивать* и *усвоивать, приспосабливать* и *приспособливать*. Здесь формы совершенного вида имеют обыкновенно ударяемое *о*: *заработать, заготовить, заморозить, затронуть* и т. д.

Известно, что формы с *о* преобладали в старом языке; формы с *а* явились позднее, вытеснили старые формы с *о* и теперь господствуют. Это господство, однако, не полное. И теперь еще в некоторых глаголах этой группы литературный язык обыкновенно употребляет формы с ударяемым *о*: *обеспокоивать, обусловливать, условливаться, заохочивать, озабочивать, унавоживать, ознакомливать, отсрочивать, просрочивать, рассрочивать, осваиваться, подзадоривать, приурочивать, присвоивать, усвоивать, пришпоривать, сосредоточивать, удваивать, удостоивать, уполномочивать, опозоривать, захлопывать*.

Однако и в этой группе слов современная печать употребляет большею частью образования с ударяемым *а*. Очевидно, здесь сказывается влияние живого языка, в котором более растространены новые формы с ударяемым *а*, вытесняющие старые с ударяемым *о*.

Случаи, в которых мы имеем одну только форму с ударяемым *а*, соответствующим ударяемому же *о*, редки. Например: *вздрогнуть — вздрагивать, заволочь — заволакивать, приволочь — приволакивать, заготовить — заготавливать, подготовить — подготавливать — приготовить — приготавливать, закончить — заканчивать, окончить — оканчивать, прикончить — приканчивать*. Они частью связаны с формами, имеющими неударяемое *о*: *дрожать, кончать*, что сближает их с группою, рассмотренной под пунктом 324.

В современном языке склонность к формам с *а* настолько значительна, что они допускаются и там, где их не следовало бы употреблять, чтобы не смешивать значения слов. Мы говорим, например: *засаливать, пересаливать* (от *солить*; смешивается с *салить*), *закрашивать, раскрашивать* (от *крошить*; смешивается с *красить*), *крапывал* (от *кропать*; смешивается с *крапать*). Старые грамматики для значений «кропать», «крошить», «солить» рекомендовали формы *кропывать, крошивать, соливать*.

§ 36. 327. Вместо *задаться, отдаться, раздаться, удаться* в русском языке иногда встречаем неправильные формы *задасться, отдасться, раздасться, удасться*, в которых окончание неопределенного наклонения составилось под влиянием изъявительного *дастся*. Литературный язык признает только формы *задаться, отдаться, удаться* («Это тебе может не *удаться*») в неопределенном наклонении и *задастся, отдастся, раздастся, удастся* («Это тебе *удастся*») в 3-м лице изъявительного наклонения.

От малоупотребительного глагола *ведать* у нас сохранилась древняя форма 3-го лица единственного числа *весть*, которая употребляется только в некоторых выражениях: *бог весть* (не известно), *невесть что* (вздор) и др.

Формы вспомогательного глагола *быть*, указываемые в грамматиках: *есмь, еси, есть, есмы, есте, суть* — большею частью утрачены. Употребляется только *есть* во всех лицах и числах («Каков я *есть*, таков и буду»; «Так ты и *есть* здешний дворник?»; «Надо знать вещи, каковы они *есть*»; «Я знаю вас, как вы *есть* теперь») и — редко — *суть* (обыкновенно это слово заменяется словом *есть*). И слово *есть* мы чаще всего употребляем в качестве самостоятельного глагола: «*Есть* деньги, *есть* охота, да нет времени». *Суть* вместо *есть* просторечие употребляет в выражении «Это не *суть* важно».

§ 37. 328. В народном языке нередко смешиваются глаголы и особенно причастия с окончанием *-ся* и без этого окончания. Смешение это отразилось несколько и на языке писателей, у которых находим немало примеров колебаний между формами на *-ся* и без *-ся*. Даже такие большие писатели, как Крылов, Аксаков, затруднялись в употреблении глаголов такого рода. Так, в рукописи басни «Крестьянин и работник» оказываются фразы: «*собравши* с силой», «и, сил *лишивши*, издыхает», которые в печати явились уже в исправленном виде. С. Т. Аксаков по поводу выражения Загоскина «хлебы пересидели» («Юрий Милославский, изд. 1, стр. 142) заметил: «говорится: *пересиделись*». Замечание это едва ли основательно: употребленную Загоскиным форму дают Словари академический и Даля. Форма, предлагаемая Аксаковым, очевидно, менее принята.

В литературном языке мы имеем: *рыба берет* (чаще) и *берется; снег, дым валит* (чаще) и *валится; дружить* и *дружиться* (чаще); *заблуждать, заблудший* (старинные; однако и теперь есть выражение: *заблудшая овца, душа*) и *заблуждаться, заблудившийся; запоздавшийся* (народное) и *запоздавший; грозиться* и *грозить* (лучше); *дожидать* (старинное и народное; сравните: *ожидать*) и *дожидаться* (сравните: *дождаться*); *клеваться носом* вместо *клевать носом; краснеться* (старинное) и *краснеть; лопать* (от чего-либо) вместо *лопаться* (*камень, стакан лопается,* но в глаголах на *-нуть* — без — ся: *камень лопнул, стакан лопнул*; также *банки лопаются* и *лопают*, но: *банк лопнул*); *миновать* и *миноваться; млекопитающие животные* (но возможно: *млекопитающиеся детеныши*; «В деревне мяса не было, и я жил там, как существо *млекопитающееся*»); *не надышит* (нежно любит) вместо *не надышится; рожь, зерно наливает* и *наливается; остриться* (старинное) и *острить; отливать* и *отливаться* (реже); *перетруситься* вместо *перетрусить* (ср. *струсить;* форма на *-ся*, вероятно, по влиянию *перепугаться*); *звонить* (приводить в действие домашний звонок), *позвонить* и *звониться, позвониться; первый попавшийся* и *первый попавший на глаза* (также: *попавшийся на глаза*); *пресмыкающий* вместо *пресмыкающийся; пришел, пришло* (старинные) вместо *пришелся, пришлось; распоряжать* (старинное) и *распоряжаться; растреснувшая* вместо *растреснувшаяся; мышь скребет* и *скребется; смеркает* (южновеликорусское) и *смеркается; соскучить* (старинное) вместо *соскучиться; состареть* и *состариться; спориться* (старинное и народное) и *спорить; струить* (реже) и *струиться; не шелохнет* вместо *не шелохнется.*

Само собою разумеется, что здесь мы приводили разные формы, не

отличающиеся по значению. Оттенки значения всего заметнее в глаголах, имеющих примету *-е-*. Без *-ся*, они означают постепенное усвоение какого-либо качества: «Лицо от жара *краснеет*» (Г р е ч). «Полотно на солнце *белеет*» (Г р е ч). Формы с *-ся* показывают то, что представляется нашему зрению издали: «Паруса в море *белеются*» (Г р е ч). «Скирды *желтелись*» (Я з ы к о в).

Есть и грамматические различия между рассматриваемыми формами. Глаголы на *-ся* среднего залога, непереходные: «Он стоит, как статуя, не *шелохнется*». Глаголы без *-ся* — переходные: «Дерево не *шелохнет* ни одним листком».

329. Окончание *-ся* глаголов в современном литературном языке употребляется только после согласных (*женился, женится*), а после гласных сокращается в *-сь* (*женюсь*), но у писателей встречаем нередко древнее *ся* и после гласных, особенно в стихах. В прозе такое окончание, по-видимому, иногда вызывалось следующею группою согласных (*снеслися с королем*).

«Коренной гнедой и пристяжной каурой масти... *трудилися* от всего сердца» (Г о г о л ь, Мертвые души, изд. 1846 г., стр. 70). «Но *признаюся*, удочка так засела у меня в голове...» (С. А к с а к о в, Детские годы Багрова-внука, 39). «Она *боялась* ласкать Базарова» (Т у р г е н е в, Отцы и дети, 199).

330. Чаще, чем в общепринятом литературном языке, у писателей мы встречаем глаголы на *-ся* в значении страдательных и возвратных.

«Я не хотел, чтобы имя мое в суде *упомянулось*» (Переводы Карамзина, 11, 248). «Закрыта книга — наша повесть *Прочлась* до крайнего листа» (О г а р е в, К***). «Я грезил виденными мною спектаклями и день и ночь, и так *рассеялся*, что совершенно не мог заниматься ученьем» (С. А к с а к о в, Семейная хроника, 316). «...*Посвятиться* исключительно своему призванию» (Т у р г е н е в, Накануне, 256).

§ 38. Спряжение. Изъявительное наклонение

331. Старинные книжные образования от глаголов *лить, вить* — *лиется, виется* и т. д., встречающиеся часто у прежних авторов, редко допускаются новыми писателями. Также устарели формы *биясь, бьет* и пр. от *бить, почить*.

332. Ударяемые окончания не смешиваются в русских спряжениях. Хотя у Пушкина мы знаем форму *скребящий* («Современник», т. 1, 124), но она, вероятно, явилась по какому-нибудь недоразумению. Сохранившаяся рукопись пушкинского текста дает общепринятую форму *скребущий*: «И совесть никогда не грызла, этот Когтистый зверь, *скребущий* сердце...» («Скупой рыцарь», сцена II).

§ 39. 333. *Гудёт, гудут*, не есть ошибочное изменение слов *гудит, гудят*; это совершенно правильные формы устаревшего глагола *густи*, которые, впрочем, охотно употребляются нашими писателями.

334. В спряжении глагола *хотеть* литературный язык не допускает древних и народных *хочем, хочете*, но эти формы встречаются у

писателей, хотя еще Ломоносов заметил: «Говорят иные: *хочем, хочете, хочут;* однако не пристойно» («Грамматика», § 422).

§ 40. 335. В современном литературном языке смешались глаголы *честь* и *чтить*. В сложении с приставками мы еще различаем их; говорим: *почесть, счесть — почту, почтешь, почтет, почтем, почтете, почтут* и *почтить — почту, почтишь, почтит, почтим, почтите, почтят (прочтут книгу, сочтут деньги, вычтут расходы из прибыли, учтут вексель, сочтут своим долгом,* но: *почтят своим посещением*). Ломоносов еще различал *чтут* (считают) от *чтят* (почитают). Теперь глагол *чтить* обыкновенно дает одно неправильное спряжение, соединяющее в 3-м лице оба значения: *чту, чтит, чтишь, чтим, чтите, чтут;* здесь последняя форма образована от *честь,* а первые — от *чтить.*

Современному словоупотреблению не совсем, однако, чужда и форма *чтят*, так что в языке некоторых из нас глагол *чтить* спрягается правильно по 2-му спряжению.

336. При глаголах *вопить, возопить* мы еще имеем малоупотребительные старые книжные образования *вопиять, возопиять*, которые изредка встречаются и в современном языке. Отсюда общепринятые выражения: *вопиющий в пустыне, голос вопиющего в пустыне, вопиющая нужда.*

337. В чистом литературном языке не допускаются при глаголах *мучить* и *нянчить* образования *мучать, мучаю, нянчать, нянчаю* с суффиксом *-а*, по народному употреблению, но писатели не держатся строго этого требования.

Несмотря на значительное распространение последних форм, правильными и общепринятыми нужно считать только формы *мучить, мучу, мучишь, мучит, мучим, мучите, мучат, муча, мучащий, мучил, мучь* и пр.; также *нянчу, нянчишь, нянчатся, нянча* и т. д. В общем эти формы предпочитают и авторы.

«Четвертый год *мучу* свой живот» (Фонвизин, Недоросль, д. III, явл. 6). «Если они единственно от того *мучатся*, что не знают своего счастия?» (Карамзин, Мармонтелевы повести, 233). «Ты, все душевные способности губя, нас *мучишь*» (Пушкин, Осень, IV).

338. Некоторые образования, между прочим причастия и деепричастия от глаголов на *-ить*, составляются в нестрогом просторечии по типу глаголов на *-ать* (*шамшая, шамшал, опешал, опешавшая* и т. п.) и в таком виде изредка проникают в литературную речь. Обыкновенно: *шамша, шамшил, опешил, опешившая.*

339. В старом языке глаголы *стоять* и *стоить* не были вполне разграничены. Особенно долго употреблялась у нас форма *стояло* вместо *стоило*. Даже Белинский упорно ее держался (обыкновенно указывая ударение: *сто́яло*).

340. «И доселе иногда употребляется *кончиться, кончится* вм. *оканчиваться, оканчивается*» — замечал некогда Буслаев («Историческая грамматика», § 183). Такие слова частью относятся и к языку нашего времени.

«Иностранные собственные имена, *кончащиеся* на *е, и, о,* не склоняются. Кончащиеся на *а, ъ, ь* склоняются в мужском роде, а в женском

нет» (П у ш к и н, Критические заметки, V, 135). «У глаголов 1-го столбца неопределенное наклонение *кончится* на *ать*» (Г р о т, Филологические разыскания).

341. Глагол *мыслить* в старинном языке имел форму 1-го лица *мышлю (вымышлю, смышлю, помышлю)*, подобно *слать — шлю*. Современный язык во всех формах этого слова употребляет *с*: *мыслю, вымыслю, смыслю, помыслю, размыслю, умыслю*. Только в некоторых причастиях и именах удержалось сочетание звуков *шл*: *вымышленный, умышленный, смышлёный, мышление* и др.

342. В некоторых случаях мы затрудняемся в образовании форм 1-го лица, имеющих в основе неопределенного наклонения, обыкновенно перед приметою *и*, согласные *с, т, з, д*. По общему правилу в 1-м лице *с* переходит в *ш, т* — в *ч, з* и *д* — в *ж*: *просить — прошу, портить — порчу, возить — вожу, садить — сажу* и т. д. Но от глаголов малоупотребительных в новом литературном языке иногда встречаются искусственные формы с неизменной основой. Востоков, например, в своей грамматике указывает как узаконенные исключения формы *бдю* (от *бдеть*), *дудю, чудюсь, ощутю, борзюсь, мерзю, слезю* (у Ломоносова: *слежу*), *скользю, тузю, кудесю, чудесю, обезопасю*. В наше время приходится сделать к данным указаниям несколько замечаний:

1) Мы совсем не употребляем форм 1-го лица от глаголов *бдеть* (сравните сложное *снабдить*, имеющее правильную форму *снабжу*), *чудиться, мерзить, слезить, кудесить, чудесить*. При этом и в старом языке для данных глаголов иногда допускались правильные формы. Так, академический Словарь указывает: *чуждуся* (славянизм), *чудешу*; однако формы *бдю, мерзю, слезю* и *кудесю* он подтверждает. Не употребляем также 1-го лица от глагола *очутиться*. Впрочем, в случае нужды возможно сказать *очутюсь*.

2) При редко употребляемых *дудю, ощутю, борзюсь, скользю, тузю, обезопасю* чисто русскому живому языку вполне свойственны и правильные формы: *дужу, ощущу* (славянизм), *боржусь, скольжу, тужу* (сильно бью), *обезопашу*.

Грот в «Русском правописании» для глаголов *прослезиться* и *обессмертить* тоже указывает формы 1-го лица *прослезюсь, обессмертю*, для *взлысить* он дает форму *взлысю* (академический Словарь, редактированный Гротом). Формы эти нельзя признать вполне утвердившимися в языке и лучшими, чем чисто русские правильные образования *прослежусь, обессмерчу* (форму эту, между прочим, отстаивал Малорошвилов, один из критиков Грота, писавший о нем в «Новостях» 1885 и 1886 гг.; сравните у Даля *обессмерчивать*: «дела *обессмерчивают человека*»), *взлышу*.

343. Глаголы *каймить* и *клеймить* колеблются в формах 1-го лица: *каймлю (окаймлю)* и *каймю, клеймлю (заклеймлю)* и *клеймю*. Чаще употребляются формы с *л*. Причастия известны в формах: *окаймленный, клейменный* (или, в виде прилагательного, *клейменый*), *заклейменный* и (реже) *заклéймленный*. Существительные обыкновенно: *клеймение* и *клеймление* (реже).

§ 41. 344. К числу ошибок против языка никак нельзя относить те колебания в формах, которые свойственны так называемым «изобилую-

щим» глаголам. Глаголы эти имеют равноправные формы от двух основ — на согласную и на гласную *-а*: *алчу* и *алкаю, брызжу* и *брызгаю, движу* (книжное) и *двигаю, жажду* и *жаждаю* (старое), *ичу* (старинное и народное) и *икаю, каплю* и *капаю, клеплю* (железо) и *клепаю, кличу* и *кликаю* (народное), *колеблю* и *колебаю* (устарелое), *колышу* и *колыхаю* (реже), *краплю и крапаю, кудахчу* и *кудахтаю, лочу* (старинное и народное) и *локаю, машу* и *махаю, мечу* и *метаю, мурлычу* и *мурлыкаю, мычу* и *мыкаю, мяучу* и *мяукаю, плещу* и *плескаю, прыщу* и *прыскаю, полощу* и *полоскаю* (реже), *пышу* и *пыхаю* (старинное и народное), *рыщу* и *рыскаю, стону* и *стонаю* (реже), *стражду* (устарелое) и *страдаю, тычу* и *тыкаю, фырчу* (народное) и *фыркаю, хлещу* и *хлестаю* (народное), *щекочу* и *щекотаю* (народное), *щиплю* и *щипаю* (народное), *хнычу* и *хныкаю, хромлю* (старинное и народное) и *хромаю* и др.

345. При спряжении глаголов с основами на губную согласную и при образовании причастий от них писатели иногда, согласно с народным южновеликорусским говором, употребляют форму без так называемого смягчающего *л*: *сыпет, дремет*. Сравните южные разговорные *трепит, щипит* вместо *треплет, щиплет* и т. д.

346. От глагола *ткать* употребительнее в разговоре и письме формы *ткешь, ткет* и пр. вместо *точешь, точет* (ср.: *звать — зовешь*) или *тчешь, тчет* и т. д., хотя *ткешь, ткет* такое же народное образование, как *жгешь, жгет*, которое мы считаем признаком малограмотности.

347. Старые писатели и грамматики спрягали глагол *орать* в значении «пахать« с мягким *р*: *орю, орют*. Поэтому в формах, подобных следующей, нужно видеть архаизм, а не ошибку: «Беатус — мой брат, на водах Собою сам поля *орющий*» (Д е р ж а в и н, На счастие).

348. В спряжении глагола *блеять* признаются правильными формы: *блею, блеешь, блеет, блеем, блеете, блеют*, откуда *блеющий*.

349. Глагол *стлать* в народном языке нередко слышится в формах *стелить, стелил*, полученных под влиянием форм настоящего времени. Образование эти, совершенно не принимаемые литературной речью в ее теории, встречаются, однако, даже у выдающихся писателей. Вполне литературными считаются только формы *стлать, стелют, подостлать, постлать, разостлать* и др. с их производными: *подостлали, подостлал, постлала, стлался* и пр.

350. В просторечии иногда слышится неправильная форма 3-го лица множественного числа от глагола *ржать — ржат*. Образованный язык употребляет только правильную форму *ржут* и пр.

351. В просторечии нередко слышатся неправильно образованные формы: *зыблить, зыблиться, зыблится, зыблился*. Они составились потому, что неопределенное наклонение глагола *зыбать* вышло из употребления и составлено вновь из основы настоящего времени (как *стелить* из *стелю*). Эти новые формы проникли в печать и к авторам.

Подобно этому составлены новообразования *зиждить, зиждится, зиждился* от настоящего времени *зижду*. Образования эти часто встречаются в периодической печати, но в грамматиках они считаются неправильными. Но формы *зиждет, зиждется, зиждутся*, образованные по 1-му спряжению — с *е*, необходимо считать правильными:

«Кто все собою наполняет, Объемлет, *зиждет*, сохраняет» (Д е р ж а в и н, Бог).

352. Другое явление видим в глаголах *щекотать* и *щекотить*, которые приняли в языке формы на *-ить* и на *-ать* и спрягаются как *катить: щекочу, щекотит, щекотят..*, и как *катать: щекотаю, щекотает* и т. д. Пушкин предпочитал первые формы этого глагола. О трескотне сороки обыкновенно употребляют только *щекочет*.

§ 42. 353. В старинном книжном русском языке допускались от некоторых глаголов на *-ывать* и *-ать* настоящие времена на *-ую*: *указывать — указую, испытывать — испытую, истязать — истязую* и т. д. В современном языке от этих образований существуют только некоторые остатки, например слова: *сказуемое, испытуемый, испытующий взгляд, указующий перст, связующий, неописуемый, обязуюсь*.

§ 43. 354. В русском языке употреблялось и употребляется немало глаголов в славянской форме вместо русской. Таковы: 1) имеющие *жд* из *д* вместо *ж* (*рождать, учреждать* и т. д.), 2) имеющие *щ* вместо *ч* из *т* (*клевещу, трепещу, смущу*: «Никого не *смущу* своею ошибкою», но: *мучу, взмучу воду*).

1) В 1-м лице глаголов мы иногда несколько колеблемся между русской и славянской формой: *возбужу* или *возбужду, побежу* или *побежду, утружу* или *утружду, наслажусь* или *наслаждусь*? Гораздо чаще употребляется русская форма: *возбужу, пробужу, поврежу, насажу* (топор, деревьев) и *насажду* (в отвлеченном смысле), *досажу, заграждy, ограждy, преграждy* и *преграждy, награждy, вознаграждy* и *вознаграждy, вынужу, принужу, побежу* и *побежду, убежу* и *убежду, освобожу, предупрежу* и *предупрежду, упрежу* и *упрежду, утружу, учрежу* и *учрежду, утвержу* и пр.; только *наслажду* более употребительно, чем *наслажу*.

2) В нескольких глаголах славянское *щ* вместо русского *ч* держится так прочно, что русские формы совершенно неизвестны; это *обогащу, возвращу, развращу, отвращу, превращу, совращу, обращу, воплощу* (сравните чисто русские *ворочу, отворочу* и пр.), *поглощу, прекращу, сокращу, возмущу, смущу, укрощу, воспрещу, запрещу, клевещу, порабощу, посещу, ропщу, освящу, посвящу, ощущу, освещу* и *освечу, скрежещу, трепещу, тягощу, восхищу, похищу, защищу, насыщу*.

§ 44. Повелительное наклонение

355. В вежливых приглашениях, обращенных ко 2-му лицу, глагол обыкновенно имеет особую форму изъявительного наклонения множественного числа, оканчивающуюся на *-те*: *пойдемте* (а не *пойдем*), *поедемте* (а не *поедем*) и т. п.

«С моею музой своенравной *Пойдемте* слушать шум дубравный» (П у ш к и н, Евгений Онегин, VII, 5). «А мы в залу *пойдемте*» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, I, 98).

Только в простом, близком обращении допускаются формы без окончания *-те*: *пойдем, поедем* и пр. Также: «*Будем* подражать нашим славным предкам!» (реже: *будемте*).

«—Я не знаю, на что вы намекаете, maman, — отвечал сын холодно. — Что ж, maman, *идем*». (Т о л с т о й, Анна Каренина, 84). «Докажите же, что вы мне друг, *поедем* вместе! *Поедем*, тряхнем стариной!» (Ч е х о в, Палата № 6, 95).

356. При общепринятых формах *разуть — разуй* (сравните: *обуй, обуйся*) на юге России иногда слышится областная *разунь* от малоупотребительного глагола *разунуть*, которая напрасно считается некоторыми литературной.

От *жать, мять, клясть, начать, распять* имеем повелительные: *жми* и *жни, мни, кляни, начни, распни*; от *поднять, снять — подними, сними*. (Сравните формы 1-го лица настоящего — будущего времени).

357. Уже Буслаев заметил, что «повелительные от глаголов *могу, хочу, захочу* выходят из общего употребления», несмотря на авторитет писателей, их допускавших («Историческая грамматика», § 84). Теперь едва ли кто решится их употребить. Впрочем, по смыслу глаголов формы эти мало нужны.

«Бессильному не смейся, И слабого обидеть не *моги*!» (К р ы л о в, Лев и комар). «Не служит он, но *захоти*, так был бы деловой» (Г р и б о е д о в, Горе от ума).

Неупотребительны также повелительные наклонения от глаголов: *гнить, видеть, ехать, слышать, мереть, болеть*.

Мы не имеем или избегаем также повелительных, соответствующих формам некоторых «изобилующих» глаголов 1-го лица на *-у* (*-ю*): *алчу, брызжу, движу, жажду, кудахчу, рыщу, стражду, колеблю*.

358. Глаголы, имеющие после гласной ударяемое окончание *-ить*: *доить, кроить, поить, утаить*, образуют повелительное наклонение на *-и* (ударяемое): *дои, крои, пои, утаи*. В народном языке есть образования на *-й*: *дой, крой* («*Крой* да песни пой: шить станешь — наплачешься»; «Как ни *крой*, а швы наружу выйдут» — пословицы), *пой*, не *утай*; они встречаются изредка и в письменном языке. Заметим, что *клеи, заклеи* с ударением на конце получается из *клеить, заклеить* (ударение на окончании), а *клей, заклей* — от *клéить, заклéить* (ударение на корне).

«Стихии здравием *напой*» (Л о м о н о с о в, Ода на восшествие... Петра III). «Катись, Гайдарь, и *пой* водою Брега, счастливые тобою!» (К о л ь ц о в, К реке Гайдаре). «Потом медвяною росой пчелу работницу *напой*» (Ж у к о в с к и й, Летний вечер).

359. Неударяемое окончание *-и*, означающее 2-е лицо, в повелительном наклонении после стечения согласных обыкновенно не опускается: *стукни, сохни, погибни, окончи, порти, чисти* и т. п. (при *брось, кинь, сгинь, уведомь* и т. п. формах с отпавшим неударяемым *и* после одного согласного звука). Однако в литературном языке изредка встречаются народные формы повелительного наклонения с *-и*, опущенным или сохраненным вопреки данному правилу; например: *окончь, испорть, чисть, почисть, уведоми*.

360. С приставкою *вы-*, принимающей на себя ударение, окончание 2-го лица повелительного наклонения остается таким же, каким было без этой приставки: *неси — вынеси, крась — выкрась, брось — выбрось* (а не *выкраси, выброси*, как иногда слышится в разговорном язы-

ке), *кинь — выкинь* (а не *выкини*), *сыпь — высыпь* (а не *высыпи*, как в народном языке и у Пушкина в «Скупом рыцаре»), *засыпьте, насыпьте* (а не *засыплите, насыплите*), *выложи* (ср. *заложи*), *вырежь, вылезь, выгони* и т. п.

При литературной форме повелительного *положи* (от *положить*) употребляем и народную *положь*, но только в выражении *вынь да положь*.

361. Другие не свойственные литературному языку формы, сохраняющие неударяемое *и* во 2-м лице повелительного наклонения, редки. Укажем старинные церковные: *увековечи, настави*, которые находим у Батюшкова и Пушкина: «*Увековечи* песнь нетлением своим» (отрывок из «Освобожденного Иерусалима»). «*Настави* грешных нас» («К другу стихотворцу»). Общепринятые современные формы только: *увековечь, наставь*. Однако: «*Боже избави* тебя с ним спорить» и под.

362. 3-е лицо повелительного наклонения обыкновенно образуется с помощью слова *пусть: пусть говорит, пусть знает, пусть идут, пусть платят* и т. д. Вместо *пусть* говорят еще *пускай: пускай говорит, пускай знают* и пр. Формы последнего рода, собственно, принадлежат более народному и разговорному языку, чем письменному, но у писателей встречаются нередко; грамматики тоже признают их вполне литературными.

«*Пускай* то будет правда» (Ф о н в и з и н, Жизнь Сифа, 325). «*Пускай же говорят собаки...*» (К р ы л о в, Слон и моська). «*Пускай* поэт с кадильницей наемной Гоняется за счастьем и молвой» (П у ш к и н).

§ 45. 363. В ряде заимствованных глаголов мы колеблемся между формами на *-овать*, изредка *-евать* (близкими большею частью к французскому языку) и формами на *-ировать* (близкими к немецкому языку). Говорим и пишем: *деморализовать* и *деморализировать, европеизовать* (реже) и *европеизировать, зарегистровать* и *зарегистрировать, импровизовать* (реже) и *импровизировать, идеализовать* (реже) и *идеализировать, классифицировать* (редкое) и *классифицировать, компилевать* (редкое) и *компилировать, конвоевать* (старинное) и *конвоировать, консервовать* и *консервировать, контрассигновать* и *контрассигнировать, легализовать* и *легализировать, локализовать* и *локализировать, мобилизовать* и *мобилизировать, парализовать* и *парализировать, реализовать* и *реализировать, революционировать* и *революционизировать* (реже), *срепетованы* (новое слово) и *срепетированы, скандализовать* и *скандализировать, терроризовать* и *терроризировать, утилизовать* (реже) и *утилизировать, централизовать* и *централизировать, цитовать* (старое) и *цитировать, электризовать* и *электризировать*.

В общем нельзя не заметить, что в наше время распространяются и преобладают формы на *-ировать* (немецкого происхождения). В то время как академический Словарь, Даль, Грот указывают формы на *-овать: деморализовать, импровизовать, классифицировать, компилевать, локализовать, мобилизовать, парализовать, цитовать*, употребление, не подчиняясь этим указаниям, свободно пользуется

соответствующими формами на *-ировать*, во многих случаях отдает им явное предпочтение, а некоторых рекомендуемых форм, например *классифировать, компилевать, цитовать*, теперь не знает вовсе.

§ 46. Причастие и деепричастие

364. Причастия и деепричастия от глаголов *идти, брести, плести, приобрести* и др. употребляются нередко с окончаниями *-вши, -вший* вместо *-дши, -дший, -тши, -тший. Некоторые говорят: завявший, приобревший, забревший* и др. Из таких причастий только *приобревший* вполне принято в литературном языке.

Формы *падший* и *павший* обособились по значению: первая показывает моральное падение (*падший ангел, падший человек, падшая женщина*), вторая — физическое (*павший плод, павшая балка, упавшее полено*).

365. От глагола *шибить* (обыкновенно употребляется с приставками *за-, при-, с-, у-* и др.) прошедшее страдательное причастие имеет форму *-шибенный, -шибен*, какую мы и находим у писателей-классиков.

«Глаз, *вышибенный* копьем, висел у него на щеке» (П у ш к и н, История Пугачевского бунта, изд. 1834 г., 26). «Была исколота, *ушибена*, испугана» (Б е л и н с к и й, II, 334). «Пусть я останусь для вас неизвестным существом, *пришибенным* судьбою Васильем Васильичем» (Т у р г е н е в, Гамлет Щигровского уезда, 259).

Правильно образованная форма *-шибенный* (*ушибу, ушиб, ушибенный* — как *погребу, погреб, погребенный*) подверглась изменению под влиянием образований, подобных *люблю, любил, влюбленный; дроблю, дробил, раздробленный; гублю, губил, погубленный*, и в настоящее время более распространены не допускавшиеся прежде формы *ушибленный, зашибленный* и другие производные.

«Карай с ощетинившейся шерстью, вероятно *ушибленный* или раненый, с трудом вылез из водомоины» (Т о л с т о й, Война и мир, III, 132). «Ощупал упругую икру ноги, *зашибленной* вчера при падении» (Т о л с т о й, Анна Каренина, 400).

366. От *зарешетить, изрешетить* мы ожидали бы причастий *зарешеченный, изрешеченный*, как от *заплатить — заплаченный, заколотить — заколоченный*, но в печати встречаются и *зарешетенный, изрешетенный*.

«Маслова тоже улыбнулась и повернулась к *зарешетенному* маленькому оконцу в двери» (Т о л с т о й, Воскресение, 8).

Правильная форма причастия от глагола *обезопасить — обезопашенный* (ср. *окрасить — окрашенный, опросить — опрошенный*) *обыкновенно заменяется искусственной обезопасенный*, которая уже давно употребляется в языке.

Причастия от *залесить, облесить* должны иметь формы *залешенный, облешенный* (как *оросить — орошенный*), откуда и существительные должны звучать *залешение, облешение* (как *орошение*), но можно допустить и *облесение*, подобно тому как мы имеем *обрусение* при *обрусить*, тем более что в данном случае на поддержку «правильного» звука *ш* не являются соответствующие формы несовершенного вида

на *-шать*, как в *оросить — орошать — орошение, украсить — украшать — украшение* и т. п. Русский язык не знает ни «облешать» при *облесить*, ни «обрушать» при *обрусить*. Едва ли употребительно в нем и «обезопашивать» при *обезопасить*. Вот почему в нем живут некоторые новые «неправильные» формы причастий и существительных с основою на *-с*, составленные под влиянием форм неопределенного наклонения совершенного вида: *обезопасить — обезопасен, обрусить — обрусение, облесить — облесение*.

367. От русского *измозжить* имеем причастие *измозженный*, но чаще употребляем славянское *изможденный*. Под влиянием *изможденный* составилось неправильное причастие *изнеможденный* вместо *изнеможенный* (от *изнемочь*), которое встречается изредка у авторов.

368. От неупотребительного *нзить* академический Словарь указывает форму первого лица *нзу*. Отсюда принятые и теперь причастия *вонженный, пронженный*. Так как мы теперь спрягаем *вонзить, пронзить* так же, как *занозить: вонжу, пронжу, заножу*, то в нашем языке вполне естественны и связанные с этими формами причастия *вонженный, пронженный*.

369. Причастные формы *вешанный, мешанный* и *вешенный, мешенный* (с приставками *раз-, за-, с-* и др.) различаются происхождением. Первые образованы от *вешать, мешать*, вторые — от *весить, месить*. Сообразно с этим они и должны употребляться, хотя даже у писателей данные формы иногда ставятся неправильно. Вообще причастное окончание *-енный* соответствует глаголам на *-ить* (*бросить — брошенный*), окончания *-анный, -янный* имеют глаголы на *-ать, -ять* (*слышать — слышанный; свалять — свалянный*). Поэтому от *застрелить, прострелить* имеем *застреленный, простреленный*, от *обменить, переменить — обмененный, перемененный*, от *измерить, смерить — измеренный, смеренный;* но от *расстрелять* причастие имеет форму *расстрелянный*, от *увенчать — увенчанный*, от *выровнять — выровнянный* и т. д. Также имеем: *сваленный от свалить* (*сваленный за городом мусор*) и *свалянный* при *свалять* (*свалянный из шерсти сапог*).

«...Красноватые скалы, *обвешенные* зеленым плющом и увенчанные купами чинар» (Л е р м о н т о в, Бэла, 166 (= которые *обвесил* зеленый плющ). «Калиныч отворил нам избушку, *увешанную* пучками сухих душистых трав» (Т у р г е н е в, Хорь и Калиныч, 15 (= которую *увешал*). «Направо от двери были два окна, *завешенные* платками» (Л. Т о л с т о й, Детство и отрочество, 148 (= которые *завесили*).

370. При русских *взгромозжать, загромозжать, нагромозжать* литературный язык предпочитает употреблять славянские *взгромождать, загромождать, нагромождать*; причастия на *-нный* обыкновенно имеют славянскую форму с *-жд-: взгроможденный, загроможденный, нагроможденный*. Точно так же при *изборождить* имеем *изборожден, изборожденный*.

371. От глаголов, имеющих основу на *-о*, производится прошедшее страдательное причастие с суффиксом *т-: молоть — молотый, колоть — колотый, полоть — полотый, выполотый, прополотый, пороть — поротый, распоротый, выпоротый*. У авторов и в печати

изредка встречаются неправильные причастия *колоный, выполонный, выпорон* и под., взятые из народного и разговорного языка.

372. От основ на *-а* страдательное причастие образуется при посредстве суффикса *-н: дать — данный, рвать — рванный, порванный, пеленать — пеленанный, брать — бранный, бран.* (Причастия эти обыкновенно употребляются с приставками.) В письменном языке иногда встречаются неправильно образованные, но нередкие формы: *брат, братый, спеленат, спеленатый.*

373. От основ на *-е* прошедшее страдательное причастие образуется с суффиксом *-н: видеть — виденный, рассмотреть — рассмотренный.* Поэтому Гоголю справедливо было замечено, что у него неправильно употреблено причастие *узрет* вместо *узрен*: «Не без радости был вдали *узрет* полосатый шлагбаум» («Мертвые души», 31).

374. В глаголах сложных (имеющих приставки) и в большинстве простых обыкновенно имеется одно страдательное причастие: от основы несовершенного — настоящее, от основы совершенного вида — прошедшее. Поэтому имеем: *полагаемый* (при *полагать*) и *положенный* (при *положить*), *замечаемый* (при *замечать*) и *замеченный* (при *заметить*), *слагаемый* (при *слагать*) и *сложенный* (при *сложить*), *бросаемый* (при *бросать*) и *брошенный* (при *бросить*), *разбросанный* (при *разбросать*), *покупаемый* и *купленный* и т. п. Таким образом, в глаголах вида несовершенного в русском языке, при немногих исключениях (например, *читаемый* и *читанный*), есть только одно страдательное причастие настоящего времени: *бросаемый* (нет *бросанный*, но есть *разбросанный* —причастие совершенного вида), *любимый* (нет *любленный*, хотя и есть *влюбленный*), *терпимый (нет терпенный*, но есть *претерпенный*).

Необычны в литературном языке также и народные *раскладенный, закладенный, складены.* При *раскладывать, закладывать, складывать* совершенный вид обыкновенно является в формах *разложить, заложить, сложить*; отсюда и страдательные причастия *раскладываемый* и *разложенный* (а не *раскладенный*), *закладываемый* и *заложенный* (а не *закладенный*), *складываемый* и *сложенный* (а не *складенный*), *прикладываемый* и *приложенный* (а не *прикладенный*).

Мы видели, что причастия на *-нный* производятся от форм совершенного вида; поэтому неправильны встречающиеся в современной печати *перегрызанный* вместо *перегрызенный, изгрызанный, обгрызанный* и другие производные от *грызть, необъезжанный* вместо *необъезженный.*

375. От глаголов совершенного вида русский язык не допускает причастий на *-щий*; но в исключительных случаях авторы пытаются создавать такие причастия для выражения будущего времени. Изредка встречаются они и в современной печати.

«Братьев моих истребленье, тогда неизбежно *падущих*» (Ж у к о в с к и й, Отрывки из Илиады). «Буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не *предъявящий* никаких свидетельств и пашпортов...» (Г о г о л ь, Мертвые души, 371).

376. У писателей изредка встречаются страдательные причастия от таких глаголов, которые мы обыкновенно употребляем как непере-

ходные. По общеизвестному правилу страдательные причастия производятся только от глаголов действительного залога. Еще Греч указывал поэтому, что «совершенно неправильны и могут быть терпимы только в своевольной поэзии следующие причастия: *бываемый, неувядаемый, немерцаемый, незаходимый* вместо *бывающий, неувядающий, немерцающий, незаходящий*» («Чтения о русском языке», II, 42). Мы знаем, однако, что в языке живет и укрепляется много «неправильных» форм. То же нужно сказать и о подобных причастиях: они усвоены языком вследствие того, что их употребляли образованные люди и образцовые писатели в письме и разговоре.

Некоторые из подобных причастий на *-мый* есть славянизмы (*бываемый, неувядаемый*), значительная часть — галлицизмы, остальные образованы по аналогии к другим существующим формам и выражениям. Собственно «неправильных» нет вовсе; есть более принятые, прочно утвердившиеся и есть малоупотребительные. К первым отнесем: *достижимый, неподражаемый, неувядаемый, обитаемый, необитаемый остров, предшествуемый, сопутствуемый, угрожаемый, управляемый.*

377. Значительно приближаясь к именам прилагательным, причастия, однако, не могут, подобно им, принимать кратких окончаний. Но в тех немногих случаях, когда причастие перешло в прилагательное и означает не временное действие предмета, а его всегдашнее качество, допускается употребление и этих окончаний. Особенно это уместно в близких к причастиям прилагательных на *-щий: работящий, сведущий* и т. п. Мы говорим: «Бог *всемогущ* и *всеведущ*»; «Сосед *сведущ* в хозяйстве»; «Его брат *работящ*»; «Это качество *присуще* русскому человеку» и т. п.

Еще Греч писал: «Имеют ли причастия степени сравнения, то есть:можно ли сказать: *любящее, влюбленнее, живущее?* Нет! Имея значение времени, они не могут в то же время означать степень качества» («Чтения о русском языке», II, 43). И в нынешнем литературном языке только при более свободном обращении с речью возможно употребление причастий в сравнительной степени, как это допускается и в невзыскательном просторечии. «Ее женщины и умнее, и *любящее*, и истиннее ее мужчин» (Б е л и н с к и й, V, 217). «Он был и *испуганнее*, и тощее, и слабосильнее, и малорослее» (Щ е д р и н, Пошехонская старина, 6).

Но такие слова, как *работящий, сведущий, священный*, по образованию или употреблению в языке являются не как причастия, а как прилагательные: они могут иметь сравнительную степень.

«*Сведущее* их нет никого» (П а в с к и й, 3, 120). «Да *работящее* его во всей деревне нет» (К о к о р е в, Отцовский долг (народное).

§ 47. 378. От глаголов *-переть, -мереть и -треть* с приставками деепричастие должно бы иметь формы: *запереши, умереши, отереши* и др. под., но нередко употребляются менее правильные: *за-, от-, при-* и др. *-перев, -терев, -мерев,* образованные по типу глаголов с приметой *-е-* (*покраснев, рассмотрев* и под.).

Некогда грамматика не терпела таких форм, как *заперев, отперев* и пр. Например, Греч писал о них: «Многие, и в том числе грамотные

люди, пишут у нас: *отерев слезы, заперев дверь*. Это неправильно. Должно писать *отерши слезы, заперши дверь*. Кому неприятно это окончание, тот может превратить деепричастие в глагол и, например, вместо «*отерев* слезы, засмеялся» написать: «*отер* слезы и засмеялся». Если говорить *отерев, заперев,* то можно сказать и *умерев*, и вместо *отер, запер — отерел, заперел*» («Чтения о русском языке», II, 46). Учение старых грамматик перешло и в новые, и данные формы все еще считаются неправильными и недопустимыми в нашей школе и учебной литературе. Между тем они значительно упрочились в употреблении и широко распространены в литературном языке. Вполне терпимые в литературе, естественно, они не должны быть предметом гонения и в грамматике.

379. Мы почти не чувствуем различия между формами деепричастий прошедшего времени на *-в* и *-вши: прочитав* и *прочитавши, узнав* и *узнавши, смеряв* и *смерявши, согрев* и *согревши, вымыв* и *вымывши, разбив* и *разбивши, растрепав* и *растрепавши, отвязав* и *отвязавши, посеяв* и *посеявши, отдав* и *отдавши, создав* и *создавши, отколов* и *отколовши, завоевав* и *завоевавши, вырвав* и *вырвавши, призвав* и *призвавши, избрав* и *избравши, отплыв* и *отплывши, застыв* и *застывши, сжав* и *сжавши, увидев* и *увидевши, услышав* и *услышавши, оценив* и *оценивши, закрутив* и *закрутивши* и т. п. после гласных. Но после согласных уместно только *-ши: уведши, расплетши, прочетши* (устарелое), *выросши, разгрызши, вытерши, остригши, зажегши, испекши* и др. В глаголах на *-ся* употребляется исключительно деепричастие с окончанием *-ши: померявшись, раздувшись, согревшись, развязавшись, вырвавшись, обжегшись* <...> *затаившись* и т. п.

Деепричастия на *-в* более свойственны речи книжной и старой. Карамзин и Пушкин почти исключительно употребляют их; даже у Тургенева преимущественно находим эти формы. Деепричастия на *-вши* отличают народную и разговорную речь. Взаимное соединение двух влияний привело к известному равновесию данных форм, отличающему современный язык. Даже в строго книжном языке библии, при преобладании вообще форм на *-в*, замечаем иногда колебания между двумя формами: *узнав* и *узнавши, закрыв* и *закрывши, связав* и *связавши, увидев* и *увидевши, услышав* и *услышивши*. В общем и у новых писателей все-таки чаще встречается книжное причастие на *-в*.

380. Глаголы вида совершенного, особенно с приметою *-и-*, в русском языке могут принимать формы деепричастий с окончанием настоящего времени и употребляться со значением прошедшего: *увидя* (= *увидев*), *заметя* (= *заметив*), *высуня* (= *высунув*); *войдя* и др.

Старая грамматика старалась ограничить употребление подобных деепричастий. Греч, например, писал: «Еще должно сказать, что в глаголах предложных деепричастия производятся от прошедшего, а не от будущего совершенного времени, т. е. должно говорить и особенно писать: *посадив*, а не *посадя*; *вынесши*, а не *вынеся*; *бросив*, а не *брося*; *устремив*, а не *устремя*. Исключения позволительны в глаголах возвратных, например: *убоясь, возвратясь*, и в стихах, для избежания стечения согласных: у Дмитриева: «Как будто совести *почувствуя*

улику». У Крылова: «*Наудя* рыб, попировать сбирался». У Пушкина: «Гирей сидел, *потупя* взор». («Чтения о русском языке», II, 45). Учение старых грамматик применялось и на практике. Круг слов, принимающих данные формы, со временем несколько сокращался. Мы знаем, что некоторые писатели, например Тургенев, Гончаров, избегали рассматриваемых нами форм. Другие ограничивают их употребление преимущественно формами на *-ся* и производными от глагола *идти*. Все это вместе и нужно считать свойством современного нам литературного языка.

Вполне прочное право на употребление занимают те из подобных деепричастий, которые входят в особые цельные, неизменяемые выражения, как: *очертя голову, сломя голову, спустя рукава, вытараща глаза, положа руку на сердце, сложа руки, немного погодя, немного спустя, разиня рот, высуня язык* и пр.

381. Деепричастие от глагола *идти* с производными в старину часто употреблялось в форме *шед*, которую мы и встречаем нередко у образцовых писателей как архаизм. Современный язык знает только формы *пришедши, нашедши, подошедши, вышедши, сошедши* и т. п.

«19 июля, *пришед* проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении» (П у ш к и н, Путешествие в Арзрум, V). «В сердцах людей *нашед* измену, ожесточился я» (Л е р м о н т о в). «Я все знаю, — отвечал я, *подошед* к кровати» (Л е р м о н т о в).

382. Глаголы, имеющие в основе настоящего времени в первом лице звук *ч*, соответствующий *т* в других лицах и в основе неопределенного наклонения (*вертеть — верчу, вертишь; колотить — колочу, колотишь, молотить — молочу, молотишь*), в деепричастии имеют основу с *т: вертя, колотя, молотя*. У Толстого встречается неправильное *молоча*, образованное по влиянию формы 1-го лица.

«Данила скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и как цепом *молоча* своим арапником по подтянутым бокам бурого» (Т о л с т о й, Война и мир, III, 133).

383. От *ошибиться* мы обыкновенно употребляем деепричастие *ошибаясь*; у Толстого встречаем *ошибившись* (образовано под влиянием неопределенного наклонения или южновеликорусских форм *ошибился, вышибил, зашибил*). Сравните: *зашибясь, расшибясь, сшибясь, ушибясь* (а не «зашибившись» и пр.).

«Пока мы отыскиваем французов, *ошибившись* в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского» (Т о л с т о й, Война и мир, IV, 131).

384. Не привились к книжному языку народные деепричастия на *-учи, -ючи*, хотя у образцовых писателей, особенно у поэтов, и находим их иногда. В литературном языке дольше других держались деепричастия на *-учи* от глаголов *идти* и *ехать*. Немногие допускают их и в наше время. Обыкновенно же теперь мы употребляем деепричастия на *-учи, -ючи* только в форме *будучи* и в немногих выражениях: *делать* (что-нибудь) *умеючи, жить припеваючи, идти крадучись, работать играючи, жалеючи тебя*.

§ 48. 385. Теоретически от всякого глагола можно составить причастия и деепричастия, но многие из них неупотребительны в чистом

литературном языке и странны для образованного слуха. Так, например, мы избегаем форм, подобных *плетомый, пасомый, беромый, зовомый, ведомый, беря, ждя, пиша* и др., хотя они и встречаются иногда у писателей.

Вообще все формы на *-омый* отягощают речь.

Из деепричастий настоящего времени не свойственны языку особенно образования от глаголов, имеющих в неопределенном наклонении и в настоящем времени несходные основы.

Таковы глаголы: 1) *бить — бью, лить — лью, вить — вью, пить — пью, шить — шью* (оговорим старинные книжные: *бия, вия, лия,* соответствующие формам настоящего: *бию, вию, лию*); однако: *моя, роя, воя* — при *мыть, рыть, выть*; 2) *пахать — пашу, махать — машу, писать — пишу, плясать — пляшу, чесать — чешу, вязать — вяжу, казать — кажу, лизать — лижу, мазать — мажу, низать — нижу, резать — режу, глодать — гложу, метать — мечу, роптать — ропщу, топтать — топчу, свистать — свищу, плакать — плачу, искать — ищу, спать — сплю, брызгать — брызжу* (здесь глаголы с приметою *-а-*; от подобных глаголов с приметами *-е-* и *-и-* деепричастия употребляются: *видеть — вижу — видя, глядеть — гляжу — глядя, просить — прошу — прося, возить — вожу — возя, колотить — колочу — колотя, мстить — мщу — мстя, льстить — льщу — льстя* и т. д.); 3) молоть — мелю, колоть — колю, полоть — полю, бороть — борю, пороть — порю; 4) *ковать — кую, клевать — клюю, плевать — плюю, жевать — жую;* 5) *звать — зову, брать — беру, драть — деру;* 6) *стыть — стыну, жать — жму, жать — жну, мять — мну, клясть — кляну;* 7) *тереть — тру, мереть — мру, переть — пру, стричь — стригу, беречь — берегу, стеречь — стерегу, мочь — могу, жечь — жгу, печь — пеку, влечь — влеку, сечь — секу, течь — теку, толочь — толку* и под. 8) Чужды литературному языку также настоящие деепричастия от глаголов, оканчивающихся в первом лице на *-ну: зябну, гибну, липну, вяну, кисну, мокну, сохну, пахну, чахну, тяну, гну, льну* и под. Также от некоторых неправильных: *ехать — еду, есть — ем, хотеть — хочу, бежать — бегу, даю, иду.*

Почти все приведенные глаголы, не дающие деепричастий на *-а, -я*, не имеют при себе и страдательных причастий настоящего времени на *-емый* и *-омый*. Нельзя, например, употреблять таких причастий от *бить, вить, шить, искать, колотить, молоть, полоть, пороть, ковать, жевать, драть, тереть, стричь, беречь, сечь, есть* и под. Вместо них мы употребляем, когда возможно, формы от глаголов с приставками несовершенного вида: *разбиваемый, вышиваемый, разыскиваемый, размалываемый, разжевываемый, сдираемый, сберегаемый* и т. п.

Гибкость русского языка, однако, настолько значительна, что некоторые из приведенных глаголов допускают деепричастные формы настоящего времени, хотя от них речь и делается негладкой. Встречаем, например, изредка: *паша, маша, пиша, режа, гложа, мечa, топча, плача, ища, брызжа, меля, коля, куя, клюя, плюя, жуя, зовя, беря, стыня, кляня, зябня, гибня, вяня, тяня, идя, хотя* (устарелое) и некоторые другие

При этом формы *плача, ища, идя* надо оговорить как довольно употребительные.

386. Среди малоупотребительных причастий нужно отличать старинные книжные вроде *согбенный, забвенный, убиенный, сокровенный* (славянские причастия на *-нный* вместо русских на *-тый*, обратившиеся большею частью в прилагательные).

«Держал свой стан *согбенным*» (Тургенев, Новь, 493). «Я мыслю: патриарх лесов Переживет мой век *забвенный*...» (Пушкин, Брожу ли я ...). «Каких был лет царевич *убиенный*?» (Пушкин, Борис Годунов).

§ 49. Наречия

387. В современном литературном языке в большом обращении наречия на *-ще* (*вызывающе*), напоминающие старые книжные причастия (*поюще*), но образованные в действительности не от глаголов, но от причастий, как наречия от прилагательных (*крайний — крайне, зловещий — зловеще, вызывающий — вызывающе*). Наречия эти нового происхождения; у классиков их нет. Едва ли встречаются они и в ранних произведениях Л. Н. Толстого, который, по-видимому, усвоил данные формы из позднейшего литературного языка.

«Скажите, ради бога! — *умоляюще* повторил он» (Толстой, Анна Каренина, 240). «Невыносимо нагло и *вызывающе* подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове...» (там же, 364). «Концы усов *угрожающе* торчали, как два копья» (Короленко, Заседатель, 317).

388. Наречия усилительные (и образа действия), произведенные от глаголов того же корня, допускают колебания между окончаниями *-ма* и *-мя: бежма* и *бежмя, висма* и *висмя, горма* и *гормя, дрожма* и *дрожмя, ругма* и *ругмя* и пр. Но обыкновенно: *стоймя*. <...>

389. Уже Буслаев заметил, что наречия *врознь* и *врозь* одинаково правильны. Первое связано с производными словами *розный, рознь*, второе — с корнем данных слов. В живом употреблении преобладает слово *врозь*, и нет оснований избегать его в письменном языке.

390. Разговорная форма наречия *покаместь* в живом языке и у авторов, приблизительно до второй половины XIX века, преобладает над книжною формой *покамест*. Теперь первая почти не встречается в письменном языке.

391. Наречия на *-ски* (*по-русски, по-гречески, по-свойски* и т. п.) мы имеем при прилагательных на *-ский* (*русский, греческий, свойский*); у Толстого находим необычное *по-средневековски* — конечно, от *средневековский* (малоупотребительное), а не от *средневековый*.

«Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить *по-средневековски* («Анна Каренина», II, 42).

392. Изредка у прежних писателей мы встречаем наречия места и времени в старинной народной форме, в современном литературном языке уже не допускаемой: *поздо; куды, туды, сюды; покудова, откудова, отсюдова; вчерась, завсегда; отсель* и *отселе, отколь* и

отколе, оттоль и *оттоле*. Старинное *инде* встречается редко и у прежних авторов. *Сплошью* при *сплошь* встречается и теперь, но очень редко. Теперь обыкновенно употребляем: *поздно; куда, туда, сюда; покуда, откуда, отсюда; вчера, всегда; оттуда; где.*

Здесь же упомянем предложные наречия *окроме* (старинное и народное; теперь не употребляется), *окрест* (устаревшее книжное слово), *противу* (теперь только: *против*).

393. Наречие *силом* хотя и встречается у Толстого, — впрочем, лишь в применении к работнику, где естественно народное словоупотребление, — в литературном языке не допускается.

«Работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая *силом*, он мучил лошадей и портил землю» («Анна Каренина», 411).

394. Вместо общепринятого правильно образованного наречия *изнутри* в русском литературном языке нередко встречается неправильное *извнутри* (осложнение получилось под влиянием слова *внутри*). При общепринятом *внутрь* встречается старинное и народное *вовнутрь*.

«Он долго тер мылом обе щеки, подперши их *извнутри* языком» (Г о г о л ь, Мертвые души, 15).

395. Наречия *верхом, пешком, босиком* в народном языке и просторечии могут принимать форму множественного числа, когда относятся к нескольким лицам. Такие формы встречаются изредка и в литературном языке, особенно старом. Теперешний их не допускает. <...>

396. Неразрывные теперь наречия *вволю, навстречу, издалека, второпях* не очень еще давно могли разлагаться на отдельные части. <...>

397. Сочетание *тому назад* в прежнем языке часто употреблялось с пропуском второго слова; теперь обыкновенно оно является в полном виде.

«Недели три *тому*, пришел я поздно домой»(П у ш к и н,Моцарт и Сальери). «Я сама, еще два дня *тому*, здесь одна, решилась освободить его от его слова» (Д о с т о е в с к и й, Униженные и оскорбленные, II, 41).

Сравните:

«Два дни *тому назад*... пролетал я через Париж» (К р ы л о в, Почта Духов). «Мимо ужасных развалин горы, задавившей, двенадцать лет *тому назад*, прелестную деревню...» (Ж у к о в с к и й, Отрывки из письма о Швейцарии, 211).

398. Наречие *спасибо* в литературном языке, как и в народном, может принимать падежные окончания.

«Твори добро — не скажет он *спасибо*» (П у ш к и н, Борис Годунов).

Сравните:

«*Спасибом* сыт не будешь» (Д а л ь). «Который мне даже *спасиба* не скажет» (Т у р г е н е в, Отцы и дети, 191).

399. Употребление некоторых существительных в смысле наречий *очень, сильно*, например: *смерть* («Он мне *смерть* (смертельно)

надоел»), *страх* («Ей *страх* (страшно) хочется идти в театр»), *ужас* («Он *ужас* (ужасно) как рассердился» и *ужасть* (старинное и народное), принадлежит более просторечию, чем книжному языку.

§ 50. Предлоги

400. В литературном языке мы встречаем иногда, в числе других, сложные предлоги *по-за, по-над*, нередко употребляемые в областном просторечии.

«Здесь Чичиков... скорее за шапку, да *по-за* спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо» (Гоголь, Мертвые души, 162). «Саша уже тащит *по-за* кухней к пруду, укрываясь от хором, две лопаты» (Е. Марков, Барчуки). (*По-над* Доном сад цветет» (Кольцов).

401. Очень редки те случаи, когда предлог *через* у авторов встречается, по народному и старинному употреблению, в значении наречия.

«Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни [муравьи], презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали *через*; а некоторые... совершенно терялись и не знали, что делать» (Л. Толстой, Детство и отрочество, 41).

402. В старых грамматиках было создано правило ставить предлог *об* перед гласной буквой (*об ученике*) и *о* перед согласной (*о жене*). Хотя правило это нарушалось авторитетными писателями уже и в то время, однако оно основано на удобстве произношения и держится в литературном языке до наших дней. <...>

403. Любопытный пример разложения целого, неделимого слова на предлог и имя мы имеем в выражении *с оника*.

«Лугин поставил семерку бубен, и она *с оника* была убита» (Лермонтов, Отрывок из начатой повести, изд. Академии наук, IV, 294). (В изд. Ефремова, 1873 г., имеем более достоверное чтение: *соника* — стр. 323). «*С оника*, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных... (Тургенев, Дворянское гнездо, 147).

Здесь существующий в карточной игре (банк, фараон) термин *со́ника* (выиграть *соника* — по первой поставленной карте; переносно: сразу, вдруг) разложен на предлог *с* и существительного *оник*, в данном случае не имеющее смыслового содержания. Общепринятая правильная форма *соника* употребляется как наречие.

«Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч, и выиграл *соника*» (Пушкин, Пиковая дама, изд. 1834 г., стр. 196). «Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей *соника*, и бабушка отыгралась совершенно» (там же, стр. 194). «Он выиграл большой куш *соника*» (академический Словарь).

Сравните французское: *Il a gagné sonica.*

404. Мы нередко затрудняемся в употреблении слов, сложенных с предлогами-приставками. Рассмотрим случаи, которые встречаются в языке чаще других.

В старом языке строже различали глаголы и имена, сложенные с *вз-*, *вс-* (означающие движение вверх) и сложенные с *в-* (означающие движение внутрь). Теперь мы постоянно говорим: *вошел на гору, влез на дерево, вкарабкался на крышу* вместо *взошел, взлез, вскарабкался*, и обратно: *взошел на двор, взошел в комнату* вместо *вошел*. <...>

405. В ряде случаев мы затрудняемся употреблять приставки *о-* и *у-*: *окутать* или *укутать, опираться* или *упираться, оплетать* (есть) или *уплетать, опускать* или *упускать, осложнять* или *усложнять, остареть* или *устареть, ощупать* или *ущупать*. Здесь обыкновенно разные образования показывают различные оттенки значения. Выбор слова, таким образом, зависит от смысла, который мы хотим придать нашей речи. <...>

406. В современном языке обыкновенно употребляется форма *усомниться;* форма *усумниться* теперь встречается редко, но она была более распространена в старое время, особенно тогда, когда допускалось еще и слово *сумневаться*.

407. Приставки *со-* и *су-* вообще не смешиваются и не заменяются одна другою в русском языке. Впрочем, в старом языке было *сопостат*, а теперь мы имеем *супостат*; иногда встречаем *состав* (соединение костей) вместо *сустав*. Последнее словоупотребление допускается академическим Словарем и Далем.

408. Глаголы *огибать, оробеть, осматривать, опереться* мы употребляем теперь только с приставкою *о-*; прежде они были известны и с приставкою *об-* (*обо-*). <...>

409. Приставки *при-* и *пре-* изредка смешиваются даже и в книжном языке. Не всегда легко различить слова *преклонить* и *приклонить*. *Преклонить* значит:

1) Наклонить, нагнуть.

«Тогда-то преступник должен *преклонить* выю под острие меча» «Ф о н в и з и н, Жизнь Сифа, 487). «И набожный граф, умиленный душой, Колена свои *преклоняет*» (Ж у к о в с к и й).

2) Согласить, склонить, убедить.

«Основательными причинами он *преклонил* всех к своему мнению» (академический Словарь).

3) *Преклонить* употребляется еще в выражении: *день преклонился* — окончился, стал подходить к концу.

Приклонить значит «пригибать, приближать, прислонять, укрывать» (*приклонить голову*). Сюда же относится и церковное выражение *приклонить ухо*, то есть слушать внимательно (а не *преклонить*).

410. Вместо книжного *преставиться* (скончаться) в народе и вообще в необразованной среде иногда употребляется ошибочно *представиться*. <...>

411. Вместо *препоручить* в современной печати иногда ошибочно употребляется *предпоручить*.

412. В русском литературном языке изредка опускается *в* в приставке *во-*: *схрапну* (устарелое), *сплеснуть руками* при обыкновенном, по-видимому, более правильном, *всплеснуть руками*. В выражениях *река стала* и *встала, волосы всклочены* и *склочены* и под. мы должны ви-

деть совпадение по значению разных слов, не происходящих одно от другого путем сокращения приставки.

413. Слово *предотвратить* в разговоре и несознательном письме является иногда в форме *предовратить* (под влиянием *совратить, превратить* и под., не имеющих второй приставки *от-*), которая иногда проскальзывает и в печать.

414. В числе замечательных слов, сложенных с предлогами, укажем еще встречающиеся у авторов необычные глаголы: *вздыматься* (устарелое; теперь обыкновенно: *подыматься*), *искупаться* вместо *выкупаться, испить* вместо *выпить, оступить* вместо *обступить, умокнуть* вместо *обмакнуть*. Все эти словоупотребления принадлежат теперь только народному языку.

415. При общепринятых словах *удвоить, утроить* и *удесятерить* (последнее редко) мы избегаем подобного сложения с другими числительными, хотя такие слова изредка и встречаются в разговорном и письменном языке.

416. Русский литературный язык имеет ряд заимствованных из церковнославянского языка слов с приставкою *из-* (*ис-*), соответствующею русской *вы-*; это обыкновенно глаголы и отглагольные имена, означающие движение, извлечение изнутри чего-либо: *избирать* и *выбирать* (избрание и выбор), *избегать* и *выбегать, изведение* и *вывод, извлечь* и *выволочь, изгладить* и *выгладить, изгнать* и *выгнать, издать* и *выдать, изъять* и *вынуть, изыскать* и *выискать, исходить* и *выходить, изливать* и *выливать, изложить* и *выложить, изучать* и *выучить, изъяснить* и *выяснить, ископать* и *выкопать, искупить* и *выкупить, искусить* и *выкусить, испросить* и *выпросить, испустить* и *выпустить, испытать* и *выпытать, истекать* и *вытечь, исчерпать* и *вычерпать* и т. д. Первый ряд слов употребляется в выражениях книжных, отвлеченных, второй — в обыкновенной разговорной речи о предметах обыденной жизни. Сравните обороты речи: *избрание президента* и *выбор старшины; избегать ошибок* и *выбегать на улицу; изведение евреев из Египта* и *вывод пятен; изгнание Адама из рая* и *выгнать кого из дому; исходить из той же мысли* и *выходить на прогулку; излить гнев* и *вылить воду; ископаемые* и *выкопанные* и т. д.

417. Образованные при посредстве различных приставок глаголы *одеть* и *надеть* нередко смешиваются в областном просторечии, особенно на севере России. Не только в живой речи, но и в печати встречаются неправильные употребления: *одеть пальто, одеть фуражку*, вообще *одеть что-либо* вместо *надеть пальто, шляпу* или вообще *надеть что-либо*.

Правильное словоупотребление допускает только обороты: 1) *одевать, одеть кого*; 2) *одевать* (наряжать) *кого во что* (старинное: *в чем*) или *кем*; 3) *одевать* (покрывать, снабжать) *чем*.<...>

Надевать, надеть в свою очередь не следует смешивать с *одевать*.<...>

§ 51. Союзы

418. В старом языке употреблялось немало союзов, которые теперь вышли или выходят из обращения. Сюда относятся: *бо* (устарелый славянизм), *буде* (употребляется теперь преимущественно в канцеляр-

ском языке), *да* (устарелый славянизм; у поэтов встречается и теперь), *дабы* (употребляется изредка в книжной речи), *для того, для чего* в значении «потому», «почему» (теперь так не употребляются), *зане* (устарелый славянизм), *затем* в значении «потому» (устарелое), *ибо* (славянизм, в книжной речи не вполне еще устарелый, но чуждый живому, чисто русскому языку), *как* в значении «так как» (устарелое), *ниже* (устарелый славянизм), *подобно как*, *подобно так* (теперь употребляется только *подобно*, с дательным падежом), *поелику* (совершенно устарелое), *понеже* (тоже), *пота* (старинное и народное).

419. Изредка у писателей встречаются простонародные союзы, например: *али* (Пушкин, Конь; где, впрочем, народный язык), *коли, благо, нето*. <...>

420. Нам кажется странным употребляемое иногда слово *то* во фразах, подобных следующей: «*Рано* утром в воскресенье меня разбудила мама и сказала, что пора идти в церковь причащаться. *То* я поспешно встал и стал одеваться» (из речи петроградских учащихся). Здесь мы имеем дело не с ошибкой, а с особенностью старинной и народной речи, употребляющей *то* в смысле союза *поэтому, потому*.

«Но слушай: я решилась Своей судьбой, и бурной, и нервной, Соединить судьбу свою; *то* вправе Я требовать, Димитрий, одного» (Пушкин, Борис Годунов, I, 46—47, изд. Морозова).

421. *Раз* в значении союза *если* («*Раз* это не принято, то и не следует делать») — галлицизм, более употребительный в разговорной речи, чем в книжной. По-видимому, он не старого происхождения. Впрочем, у Даля мы находим пословицу: «*Раз* племянник, значит дядин».

422. В современной печати иногда встречается неуместно употребленный союз *причем* вместо *притом, при этом*.

«Врач констатировал, что самоубийца принял цианистого калия, *причем* в таком большом количестве, что им можно было отравить десятки людей» («Современное слово», 13 декабря, 1909 г.).

§ 52. Междометия

423. Из существующих в литературном языке междометий есть такие, о которых нужно сделать оговорки, касающиеся их употребления. Это книжные слова *исполать* (греческое слово, отчасти вошедшее и в народный язык; в разговорном образованном языке употребляется, однако, весьма редко) и *увы* (славянизм, общепринятый более в письменном литературном языке, но неизвестный в народном).

§ 53. Частицы

424. Литературный язык не употребляет члена *то*, но у писателей и в печати он иногда встречается по влиянию народного и разговорного языка.

«Обнял бы его я, да нельзя: Человек-*то* добрый этот я» (Майков). «Знать бреди-*то* долгонько они Из каких-нибудь дальних губерний» (Некрасов, Размышления у парадного подъезда).

Особенность этой приближающейся к члену частицы *то* состоит в свойстве стоять не только при существительных, но при всех именах,

местоимениях, глаголах, даже при наречиях и союзах. Она соединяется вообще со словами, на которые падает логическое ударение: «Дом-*то* у вас стар»; «Старый-*то* дом мы починили»; «Три-*то* рубля в день дорого»; «Я-*то* совсем не устал»; «Живет-*то* он бедно»; «Там-*то* меня приняли хорошо»; «Потому-*то* он и не пришел».

В старом литературном языке при словах мужского рода известна частица *-от:* ум-*от*, немец-*от*, прок-*от*, мост-*от* и под. Теперь такие употребления остались только в народном языке.

«И в чтенье прок-*от* не велик (Г р и б о е д о в, Горе от ума, д. I, явл. 2). «Однако ж мост-*от* наш каков...» (К р ы л о в, Лжец).

СИНТАКСИС

§ 54. Подлежащее

425. Школьная практика настойчиво требует, чтобы в предложениях никогда не пропускались подлежащие; требование это не оправдывается языком образованных лиц и писателей, допускающих такой пропуск, особенно в безыскусственной или сжатой речи.

«Я прибыл к одному месту, где, вероятно, некогда находился пруд, и увидел круглое, малое пространство посреди леса. Вот, — подумал я, — долина, назначенная старухою. *Вскоре нашел род тропинки, вероятно русло иссохшего ручейка*» (П у ш к и н, Джон Теннер, изд. 1839 г., 226). «Он знáком пригласил нас сесть. *Молча повиновались ему*: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть» (Л е р м о н т о в, Фаталист, 149—150). <...>

§ 55. Сказуемое

426. Старая элементарная стилистика не допускала в сказуемом прилагательного в членной (долгой) форме или причастия. У Карамзина находим: «Я одет слишком по-дорожному и весь *мокр*» (Сочинения, стр. 11). Фразы «Ваш вызов очень *глупый*», «Ваш отказ *подлый*» Белинский отмечает как неправильные по форме сказуемого (V, 284). Но школьная стилистика не в состоянии была изгнать усвоенные живым языком обороты, которые нередко употребляются и лучшими писателями. По замечанию Потебни, долгое окончание увеличивает связь прилагательного с подлежащим, и прилагательное как бы подчеркивается. И произносится оно в этом случае с логическим ударением. <...>

427. При этом в подобных сочетаниях (при связках *есть, будет, был*) прилагательное-сказуемое всегда имеет форму именительного падежа. Оборотов с творительным необходимо избегать.

«Неряшливость и неприбранность этой комнаты были *поразительными*» (Ш е л л е р - М и х а й л о в, Пучина, III, т. I, стр. 492). (Лучше: *были поразительные*).

428. При глаголах, означающих возникновение какого-либо признака (*стать, сделаться, бывать, казаться, остаться* и под.) качественное прилагательное, входящее в состав сложного сказуемого, ставится в именительном падеже краткого окончания или в творительном полного: «Он стал *придирчив*» (и: *придирчивым*); «От

торговли он сделался *беден, а не богат*» (и: *бедным, а не богатым*); «Город показался мне *многолюден*» (лучше: *показался мне многолюдным*); «Он остался *непреклонен*, и я, когда он меня попросит о чем-либо, окажусь тоже *непреклонным*»; «Воздух становится *холоден*»; «Вода становится *теплой*»; «Старики бывают *ворчливы*» (и: *ворчливыми*); «Он очутился *одинок*» (и: *одиноким*). Вторая форма употребляется все-таки чаще, особенно в женском роде. Лучше сказать: «Она казалась *богатой*»; «Она сделалась *раздражительной*»; «Она очутилась *одинокой*» и т. д.

«И затем, откинувшись на спинку стула, оставался *неподвижен* в продолжении трех или четырех часов» (Достоевский, Униженные и оскорбленные, 6). «Собака же ... вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась *неподвижною* на весь вечер, точно умирала на это время» (там же, 6).

429. При глаголах, означающих движение и покой (*идти, ехать, сидеть, лежать* и под.), прилагательное-сказуемое ставится обыкновенно в именительном падеже с полным окончанием: «Он пришел домой очень *усталый*»; «Он ходит *босой* по улице»; «Сестра лежит *больная*»; «Он сидел на постели *грустный* и *бледный*». Вместо старого оборота *сижу, лежу неподвижен* теперь обыкновенно употребляется *сижу, лежу неподвижно* (наречие).

430. При глаголах *знать, видеть, находить, помнить, нести, гнать* и др. под. прилагательное (имеющее смысл сказуемого) и причастие теперь ставятся обыкновенно в творительном падеже: «Я знал его *богатым* и *бедным*»; «Ты видел его *здоровым*»; «Барина нашли *мертвым* в своей постели»; «Тетя помнит его *молодым* и *здоровым*»; «Она несла книгу *открытой*»; «Отец прогнал его из дому *раздетым*».

Реже употребляются в этих случаях падежи именительный и винительный: 1) «едва сам *цел* убрался»; 2) «оставили их *неодетых*»; «нашел птичку в клетке *мертвую*»; «видел ее *босую*». *Один* употребляется только в винительном: *увидел, нашел, вынес ее одну.*

431. Существительное при глаголах, которые являются связкою, может стоять в именительном падеже и творительном: «Он стал *знатный господин*» (и: *знатным господином*); «Он оказался *большой негодяй*» (лучше: *оказался большим негодяем*); «Сестру жены называют *свояченица*» (лучше: *называют свояченицей*). Творительный падеж, однако, мы употребляем преимущественно или исключительно: «Через женитьбу он сделался *обладателем* большого имения»; «Ты сделался важной *особой*»; «Он мне показался довольно пожилым *человеком*»; «Он кажется *лентяем*»; «Это поручение является *знаком* твоего доверия»; «Брак их некоторое время оставался *тайною*»; «Он очутился *наследником* большого состояния»; «Он назначен *директором* гимназии»; «Он доводится (чаще: *приходится*) мне *шурином*»; «Он считается *знатоком* истории»; «Я остался его *должником*».

432. При вспомогательном глаголе *быть* прошедшего и будущего времени почти одинаково употребительны формы именительного и творительного: «Брат был усердный *работник*» (и: *усердным работником*); «Он был *приятель* моего брата» (и: *приятелем*); «Он был мой *начальник*» (и: *начальником*); «После тети ты будешь *наследница*» (и:

наследницей); «Ты будешь хороший *солдат*» (и: *солдатом*) и т. п. Оборот с творительным все-таки встречается чаще. Но при настоящем времени допускается только форма именительного: «Ты мой *друг*, а она мой *враг*».

Именительный падеж обыкновенно необходим там, где обозначается постоянное, характерное свойство предмета: «Лир был *король* с головы до ног» (О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й); «Он был лучший *министр* народного просвещения». В противоположность этому творительный падеж показывает временное состояние: «Я был и *писцом*, и *казначеем*, и *бухгалтером*, а *простаком* никогда не бывал»; «Теперь он у нас *дьяконом*, а прежде был *причетником*».

433. Слова обстоятельственные ставятся у нас только при краткой форме прилагательных, служащей сказуемым, поставленной притом в именительном падеже. Потому не совсем правильно составлены следующие примеры.

«Ей становилось грустно... от мысли умереть *так молодою*» (Л а ж е ч н и к о в, Ледяной дом, ч. IV, гл. IX, 139). «Купил чернозему, хотя далеко не *так богатого*, как в Симбирской губернии» (А к с а к о в, Семейная хроника, 66). «Встреча показалась мне *так забавною*, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, I, 120). «И становится все *так возможным*, что мечтою казалось вчера!» (П л е щ е е в, Весна). (Сравните более правильное у Крылова: «Такое хвастовство хоть слишком было явно, Но показалось *так забавно*, Что зайцу дан клочок медвежьего ушка» — «Заяц на ловле»).

Следующая фраза Полевого, с обстоятельством при определении, служила уже предметом насмешек Белинского: «Давайте выражать русское горячее чувство... народным, *маленько мужицким* словом» (VIII, 187).

§ 56. Безличное предложение

434. Иногда у писателей встречаются безличные обороты в таких случаях, где мы предпочли бы личные. Так, мы скорее скажем: *Для этого требуется целая статья; Мне был пятнадцатый год; Я вздохнул глубоко и радостно; У меня за деньгами дело не станет; Место здесь найдется; Борода у него заиндевела; Знания приложены там, где они нужны; Была половина шестого, когда я вернулся домой; Такая ловкость встретится разве в кошке; В моем сочинении была бездна ошибок; Четверть века прошла с той поры* и т. п. Господство в современном языке таких оборотов указывает на то, что наше безличное предложение подверглось сильному влиянию личного и во многих случаях уступило ему свое место. Язык авторов прежнего, хотя и недавнего времени был богаче, гибче и сохранял еще такие формы, достоинства которых мы уже не чувствуем и которыми перестали обладать.

«*Требуется* высокой *энергии*, *самоотвержения*, готового на все жертвы» (Л а ж е ч н и к о в, Ледяной дом, ч. IV, гл. I, 6). «Для одного этого *потребовалось бы целой и притом большой статьи*» (Б е л и н с к и й, VI, 322). <...>

Утрата многих форм безличного предложения сказывается не только в языке образованной массы общества, но и в речи авторов, более чутких представителей группы хорошо говорящих. И у них иногда находим необычные формы личных предложений вместо общепринятых безличных оборотов.

«Гроснот возвратился в манеж, *будто ни в чем не бывал*» (Л а ж е ч н и к о в, Ледяной дом, гл. III, стр. 68. Сравните: *как ни в чем не бывало*). «За моею тележкою четверка быков тащила другую, *как ни в чем не бывала*, несмотря на то что она была доверху накладена» (Л е р м о н т о в, Бэла, 168). «И, *будто ни в чем не бывал*, мигом возвратился домой» (Л а ж е ч н и к о в, Ледяной дом, гл. VI, III. Обыкновенно: *будто ни в чем не бывало*). «Эта самая записка очутилась в Телемахиде, между листами, вместо закладки, и дошла к кому *следовала*» (Л а ж е ч н и к о в, Ледяной дом, гл. VI, 142. Обыкновенно: *к кому следовало*). «Сказал бы Василью Петровичу, что у меня *ломят* ноги» (С. А к с а к о в, Семейная хроника, 221. Обыкновенно: *у меня ломит ноги*). «Я могу... пожалуй, стихи сочинять, коли *приспичит охота*» (Т у р г е н е в, Новь, 51; из письма Нежданова. Обыкновенно: *меня приспичило*. Сравните: «Эк *его приспичило!*» — академический Словарь). «Но такое состояние не может длиться долго, — необходим исход, какой бы то ни *был*» (К о н и, Судебные речи, 323. Обыкновенно: *какой бы ни было*).

Такую же борьбу личных и безличных оборотов и вытеснение последних первыми мы видим и в следующих парных выражениях: *брезжится* и *заря брезжит, вечереет* и *день вечереет, светает* и *день светает, рассвело* и *день рассветает*. Чисто русский язык, например народный, обыкновенно знает лишь первые, безличные употребления; вторые, личные, по-видимому, возникли в книжном языке. Для нашей речи они кажутся вполне естественными, потому что мы отчасти утратили чутье к смыслу и силе безличных оборотов. <...>

Конечно, с заменой безличных оборотов личными речь наша упрощается, но зато она и бледнеет, теряет тонкие оттенки выражения, которые не могут быть переданы личными оборотами. Далеко не равносильны выражения: *Мне вздохнулось радостно* и *Я вздохнул радостно; Мне вспомнилось* и *Я вспомнил; Мне этого не забыть* и *Я этого не забуду*. Безличное предложение обозначает в подобных случаях душевное состояние, мало зависящее от личной воли. Говорят: «И не спал бы, да *спится*», то есть и не хотел бы спать, да спишь невольно. Личные обороты всегда указывают на участие сознания и личной воли в действии. Хорошо сказать: «Он *хочет* нажить большие деньги покупкою и продажею имений»; но дурно: «Ему *хочется* нажить большие деньги покупкою и продажею имений». Обороты же вроде *как ни в чем не бывал* чувствуются нами как весьма нескладные.

Да и *день вечереет, день светает* неприятно русскому слуху. Мы легче примиряемся с удачным варваризмом; чем с натянутым выражением родного языка.

435. Писатели не избегают употребления неопределенного наклонения глаголов *видать* и *слыхать* в качестве сказуемого безличного предложения (впрочем, лишь с отрицанием), что нужно объяснять

влиянием народного языка. Обороты такого рода без отрицания редки и отзываются простонародной речью. <...>

436. Иногда личный оборот вместо безличного получен из французского языка, как это видно из следующего примера: «Я люблю лучше замок и экипажи» — галлицизм! По-русски говорится: *мне лучше нравятся*» (Б е л и н с к и й, VII, 264). Варваризмом является и личный оборот *я не имею* (средств, состояния и т. д.; нем. Jch habe keine Mitteln и т. д.). По-русски безлично: *у меня нет* (того-то).

§ 57. Согласование слов

437. При подлежащих, выраженных числительным количественным с родительным падежом существительного (*десять учеников*), наречием количественным с тою же формою существительного (*много народу*), при существительных и вообще выражениях собирательных (*толпа, большая часть*) современный литературный язык ставит глагольное сказуемое в единственном числе. Чем больше времени тому назад, тем чаще встречаются старинные обороты со сказуемым во множественном числе. Но уже Пушкин при новом издании «Пиковой дамы» заменил в одном из таких оборотов множественное число единственным. Белинский отмечал такие случаи как неправильности языка. Фразу «Большая часть журналов наших сильно *заговорили* о добросовестности критики» Белинский поправляет на единственное число: *заговорила* (VII, 232). Употребление данных форм до настоящего времени зависит от влияния на язык писателей народной речи, в которой данный оборот слышится довольно часто. Поэтому писатели, предпочитая более литературные обороты с единственным числом, допускают случаи и со множественным. Например, у Тургенева обыкновенно подобно следующему: «Человек десять мужиков *стояло* около него» («Смерть», 104). Но встречается и со множественным числом. Замечательно, что в следующем месте Тургенев исправил первоначально стоявшее множественное число на единственное: «Пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно *перебираются* через дорогу» (Т у р г е н е в, Лес и степь, 302). (Так было в первом и во втором издании; потом находим: *перебирается*.)

438. Если при подлежащем стоит дополнение в творительном падеже, управляемое предлогом *с*, которое по смыслу тоже может быть подлежащим, то сказуемое ставится чаще во множественном числе, но может стоять и в единственном.

«За руки взявшись, *гуляли* Ундина с Бертальдой» (Ж у к о в с к и й, Ундина). «С Пиладом мой Орест *грызутся*» (К р ы л о в, Собачья дружба). «Садовник с двумя помощниками *влезают* наверх» (Щ е д р и н, Пошехонская старина, 38). «*Жил* старик со своею старухой У самого синего моря» (П у ш к и н, Сказка о рыбаке и рыбке).

439. При нескольких подлежащих сказуемое слитного предложения, по логическому смыслу речи, должно бы стоять всегда во множественном числе, но оно очень часто встречается и в единственном. Последнее употребление является неотъемлемым свойством нашей речи и никак не

должно считаться неправильным. Такой взгляд на недопустимость оборота с единственным имел, например, Чернышевский, как это видно из его примечаний к письмам Добролюбова: «Во всяком случае, ехать или не ехать мне на каникулы, это еще *решит* время и обстоятельства» (Добролюбов, Письмо 25 марта 1856 г.). (Примечание Чернышевского: «недосмотр, вместо *решат*».) «Со мной *живет* маленький брат и, временно, дядюшка, приехавший из Нижнего» (Добролюбов, Письмо к Турчанинову 26 апреля 1859 г.). (Примечание Чернышевского: «описка, вместо *живут*».) <...>

440. Некогда Писарев жестоко осмеивал одного автора, употребившего предложение, в основе которого стояла фраза: «Белинский *была* замечательная личность». Критик указывал на нелепость сочетания *Белинский была*. Но если бы автор употребил для слова *быть* форму мужского рода, его можно было бы упрекать за соединение *был личность*. Вообще у нас допускается согласование связки *был, была, было* как с подлежащим, так и со сказуемым-существительным.

1. «И эта буря, Грозившая природе разрушеньем, *Была* мне друг» (Жуковский, Орлеанская дева). «Для старика *была* закон Ее младенческая воля» (Пушкин, Бахчисарайский фонтан). «Это *было* для меня трудный подвиг» (Гончаров, Фрегат «Паллада», 300).

11. «А Нерон всем *была* известная скотина» (В. Майков). «Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, *была* береза, северная береза!» (Пушкин).

441. У авторов иногда встречаются явные случаи нарушения согласования слов, как, например: *счастливый дитя, дитя проснулся*. Подобные случаи объясняются согласованием по смыслу и не относятся к ошибкам против правил языка. <...>

§ 58. Слитное предложение

442. При двух определениях, относящихся к одному существительному, последнее ставится и в единственном и во множественном числе: «Беру уроки *русского и немецкого языка*», «Беру уроки *русского и немецкого языков*»; «Он обманул *моего и твоего отца*» (здесь нехорошо сказать: *отцов*). Если существительное стоит впереди, то форма множественного числа употребительнее: «Знаю *языки латинский и греческий*». В других случаях этой форме нельзя отдать предпочтения. <...>

443. Прилагательное или местоимение, относящееся к двум или нескольким существительным, обыкновенно имеет форму единственного числа. Относительно оборотов со множественным числом поучительно следующее указание: «В современной печати часто приходится встречать выражения вроде: «Я давно не видал *моих* брата и сестру». Это не по-русски и режет ухо» (Овсянико-Куликовский, Руководство к изучению синтаксиса русского языка. М., 1907, стр. 29). Однако и множественное число иногда необходимо по смыслу речи: «Со мной ехали *богатые* купец и помещик»; «У меня есть *ленивые* ученик и ученица». Здесь форма единственного числа не определила бы второго слова. Сравните: «У соседа двое детей — *слепой* мальчик и девочка».

«Там ждет меня *своя* порфира и венец» (Ломоносов, Демофонт). «Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над *моим* отцом и матерью» (С. Аксаков, Семейная хроника, 204). «Кто заставляет, в *осенние* дождь и слякоть, таскаться с ружьем...» (С. Аксаков, Рассказы и воспоминания охотника, 10).

444. Стилистика не одобряет оборотов, в которых при одном дополнении соединяются между собою глаголы, требующие разных падежей, как, например:

«А все-таки *есть* или *нет циркуляра* ?» («Биржевые ведомости», 18 мая 1908 г., № 10509. Следовало сказать: *есть циркуляр или нет циркуляра*). «Единственное ее утешение — книги, *которых* она *не читает, а глотает*» («Биржевые ведомости», 14 ноября 1908 г., № 10811. Здесь слепое подчинение школьной грамматике приводит даже к неясности в смысле: *которых* прикрепляется к *не читает*, и это выражение на первый взгляд понимается буквально). «Этот старый болтун осмеливается *ее сожалеть* и почти *протежировать*...» (Достоевский, Бесы, III, 67. Обыкновенно: *протежировать кому*). «Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто *чувствуя и пугаясь приближения* дня» (Лермонтов, Максим Максимыч). « — Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, — прибавил он, и *ловя,* и *избегая* вопросительно устремленный на него *взор* Кати» (Тургенев, Отцы и дети, 264—265). «*Было ль, не было ль сраженья*? Нет Додону донесенья» (Пушкин, Сказка о золотом петушке).

445. Нельзя также соединять в одно слитное предложение глаголов тождественных по звукам, но неодинаковых по значению, как это делается в известной шуточной фразе: «На улице шли дождь и молодой человек». Поэтому не совсем правильно следующее: «Какая *тень* и *аромат Плывут* над меркнущею степью» (Фет, Ты видишь — за спиной косцов...).

Неудобно также соединение союзами частей слитного предложения, одинаковых по форме, но различных по смыслу. Например, у Лермонтова в рукописи «Героя нашего времени» указывают: «Гостей не было, кроме *Веры и скуки*». В печатном тексте это место, однако, оказалось переделанным: «Гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка» (см. изд. Академии наук, т. IV, 236 и 377). Неловко сказано и у Аксакова: «Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу *с радостным криком и с полоскательной чашкой* спелой ежевики, которую набрала она ... по кустам мелкой уремы, растущей около живописной Кондурчи» («Детские годы Багрова-внука», 402).

Еще более неудачны соединения союзами членов разной формы, как видим у Достоевского: «Она шла *с открытым видом и в великолепном костюме*» (Бесы, ч. III, гл. 2).

446. В сложных фразах, чтобы избежать двусмысленности, нужно так располагать слова, чтобы те, которые связываются союзом *и*, не

были разделены другими, к которым этот союз тоже можно отнести, как это видим в следующем примере:

«Со всех концов России, их самых дальних ее участков стекались к нему [Некрасову] письма, стихотворения, телеграммы, выражавшие глубокое искреннее сочувствие к нему как к поэту народной скорби вместе с пожеланиями избавления от болезни и долголетней жизни» (Полное собрание стихотворений Н. А. Некрасова, т. 1, СПб., 1902 г., Библиографический очерк, стр. 25—26. Здесь выходит: *избавления от ... долголетней жизни*).

§ 59. Родительный падеж

447. Родительный падеж для обозначения времени выходит у нас из употребления, хотя он нередко встречается у писателей. *Сегодня* чувствуется нами не как падежная форма, а как наречие.

«И *той* же *ночи* в подземелье Зарыл мешок — и с ним свое веселье» (К р ы л о в, Откупщик и сапожник). «Я получил ее [поэму] не далее как *прошлого года*, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича...» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, I, 5). «Он, Мотька, *сего утра* лазил на остатки галереи» (Г о н ч а р о в, Обломов, 214). «Долли вспомнила, как убирали они вместе *прошлого года* эту комнатку» (Л. Т о л с т о й, Анна Каренина, 159).

§ 60. Дательный падеж

448. Дательный самостоятельный падеж рекомендовался Ломоносовым и допускался Востоковым для книжного языка. Хотя Ломоносов и признавал, что этот оборот не живет в русском языке, но находил, что русскому слуху не чужды такие выражения, как: «*Ходящему мне в пустыне*, показался зверь ужасный»; «*Бывшему мне на море*, восстала сильная буря». Писатели XVIII века и даже Жуковский употребляли такие обороты, но они совершенно не привились к литературному языку. <...>

450. Дательный в народном обороте *знать грамоте* не обязателен для литературной речи, и потому у писателей в отрицательном обороте с этим глаголом допускается и родительный (вместо винительного).

«Славяне, еще не зная *грамоты*, имели некоторые сведения в арифметике, в хронологии» (К а р а м з и н, История Государства Российского, 71). «Бывало, храбрый генерал Служил и *грамоты* не знал» (П у ш к и н, Отрывки из Онегина, «Современник», 1838, т. XII, стр. 80. В издании Морозова: «*грамоте* не знал», III, 285).

§ 61. Винительный падеж

451. Винительный падеж при отрицании сохраняется, по Буслаеву, в особенности в тех случаях, когда при существительном есть определение. Указание Буслаева, однако, нельзя признать очень твердым, так как у авторов найдется очень большое число примеров, противоречащих его положению. Часто употребляется и винительный без определения и родительный с определением.

Пушкин отстаивал винительный падеж при составном глагольном сказуемом. По поводу замечаний критики он писал: «Стих *Два века ссорить не хочу* критику показался неправильным. Что гласит грамматика? Что действительный глагол с отрицательною частицею требует не винительного, а родительного падежа; например: *я не пишу стихов*. Но в моем стихе глагол *ссорить* управляет не частицею *не*, а глаголом *хочу*. Ergo, правило сюда нейдет. Возьмем, например, следующее предложение: «Я не могу вам позволить начать писать *стихи*, а уж, конечно, не *стихов*. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном? Не думаю» («Критические заметки», 127).

«Какой ужасный шум! Нельзя *ничто* понять» (Батюшков, Послание к Хлое. Теперь только: *ничего*). «Так как никто не мог заменить *Наталью*, она была возвращена в двор» (Л. Толстой, Детство и отрочество, 62). «Не мог подставить *те слова*...» (Л. Толстой). «Она не могла любить *эту девочку*» (Л. Толстой). «... Не желая навязывать *свое мнение* другим» (Тургенев). «Не могу не сказать *несколько слов* об охоте» (Тургенев, Лес и степь, 301). «И она не могла выговорить *этот вопрос*» (Л. Толстой, Анна Каренина, 152). Сравните у него же обороты с родительным: «*Спора* не может существовать»; «Не мог докончить своей *картины*»; «Того и другого нельзя иметь»; «Он не в силах удерживать своей *досады*»; «Чтобы не нужно было поворачивать *головы*».

Но у писателей очень часто встречается винительный вместо родительного при действительных глаголах с отрицанием и без этих условий. Особенно оговорим такие случаи, в которых винительный падеж употребляется как более сильно, решительно выражающий мысль.

«Близь ложа там во мраке ночи Сидел он, не смыкая *очи*» (Пушкин, Полтава, 11). «Не пригревай *змею* в груди» (Некрасов, Когда из мрака заблужденья. Впоследствии Некрасов — без нужды и неудачно исправил: *змеи*). «Он никому не шлет *укор*» (А. Толстой, Пусть тот, чья честь не без укора). <...>

В общем, по-видимому, во многих случаях нельзя точно определить условий, когда при отрицании ставится родительный и когда винительный падеж. Существующее в школьных грамматиках правило ставить всегда при отрицании родительный падеж вместо винительного не имеет под собой твердого основания. Таким основанием могло бы быть только сознание чисто говорящих по-русски или, по крайней мере, частное выражение этого сознания — последовательное употребление данных форм хотя некоторыми авторами. Ни того ни другого у нас нет, и, следовательно, нужно признать, что каждый из нас в затруднительных случаях, более или менее свободно, может употреблять формы, которые ему более свойственны, не руководствуясь навязываемым языку неосновательным правилом.

«Жалею, что ты со мною вместе не видал *великолепную цепь* этих гор» (Пушкин). «Не стану описывать *оренбургскую осаду*» (Пушкин). «Отец, отец! Оставь угрозы! *Свою Тамару* не брани»

(Л е р м о н т о в, Демон). «Не видят *блеск ее* враги И беззащитно умирают» (Л е р м о н т о в, Измаил-Бей). «Не сгладит время их *глубокий след*» (Л е р м о н т о в, Измаил-Бей). «Не встретить мне *подобное созданье*» (Л е р м о н т о в, Измаил-Бей). «*Журнал* я *этот* не люблю» (Т у р г е н е в). «Не любил *этот новый дух*» (Л. Т о л с т о й). «Я не отвергаю *преступную жену*» (Л. Т о л с т о й). «Он не отвергнул тогда с презрением *эти сто рублей*...» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, I, 37). <...>

452. Здесь нужно отличать случаи, где отрицание относится только к обстоятельству и не должно иметь влияния на управление. Говорим: «Я сегодня видел сестру»; «Я *не сегодня* видел сестру, а вчера» (здесь нельзя сказать: *сестры*). Поэтому ошибочны следующие словоупотребления:

«К тому потребно богатство и покровительство, *чего* не всякий имеет» (Ф о н в и з и н, Торгующее дворянство, 622). «Не очень понимая *значения* этого слова...» (П у ш к и н, Современник, т. IV, 43. Здесь *не* относится только к *очень*, составляя с ним одно понятие «мало»). «*Этого* не все знают» (А к с а к о в, Разные сочинения, М., 1858, стр. 402. Критический разбор «Юрия Милославского»).

453. Винительный падеж времени, определяющего действие и движение, теперь употребляется редко. Обыкновенно сохраняем его только при *тотчас, сейчас: прочитаю тотчас, придет сейчас, возвращусь сию минуту*, но: *выехал в тот же день, отправился в ту же ночь*, однако: *каждое утро читает газету* (винительный с определением) и *утром читаю газету* (без определения — творительный). <...>

§ 63. Имена при числительных *два, оба* и др.

458. Имена прилагательные, причастия и одинаково склоняющиеся с ними числительные и местоимения, будучи поставлены при существительных, зависящих от числительных *два (две), три, четыре, оба*, принимают форму именительного или родительного падежа множественного числа. Допуская обороты *два молодые человека* и *два молодых человека*, авторы отдают на практике заметное предпочтение первому из них. Преобладание именительного мы можем указать у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Салтыкова, Л. Толстого и др. <...>

Своеобразны формы согласования при словах, составленных из *пол-* и родительного падежа существительных: *полгода, полчаса, полпуда, полфунта, полверсты, полсажени, полсотни* и т. п. Именно в именительном и винительном падеже единственного числа определение принимает при них форму множественного числа: *минувшие полгода, через каждые полчаса, неполные полпуда, эти полфунта, целые полверсты* и т. д. Вместо именительного падежа множественного числа прилагательное может стоять и в родительном того же числа: *ждал целых полчаса, тут неполных полпуда* и т. п. При других падежах определение согласуется с именем по общему правилу: *от каждого получаса, к прошлому полугоду, в неполном полупуде, из этих полуфунтов* и пр. Сказуемое может стоять при этих словах в единственном и во множественном числе: «Полгода *пролетело* (или

пролетели) незаметно»; «Полверсты *было пройдено* (или *были пройдены*) в пять минут» и т. п. Но при определении возможно только множественное число сказуемого: «Полчаса, проведенные в его приемной, порядочно *раздосадовали* меня»; «Эти полсотни казаков быстро *прибыли* на помощь».

§ 64. Управление глаголов и имен

459. Следует обратить внимание на управление некоторых слов, допускающих различные сочетания с падежами и предлогами и затрудняющих на практике. Укажем ряд глаголов, имен существительных и прилагательных.

Некоторые глаголы, означающие движение, допускают двоякое дополнение — с винительным и творительным падежом: *бросил в него камень* и *камнем, брызгать воду* и *водою* (чаще), *вертеть палку в руке* и *вертеть палкою, поверни голову сюда* и *головою, двигает сердца* и *двигает сердцами, качаю ветку березы* и *качаю веткой, кинул в него комок грязи* и *кинул комком грязи, сыплет деньги без счету* и *сыплет деньгами, лошадь трясла голову* и *трясла головою* (чаще), *потрясать государство* и *потрясать государством, ветер шевелит листья дерева* и *листьями дерева.*

460. Глаголы *завтракать, закусывать, обедать, ужинать* обыкновенно употребляются без дополнения, но иногда встречаются с творительным падежом: «Закусим, пообедаем *чем* бог послал». *Закусывать* чаще встречается с родительным, иногда — с винительным. <...>

461. При глаголах *горевать, печалиться, скорбеть, скучать, тужить, тосковать, вопить, выть, плакать, реветь, сетовать, носить траур, служить панихиду* и под. употребляется обыкновенно дополнение с вопросом *по ком: горюет по покойном брате, скучает по родном городе, плачет по умершем ребенке, служит панихиду по родителях* и т. д. (по с предложным падежом).

Обороты с дательным встречаются, но редко (*скорбят по погибшим братьям* и под.).

462. *Внимать* иногда имеет дополнение по вопросам *кого, что* и также употребляется *внимать кому, чему* (последнее чаще). *Дарить кому что* (современное употребление); *дарить кого чем* (старинное). *Жаловаться на что*; редко: *о чем. Ждать чего* (общепринятое употребление) и *ждать что* (худшее употребление, но нередко встречающееся). *Желать чего*; редко: *что. Жертвовать что: жертвовать вещи, деньги; жертвовать чем: жертвовал своим спокойствием, временем.* Вообще винительный — при материальном значении, творительный — при отвлеченном. Смешение встречается редко. *Заслуживать чего* (в смысле: быть достойным, теперь общепринятое употребление) и *заслуживать что* (устарелое). *Заискивать в ком-нибудь* (всего чаще), *перед кем-нибудь, у кого-нибудь. Заложить* (в смысле «запрячь») *кого* (то есть какую лошадь) *во что* (в какой экипаж). *Искать чего* и *что: ищу платка* и *ищу платок, ищу воды* и *ищу воду* (родительный обыкновенно означает цель временную, винительный — постоянную). *Касаться чего* и *до чего* (общепринятое

употребление); *касаться, коснуться чему и к чему* (устарелое словоупотребление). *Красить, выкрасить чем* (общепринятое употребление) и *во что* (более редкое и худшее употребление). *Красться, вкрасться во что* и *к кому.*

По-русски при глаголах, имеющих значение *лежать*, обыкновенно говорят и пишут: *лежит на кровати, на постели, лег на кровать, на постель.* Но когда говорят о больном, то предпочитают обороты: *лежит в кровати, в постели, лег в кровать, в постель.* Однако различия эти не обязательны, и авторы допускают смешение двух данных оборотов, то есть 1) употребляют оборот *лежит на постели*, говоря о больном; 2) говорят *лежит в постели, в кровати, лег в постель, лег в кровать* о здоровом («Лаврецкому не захотелось *лечь* в теткиной *кровати*» — Т у р г е н е в, Дворянское гнездо, 120); 3) иногда писатели, ради стилистического разнообразия, употребляют рядом оба оборота — с предлогом *в* и *на*: «Он лежал *в креслах, на которые* перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова спущена была на грудь» (П у ш к и н, Дубровский). «Я подошел к другой кровати... разделся и лег *в* сырые *простыни*. Мой сосед *заворочался на* своей *постели*» (Т у р г е н е в, Гамлет Щигровского уезда).

Льстить теперь употребляем с дополнением по вопросам *кому, чему*; в старом языке знаем: *льстить кого, что.* Отсюда употребляемое в письмах выражение *льщу себя надеждой. Надеяться на что*; старинное *надеяться чего* изредка встречается и у новейших писателей. *Обвенчать, перевенчать, повенчать кого с кем* и *на ком; обвенчаться, перевенчаться, повенчаться с кем* и *на ком. Обижаться на что, обижаться чем* и *чему* (редко). *Опираться на что* и *на чем* (реже). *Отнимать у кого* и *от кого* (реже). *Относиться к кому* и *до кого* (устарелое). *Ошибиться* обыкновенно без дополнения, но иногда с творительным падежом: *ошибся дверью. Править кем, чем;* старинное: *кого, что. Перевалить* (перейти) *за что* и *что* (реже). *Писать кому* и *к кому. Плакаться на что* и *о чем* (реже). *Погрузиться во что* и *погрузиться в чем. Помнить, вспомнить кого, что* и *о ком, о чем: помни меня, помни обо мне, вспомни своего отца, вспомни о своем отце. Представлять собою, изображать собою* (новое книжное выражение); в современной печати нередко употребляется еще худший оборот: *представлять из себя, изображать из себя. Предупреждать о чем* и *в чем* (реже). *Презирать, презреть кого, что* и *кем* (старинное). *Пренебрегать кем, чем* и *пренебрегать кого, что* (реже). *Принадлежать* (быть собственностью) *кому, принадлежать* (быть членом) *к чему*; старинные употребления: *принадлежать чему* (быть членом), *принадлежать до чего* (относиться). *Приютиться у чего, к чему, под чем* и *в чем. Промышлять что* (добывать, вырабатывать), *промышлять чем* (торговать, заниматься), *промышлять о ком, о чем* (заботиться). *Проникнуть что* и *во что. Просить кого в чем* и *кому что. Прятаться, спрятаться во что* и *в чем, за что* и *за чем. Радоваться чему, на что;* реже: *радоваться чем* и *о чем. Раздражаться чем, на что* и *от чего. Сватать, сосватать, просватать кого за кого;* реже: *кого на ком. Свататься, посвататься, присвататься к кому, за кого* и *на ком* (реже). *Слыть, считать за кого* и *кем: слыл за скрягу, слыл скрягой; считали за чудака, считали чуда-*

ком. Следить за кем, за чем и старинное: *следить кого, что. Смеяться, засмеяться, посмеяться над кем, над чем* (общепринятое употребление); у авторов нередко встречается устарелое для нас сочетание: *смеяться кому, чему;* очень редко находим: *смеяться о чем. Содержать на что* («содержать большую семью на свое маленькое жалованье») и *содержать чем* (реже). *Состоять из чего* (составляться) и *состоять в чем* (заключаться): «Ужин *состоял* из молока и каши»; «Не думай, что счастье *состоит* в деньгах». *Спорить о чем* и *спорить в чем* (устарелое); *спорить* (ссориться) *из-за чего* и *спорить за что:* «При дележе *заспорили из-за* денег»; «При дележе мужики *спорили за* сено» (народное словоупотребление). *Сравнить что с чем* и *сравнить что и что* (сравнивая то и другое). *Стрелять, выстрелить в кого*; реже: *по кому, по чему* (народное словоупотребление). *Стесняться кого, чего* (общепринятое употребление) и *стесняться кем, чем* (старинное и народное). *Требовать чего*, реже: *требовать что. Ударить чем обо что* (но: «Он для меня *пальца о палец* не *ударит*»). *Удовлетворить кому, чему* и *кого, что. Удостоить чего* и *чем. Ужаснулся чего* (общепринятое употребление); изредка встречается: *ужаснулся чему* и *чем. Улыбаться кому, чему* и *на что. Хотеть чего;* иногда встречается с винительным, но только в выражении: *что хочешь, что хотите* и пр. *Хохотать,* как и *смеяться*, обыкновенно имеет дополнение по вопросу *над кем*; изредка встречаем *хохотать чему.*

463. При именах *родство, родственник* и др., означающих родство кровное, брачное и племенное, для обозначения, через кого утверждается родственная связь, употребляют предлог *по* с дательным падежом: *родственник по мужу; она по отцу Андреева; он по отцу латыш.* Однако обороты с предложным падежом тоже встречаются сравнительно нередко. <...>

Ведомость имеет теперь после себя предложный падеж с *о*: *ведомость о родившихся* (академический Словарь); *месячная ведомость о приходе, расходе и наличности денег* (там же); прежде часто употреблялся оборот с родительным: «Именная *ведомость небытчиков*» (Д а л ь. То есть список не бывших где-либо или при чем-либо).

Слова *роспись, реестр* и *список* теперь обыкновенно соединяют с родительным падежом: *роспись приданого, список учеников*; прежде преобладали сочетания с дательным падежом, которые в канцелярском языке изредка встречаются и теперь. <...>

464. *В направлении, по направлению* обыкновенно ставим в сочетании с формою *к чему*, но встречаем иногда и с родительным без предлога. <...>

Сочетания *в отношении, по отношению* обыкновенно имеют дополнение по вопросу *к чему*,но также допускают иногда сочетание с родительным падежом без предлога. <...>

465. Обыкновенно употребляем *виноват* (виновен) *чем* и *в чем*; у Толстого встречаем *виноват за что*, у Пушкина и других есть *виновен чему* (устарелое).

Мы употребляем *глух, туг* (в смысле «не склонен») *к чему* и *на что: глух на просьбы* и *к просьбам, туг к пониманию* и *на понимание.* Обороты с дательным лучше.

Полный употребляется и с родительным и с творительным падежом: *амбары полны хлеба* и *хлебом*.

Справедлив к кому и *с кем*: «Будьте *к ней справедливы*»; «Начальник *со мной несправедлив*». <...>

§ 65. Предлоги

466. *Благодаря* как предлог требует теперь дательного падежа, как деепричастие — винительного: «*Благодаря заботливой хозяйке* мы провели время в гостях очень хорошо». *Благодаря кому, чему* — привившийся галлицизм (grâce à) или германизм (dank dem). «*Благодаря заботливую хозяйку*, мать просила ее посетить нас этим летом в деревне». В более старом языке и в первом случае употреблялся винительный падеж. <...>

467. *Вопреки* теперь обыкновенно ставится с дательным падежом, но изредка допускается и старое употребление с родительным падежом. <...>

468. *В* изредка употребляется вместо *с* при определении величины, преимущественно в разговорном и народном языке: *в палец толщиною, в кулак величиною* и под. <...>

В значениях времени и места мы употребляем обороты из предлога *в* с винительным падежом, равносильные оборотам без предлога. <...>

Также в означении величины при словах *весом, ценою, ростом, длиною* мы употребляем предлог *в* с винительным падежом или один винительный падеж без предлога: *камень весом в пуд, шуба ценою во сто рублей; камень весом три пуда; лошадь ценою двести рублей; ростом в два аршина* и *ростом два аршина; длиной в полторы сажени* и *длиной полторы сажени*.

В сочетаниях *в течении, в продолжении* предложный падеж следует считать вполне правильным. Сравните выражения *в ночи, в непродолжительном времени*: «Нашептал мне нечистый *в ночи* Неразумных и буйных речей...» (Некрасов, Вино). «Россия должна была быть облагодетельствована *в самом непродолжительном времени*» (Гаршин, Надежда Николаевна, XVII). Правописание Грота, допускающее здесь только винительный падеж, вошло в крайность, отвергая совершенно законную форму русского языка. <...>

469. Также употребляем с предложным падежом такие сочетания, как *в расстоянии, на расстоянии, на протяжении* (по вопросам *где, как далеко*): «живет *в расстоянии* одного переезда»; «тащили *на расстоянии* нескольких сажен»; «поставили изгородь *на протяжении* всего оврага». Сравните: *в близком, далеком расстоянии, на всем расстоянии, протяжении*. Конечно, возможны обороты и с винительным: «обратите внимание *на расстояние*». Обороты эти не должно смешивать.

470. *За* иногда употребляется в значении *в: за ту же ночь, за весь вечер, за наказание* и т. п. Обыкновенно мы говорим: *в ту же ночь, во весь вечер, в наказание* и т. д. <...>

За в разговорном языке, а изредка и у авторов имеет значение *из-за*: *спорить* и под. *за что* вместо *из-за чего*. <...>

За в значении *с* употребляется в выражениях *письмо, грамота за печатью*: «Письмо из Петербурга *за* черною *печатью* не обещало ничего доброго» (К у д р я в ц е в, Антонина, 41).

За в языке старинном и книжном употребляется для обозначения причины, вместо *вследствие*.

«*За древностию лет* К свободной жизни их вражда непримирима» (Г р и б о е д о в, Горе от ума). «Да, я не взрыл, *за недосугом*» (К р ы л о в, Огородник и философ). «Замолк, *за давностью*, слух о том, как Тит Никоныч в молодости приехал в город, влюбился в Татьяну Марковну» (Г о н ч а р о в, Обрыв). <...>

471. *Из* с родительным падежом в народном языке употребляется вместо творительного описательного: *красив из себя, смугл из лица* и под. В литературном языке обыкновенно: *красив собою, смугл лицом* и т. д. Авторы, однако, иногда пользуются и народными оборотами. <...>

В современной печати иногда встречается неправильное употребление предлога *из-за* вместо *из*. Таково, например, сочетание *убийство из-за ревности*; следует при обозначении причины говорить и писать: *убийство из ревности, голодание из жадности, помощь из милости* и т. п. <...>

Однако в некоторых выражениях предлоги *из* и *из-за* так близки между собою, что совершенно смешались в литературном языке; говорят: *поссориться из безделицы* и *из-за безделицы, работать из выгоды* и *из-за выгоды* и др. Поэтому на следующие примеры нужно смотреть как на равноправные разновидности сходных выражений.

«*Из безделицы* поднял шум» (В о с т о к о в). «Такие книги пишутся только *из денег*» (кн. В я з е м с к и й, IX, 42). «Придирался ко мне *из пустяков*» (С. А к с а к о в, Семейная хроника, 194). «Грешно и нерассудительно не соглашаться *из пустяков*» (Т у р г е н е в, Однодворец Овсяников, 131. Речь Овсяникова). «*Из-за безделицы* поссорились» (В о с т о к о в).

В современном языке мы нередко встречаем выражение: *черты из жизни, черты деятельности* и т. п. В старое время некоторые стилисты считали первый оборот, с предлогом *из*, неправильным (сравните далее замечание Белинского). Теперь и тот и другой оборот одинаково употребительны.

«И где не воскресят клиенты иностранцы Прошедшего *житья* подлейшие черты» (Г р и б о е д о в, Горе от ума, д. II, явл. 5). «Всякий знает, что все «черты из жизни» принадлежат искусному перу Рафаила Михайловича Зотова» (Б е л и н с к и й, V, 401). «Романы гг. Орлова, Воскресенского и Зотова... все же лучше «Георга, милорда английского»; одни «черты из жизни» чего стоят!» (о романе «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона») (там же).

472. *Исключая*, употребленное в значении деепричастия, имеет при себе винительный падеж («*исключая учениц*у из училища»). В значении предлога это слово обыкновенно принимает родительный падеж («в классе все, *исключая* больной *ученицы*»), но изредка встречается и с винительным («*исключая первое*, все усилия были приняты»): «Он попросил меня отослать все его вещи в Россию, к родственникам, *ис-*

ключая небольшой связки, которую он подарил мне на память» (Т у р г е н е в, Переписка, 93).

473. *Кроме* всегда ставится с родительным падежом. В следующем примере дательный падеж при *кроме* явился вследствие допускаемого иногда разговорным языком сокращения оборота *кроме как*: «Мужика, который их ничему научить не может, *кроме* дурным *манерам* и тирольским *песням*» (Л. Т о л с т о й, Детство и отрочество, 213). Сравните у Пушкина: «Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, *кроме как попадье*» («Капитанская дочка», изд. 1836 г., стр. 109. В современных нам текстах подновлено: *кроме попадьи*).

474. *Меж, между* употребляется с родительным и с творительным падежом. В живом языке и у авторов преобладает последний оборот, с творительным; но некоторые писатели (Крылов, Батюшков) чаще дают сочетание с родительным падежом. В некоторых отдельных оборотах укрепился творительный падеж: *между тем* (пока, в это время), *между нами* (тайно). <...>

475. У авторов, по влиянию народного языка, часто находим предлог *на* вместо *в*: *идти на кухню, на деревню, быть на кухне, на деревне* и т. п. Несмотря на многие примеры таких словоупотреблений у образцовых писателей, в литературном языке решительно предпочитаются обороты с предлогом *в*: *идти в кухню, в деревню, быть в кухне, в деревне* и т. д.

«Обычай иногда позволяет *на* употреблять вместо *в* и *во*, например вместо: *живу в Москве, в Кубани, в Луговой, идем в рынок, в поле* — говорится: *живу на Москве, на Кубани, на Луговой, идем на рынок, на поле* и проч.» (Ф о н в и з и н. Опыт российского сословника). <...>

При означении времени предлог *на* с винительным падежом имеет двоякий смысл. Одни говорят *на рождество, на петров день* в значении «накануне рождества», «накануне петрова дня»; другие эти же сочетания употребляют в смысле «в день рождества», «в самый петров день». Первое, кажется, более принятое, словоупотребление проникло в литературный язык из северных говоров, второе — из южных, но ни то ни другое не считается областным. <...>

После предлога *на* не может стоять винительный падеж среднего рода; мы говорим: *на все село* , а не *на всего села*. Поэтому неправильно выражение *всего-навсего* (здесь второе *всего* — механическое повторение первого). Однако оборот *всего-навсего*, весьма распространенный в просторечии, проник в литературный язык и встречается в нем нередко. Следует употреблять сочетание *всего на все*.

«Да и служил-то *всего-навсего* у княгини в течение 20-ти лет только один год» (К о н и, Судебные речи, 49). «*Всего на все* разграбили у меня один амбар» (П у ш к и н). <...>

476. *Независимо*, так же как *зависеть, зависимость*, обыкновенно имеет при себе родительный падеж с предлогом *от*: *независимо от* кого, от чего. Сочетание с родительным падежом без предлога: независимо чего — есть немецкий оборот, употребляемый лишь в канцелярском слоге. <...>

478. Более или менее вытеснены из современного литературного языка сочетания *о* с предложным падежом для обозначения частей или принадлежностей предмета. Мы говорим: *стол на трех ножках, квартира в пять комнат* и пр. Только в выражении *я не о двух головах* упрочилось указанное словоупотребление. Востоков давал еще много примеров такого сочетания: *чаша об одной рукоятке, стол о трех ножках, церковь о пяти главах, корабль о семидесяти четырех пушках.*

«Он жил в Шестилавочной, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире *о трех комнатах*» (Достоевский, Униженные и оскорбленные, 218).

479. *По,* означая место или направление действия или движения, требует дательного падежа: *идти по мосту, по городу, выстрелить по зайцу* и т. п. Этот дательный падеж в некоторых местоимениях давно уже смешивается с предложным не только в разговорной речи, но и у образцовых писателей. Грамматика, еще в лице Востокова, не только узаконила при местоимениях обороты с предложным падежом вместо дательного, но и признала последние неупотребительными: «Местоимение личное 3-го лица мужского и среднего рода числа единственного *ему*, также вопросительное *кому* и личные 1-го и 2-го лица множественного *нам, вам* с предлогом *по* неупотребительны; ибо не говорится *по ему, по кому, по нам, по вам*, а употребляется при дательном падеже существительных предложный падеж местоимений: *по нем, по ком, по нас, по вас;* например: *По ком стреляли? По неприятелю.* «Берег крут, *по нем трудно всходить*» (то есть *по берегу*). Таким же образом употребляется в предложном падеже вопрос *по чем?* при дательном падеже существительных, например: *По чем его били? По хребту, по ланитам. По чем куплен товар? — По рублю.* Дательный падеж по чему употребителен только как наречие» («Русская грамматика», § 136). Однако обороты с дательным при местоимениях тоже встречаются, особенно во множественном числе; у Крылова даже есть исправление *по ним* вместо *по них*: «И дачи квакушки так сделалися сухи, Что, ног не замоча, *по них* бродили мухи» (Крылов, Лягушка и Юпитер, изд. 1816 г. После исправлено: *по ним*).

И теперь мы говорим: «Там все болота, ехать *по ним* трудно»; также *бить по чему попало* (и *по чем попало*); *почем я знаю* и *почему я знаю.* <...>

В выражениях: *по прибытии, по окончании* и т. п. после предлога *по* современный литературный язык употребляет обыкновенно предложный падеж; сочетания с дательным падежом *по прибытию, по окончанию* некоторые считают малограмотными, хотя они, собственно, архаизмы, которые допускались старыми грамматиками и встречаются у прежних писателей, а изредка употребляются и теперь.<...>

Стремление избежать неупотребительных форм *по окончанию, по прибытию* и под. приводит иногда к ошибочному употреблению предложного падежа с *по* вместо дательного. Так, например, безусловно правильны и не заменимы другими сочетания: «Судите о деле *по окончанию*, а не по началу» (здесь вопрос *по чему*, а не *когда*); «По *раннему прибытию* домой видно, что он не кончил работы» (опять вопрос *по чему*); «*По сравнению* с шестидесятыми годами цена на мясо

увеличилась более чем в два раза (здесь *по сравнению* значит «сравнительно»; сочетание *по сравнении* значило бы «после сравнения»: «*По сравнении* этих переводов я убедился, что первый гораздо точнее»). Между тем в печати мы видим иногда именно такие случаи употребления оборотов *по прибытии* вместо *по прибытию, по сравнении* вместо *по сравнению* и т. д. В подобных случаях весьма вероятно, что совершенно правильные авторские тексты неосторожно подправляются типографскими корректорами. <...>

Под влиянием сочетаний *по два, по три, по четыре* в разговорном языке распространены неправильные обороты *по пять, по шесть, по семь* и т. д. вместо *по пяти, по шести, по семи* и пр. <...>

В живом произношении часто не отличается дательный падеж после *по* при словах *сколько, несколько*, но книжный язык еще не допускает здесь утраты падежа. Хотя некоторые и пишут *по сколько, по несколько*, но это считается ошибкой.

«Они поспешно взяли еще *по несколько* билетов» (Г о н ч а р о в, Фрегат «Паллада», 99. Обыкновенно у Гончарова: *по нескольку*). «Обе девушки встречались в день *по несколько* раз» (Л. Т о л с т о й, Анна Каренина, 277. Обыкновенно у Толстого: *по нескольку*). «Они будут видеться, будут каждый день просиживать *по несколько* часов вместе...» (Г а р ш и н, Надежда Николаевна, XI).

Для уяснения правильности сочетаний *по скольку, по нескольку* следует обратить внимание на сходные с ними формы: *неподалеку, подолгу, понемногу, помногу, почасту* (пишется также: *по долгу, по многу* и пр.). <...>

480. *Дремать, плясать* и подобные глаголы с дополнениями *под говором, под жужжаньем* и т. д., вместо *под говор, под жужжанье*, встречаются часто у прежних писателей, но теперь такое употребление признается неправильным и почти вышло из обращения. Для проверки могут служить обороты: *плясать под музыку* (а не *под музыкою*), *дремать под звуки* (а не *под звуками*). <...>

481. *Предварительно* в смысле предлога, управляющего родительным падежом, есть германизм, чуждый языку наших классических авторов и употребляемый пока лишь в канцелярском слоге и в немногих газетах. В чистом русском языке *предварительно* — наречие, не имеющее при себе никакого падежа.

«*Предварительно грозы* бывает жара, духота» (Д а л ь). «Влиянию огромнейшего большинства немецких людей в России, как писателей и ученых, профессоров, академиков, библиотекарей, врачей, аптекарей, ремесленников, купцов и всякого рода промышленников, так и различных высших и низших сановников и чиновников, состоящих в гражданской, дипломатической, морской и военной службе, надо приписывать введение некоторых германизмов в новейший русский деловой слог.

Например, теперь зачастую у нас пишут: *предварительно сего, независимо сего* и проч.» (В. И. Л а м а н с к и й).<...>

483. *Про* в значении «для» — собственно народное словоупотребление, которого уже не держится наш нынешний литературный язык. <...>

484. *Противно* в значении предлога должно соединяться с да-

тельным падежом: *противно чему*. В современной периодической печати иногда употребляется худший оборот: *противно чего*. <...>

485. Предлог *ради* обыкновенно стоит впереди управляемого им слова, но может изредка ставиться и после: *бога ради, Христа ради, чего ради, скуки ради* и под. <...>

486. *Сквозь* употребляется с винительным и родительным падежом. Мы говорим: *сквозь слезы* и *сквозь слез, сквозь сон* и *сквозь сна* и т. д. Первое словосочетание, кажется, наблюдается несколько чаще второго, но и последнее считается общепринятым и правильным. <...>

487. *Согласно* обыкновенно требует дательного падежа или творительного с предлогом *с*, но употребляется и с родительным, особенно в языке канцелярском. Последнее — худший, не чисто русский оборот речи (германизм). <...>

488. В современной печати иногда встречается не чисто русский оборот *сообразно чего* («всякий должен занять место *сообразно взятого им билета*»). Следует выражаться: *сообразно чему* или *сообразно с чем*. <...>

489. Употребление предлога *с* вместо *из* принадлежит собственно народному и старинному языку; хотя изредка оно встречается у авторов, но никак не может считаться литературным. Мы говорим только: *пришел из школы* (а не *со школы*), *пришел из деревни* (а не *с деревни*) и т. д. <...>

В разговорном языке слышится нередко оборот *с чего* вместо *отчего*, который изредка употребляется и писателями: «*С чего* это он волнуется?» (Т у р г е н е в, Новь, 18). <...>

§ 66. Соединение предложений

492. Не принято сочинять союзами соединительными или противительными полного придаточного предложения с сокращенным, то есть причастия (прилагательного) и деепричастия с местоимением *который* (*кой*) и т. п. Поэтому не вполне правильны следующие обороты у образцовых писателей.

«Потом ввели всех в большую залу, *обитую* черным сукном и *в которой* окна были затворены» (К а р а м з и н). «Посмотрите, как говорит о беспечном сне Лафонтен, *жертвовавший* ему половиною жизни своей *и которого* добродушие вошло в пословицу» (Б а т ю ш к о в). <...>

Теперь обыкновенно соединяются два одинаковых придаточных, полных или сокращенных, так что вместо пушкинской фразы: «Они предпочитали кофе, *сваренный* по их обычаю *и который* пили они целый день» («Записки бриг. Моро-де-Бразе»), мы пишем: «кофе, *который* был сварен по их обычаю и *который* пили они целый день». <...>

494. Не следует сочинять союзами соединительными или противительными придаточных предложений полных или сокращенных с отдельными членами главного предложения. У писателей находим много отступлений от этого правила. Эти примеры авторов сделали

данные обороты привычными для многих образованных людей, но их все-таки нельзя считать вошедшими в общее употребление.

Примеры на соединение полного придаточного с словами определительными:

«Так *называемый* Итальянский театр, *но где* играют одни французские мелодрамы, есть мой любимый спектакль» (К а р а м з и н. Теперь сказали бы: *где, однако, играют*...). <...>

495. Не хорошо также соединение союзом *и* главного предложения и придаточного, а также придаточных разной формы.

«*Пленяся* глупостью такой, *И* к делу *приступил* тотчас механик мой» (К р ы л о в, Механик). «*Если бы* Бенни *не вел* своего дневника *и не оставь* он никаких бумаг, то трудно, может быть, было бы решиться рассказать и то, что до сих пор рассказано в этой «Беннеиде»...» (Л е с к о в, Загадочный человек, XXVIII, 86, СПб., 1903).

496. Нельзя также связывать союзами слов разной формы, например неопределенного наклонения с существительным. Поэтому неправильны следующие сочетания:

«*Зевать* в обществе считается неприличным, *как признак* скуки» (Стенной календарь Сытина, 27 декабря 1908 г. Лучше было бы: *зевание*...). «Я *любил чтение* столько же, сколько не *любил учиться*» (Г е р ц е н, Былое и думы, 34). (Здесь союз связывает, собственно, сказуемые *любил, не любил,* к которым уже примыкают разные по форме дополнения *чтение* и *учиться,* почему это словосочетание не является таким шероховатым, как предыдущее).

497. Соединение двух главных предложений посредством *что* (при вопросительных и утвердительных первых предложениях) есть оборот, введенный в русский язык из иностранных. Оборот этот утвердился не только в речи книжной, но и в разговорном языке образованного класса.

«Уж точно будто в России и жить нельзя, *что* все они вон так и лезут» (С о л л о г у б). «Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, *что* и было отчасти причиною проступка Корсакова...» (П у ш к и н, Арап Петра Великого, гл. IV). «Я не видал его, *что* мне много повредило» (С т о ю н и н).

498. Чуждо чистому русскому языку и употребление *что* вместо *как* или *пока* (для обозначения времени).

«Вот уж четвертый день, *что* я не так здорова и не встаю с постели» (Л. Т о л с т о й, Детство и отрочество, 138). «За то время, *что* я состою товарищем городского головы, делопроизводители сравнены в окладах» («Биржевые ведомости», 17 мая 1900 г., № 11717). <...>

503. Вообще из двух союзов одинакового значения один является лишним; поэтому не должно соединять: *но однако, но впрочем.* Соединение это так часто встречается у образцовых писателей, что может считаться общепринятым. Притом в этом случае излишнее *но* придает речи особенный оттенок, именно усиливает противоположение. <...>

504. Не следует связывать вводного слова или предложения с предложением главным союзами *что* и *как*: «Сестра, мне кажется, *что* не приедет», «Нас иногда обманывают люди, которых, нам кажется, *что* мы насквозь видим». Здесь союзы должны быть выпущены. <...>

§ 67. Заимствованные обороты

506. После союзов *чем* и *нежели* русский язык не допускает в придаточном предложении неопределенного наклонения, если в главном предложении, поставленном впереди придаточного, сказуемое выражено изъявительным наклонением. Поэтому неправильно у Жуковского: «Долго ты по свету должен был странствовать прежде, *Нежели* к нам дорогу *найти*?» («Ундина», гл. I. Следовало бы: «к нам дорогу *нашел*»). Обороты речи, подобные приведенному из Жуковского, есть галлицизмы. Но если придаточное предложение стоит впереди главного, то неопределенное наклонение допускается: «*Прежде чем найти* к нам дорогу, ты долго должен был странствовать по свету». <...>

507. Буслаев указывает, что родительный падеж при сравнительной степени без нужды не разлагается в русском языке на придаточное предложение с *чем* или *нежели*, как это находим у Жуковского: «Утро мудренее, *чем* вечер» («Сказка о Иване царевиче». Вместо: «Утро вечера мудренее»). Впрочем, мы почти не чувствуем разницы в оборотах: «Старик умнее молодого» и «Старик умнее, чем молодой»; «Брат великодушнее сестры» и «Брат великодушнее, чем сестра». Переделка Жуковского нехороша главным образом тем, что он разложил в другой оборот пословицу, то есть ходячее, неизменное выражение. <...>

509. *Чтобы*, употребленное в соответствие местоимениям *кто* и *что* (для выражения французского pour), есть галлицизм, впрочем, вполне привычный для литературно образованных людей.

«И он сказал: а ты *кто, чтоб* меня Так дерзостно позорить?.. И *кто* же ты, *чтоб* петлей мне грозить?» (Ж у к о в с к и й, Рустем и Зораб, кн. IV, IX).

510. *Чтобы* в соответствии с *слишком* — тоже галлицизм. Оборот этот, однако, еще более усвоен нами, чем предыдущий. *Чтобы* для означения предположения — тоже привычный нам галлицизм.

«Я *слишком* был счастлив, *чтоб* хранить в сердце чувство неприязненное» (П у ш к и н, Капитанская дочка, гл. V). «Сильвио был *слишком* умен и опытен, *чтобы* этого не заметить» (П у ш к и н, Выстрел, 366, изд. Поливанова). «Работа *слишком* глубоко захватила меня, *чтобы* я мог серьезно думать о своих отношениях к жене» (Ч е х о в, Жена, 168). «Ле-Брюн не мог равнодушно слышать, *чтобы* говорили о Ле-Сюеровых картинах» (К а р а м з и н).

511. При личном местоимении чистый русский язык не допускает определительного придаточного предложения, как полного, так и сокращенного посредством причастия.

«— Как, Брут! И *ты, который* был так чист! — Скорбя душой воскликнет моралист» (П л е щ е е в, Добродетельный пес). (Здесь намеренное подражание искусственному книжному языку). «*Я*, мало *вступавший* в подобные разговоры с моим отцом, торжественно сообщил ему о глупости Федора Карловича» (Г е р ц е н, Былое и думы, 38).

512. Не свойственно живому русскому языку и приложение при личном местоимении, но в книжном оно вполне принято.

«К вечеру жажда мести разгорелась в нем до исступления, и *он*,

добродушный и слабый человек, с лихорадочным нетерпением дождался ночи» (Т у р г е н е в, Постоялый двор). «*Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек*, не понимал всего безумия такого отношения к жене» (Л. Толстой, Анна Каренина, 258).

§ 68. Времена и наклонения

<...> 515. Чуждые русскому языку формы будущего времени, выраженные при посредстве глагола *иметь*, встречаются обыкновенно в языке канцелярском, в точных переводах у нестрогих стилистов. Формы эти нельзя считать вполне усвоенными русской литературной речью.

«На бале у губернатора, *имеющем быть* завтра, будет присутствовать сам оригинал» (Г о г о л ь, Мертвые души, изд. 1846 г., 305). «В конце залы возвышалась высокая эстрада для *имеющих читать* литераторов...» (Д о с т о е в с к и й, Бесы, III, 11). <...>

516. Прекрасный живой оборот с повелительным наклонением в значении условия заметно вымирает в современном языке. Школа и печать его избегают, несмотря на многие примеры этого оборота, встречающиеся у прежних знаменитых писателей, а отчасти и у некоторых теперешних авторов.

«Месяц *будь* или не *будь*, Конь дорогу найдет» (К о л ь ц о в, Песня. Нынче ночью к себе...). «*Смолчи* на этот раз Петенька, *прими* папенькино замечание с кротостью, а еще лучше *поцелуй* у папеньки ручку и *скажи* ему: извините меня, добренький папенька! я ведь с дороги, устал! — и все бы обошлось благополучно» (Щ е д р и н, Господа Головлевы, 174). <...>

517. То же нужно сказать и об употреблении повелительного наклонения в смысле прошедшего времени.

«Вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день *случись воскресенье*...» (Г о г о л ь, Мертвые души, 31). «*Случись* тут мухе быть» (К р ы л о в, Муха и дорожные). «Вдруг *выскочи* лев и *бросься* на оленя» (Л. Т о л с т о й, Олень). «На эти слова и *прибеги* лисица» (Л. Т о л с т о й, Лев, волк и лисица).

§ 69. Употребление причастий и деепричастий

518. Только в областном языке допускается деепричастие в смысле глагола прошедшего времени: *барин проснувши* или *проснувшись* (= проснулся), *дом сгоревши* (= сгорел). В средней России, где подобные обороты не обычны, образованные люди часто употребляют, однако, в этой народной и архаичной форме фразу: «Он *был выпивши* (= выпил, был навеселе). «Он *пришел* к нам *выпивши*». Впрочем, в языке второстепенных писателей и в переводах 30-х и 40-х годов Белинский не раз отмечал подобное, по-нашему малограмотное, употребление деепричастия. Два таких случая мы можем указать и у Гоголя. Переходя из языка петроградской прислуги в язык образованных классов, подобные выражения встречаются изредка и в современной петроградской печати.

«*Она была заливши́сь слезами*» — это фраза из петербургского жаргона, а таких фраз в сем романе [«Таинственный монах»] бездна» (Б е л и н с к и й, 11, 97). <...>

519. Современный русский язык не допускает, чтобы деепричастие стояло при именительном падеже, несколько приближаясь к сказуемому. Правило это было установлено еще Ломоносовым, но нарушалось едва ли не всеми писателями ломоносовской, карамзинской и пушкинской эпох. Нарушение это оправдывается как архаизм и свойство народного языка (сохранившееся еще и теперь), допускающего соединение деепричастия с именительным падежом (*барин ушотчи из дому*). Впрочем, все приведенные дальше обороты легко объясняются также как необычная расстановка слов. <...>

520. Заимствованный из французского языка оборот с независимым деепричастием при личных глаголах, то есть с деепричастием, не относящимся к тому лицу или предмету, с которым стоит глагольное сказуемое главного предложения, был в употреблении не только у писателей, находившихся под сильным влиянием французского языка, но встречается и позднее. Для русского языка оборот этот считается неправильным и не допускается ни грамматикой, ни школой. «Не *имея* третий месяц никакого об вас известия, *нетерпение* наше было несказанное» (Ф о н в и з и н). «*Приехав* в Белев, по счастию попалась нам хорошая *квартира*» (Ф о н в и з и н). «*Имея право* выбирать оружие, *жизнь* его была в моих руках» (П у ш к и н, Выстрел). «Хоть я и не пророк, Но, *видя* мотылька, что он вкруг свечки вьется, *Пророчество* почти всегда мне удается» (К р ы л о в, Плотичка). «*Проезжая* на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня *голова* закружилась и забилось сердце от смутного, сладкого ожидания» (Т у р г е н е в, Гамлет Щигровского уезда, 245—246. В чужой речи, а не в авторской). «*Повторяя* молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, *любовь* к ней и *любовь* к богу как-то странно сливались в одно чувство» (Л. Т о л с т о й, Детство и отрочество, 77). «*Пройдя* шагов тысячу, мне стали попадаться *люди и женщины*, шедшие с корзинками на рынок» (Л. Т о л с т о й, Юность, изд. 1903 г., 225).

В большей части примеров здесь, впрочем, деепричастие относится к «логическому» подлежащему (*мне, нам* и под.), и тогда данные обороты представляются нам довольно сносными.

Разновидностью этого оборота является другой, теперь совершенно недопустимый, в котором вместо сложной формы страдательного деепричастия стоит страдательное причастие.

«*Всегда терзаемая раскаянием,* чертоги мои страшнее мне сея темницы стали» (Ф о н в и з и н, Иосиф, 702). «*Воспитанная в аристократических предрассудках*, учитель для нее был род слуги или мастерового» (П у ш к и н, Дубровский, 469, изд. Поливанова). «Но здесь, пришедши в обыкновенную жизнь, *окруженный мелочами смешными и подлыми, притеснениями маленькими*, душа моя упала с высоты» (Г е р ц е н, Письмо к Н. А. Захарьиной 5 декабря 1835 г.).

521. Подчинение деепричастия причастию, в особенности такому, которое поставлено в косвенном падеже, — не русской оборот. Он не

усвоен вполне литературным языком, хотя и встречается у писателей не очень редко и хотя многие из нас не чувствуют его неправильности. <...>

522. В современном литературном языке встречаются изредка деепричастия при именах прилагательных: «Я был не *умен, волнуясь* из совершенных пустяков»; «Вы не *правы, рассердившись* на тетю» и т. п. Такие словоупотребления не поражают нашего слуха, и к ним можно относиться с некоторой терпимостью, особенно если мы видим в них повторение кем-либо уже принятых и несколько распространенных сочетаний. <...>

§ 70. Союзы и частицы

523. Скопление союзов не допускается грамматической стилистикой, и Белинский осмеивает фразу Булгарина, в которой встречаются слова: «потому что для того, чтобы спеть» (VIII, 346). Подобное скопление союзов находим у Толстого: «Но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, *что, для того чтобы* чувствовать себя вполне правым, хотя и прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши» («Анна Каренина», 121). <...>

525. Частица *бы* чаще всего стоит после глагола прошедшего времени или неопределенного наклонения: *пришел бы пораньше, придти бы тебе пораньше* и т. п. В древнем русском языке *бы* обыкновенно стояло при условном союзе и прошедшем причастии на *л* (нашем прошедшем времени), но тогда это была не частица, а вспомогательный глагол, с помощью которого составлялись условные формы прошедшего сложного времени. Когда мы говорим: «*Коли бы* ты *знал* это и *привел бы* к нам брата...» — то сохраняем еще очень старое словорасположение. Совершенно неосновательно предъявляемое некоторыми и к современному языку требование ставить *бы* всегда при глаголе. Мы постоянно видим, что *бы* соединяется с некоторыми союзами, именно: *чтобы, дабы, если бы, как бы, куда бы* и т. д. Соединение это древнее и правильное, но, по-видимому, ложное правило ставить *бы* всегда при глаголе заставляет иногда составлять неудачные обороты. Так, вместо обычного сочетания *как бы ни был тяжел* употребляют: «Как ни *был бы* тяжел настоящий момент, софийское правительство не пойдет на уступку того, что оно ни в коем случае уступить не может» («Вечернее время» 8 февраля 1913 г.). Мы постоянно говорим: «Пусть это делают другие, а *вам бы* этого не следовало делать»; «*Хорошо бы* тут так поступить!» и т. п. Вообще мы теперь соединяем *бы* не с глаголом только, а чаще всего с словами, на которых лежит логическое ударение. Этого не понимал Полевой, подправлявший Гоголя по названному выше неосновательному правилу употребления *бы* только при глаголе. Гоголь руководствовался не правилами плохих грамматик, а существующим употреблением, которые усвоил совершенно верно. Он писал: «Да, мои добрые читатели, *вам бы* не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность». Полевой подправлял: «Вам не *хотелось бы* видеть обнаруженной человеческой

бедности». Во фразе Гоголя противопоставление читателей, не хотящих видеть человеческую бедность, автору, которого она привлекает. Поправка Полевого совершенно лишает фразу Гоголя того звучания, которое в нее вложено. Более удачны другие исправления Полевого. Так, у Гоголя: «И вот те деньги, *которые бы* поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение». Полевой требует: *которые поправили бы*. <...>

§ 71. Отрицания

528. В повелительном наклонении отрицание ставится только при глаголах вида несовершенного : *не кидай, не развертывай, не падай, не сказывай* и т. д. *Не пролей, не разбей, не упади, не запачкай* допускаются только в значении условия и предостережения или опасения, что произойдет нежелательное действие. В таких случаях часто прибавляется *смотри* или *пожалуйста: смотри не упади; пожалуйста, не откажитесь* (отсюда и просто: *не откажитесь* и т. д.). Только в возражениях употребляется *не скажите* вместо *так не говорите* (в смысле «я с вами не согласен»). <...>

529. При неопределенном наклонении отрицание *не* тоже соединяется обыкновенно только с видом несовершенным: «Лошадь уже заложили, а барин приказал *не закладывать*»; «Он уже выучил урок, а ты говоришь, что *не велели учить*»; «*Не надо забывать* того, что обещался сделать». *Не выучить, не заложить, не забыть* и пр. употребляются только в выражениях условных (*не забыть бы*) и в значении «*нет сил, возможности выучить, забыть*» и т. п. Следующие употребления необычны: «Помяните порой, что *не надо забыть*» (И з м а й л о в, Эти песни — цветы). «Этого *забыть не надо*» (А н д р е е в, Иуда, 53).

530. В обороте *не могу не* у нас утвердилась форма совершенного вида: *не могу не признаться, не могу не принять во внимание* и т.п. Нам уже кажется неправильным пушкинское словоупотребление: «Она *не могла не сознаваться* в том, что она очень ему нравилась» («Метель», изд. 1834 г., стр. 64. В нынешних изданиях часто печатается с подправкой: *не могла не сознаться*).

531. В тех случаях, когда в главном предложении находится глагол, обозначающий действие, которое должно продолжаться до начала другого действия, названного в предложении придаточном, в русском языке употребляется своеобразный оборот с излишним отрицанием при союзах *пока, доколе* и под.: «Иди туда и жди, *пока не придет* отец» (= иди туда и жди до прихода отца). «Буду кормить отца до тех пор, *пока не помрет*» (= до смерти). <...>

Оборот с отрицанием не является обязательным во всех случаях; очень часто рядом с ним допускается оборот без *не*, который нужно считать тоже вполне обычным для русского языка.

«Чем долее она [игра] продолжалась, тем прогулки на четвереньках становились чаще, *пока* наконец маркер *остался* под биллиардом» (П у ш к и н, Капитанская дочка). «Мы посидели, *пока* он *уснул*, и разошлись осторожно» (Н е к р а с о в, В больнице). «Мать... бегала со мной по комнате до тех пор, *пока* я *засыпал*» (С. А к с а к о в, Детские

годы Багрова-внука, 4). «Недоумевал весь город, *пока* все *объяснилось*» (Достоевский, Бесы, 1, 137). «Ему пришлось ждать довольно долго, *пока* за дверью *послышались* грузные шаги» (А. Куприн, Детские рассказы, 54).

Когда действие главного предложения совершается совместно с действием придаточного, то оборот с отрицанием *не* допускается: «Я сидел на берегу все время, *пока* они *ловили* рыбу». Здесь нельзя сказать: «сидел, *пока не ловили*».

532. В отрицательных сочетаниях у авторов встречается иногда оборот, в котором после *не* при следующем члене предложения стоит *ни*. Это *ни*, имеющее значение *и не*, нередко не понимается современными корректорами и исправляется у авторов на *не*.

«*Не* горят златыми льдами, *Ни* пурпурными снегами Средь небесной синевы Их венчанные главы» (А. Майков, Воробьевы горы). «Колесо *не* слышит, *ни* щадит» (Некрасов, Плач детей). «Порою по часам по целым никто *не* едет, *ни* идет» (Случевский, В Заонежье). <...>

534. Оборот *ни на есть*, со вставкою *на*, принадлежит исключительно народной речи. Хотя такое сочетание и встречается изредка у авторов, обыкновенно как подражание народному языку, но образованная речь его не терпит.

«Какое *ни на есть* движение — все от тепла» (Л. Толстой, Солнце — тепло). «Знаем, видим — лучше смерть как *ни на есть*» (Случевский, Камаринская). «[Зала] огромных размеров, в два света, с расписанным... потолком... с мраморными статуями (какими *ни на есть*, но все же статуями...» (Достоевский, Бесы, III, 11).

Сравните правильные обороты в следующих примерах:

«И всякий народ... своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым выражая какой *ни есть* предмет, отражает и выраженье его часть собственного своего характера» (Гоголь, Мертвые души, 203—204).<...>«Какая *ни есть* и ни будет наша судьба, мы ее сделали» (Л. Толстой, Анна Каренина, 235).<...>

§ 72. Расположение слов и предложений

536. Русский язык отличается особою свободою в расположении членов предложения. Так, подлежащее может стоять и на конце предложения:

«Вдруг мчится с северных сторон И с градом, и с дождем шумящий *аквилон*» (Крылов, Дуб и трость). «Кубки с вином и закуски носили меж зрителей *слуги*» (Жуковский, Ундина, гл. XI, стр. 219).

537. Ломоносов пытался установить в русском языке латинско-немецкое словорасположение со сказуемым в конце сложного предложения, но это не привилось к русскому языку. Во второй половине XVIII века ломоносовское словорасположение держалось еще в живом языке образованного общества, как это можно видеть из комедий Фонвизина. Теперь такое употребление мы можем найти только в не очень чистых переводах. <...>

Замечательный пример подобного словорасположения мы находим в «Бурмистре» Тургенева, где тягучим, замедленным ходом речи намеренно усиливается характеристика Аркадия Павлыча Пеночкина.

«Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ноги в большой опрятности *содержит*» (256). «Он удивительно хорошо себя *держит*. Осторожен как кошка, и ни в какую историю замешан от роду *не бывал*, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать *любит*» (257).

Подобных случаев много до конца характеристики.

538. Карамзин любил помещать определения после слов определяемых, иногда для указания на них логического ударения («В июле 1566 года Иоанн явил России зрелище *необыкновенное*»), иногда ради плавности речи («История Государства *Российского*»). Первые случаи не чужды и современному языку («Это работник *усердный*»; «Она женщина *бедная*»); вторые долго держались в нашем языке, но теперь едва ли встречаются. <...>

540. Между предлогом и существительным, которое им управляется, не должно быть ни существительного, особенно поставленного в другом падеже или с предлогом, ни наречия. Нехороши сочетания: «*на со* всех сторон двигавшиеся обозы»; «*за в* четверо меньшую сумму» и т. п. <...>

541. Для обозначения времени не точно, а приблизительно в литературном языке употребляется оборот с перестановкой слов: «просидел там *пятнадцать минут* (ровно 15 минут) — «просидел там *минут пятнадцать* (около 15 минут); «приду к вам *через три часа*» (ровно через 3 часа) — «приду к вам *часа через три* (приблизительно через 3 часа). В южновеликорусском наречии оборот, принятый для приблизительного обозначения времени, отличается тем, что предлог (*через, в, с*) ставится впереди сочетания. Говорят: «приду *через часа два*», «ворочусь *через минут пять*», «поедет *через недели две*». Такого рода словорасположения встречаются и у авторов, вероятно, только происходящих из южновеликорусской акающей области. <...>

542. От обычного грамматического словорасположения нужно отличать расположение слов риторическое, в котором передвигаются к началу или к концу предложения те члены, на которых автор хочет поставить логическое ударение.

Примеры перестановки слов к началу предложения:

«*Чуден* Днепр при тихой погоде» (Гоголь). «Отец *мой* вами оскорблен жестоко» (Полевой). «*Плохая* им досталась доля» (Лермонтов, Бородино). «*Не род, а ум* поставлю в воеводы» (Пушкин, Борис Годунов). «*Всякую ночь* Лугин проигрывал» (Лермонтов). «И скоро ль, на радость соседей-врагов, *Могильной* засыплюсь землею» (Пушкин).

В последнем примере стихотворный размер допускает и обычное словорасположение; ясно поэтому, что слово *могильный* выдвинуто вперед, чтобы усилить его значение.

Примеры перестановки слов на конец предложения:

«На другой день были новые *казни*» (Карамзин). «Сметливость его и тонкость чутья меня *поразили*» (Пушкин). «Лицо его имело

выражение довольно *приятное, но плутовское*» (П у ш к и н). «Государь движением руки передал Филиппа *воинам*» (К а р а м з и н). «И ненавидим мы, и любим мы *случайно*» (Л е р м о н т о в). «Все уговорились держать себя с нею при Степане Михайловиче *ласково*» (С. А к с а к о в, Семейная хроника, 160).

Риторическое словорасположение допускает даже разделение близко связанных между собою слов, как в следующем примере из Тургенева: «За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро *та же* повторяется *история*» («Гамлет Щигровского уезда», 217). Тургенев здесь выдвигает и то и другое слово, поставив одно в конце, а другое впереди сочетания.

543. Впрочем, свобода нашего словорасположения не безгранична, и значительные вольности, которые допускают иногда в этом отношении поэты, считаются недостатком их стиха. Все признáют за несомненно, что в следующих примерах — дурное расположение слов.

«*Тебя стола вкруг ожидая*» (Д е р ж а в и н, Приглашение к обеду). «Что ум высокий можно скрыть *Безумной шалости под легким покрывалом*» (П у ш к и н, К Каверину). «Все богомерзские народы *Со дна воздвиглись царства тьмы* Во имя света и свободы» (Т ю т ч е в, Теперь тебе не до стихов). «*Лишь высших гор до половины* Туманы покрывают скат» (Тютчев, Утро в горах). «*Словно прадедов виною Для сынов погибший рай*» (Тютчев, Вновь твои я вижу очи). «Ты слыхала, *легко обирать Наше будто богатое* барство» (Некрасов, Убогая и нарядная). (Какой смысл имеет это *будто:* союза — *будто легко*... или наречия при *богатое — будто (как бы) богатое*?). <...>

544. Наречие должно стоять рядом с тем словом, к которому оно относится, если оно не выдвигается к началу предложения для усиления обстоятельства (тогда на него обыкновенно падает логическое ударение), как в следующих случаях:

«*Скорее* обличите Кантемира *в невежестве,* нежели в пристрастии» (Б а т ю ш к о в). «Вероятно, страдания *очень* меня *переменили*» (П у ш к и н, Джон Теннер). «Сначала *очень* была *огорчена*» (П у ш к и н, Арап Петра Великого). «Хоть *строго* данную ей власть В монастыре она *блюла*» (Ж у к о в с к и й, Суд в подземелье).

Следующий пример представляет уже отступление от нормы: «В течение четырнадцати месяцев *я только* мог *однажды* писать» (П у ш к и н). Подобные нарушения порядка слов особенно неудобны там, где возможно двоякое понимание фразы, как это мы нередко видим у Крылова, слишком свободно передвигавшего для размера слово *лишь*.

«О львенке ото всех *лишь* слышать *похвалу*» («Воспитание льва»). «Что свежесть *лишь* вода *движеньем* сохраняет» («Пруд и река»). «Везде *лишь* от него и *грязь и лужи*» («Цветы»); «*Безумный* плачет *лишь* от бедства, А умный ищет средства...» («Соловьи»).

Вообще мы видим, что русская речь особенно портится от произвольной перестановки некоторых наречий (*очень, лишь, хоть*), союзов и междометий. <...>

545. Частицы *таки* обыкновенно стоит после тех слов, с которыми поставлена (*все-таки, не пришел-таки*), но допускается и впереди. <...>

547. Частица *не* должна стоять перед тем словом, которое отрицается: «Ты меня *не видел*» (отрицается действие); «*Не ты* меня видел» (а другой кто-нибудь); «Ты *не меня* видел (а кого-нибудь другого). Перестановка *не* встречается только у старых авторов: «Поклоны чуть ему земные *не* кладут» (Х е м н и ц е р. Вместо: *чуть не земные*). «Путешествие *не* показалось ему столь ужасно» (П у ш к и н, Арап Петра Великого. Вместо: «*показалось не столь ужасно*»).

548. Вводное предложение или речение должно стоять впереди того слова, к которому относится. Этим мы избегаем двусмысленности, которую, например, находим у Батюшкова: «Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, *так сказать*, украшениями (здесь ясность речи требует расположения: «отягченную, *так сказать*, раздавленную украшениями»). <...>

§ 73. Ясность выражения

550. Во избежание двусмыслия местоимения *он, она, оно,* а также и другие слова указательные и определительные нужно помещать так, чтобы они указывали на тот именно предмет, о котором говорится, и не могли быть отнесены к другому. Старинная критика, в особенности школьная, заходила в этом случае слишком далеко и не допускала местоимения после двух существительных даже там, где смешение их невозможно по смыслу речи. Пример образцовых писателей показывает, что в этом случае следует руководствоваться содержанием речи, а не отвлеченным правилом, определяющим ее форму, и в стилистических требованиях не должно выходить из пределов практической нужды.

Так, в учебниках словесности приводится в образец неточного выражения фраза Гончарова: «Если бы не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней (на постели или на трубке? — спрашивают авторы учебников), то можно было бы подумать, что тут никто не живет» (Сочинения, изд. Маркса, т. III, стр. 8). Так как хозяин, конечно, не мог лежать на трубке, то двусмысленности здесь нет и фраза Гончарова стилистически вполне удовлетворительна. Также терпимы и следующие: «При сих словах прервался Лафатеров голос; он утерся белым платком» (К а р а м з и н). Само собою разумеется, что Лафатер, а не голос утирался белым платком. Сравните также: «Лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой» (П у ш к и н, Выстрел). Само собою понятно, что испугалась и отдала поводья жена, а не лошадь; это показывают и знаки препинания.

Конечно, вообще расположение слов должно быть стройно, мысль необходимо выражать совершенно ясно. Худо, например, когда относительное местоимение отделено от своего существительного другим, к которому его можно бы было отнести, как, например, у Батюшкова: «Или рев *источника*, образованного *снегом, который* стрелою протекает по каменному дну между скал гранитных» (Отрывок... о Финляндии). Фразу с *которой* понять нетрудно по логическому смыслу слов, но расположение их здесь все же очень неудачно.

Еще хуже, когда читающему действительно неясно, куда отнести данное местоимение или имя:

«Гребни утесов, один выше другого, пересекались» (Здесь непонятно, что выше: гребни или утесы?). «Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтой краской. В одном из окон нижнего этажа, *которых* было всего три, торчал маленький гробик, — вывеска незначительного гробовщика» (Достоевский, Униженные и оскорбленные, 188. Неясно, если невнимательно прочитать первое предложение: три этажа или три окна?». <...>

§ 74. Выбор форм и слов

551. Следует избегать стечения одинаковых падежей, особенно если при этом получаются выражения, неясные по смыслу. Уже Греч правильно заявлял, что нехорошо сказать: «Он считался *всем полком храбрым офицером*». Лучше: «Он считался *во всем полку* храбрым офицером». Тот же Греч говорил об этом и подробнее: «Всячески надлежит избегать стечения равных или подобных падежей; например: *солнце поле освещает; листья дубы украшают; писатель, называемый плохим всем светом; начальник сына соседа моего друга; я любовался страною, освещенною луною.* Этого можно избежать изменением падежей: *поле освещается солнцем; дубы украшаются листьями; писатель, которого весь свет называет плохим*» («Чтения о русском языке», 11, 209—210). <...>

552. Сюда же нужно отнести стечение иностранных несклоняемых слов. Так, во фразе «Похвальное слово *Пристли Кювье*» непонятно, кто кому говорил похвальное слово. И при русских словах родительные падежи нередко неясны по смыслу; таковы, например, были бы заглавия статей: *Допрос короля, Посещение Вильгельма*, из которых не видно, кто кого допрашивал и посещал. <...>

554. Необходимо избегать и повторения предлога:

«Часто сходился я *с* людьми *с* душой благородной, *с* светлым умом» (Сологуб, На сон грядущий). (У Белинского, VI, 165, с замечанием: «В этой фразе странная двусмысленность, которой можно было бы избежать, употребив прекрасный, лишь русскому языку свойственный оборот: *души благородной, ума светлого*»). [Присваивая этот оборот только русскому языку, Белинский ошибался: родительный свойства известен в разных индоевропейских языках. Русский народный язык даже не знает таких оборотов, как *человек великого ума, люди благородной души* — они книжные и, наверно, заимствованные.] <...>

555. Само собою разумеется, что следует избегать и повторения союзов. Такое повторение нередко наблюдается у Гоголя и Л. Толстого. <...>

556. Уже старинные стилисты-теоретики не допускают повторения в одной фразе и соседних одинаковых слов или слов, близких по звукам, но писатели часто не стесняются нарушать эти требования. Такие нарушения происходят частью от небрежности в слоге, частью от трудности строго разграничить два близких явления: 1) повторение слов по стилистическому неискусству пишущего (*это случилось случай-*

но), 2) художественное повторение, известное под именем тавтологии, обнимающее преимущественно уже сложившиеся в языке общепринятые, часто очень поэтические повторения (*сказывать сказки, криком кричит, беги бегом, рад-радехонек* и под.). Нам кажется неловким выражение Толстого *бесчисленное число*, но для авторов, по-видимому, это род общепринятого окаменелого литературного сочетания (как у нас в разговоре: *старый старик*). <...> Иногда повторение сходных слов даже придает замечательную силу выражению, как в следующем примере намеренное усиление речи у Лермонтова: «Солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, *измученный* на *измученной* лошади».

Ломоносов писал: «В рассуждении речений должно остерегаться, чтобы не повторять часто одного, например: «За *славу отечества* стоял он крепко, когда *слава отечества* была в бедственном состоянии и когда о помрачении *славы отечества* неприятели старались» («Краткое руководство к красноречию», § 175). <...>

В общем, однако, это требование стилистики издавна соблюдается. Так, у Пушкина в рукописи Бориса Годунова: «*Желал* бы знать, чего *желает* он». В печати исправлено: «Желал бы знать, о чем *гадает* он». У Белинского тоже находим: «Ее заунывным ветром, *который* свободно гуляет по необозримой снежной равнине, *которой* унылое однообразие изредка нарушается то печально зеленеющеюся елкою...» (Б е л и н с к и й, VI, 476 и 626). Так в рукописи; в журнале, в печатном тексте, уничтожено первое *который* и заменено: *свободно гуляющим*.

557. Школьная стилистика учит не допускать в речи плеоназмов, то есть слов излишних, ненужных. Таковы, по одному старому учебнику, выражения: *вернулся назад, возобновить снова, выбежал вон, оглянуться назад, повторил еще раз, сошлись вместе, разбить в мелкие дребезги, мелкие зернышки, один только я не видал* («Справочное место русского слова»). Нетрудно видеть, что во многих случаях здесь мы имеем давно сложившиеся, общепринятые в языке обороты для более ясного, резкого выражения мысли. Конечно, и писатели охотно употребляют такие выражения, а не избегают их. Мы все говорим *старый старик* не потому, что предполагаем существование «молодых» стариков, но потому, что знаем разные степени старости и данным выражением хотим обозначить высшую ее степень. Мы могли бы сказать *древний старик*, но это простонародно; есть выражение *глубокий старик*, но оно не чисто русское. Точно так же *зернышки* — одна степень мелкости, а *мелкие зернышки* — другая, высшая. Действительно, *повторить* значит «сказать еще раз», но ведь повторить можно и два и три раза, — таким образом, одного слова *повторить* еще мало в ясной речи. <...>

Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. 3-е изд. Петроград, 1914—1915. Перепечатано в кн.: *Чернышев В. И.* Избранные труды. В 2-х т. М., 1970, т. 1, с. 443—640.

Раздел второй
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

ВВЕДЕНИЕ

Материалы настоящего раздела дают возможность читателям проследить за развитием отечественной лингвистической теории, расширением тематики культуры речи, уточнением предмета исследования, формированием самих категорий и терминов культуры речи (в связи с развитием и эволюцией литературного языка) в трудах советских языковедов начиная с 20-х годов до наших дней. Статьи охватывают широкий круг актуальных проблем теории и практики культуры русской речи.

В отрывках из книги Григория Осиповича Винокура (1896—1947) «Культура языка» анализируются проблемы практической стилистики и намечается переход от истории языка к теоретической стилистике и от нее, в свою очередь, к практической стилистике — как закреплению в последней осмысленного в первых двух точного и уместного словоупотребления.

Одним из первых в своих трудах Г. О. Винокур разграничил речевую правильность и языковое мастерство как две ступени (или два уровня) речевой культуры. Культуру речи он рассматривает как часть прикладного языкознания. В своей книге он подчеркивает роль художественной литературы и грамматической стилистики в воспитании лингвистического вкуса говорящих и пишущих, совершенствовании их общей культуры. Он обращает особое внимание на язык газет, реклам, объявлений и других средств массовой коммуникации (как мы сказали бы теперь) и определяет его как широкое поле приложения целенаправленной деятельности языковедов-нормализаторов. В специальном разделе говорится об истоках и видах языкового пуризма, его причинах и путях преодоления.

Статья Сергея Петровича Обнорского (1888—1962) «Культура русского языка» посвящена русскому языку как орудию культуры, содержательному раскрытию таких его черт, как богатство и выразительность, красота, гибкость, стилистическое разнообразие и т. п. Автор убедительно обосновывает исконность исторических истоков русского языка, говорит об основных этапах развития русского литературного языка (и становления литературных норм), о выдающейся роли А. С. Пушкина в создании русского литературного языка нового времени. Он специально останавливается на изменениях русского языка в послереволюционную эпоху, отмечает варианты и колебания норм, формирует положение о высоте литературного языка как важнейшем показателе его стилевой и семантической обработанности.

Лев Владимирович Щерба (1880—1944) в первой из публикуемых статей говорит о природе литературного языка и его стилей, характеризует стилевое различие устной (по преимуществу диалогической) и письменной (монологической) речи, ставит задачу создания «настоящей полной стилистики русского языка». Мысли Л. В. Щербы о разговорной (диалогической) речи в ее функциональной противопоставленности литературному языку во многом предопределяют современные исследования русской разговорной речи, составляют их общеметодологическую основу. Сохраняют актуальность мысли ученого о сложности стилистической структуры русского языка, ее генетических истоков, а также о сравнительных достоинствах отдельных литературных языков.

Во второй статье Л. В. Щербы содержится описание стилистической организации русского языка и, в сущности, дается представление о парадигматической организации лексической стилистики («стилистической структуре языка»), которая состоит в том, что слова «образуют группы по какому-либо сопровождающему их оттенку». Например: «возвышенные» слова *вкушать* или *возвещать*; «обыденные» или «внестилевые» слова (мы теперь сказали бы «стилистически нейтральная лексика») вроде *есть* или *сообщать*: фамильярные (в современной стилистике — «стилистически сниженные») вроде *уплетать* или *выкладывать* (*он ему всё и выложил*), а также официальные (по современной терминологии — слова официально-делового функционального стиля) вроде *потреблять* или устойчивого оборота *доводить до сведения*. Новаторскими для своего времени являются положения этой статьи о стилистической перспективе литературного языка, а также о новой функции русского языка как средства межнационального общения народов СССР.

Сергей Иванович Ожегов (1900—1964) в статье «Очередные вопросы культуры речи» говорит об истории нормализации русского литературного языка, дает

очерк развития русского языка в связи с развитием литературы и жизни народа от А. С. Пушкина до нашего времени. Он дает известное определение понятия нормы, носящее динамический характер, формулирует задачи исследований в области культуры речи, намечает ряд практических мероприятий по упорядочению терминологии, созданию практических пособий и словарей-справочников по культуре речи и т. п. Субъективно-оценочному подходу к фактам языка С. И. Ожегов противопоставил подлинно научный подход, основанный на изучении исторических закономерностей и тенденций развития литературного языка.

В статье Федота Петровича Филина (1908—1982) «Несколько слов о языковой норме и культуре языка» кратко рассмотрена история разработки вопросов культуры речи, определен вклад советских языковедов в эту научно и общественно важную работу, говорится о необходимости дальнейшей разработки понятия нормы «по линии детализации применительно к различным сторонам языка». Автор специально касается соотношения нормы и системы (определяя последнюю как «историю в снятом виде»), а также вопросов вариантности (необходимой и избыточной) и методики конкретных нормативных исследований.

При пользовании работами этого раздела следует учесть некоторые терминологические особенности приводимых текстов. В частности, надо иметь в виду то обстоятельство, что в статьях Г. О. Винокура и Л. В. Щербы вполне синонимически используются подчас термины «культура языка (речи)» и «стилистика». Известная терминологическая нечеткость связана и с применением терминов «язык» и «речь» в некоторых из ранних работ. Так, если у С. П. Обнорского говорится именно о языке (в современном понимании — «система систем»), то у Г. О. Винокура термин «язык» употребляется, скорее, в смысле «речь», поскольку имеется в виду функциональный аспект языка (т. е. употребление). Такого рода терминологические особенности, характерные для лингвистических работ 20—30-х годов, исторически вполне объяснимы. Это связано, главным образом, с первоначальным этапом выработки современных научных понятий языкознания вообще и нормализации русского языка в частности.

Г. О. Винокур

КУЛЬТУРА ЯЗЫКА

Практическая стилистика как проблема

IV. История языка... понимается здесь как частная проблема общей истории культуры, т. е. она стоит в одном ряду с такими дисциплинами, как история литературы, история искусств, история науки, история культа, история государства и учреждений и т. п. Для лингвиста, который занимает по отношению к своему предмету позицию историка, язык — это социальная вещь среди других вещей, возникающая, развивающаяся и изменяющаяся вместе со всей социальной жизнью, в теснейшей от нее зависимости и в сложном переплетении с остальными областями духовной культуры. Из сопоставления с прочими областями культуры уясняется и то обстоятельство, что история языка в этом смысле имеет своим предметом в сущности уже не язык как некое идеальное начало и норму, а только конкретные языковые с т и л и. Так например и история литературы, как конкретная социальная наука, изучает не потенциальные в о з м о ж н о с т и литературы во внутреннем соотношении ее элементов, слагающихся в особую систему выражения, не идеальные каноны и задания (если это и изучается, то например в теоретической поэтике, в теории словесности и пр.), а реальное бытие и реальную историю той или иной литературной вещи, т. е. литературы осуществленной и социально обнаруженной. Соответственно и в лингвистике, наряду с проблемами теоретического содержания, ориентированными на фило-

софию и обещающими разгадку принципиальных оснований языка как формы культуры (...) (лингвистика в собственном смысле слова), должны были бы изучаться и исторически ориентированные, как например язык дворянской интеллигенции двадцатых годов, язык петровской или современной советской канцелярии, фразеология шестидесятников или символистов, военная терминология в николаевскую эпоху или окопная речь в мировую войну, профессиональный язык печатников или шоферов, язык старинной дружеской и современной деловой корреспонденции и т. д. и т. д. Все это, как не трудно видеть, разные инициативы в области использования возможностей, содержащихся в la langue, и следовательно разные с т и л и. История языка таким образом есть ничто иное, как история языковых стилей. По отношению к какому-либо отдельному языку совокупность подобных исследований должна в результате дать картину всей исторической жизни данного языка в ее целом. Тогда история русского языка например была бы уже не изображением отдельных звуков и грамматических форм русской речи в древнее время в сопоставлении с теперешним, как это делается в науке теперь, а действительно историческим р а с с к а з о м о том, как возник и развивался русский язык, какие культурные факты и исторические условия способствовали его внутреннему росту или тормозили его, как и когда обновлялся его словарь, как совершалась в нем смена господствующих навыков и т. д., словом — каким б ы л русский язык в целом и в его отдельных применениях на протяжении исторической жизни русского народа. <...>

<...> Язык с его стилистическим многообразием может быть предметом не только изучения, но и о б у ч е н и я. Так рядом с историей языка возникает с т и л и с т и к а, как прикладное использование лингвистического знания, как наука о практическом применении идеальных возможностей собственного языка, в зависимости от условий и намерений. Ничего нового эта идея стилистики как прикладного или утилитарного языкознания не заключает. Стилистика существовала во все времена. Но она была забыта господствующим направлением лингвистики XIX века, которое в погоне за так называемыми «объективными законами» развития речи усвоило языкознанию бездну натуралистических предрассудков. После трудов де Соссюра и его школы, после книги Балли Traite de stylistique française доказывать возможность прикладного языкознания уже значительно легче. Но еще совсем недавно прикладное языкознание (поскольку разумеется не имелось ввиду простое школьное преподавание языка) было в науке нечто совершенно неслыханное и недопустимое. Отрыв теории от практики здесь был полный и абсолютный. Ему слепо следовали даже ф и л о л о г и, для которых казалось бы язык есть средство овладения соответствующей культурой, а потому должен быть в первую очередь предметом практического усвоения. Между тем я припоминаю, как крупный и высокоодаренный московский славист В. Н. Щепкин тщательно предупреждал в своем курсе старославянского языка, что цель курса состоит вовсе не в том, чтобы усвоить старославянский язык, а только в том, чтобы ознакомиться с «историей» его звуков и форм, иначе говоря, получить некоторую сумму абстрактных

сведений, недостаточных даже для того, чтобы прочесть и понять какой-либо коротенький текст!

Никто, понятно, не отрицал, что язык можно и должно знать, в прямом, если угодно «обывательском» значении этого слова. Но молчаливо предполагалось, что это задача, не имеющая ничего общего с научным языкознанием. «Представляет большую ценность сверх грамматики изучать также и сами языки, хотя бы в ограниченном объеме», — принужден был в свое время доказывать языковедам Шлейхер <...> Между тем «обывательское» знание языка не есть нечто абсолютно внеположное науке, а лишь низшая ступень научного знания, связанная с ним закономерными диалектическими отношениями. В числе прочих конфликтов между традиционным языкознанием и живой культурой нужно устранить и этот конфликт, разумно заполнить и эту пропасть. И именно поэтому было бы недостаточным простое возвращение к старой филологической традиции стилистики. Современная стилистика не может уже быть только пособием для поэтики и реторики. Содержание и сфера ее приложения должны быть шире, и правила искусственного красноречия должны уступить в ней место учению о говорении в самом широком смысле этого термина, т. е. учению об индивидуальном использовании языковой традиции в самой различной обстановке социально-культурного быта. Стилистика в этом понимании — это уже не просто догматический список предписаний и правил, а некоторый закономерный и уясненный результат истории языка; поэтому переход от истории языка к стилистике этого практического характера — не непосредственный, а через посредство стилистики теоретической, уясняющей и осмысливающей речевые закономерности, прежде чем их сделать культурной директивой и нормативным обобщением. Путь следовательно таков: история языка наблюдает и собирает факты из области языковых стилей, теоретическая стилистика ищет в них смыслового закона, оправдывающего данный тип словоупотребления, а практическая стилистика это осмысленное словоупотребление закрепляет и предписывает<...>

Рядом с этим следует устранить и иной предрассудок господствовавшей до недавнего времени традиции. Усилиями Шлейхера, которые фактически были поддержаны и младограмматиками, в науке установился взгляд на язык как на некоторую имманентную стихийную силу, абсолютно недоступную для человеческого воздействия. Потебня некогда полемизировал со Шлейхером так: «Совершенно несправедливо, будто «на язык, как предмет лингвистики, так же невозможно влияние произвола, как невозможно соловью поменяться песнью с жаворонком»: говорят же люди на чужих языках» <...> Но в том-то и дело, что язык, испытавший на себе воздействие человеческого разумения или искусства, для Шлейхера уже не был, собственно, предметом лингвистики. Традиция смотрела на литературный язык, например, на язык поэзии и всякую так называемую искусственную речь, как на язык испорченный, не натуральный. Языки примитивных народов и пастушеские диалекты противополагались культурным языкам и литературной речи, как полевой цветок — оранжерейному

‹ ... › Бóльшее заблуждение трудно себе и представить. З в у к языка, в его физическом качестве, можно конечно в абстракции сравнить с полевым цветком, живущим за пределами социальной действительности по своим природным законам. Но язык как таковой, как в ы р а ж е н и е — и одновременно — о р у д и е м ы с л и, даже и на самых низких ступенях культурного развития неразрывно связан с пониманием, а поэтому непременно предполагает, хотя бы в минимальных размерах, с а м о с о з н а н и е. Вовсе не парадоксом является утверждение, что язык есть искусство. Неоспоримо, во всяком случае, что в языке е с т ь в с е, ч т о н у ж н о для того, чтобы быть искусством. Не случайно современные искусствоведы и философы все чаще приходят к мысли, что в анализе структуры языка можно обнаружить принципиальные основания возможности всякого искусства. Язык может быть искусством уже и потому, что он есть непременно а к т и в н о с т ь. Речь — это акт деятельного сознания, а не автоматизованное отправление психофизического организма. Даже и излюбленные популярной психологией языка папуасы и полинезийцы, пользуясь своим языком, им именно п о л ь з у ю т с я. Здесь всегда на лицо выбор и творчество; самостоятельное использование матерьялов, представляемых говорящему (лицу или объединению лиц) социально заданной языковой традицией. Наша речь всегда должна быть известным образом п о с т р о е н а. Она есть объект культурного п р е о д о л е н и я, нуждается в некоторой стилистической о р г а н и з а ц и и.

На основе преодоления этих традиционных заблуждений лингвистики и возникает та культурная проблема, разрешение которой должно составить задачу прикладного языковедения: удобнее всего ее охарактеризовать как проблему к у л ь т у р ы я з ы к а. Поскольку мы говорим о языке как о некоторого рода организованном построении, как об активности, проблема культуры языка сводится к тому, чтобы овладеть принципами построения различных типов и жанров речи в рамках заданной социальной традиции. Эта проблема на практике будет разрешена тогда, когда каждому члену говорящего коллектива так же будет ясна разница между лингвистическими средствами, применяемыми в разных языковых жанрах, как это, например, ясно писателю по отношению к литературным родам. Речь устная и письменная, ораторская и разговорная, канцелярская и поэтическая, митинговая и парламентская, докладная записка или указ, беседа с приятелем и дипломатический обмен любезностями, язык в прозе и в стихах — все эти языковые задания, вместе с прочими бесчисленными делениями, которые можно продолжить в каждом из этих видов и подвидов, требуют с в о и х средств выполнения и своей «техники»: этим средствам и их применению и учит практическая стилистика, — то прикладное языкознание, та sui generis л и н г в и с т и ч е с к а я т е х н о л о г и я, возможность и принципы которой я пытался вывести выше.

V. Нам осталось сказать теперь несколько слов о том, как должно сложиться конкретное содержание этой несуществующей еще — чего я от себя нисколько не скрываю — лингвистической технологии, науки о т е х н и к е р е ч и. Очевидным условием возможности

культуры языка является, во-первых, высокая лингвистическая сознательность говорящих, а во-вторых, — тесно связанная с этим любовь к языку. Ни то ни другое не достигается средствами одной науки. Сами по себе лингвистические знания не могут воспитать лингвистического вкуса и лингвистической дициплины, если они не предваряются общей культурностью говорящего. Культурность в общем смысле этого слова и является необходимым предварительным условием сознательной любви к языку <...> В частности, поскольку речь идет о воспитании лингвистического вкуса и дисциплины, необходимо указать на громадное педагогическое значение, которое принадлежит в данном отношении художественной литературе и словесному искусству вообще. Однако, с другой стороны, любовь к языку и лингвистическая сознательность не исчерпывают еще всего, из чего складывается культура языка. Это лишь необходимые условия лингвистической культурности, позволяющие лингвистической науке ставить перед собою практически стилистические задачи с расчетом на успешное их разрешение и сами в свою очередь зависящие от степени успешности их разрешения. Потому что если одних знаний для воспитания лингвистического вкуса и чутья к языку недостаточно, то и без знаний подобное воспитание невозможно. Культура языка в подлинном смысле невозможна без действительного и — в тенденции — исчерпывающего знания о языке, т. е. о тех его средствах, которые находят свое своеобразное применение в зависимости от внутренней телеологии того или иного социально-речевого задания. Именно так и распадается наша практическая стилистика: на учение о средствах языка и учение о языковых заданиях, с точки зрения разнообразного применения языковых средств в каждом из них <...> Таково формальное расчленение практической стилистики. Ему противостоит и с ним переплетается расчленение материяльное, которое очевидно должно отвечать внутреннему расчленению самого языка на отдельные его структурные пласты. Сообразно с этим мы получаем фонетическую, грамматическую и словарно-семантическую стилистику. Что касается первого из этих отделов практической стилистики, то содержание его, пожалуй, исчерпывается тем, что ныне понимают под «орфоэпией», т. е. учением о произношении, хотя и здесь несомненно возможны некоторые вариации в рамках различных заданий (например, особенности театральной орфоэпии и пр.) <...> Но подлинное содержание и действительное значение практической стилистики заключено в двух остальных отделах. Здесь пытливому и заинтересованному вниманию должны раскрыться все так называемые тайны слова, т. е. механизм грамматических отношений в языке с его различными функциональными назначениями, словарные богатства языка с их возможностями семантической нюансировки. Приведу один пример.

За время революции у нас произошло очень много переименований. Старые названия улиц, площадей и т. п., так или иначе связанные с воспоминаниями об отошедшем в прошлое, заменены новыми, по большей части в честь или в память деятелей революционного движения и т. п.

С точки зрения грамматической, эти названия принимают форму конструкции с так называемым родительным субъекта (улица Ленина); иногда отношение это осложняется наречием «имени» (завод имени Ленина). Родительный субъекта в системе русской грамматики обладает чрезвычайно слабой устойчивостью, обнаруживая, можно сказать как правило, тенденцию к переходу в имя прилагательное, например: «отцовский дом» вместо «дом отца», «материнская любовь» вместо «любовь матери» и пр. Смысловой закон, обусловливающий этот переход, с достаточной наглядностью обнаруживается уже из этих сопоставлений: в таких положениях, когда предметом речи является не субъект, обладающий некоторым объектом, а сам этот объект, принадлежность этого объекта легко становится характеризующим его признаком <...> История языка показывает, что этот закон, в силу которого род. субъекта переходит в прилагательное, остается действительным и тогда, когда в род. падеже стоит имя собственное, например «Колькин мячик», «Женюшкино платье», «Боткинская больница», «Жукóвская (!) улица» (в Ленинграде) и т. п. и т. п. Тем не менее было бы неправильно с точки зрения стилистического задания производить переименования прямо в этой аттрибутивной форме, т. е. после смерти Свердлова, например, назвать Театральную площадь в Москве прямо «Свердловской площадью». На самом деле, действительное новое название этой площади «Площадь Свердлова» слышится очень редко, и по большей части она называется именно «Свердловской», если не просто по-старому. Но это свидетельствует только о том, что мемориальный смысл данного переименования уже перестал ощущаться и что присвоение Театральной площади фамилии бывшего председателя ЦИК стало просто н а з в а н и е м, тогда как в первую минуту оно несомненно было и данью памяти умершего. Этот конфликт между общим смысловым законом, лежащим в основании данного явления, и тем частным стилистическим заданием, о котором идет речь, рано или поздно по-видимому неизбежен <...> Но не трудно видеть, с другой стороны, что несоблюдение этого закона при переименованиях сильно затрудняет усвоение новых названий и лишает их эффекта.

Вот, следовательно, один из актуальных вопросов культуры языка, который должен решаться в соответствии с данными и предписаниями грамматической стилистики. Именно грамматической стилистике принадлежит, на мой взгляд, первенствующая роль в деле лингвистического воспитания и поднятия языковой культуры. Разумеется и словарно-семантическим отношениям принадлежит весьма большая роль в том, что я называю здесь техникой речи. Сюда, например, относится учение о многозначности слова, получающего иной смысл в зависимости от среды и социальной обстановки, т. е. такие явления как разное значение слова «операция» — у банкира, хирурга или военного, различный смысл термина «оппозиция» — в парламентской и партийной практике, в шахматной терминологии, в словаре английского делового мира (здесь слово opposition значит «конкурент») <...> Обратная сторона того же явления изучается в синонимике. Но словарь не выполняет организующей роли в структуре самого языка, где он

несет на себе преимущественно номинативную функцию. Словарь только «называет» предметы и является как бы списком тем, относительно которых возможно языковое выражение. Организация же и построение этого выражения — это всецело задача грамматики. Изучение грамматической стилистики и должно создать навыки к установке на организующие моменты языкового выражения, научить внимательному отношению к элементам построения речи<...> Не трудно при этом видеть, что эти организующие моменты речи легче иллюстрировать на матерьяле письменного слова, где грамматические усилия высказывающегося и самое грамматическое задание проступает гораздо более отчетливо и наглядно, нежели в устной речи, где разрешение этой организационной задачи частью отходит на долю жестикуляции, разного рода выразительных голосовых приемов и пр. Простейшие виды письменной речи из области нехудожественной литературы — речь газетная, рекламная, канцелярская, эпистолярная и пр. — вот область, в которой современная лингвистика может почерпнуть много нового для себя и для той прикладной задачи, выполнить которую, как я старался выше показать, она и может и должна ‹ ... › Может — потому что выделению этого рода технологических проблем в области лингвистики способствует само нынешнее состояние науки, — совершающееся в ней на наших глазах внутреннее перерождение и обновление. Должна — потому что всякие иные пути насаждения лингвистической культурности и развитие языкового самознания, минующие прямое и подлинное знание языка, в конечном итоге оказываются несостоятельными. Особенно важное значение принадлежит этой проблеме в условиях русской действительности: исключительно низкий уровень лингвистической культурности в России делает затронутую здесь тему очередной темой нашей культуры в целом. <...>

О пуризме

<...> Что такое пуризм?

Вопрос этот не нов. Пуризм стар, как мир, пуристы существовали во все времена, у всех народов. Не подлежит однако сомнению, что особенно заметен пуризм в периоды значительных сдвигов в организации языка, когда язык быстро и наглядно реформируется, вбирая в себя много заимствований, неологизмов и иных новообразований. Отсюда между прочим следует, что историческое содержание пуризма изменяется: каждая эпоха имеет своих пуристов, всякие значительные явления в языке предъявляют пуристам новые требования. В начале XIX века — это упрямство шишковцев, борющихся против пристрастия Карамзина к иностранным лингвистическим источникам и против европеизированного сладкогласия арзамасской поэзии. В наши времена — это хулители «советских сокращений», брезгающие газетой, где напечатано: «Москвотоп» или «Гум», презрительно-недоуменно прислушивающиеся к «продразверстке» или «культкомиссии». Но если меняется историческое содержание пуризма, то сущность его все же остается одинаковой. Попробуем ее понять.

Пуризм прежде всего можно понимать как некоторое настроение. Человеку «не нравится», «неприятно» говорить «по-новому», ему «режут ухо» странные слова, диковинные звукосочетания. Поскольку слово в самом деле обладает эмоциональной суггестивностью и с известными явлениями языка действительно может сочетаться впечатление чего-либо неприятного или враждебного — например неприятно действующего на нас психического уклада говорящего, принадлежности его к какой-либо враждебной среде, чуждости его нашей культурной традиции и т. п. — постольку пуризм в этом смысле есть вещь вполне е с т е с т в е н н а я и, в таком качестве, законная. С этого рода пуризмом и спорить нечего. Борьба стилей и вкусов, борьба к у л ь т у р в языке столь же неизбежна, как она неизбежна в литературе и искусстве. Но только так же, как новая школа в искусстве вытесняет старую не потому, что законы, которыми она руководится, являются более «правильными», и не потому, что она понимает искусство лучше предшествовавшей школы, и в борьбе лингвистических вкусов решают не грамматические аргументы и не научные доводы, а окружающие жизненные условия, тот или иной уклад культуры. Поэтому ничего нельзя возразить против того, что представители разных лингвистических вкусов и культур отстаивают привычные для них речевые навыки и не допускают проникновения в язык таких способов выражения, которые несут на себе печать культурной инородности. Но тогда не надо прикрывать свои естественные чувства ссылками на «порчу языка» и пользоваться квазинаучными лингвистическими аргументами. А именно так поступают «убежденные» пуристы.

Между тем даже и тогда, когда пуризм строится идеологически, а не эмоционально, его идеология базируется не на знании языка и не на сознательной любви к языку как таковому. Инстинктивное движение естественного эмоционального пуризма уступает в идеологическом пуризме место не разуму и знанию, а всего лишь так называемым «посторонним соображениям». База такого пуризма — это всегда или косность, упрямство традиции, или — к сожалению, чаще всего — политика. Культурно-политическая физиономия адмирала Шишкова слишком хорошо известна для того, чтобы можно было сомневаться в основном смысле его борьбы с Карамзиным. Человек, который, будучи впоследствии министром народного просвещения и цензором, считал, что истинное просвещение — в «страхе божьем», и больше всего боялся, как бы российские учащиеся не узнали научных «новизн» Запада, <...>естественно не мог мириться с неологизмами Карамзина прежде всего потому, что источник этих неологизмов — культура чужеземная, политически неприемлемая. Этого одного достаточно пуристу для того, чтобы трубить в фанфары о «порче нашего прекрасного языка». Прочие аргументы — лишь мотивировка этого основного убеждения. Совершенно последовательно поэтому заявлял Шишков, что «писатели, искавшие литературных образцов во французской словесности, были виновниками не только «заразы французской», но даже «нашествия Наполеона и пожара Москвы» <...>

Писавшие о пуризме и полемизировавшие с практикуемой пуристами маскировкой аргументации единодушно отмечают в каче-

стве основной характеристики пуризма — его решительную бесполезность. Трудно доказывать вредность и ненужность слова «влияние», когда оно с легкой руки Карамзина вошло уже в лексикон образованного общества. Бесполезно протестовать против «Мосторга», который знаком всей Москве так хорошо, что названный иначе, «нормально», был бы уже непонятен московскому обывателю. Но бесполезность, тщета пуризма, есть лишь естественное и неизбежное следствие его обычной безграмотности и невежества. Пуризм, как и всякая реакция, опаздывает потому, что не умеет предвидеть своих врагов, не знает заранее, когда и против чего нужно будет ему бороться. Поэтому-то пуристы так часто и так охотно попадают впросак, поэтому-то ламентации их обычно бьют мимо цели. Некий суровый критик выговаривал когда-то Пушкину за стих: «Людскую молвь и конский топ». «Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старинным грамматикам? Можно ли так коверкать русский язык?» — строго и придирчиво вопрошал пурист. Пушкин в ответ доказывает, что «молвь» и «топ» — слова коренные русские, и добавляет: «На ту беду и стих-то весь не мой, а взят целиком из русской сказки: «И вышел он за ворота градские и услышал конский топ и людскую молвь» («Бова Королевич») <...> В наше время есть не мало охотников возражать против слова «дождит» на том основании, что это — «германизм» перевод с немецкого — «es regnet». Пуристы разумеется не знают, что слово это встречается уже в Остромировом Евангелии XI века (от Матфея, V, 45). Из поэтов XIX века слово это употреблял Федор Глинка <...> Встречается оно также в известных стихах Хомякова:

Нам камень лил воды потоки,
Дождили манной небеса.

<...> Нужно сознаться, что ничего более отвратительного и бездарного, чем «ученый» пуризм, нельзя придумать <...> «Ученость — вот чума!» Пуризм «ученый» отличается от пуризма неученого тем, что он лишен не только должного понимания языка, но и естественных для пуризма эмоций. Этот «ученый» пуризм знает эмоции одного только порядка: эмоции начетчика или библиофила. Не случайно, что чаще всего в тогу ученого пуризма драпируются библиотекари, архивариусы, школьные учителя и прочие чиновники. Наша филологическая литература сохранила нам любопытный образец такого архивного пуризма. В 1-й книжке «Известий» 2-го отделения Академии наук за 1909 год помещена исключительно забавная статья некоего П. Д. Драганова, ученый пуризм которого граничит почти с манией. Статья эта озаглавлена: «О германизме «выглядит» (неправ. форма средн. глаг. наст. вр.) в русск. языке». Содержание статьи можно было бы угадать наперед: разумеется, речь идет здесь о выражениях типа: «вы хорошо выглядите» (у вас хороший вид), русскому языку классического периода незнакомых и распространившихся у нас, даже в литературном и образованном обществе, главным образом в последние десятилетия. Можно было бы далее предположить, что автор статьи сделает какую-нибудь вылазку политического характера: стыдно занимать у немцев или что-либо в этом роде. Справедливость требует

отметить, что такая тенденция хотя и наблюдается у автора, но только между прочим. Автор ставит себе цель более возвышенную. Он взялся доказать, что древний русский язык, старая русская литература и филология слова «выглядит» в нынешнем его значении (sieht aus) не знали. Ужасная весть! Нам это не было известно до Драганова. И подумать только, что на осуществление этой цели автором положено полтора печатных листа слишком, со ссылками на лексиконы XVIII века, на словарь Даля, поэзию партизана Давыдова, Полевого, Буслаева, и все это для того, чтобы показать, что в языке лиц, здесь упомянутых, слово «выглядит» не встречается! И чего же достиг Драганов? Подняв густую архивную пыль, он показал только то, что известно всякому первокурснику. Но зато полюбуйтесь, как тонко владеет «нашим прекрасным русским языком» этот ученый и сведущий муж: «Но что это слово эпидемически все более и более распространяется, доказательством этого служит то, что даже такой писатель, как Максим Горький»... и т.д. Неправда ли, этот блестящий стиль стоит того, чтобы защищать его от «вторжения незваного гостя» — «выглядит»? Не правда ли, писатель пурист, заканчивающий свою статью проскрипционным списком литераторов, ученых и публицистов<...>употребляющих слово «выглядит», имеет право писать такие перлы: «В виду невозможности, за отсутствием словарей к произведениям почти всех русских писателей... я поневоле должен обратиться...»

Полемизировать с драгановскими произведениями 1909 года конечно смешно. И не для этой цели уличаю я Драганова в литературной неграмотности<...>Несоответствие между ученой позой пуриста и его стилистическим невежеством подчеркнуто мною только потому, что оно имеет глубокое принципиальное значение для всего вопроса о пуризме. Признáюсь наконец откровенно: пуризм как идея, как принцип — вовсе не заслуживает осуждения. Пуризм может быть чрезвычайно полезен, он может сыграть весьма заметную, благодарную роль в нашем культурном развитии, но только в том случае, если содержание пуризма мы будем представлять себе совершенно поиному. Тот пуризм, который мы видели выше, не нужен ни языку, ни говорящим. Первого пуристы не понимают, вторые — их не слушают. Но возможен такой пуризм, который, будучи радикально очищен от всего постороннего и построенный имманентно, на основе такого лингвистического вкуса, который воспитан вдумчивым, строгим знанием языка и его действительным пониманием, даст нам прочную базу для поднятия нашей общей лингвистической культуры, влачащей пока существование жалкое и постыдное. Пуризм как культура языка — над этим действительно стоит подумать.<...>

Для того чтобы яснее стало общекультурное значение проблемы, поставленной выше, следует еще добавить, что только после реального разрешения этой проблемы пуризм становится тем, чем он должен быть, т. е. хозяином языка, блюстителем лингвистического порядка. Высокая культура языка, квалифицированная стилистическая грамотность должны привести к такому положению, когда «словечек»

и неоправданных внутренней необходимостью новообразований язык принимать не будет, потому что этого не позволит сознательная речевая деятельность говорящих. Новообразования будут только те, в которых появится необходимость. Иными словами: при наличности подлинной культуры языка исчезает самая надобность в пуризме, так как функции его переходят к коллективному лингвистическому сознанию. Для каждой цели — свои средства, таков должен быть лозунг лингвистически культурного общества.

Лингвист приходит к источнику живого слова, так давно не звучавшего в академическом кабинете. Но источник закрыт, а привратник не знает, где ключ. И оба ищут. Так мне хотелось бы пояснить смысл этих заметок о пуризме. <...>

Винокур Г. Культура языка. 2-е изд. М., 1929, с. 34—48, 86—90, 113—114.

С. П. Обнорский

КУЛЬТУРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык — великий язык великого русского народа. Язык входит существенным слагаемым в понятие нации. Он служит главнейшим орудием культуры, основным фактором духовного развития нации, ее творчества, национального самосознания. Именно в языке полнейшим образом — и притом в осмыслении самого народа — отпечатлеваются все этапы истории этого народа от отдаленнейших времен, все ступени, по которым направлялось движение его культуры. Поэтому богатое прошлое народа, интенсивное развитие его культуры — залог богатого и мощного развития самого языка данного народа. Таков именно русский язык. В его силе и богатстве нашли свое выражение длительность пройденного народом исторического процесса и интенсивность культурного развития русской нации во всем течении ее истории.

Богатство, неисчерпаемые внутренние силы, выразительность, красота русского языка с давних пор обращают на себя внимание. Многочисленны характеристики русского языка, вылившиеся из-под пера деятелей русской литературы, науки, культуры. Пожалуй, лучшая из этих характеристик принадлежит величайшему сыну русского народа — Ломоносову. В одном своем суждении, относящемся к 1748 г. («Риторика»), Ломоносов говорит: «Язык, которым Российская держава великой частью света повелевает, по ее могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает».

А позднее, в известном предисловии к «Российской грамматике» (1755), Ломоносов уже утверждает и обосновывает мысль о превосходстве русского языка над всеми европейскими. Характеристика, данная Ломоносовым русскому языку, в высшей степени красочна и в то же время глубоко содержательна, объективна и правдива. Она должна иметь для нас особое значение, так как это суждение высказано Ломо-

носовым уже на склоне его деятельности и может рассматриваться как итог его работы непосредственно в области художественного творчества и его исследований по русскому языку.

Не буду приводить многообразных высказываний о русском языке, например известных суждений о нем наших писателей-классиков: Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Чехова, Горького и др. Во всех этих высказываниях, принадлежащих величайшим творцам русского слова, содержится то же, покоящееся на интуиции художника и на опыте непосредственной творческой деятельности, восхищение перед неизмеримыми силами, красотой, гибкостью, мощью русского языка. «Нельзя верить — восклицает Тургенев, — чтобы такой язык не был дан великому народу».

Следует также вспомнить суждение о русском языке Энгельса, который был лингвистом-полиглотом. Энгельс изучил русский язык и был поражен богатством его стилистических ресурсов и его самобытной силой. По его отзыву, русский язык должен считаться «одним из самых сильных и самых богатых живых языков мира».

Русский язык, по общей оценке, рисуется языком с особыми признаками красоты и богатства, выразительной силы и величия. И действительно, научный анализ дал бы возможность отметить в общем облике русского языка особенности, которые должны служить объективными свидетельствами его положительных качеств.

Так, можно подчеркнуть, что в фонетической области, в системе гласных и согласных русского языка, носовые и плавные согласные *м, н, р, л,* вносящие музыкальность в речь, имеют очень широкое распространение: четвертую часть нашего словаря составляют слова, начинающиеся либо с плавного, либо с носового согласного. Это не может не придавать музыкальности нашей речи.

Типической чертой русского языка, отграничивающей его и от отдельных славянских и других языков, является высокая воздействующая палатализующая сила гласных переднего ряда, в частности гласного *е,* на предшествующие согласные. Это, по происхождению, явление старой поры. Поэтому мы встречаемся с сохранением палатальности согласных и в тех случаях, когда после них в старом языке находились гласные переднего ряда, позднее исчезнувшие. Сравните мягкость согласных в исходе слов (например, в *гость, кость,* в пов. накл. *брось,* в частице *ведь* и т. п.) или также в срединном положении (например, в *ладья, больной,* в пов. накл. *бросьте* и др.). В результате наша речь, знающая в употреблении только смягченные *ч, щ,* только смягченный *йот,* обильно использует и другие ряды согласных в смягченном виде.

Нельзя не отметить в числе общих положительных качеств нашего языка подвижность, гибкость в нем ударения, которое может падать на любой слог слова. Благодаря этой черте нашей связной текучей речи легко сообщается, в сочетании с движением интонации, богатая ритмичность. Ритмичность русского языка очень высокая. Мы ведь строим свою речь на ритмических началах отнюдь не в одних поэтических жанрах, а стремимся к ритму вообще, если заботимся о литературности речи.

В отмеченных нами высказываниях о русском языке подчеркивалась в числе его положительных качеств красота. Действительно, особенности звукового облика русского языка сообщают нашей речи общие черты благозвучности, музыкальности, мягкой тональности, высокой ритмичности — все то, что создает общее впечатление красоты языка.

Богатство русского языка поистине поразительно. Формально учитываемый в словарях лексический оборот языка не может дать даже приблизительного представления о реальной лексической наличности нашего языка. Живой язык вообще с лексической стороны сколько-нибудь точно учесть не представляется возможным. Он сам по себе слишком подвижен, чтобы можно было хотя бы с отдаленной степенью полноты охватить его лексику в словаре. Данные о лексической наличности русского языка по имеющимся словарям таковы: в академическом издании Словаря русского языка, выпущенном сто лет назад (1847), содержится около 115 тысяч слов. Этот словарь предусматривал включение лишь такой лексики, которая допустима для литературного употребления. Громадные слои специальной, терминологической лексики, принадлежащие наукам, ремеслам, технике, в словарь не включались. Не включались также многообразные группы нелитературной или внелитературной лексики, как, например, богатейший источник диалектной речи, слова профессиональные, просторечная лексика и т. п. Даль в своем словаре, выпущенном в 60-х годах, попытался шире представить современную лексическую наличность языка, обняв и областную речь и некоторые иные пласты лексики. В результате в его словарь оказалось включенным уже около 200 тысяч слов. Если учесть, что диалектологическое изучение нашего языка развернулось много позднее, если принять во внимание колоссальный рост нашей науки и особенно различных областей техники в XIX и главным образом в XX в., то легко себе представить огромное обогащение за это время, т. е. после Даля, нашего словаря.

Богатство русского языка, однако, свидетельствуется не столько высокими количественными показателями лексического оборота языка, сколько смысловой насыщенностью словаря, широкой разветвленностью значений слов и их семантических (смысловых) оттенков, а равным образом богатством стилистических и фразеологических ресурсов языка. В этом наиболее яркое выражение богатого развития языка и свидетельство мощного культурного роста русского народа и в прошлом и в настоящем. Чтобы убедиться в исключительном богатстве нашей лексики в этом отношении, можно было бы открыть любую страницу с достаточной полнотой обработанного словаря русского языка: любое слово в нем (если оно по своей природе не узко очерченного значения, например не терминологическое) обычно является носителем пучка значений или их оттенков, в известном употреблении выступает стилистически окрашенным и входит звеном в состав того или иного неразложимого фразеологического целого. В «Толковом словаре русского языка», вышедшем под редакцией Д. Н. Ушакова, для глагола *идти* указано 40 значений. Если даже допустить возможность более компактного разграничения значений этого глагола, его семантическая разветвленность все же осталась бы очень большой. Союзы *а* и *и*,

будучи семантически дифференцированы, представляют целые пучки многочисленных значений. Отрицание *не* в одной из первоначальных редакций академического Словаря русского языка составило статью в 96 печатных столбцов убористого словарного шрифта. Во всем этом наглядное фактическое свидетельство чрезвычайного богатства русского языка, его стилистического разнообразия, его выразительной силы.

Благодаря морфологической природе русского языка, имеющего возможность образования основных групп знаменательных слов (существительных, прилагательных, глаголов) с помощью суффиксов и префиксов, русский язык всегда обладал и обладает неиссякаемыми силами роста. Так, например, такая группа образований (составляющая большой пласт в языке), как отвлеченные имена существительные, по значению связанные с глагольными действиями и состояниями, легко образуются от глаголов путем использования суффиксов. При этом в субстантивном образовании полностью обеспечивается сохранение значения или нюанса в значении, присущего глаголу. То же можно было бы сказать относительно образования отвлеченных имен существительных, по значению связанных с категорией прилагательных, и т. д.

Большое значение в русском языке принадлежит префиксации глаголов.

Префиксы, сочетаясь с глаголом, вносят новые оттенки в основное значение глагола, т. е. раскрывают новое содержание его, обогащая сокровищницу языка новыми элементами лексики. Префиксация глаголов, кроме того, в известных случаях, давая слова с новыми значениями, наделяет их особой выразительной силой. Поэтому нередко писатели-художники в стремлении к большей выразительности речи пользуются префиксированными глаголами, по-разному комбинируя префиксальные в них элементы. Эту черту нашего языка, сообщающую ему особую выразительную силу, прекрасно чувствовал в старые времена величайший художник, автор «Слова о полку Игореве», широко употреблявший в поэме, — несомненно, в стилистических целях — одни и те же глаголы без префикса и в префиксированном виде или в соединении с одним и каким-нибудь близким к нему другим префиксом. Сравните в «Слове о полку Игореве»: *лелѣяти* и *взлелѣяти, плакатися* и *всплакатися, потоптати* и *притоптати, потрепати* и *притрепати* и т. д.

Если поставить вопрос о причинах этой изумляющей силы и выразительности современного русского литературного языка, то ответ следует искать в условиях богатого и сложного его развития, в условиях общего нашего культурного роста с самых отдаленных времен.

II

Русская письменность, русский письменный язык, по дошедшим памятникам, свидетельствуется с половины XI в. Таков старейший дошедший до нас памятник русского языка — знаменитое Остромирово евангелие, датированное 1056—1057 годом. Однако письменный русский язык существовал задолго до этого времени.

До нас дошел замечательный оригинальный памятник старейшей

поры — судебный кодекс, так называемая «Русская правда», сведения о которой уже содержатся в летописи под 1016 г. и составление которой, несомненно, принадлежало еще более раннему времени.

До нас дошли, наконец, договоры русских с греками 907, 912, 945, 971 гг., которые писались в одном экземпляре на греческом языке, а в другом — на русском. Копии этих договоров сохранились в тексте «Повести временных лет» и не оставляют сомнения в том, что оригиналы их были составлены на русском языке и были современны самим договорным актам. Все это в совокупности позволяет считать бесспорным очень раннее зарождение у нас письменной культуры, задолго до первого фактически сохранившегося письменного памятника русского языка. Да иначе и быть не могло. Русь старейшей эпохи Киевского государства, как свидетельствуют последние исследования академика Б. Д. Грекова, находилась на очень высокой ступени культуры, которая предполагает прочное обладание письмом. Эта высокая стадия общей культуры Киевской Руси в свою очередь не может пониматься иначе, как свидетельство того, что уже в период предшествующий, т. е. в антский период (в VI-VIII вв.), и до него, шел интенсивный культурный рост на территории Поднепровья и тянувшихся к нему областей, где в IX в. слагается русская государственность. И отнюдь не являлось бы смелым предположение о принадлежности каких-то форм письменности уже этим «русам» антского периода.

Свидетельств высокой русской культуры уже в начале Киевской Руси, свидетельств бесспорных и красноречивых, у нас много. Таковы поражавшие современников, поражающие и нас образцы старейшего русского зодчества, живописи. Эти образцы — сверкающие богатством и роскошью отделки многочисленные храмы, высившиеся в различных городах русских, особенно в Киеве, этой матери русских городов. Киев, центр русской земли, имел широкую славу в международном окружении. Иметь связи с Киевом, породниться с домом киевского князя было лестно в ту пору для повелителя любого европейского государства. Можно вспомнить о брачном союзе дочерей Ярослава Мудрого Анны — с французским королем Генрихом I, Елизаветы — с норвежским королем Гаральдом, брак самого Ярослава с Ингигердой, дочерью шведского короля Олафа, и т. д. Из явлений, относящихся к области духовной культуры ранней поры киевской государственности, нельзя не отметить мероприятий, касающихся просвещения. Уже под 987 г. в летописи читаем известное сообщение о том, что Владимир Святой распорядился о наборе «нарочитых детей» и отдаче их для обязательного «учения книжного». Что же это за «учение книжное» — по объему и по содержанию? Это, конечно, не школа попов и дьяков для узких потребностей церковного богослужения. Эти школы элементарного обучения были уже образованы ранее. Мероприятие князя Владимира предусматривало организацию школ иного типа, повышенного уровня, для детей «нарочитого» слоя населения, для будущей служилой знати.

Показательно как мерило ранних высоких культурных потребностей известие летописи, относящееся к деятельности Ярослава Мудрого, именно — об организации при нем специального кружка переводчиков.

Они должны были переводить на русский язык разнообразные сочинения: научные, исторические и прочие, преимущественно с греческого, и действительно обогатили фонд чтения старого русского читателя-книжника.

Чрезвычайно показательным свидетельством культурных запросов и непрерывно действовавшей большой тяги к культуре является громадное количество дошедших до нас рукописных памятников русского языка. По приблизительному учету, их у нас до 130 тысяч экземпляров. Ни на одном другом славянском языке в таком количестве рукописного наследия старины мы не находим. При этом русские рукописи уже от XI в. имеются в числе до 30, от XII в. их до сотни, а далее они уже считаются многими тысячами. Конечно, в этом громадном рукописном наследии сохранилась лишь какая-то доля того, что фактически имелось в обращении. Эти цифры красноречивее слов говорят о непрерывном, уверенно из века в век шедшем, росте русской культуры. Стоит при этом заметить, что с ранней поры многие рукописные памятники выступают перед нами как замечательные образцы русского письма по богатству, по художественности их выполнения. Так, первый датированный дошедший до нас рукописный памятник — упомянутое выше Остромирово евангелие — это ценнейший для нас памятник русского языка, но это и образцовый памятник русского искусства — по тщательности, изумительной красоте письма, по богатству всего оформления (писан по большей части золотом, на дорогом пергаменте, богато орнаментирован). Наличие подобных памятников (а их немало) свидетельствует о высоких культурных запросах, сложившихся на Руси уже в самое отдаленное время.

Наконец, следует остановиться на самом русском литературном языке старейшей поры, на оригинальных памятниках этого языка. Эти памятники в непосредственных оригиналах не сохранились, они дошли до нас в списках, иногда довольно поздних. Почти не дошли до нас памятники старейшей поры мирского содержания, памятники художественно-литературные. Однако то немногое, что дошло до нас, имеет первостепенное значение как непосредственное свидетельство высокого уровня нашей культуры (в сфере художественного слова, художественного творчества) в самую раннюю пору. Стоит напомнить о таких произведениях, как старейшая летопись, или слово Илариона, этот тончайший образец проповеднического жанра, или произведения Владимира Мономаха, поражающие чеканностью своего языка, или знаменитое «Слово о полку Игореве», к которому по художественному совершенству трудно подыскать объект для сравнения в иных литературах и т. д. Самая возможность появления в раннюю историческую пору подобных произведений как образцов отточенного литературного языка или как совершеннейших образцов творчества в различных литературных жанрах говорит о вполне сложившейся в эту пору и отлившейся в прочных формах культуре русского художественного слова, которая должна была опираться на длительную предшествующую традицию. Вполне понятно, что, например, «Слово о полку Игореве» не могло появиться на русской почве одиноким цветком. Оно выросло, питаясь из русских же родников художественно-

го слова предшествующих эпох, оно должно было иметь своих старших предшественников — произведения, которые по тем или иным причинам не дошли до нас.

Поэтому должно отбросить как ложную мысль о том, будто русский литературный язык в своих истоках, в своем образовании был не русским языком. А таковым было обычное представление. Считалось, что наш литературный язык по своему происхождению был церковнославянским языком, языком той богатой церковнобогослужебной и иной религиозной книжности, в свое время переведенной на болгарский язык с греческого языка, которая появилась у нас с принятием христианства. Этот язык, пришедший на Русь в X в., будто бы сразу оказался у нас с правами и в роли нашего литературного языка. С этой точки зрения представлялось, что вся последующая история нашего литературного языка свелась к процессу постепенного проникновения в этот пришлый, чуждый для нас, церковнославянский язык элементов живого русского языка. Такое представление о происхождении русского литературного языка в корне неверно, так как оно расходится с непосредственными данными языка старейших оригинальных русских памятников. Именно эти памятники не содержат в языке церковнославянских элементов. Такова «Русская правда», которой полностью чужд слой церковнославянизмов, таково, собственно, и «Слово о полку Игореве», таковы отдельные жанры произведений Владимира Мономаха, таковы деловые акты (типа грамот) и т. д. Показания старейших наших литературных памятников обязывают к утверждению русской первичной базы нашего литературного языка и притом зародившегося не в X в., а слагавшегося на протяжении предшествовавших столетий. <...>

Сам русский язык старейшей поры обращает на себя внимание той же своей самобытностью. Русский язык имел старейшие связи с разными иными языками, например с финскими, тюркскими, с греческим языком и др. Однако эти связи никак не сказались на развитии русского языка. Русский язык продолжал свое, самостоятельное развитие. В него проникали отдельные лексические заимствования, но и этот слой заимствований был совершенно незначительным. Так, о финских заимствованиях можно совсем не говорить: они слишком единичны и к тому же спорны. Слой заимствований тюркского происхождения старейшей поры совсем ничтожен. Греческие заимствования, если не считать соответственной лексики церковно-богослужебного характера, перешедшей из болгарского языка, в живом обороте речи были также не очень многочисленны. При таком ясно выраженном самобытном характере русского языка самая мысль о том, будто основу русского литературного языка составил язык не русский, кажется противоестественной.

Итак, русский литературный язык, русский во всех составляющих его элементах, достаточно сложившийся еще к доисторической поре, в историческую пору в общем поступательном движении всей русской культуры, должен был быстро расти. В нем протекают известные процессы фонетико-морфологического содержания. Он непрерывно обогащается в лексическом составе. Сложными путями происходят

многообразные явления в синтаксической стороне языка. Это нормальное течение роста русского литературного языка вместе с тем осложняется появлением рядом с ним болгарского языка, главным образом в книжном письменном его типе, как языка церковнославянского. Церковнославянский язык, как болгарский в своей основе, был относительно близок к русскому языку, хотя и имел свои отличия и в звуковом облике, и в морфологической системе, и в лексике, и в синтаксисе, но, как язык литературный, книжный, как носитель притом преимущественно церковной книжности, он резко отличался от живого русского языка и от сложившегося на его основе литературного русского языка. Церковнославянский язык поэтому не мог ассимилироваться с русским языком в целом. Взаимодействие русского литературного языка с церковнославянским оказалось частичным, ограниченным, проявляясь лишь в книжных, церковных в широком смысле, жанрах произведений. Например, среди произведений Владимира Мономаха, в его «Поучении», еще наблюдается незначительная доля церковнославянизмов, но в прочих его произведениях — в автобиографии (в повествовании о «путях» и «ловах», им проделанных), в письме к князю Олегу — церковнославянское воздействие ничтожно. Это объясняет нам слабое отражение церковнославянского языка на системе русского языка.

Совершенно незначительным, временным и неровным было это отражение на фонетической и морфологической стороне русского языка, почти вовсе не сказалось оно на синтаксисе. Заметно проявилось оно лишь в лексике. При этом широкое лексическое воздействие церковнославянского языка принадлежало лишь ограниченным стилям языка, книжным (церковному в особенности). Отсюда уже некоторые пласты из церковнославянской лексики усваивались общим нашим литературным языком. Этот процесс ассимилирования русским литературным языком элементов церковнославянского языка шел постепенно, из века в век нарастая. Его значение в общем развитии русского литературного языка было положительным. Русский язык обогатился лексически, особенно в стилистических своих средствах. В общих условиях лексического обогащения языка явилось и некоторое обогащение морфологической его структуры. Так, на основе пришедшей из церковнославянского языка лексики типа разнообразных сложных образований (в свою очередь обязанной греческому языку) эта именно категория слов получила широкое развитие на почве собственно русского языка.

Подобным же образом произошло оживотворение ряда префиксальных, суффиксальных элементов языка. Некоторые из префиксов и суффиксов (например, *без-*, *-ние*, *-ство* и нек. др.) стали продуктивными в дальнейших образованиях, слагавшихся уже на почве русского языка.

И все же воздействие церковнославянского языка на русский литературный язык не следует преувеличивать. Оно было односторонним, проявившимся в лексическом и стилистическом обогащении нашего языка, и почти не затронуло общих структурных его основ.

в этом сказалась всегдашняя внутренняя сила русского языка и тенденция к самобытности его развития.

III

Нет необходимости останавливаться здесь на последовательном ходе развития русского литературного языка. Можно отметить важный этап в этом развитии в период образования Московского государства. Это была пора формирования национального русского языка, живую основу которого составило московское наречие. Вот почему мы говорим, что исторической базой нашего литературного языка служит московское наречие.

Следующим важным этапом в развитии русского литературного языка была Петровская эпоха (с XVII веком как ее преддверием). В это время Россия включается в общую европейскую жизнь, становясь органически необходимым членом в семье европейских государств. В 1708 г. указом Петра старое письмо сменяется новым, гражданским. Множатся школы, ширится образование, общее и специальное.

Общий культурный подъем, возросшие государственные потребности, требовавшие расширения знаний и их углубления, вызывают как необходимое мероприятие учреждение Академии наук. Сильное обновление в этот период получает русский язык. Он всесторонне обогащается для удовлетворения широких возросших культурных потребностей. В него проникают элементы живого русского языка. Церковнославянская стихия, сплетавшаяся до этого в отдельных книжных жанрах с общим литературным языком, заметно оттесняется, сохраняя законное право на существование лишь в ограниченных областях церковной, проповеднической литературы. Впрочем, даже здесь, например в творчестве Феофана Прокоповича, язык обновляется под лад общего литературного языка. В значительном масштабе в литературный язык вливается поток заимствований из европейских языков. Это, впрочем, преимущественно терминологическая лексика, от отдельных пластов которой позднее язык освободится.

Таким образом, изменения в облике русского литературного языка в Петровскую эпоху были очень значительны. Церковнославянская стихия в нем заметно была отодвинута на задний план. В язык письменности широким потоком нахлынула живая разговорная речь: кроме того, он стал заполняться иноязычными элементами, приток которых в послепетровскую эпоху, в отдельные литературные стили, еще более усилился, что не всегда оправдывалось достаточными основаниями.

Для широкого общественного сознания необходимо было авторитетное вмешательство, научное оправдание всех этих новшеств в языке. Так была призвана к жизни деятельность Ломоносова. Ломоносов гениальным прозрением разрешил стоявшую перед ним задачу. И деятельностью собственно писательской, литературно-художественной, и теоретическими изысканиями по русскому языку Ломоносов правильно установил путь развития нашего литературного языка, тот путь, который приведет к Пушкину, этому создателю современного нашего литературного языка. Сущность ломоносовского разрешения проблемы заключалась в признании и церковнославянских

элементов и элементов живой народной речи в нормах литературного языка, но в известных рамках и в определенном соотношении с жанром литературного произведения. Элементы церковнославянского языка при этом допускались лишь наиболее распространенные, такие, которые должны были для всех быть понятны. Литературный язык, таким образом, должен покоиться на началах, с одной стороны, национально близких, а с другой — на данных, доступных для восприятия широких слоев говорящих. Таким образом, Ломоносов не порвал совсем со стариной, а слил с ней в одно стройное целое новизну, что обеспечило дальнейшее нормальное развитие литературного языка. Ломоносов воспользовался элементами русского народного разговорного языка, а также языка верхов тогдашнего общества и, где было нужно поднял их, соединив с элементами церковнославянского языка. В результате у него получился новый тип литературного языка.

Вторая половина XVIII столетия характеризуется наряду с большим наплывом в литературный язык иноязычных, преимущественно французских, заимствований, также и борьбой против них. В этом внедрении иноязычных элементов в литературный язык было нарушение ломоносовских традиций.

Научный авторитет Ломоносова и имя его как писателя и деятеля в области русского языка были непререкаемы на многие десятки лет. Грамматика русского языка в академическом издании 1802 г. почти повторяет ломоносовскую «Российскую грамматику». Изданный Академией наук в 1789—1794 гг. шеститомный Словарь русского языка целиком стоит на взглядах Ломоносова в суждениях о литературном языке.

В словаре в лексике богато представлен «высокий» стиль языка. Народная (областная) лексика показана сравнительно скупо. В словаре почти отсутствуют элементы западноевропейских заимствований. В иллюстрационном материале богаче всего представлен Ломоносов, сочинения которого явились основной базой при составлении словаря. Однако практически соблюдение ломоносовских традиций было трудно, и его учение о «трех штилях» стало явно изживаться. Это вызвало в конце XVIII — начале XIX вв. зарождение новых течений во взгляде на развитие литературного языка.

Основными пунктами разногласий в суждениях о языке явился вопрос об удельном весе в нормах литературного языка церковнославянской стихии и элементов народного языка. Так всплыли, как противостоящие, с одной стороны, Карамзин с его школой, с другой — Шишков. Карамзин стремился «европеизировать» русский литературный язык, строя его по подобию причесанной европейской салонной речи; поэтому язык этот был далек от церковнославянской высокой лексики. Еще менее прав признавал Карамзин за народной речью в нормах литературного языка. Зато он широко вводил элементы европейские (французского языка в особенности), как в натуральном их виде, так и путем их калькирования. Антиподом Карамзина в этом отношении выступил Шишков, в ту пору президент Академии. Он был ярым врагом прививки литературному языку ненужных западноевропе-

измов, особенно в прикрытом виде, в виде кальк, и являлся сторонником большого подчинения литературного языка старым нормам.

В этот период острой борьбы карамзинистов и шишковистов рос молодой Пушкин. Пушкин гениальным своим умом и чувством языка провидел нежизненность позиций как Карамзина, так и Шишкова. Пушкин остался вне этих течений. Сомкнувшись в известных отношениях с Ломоносовым, Пушкин встал на самостоятельный путь языкового творчества, раскрыв и оживотворив те начала языка, которыми он живет до настоящего времени. Мы в этом отношении с полным правом именуем Пушкина создателем современного русского литературного языка. В Пушкине всегда поражала современников, поражает и нас глубина мысли, изумительная четкость и простота ее выражения. В созданном Пушкиным новом русском литературном языке нет подчеркнутого пристрастия к славянизмам или вообще к архаической русской лексике, нет и излишнего тяготения к живой разговорной стихии русского языка. Почти нет в обороте Пушкина новых европейских заимствований, хотя с молодых лет Пушкин знал французский язык не хуже русского. Созданный Пушкиным новый русский литературный язык соединил в себе, как в гармоническом целом, все то из общего состава языка, что должно было обеспечить ему в дальнейшем его росте и силу выразительности, и живописность, и богатство, и четкость, а вместе с тем простоту выражения. Этот пушкинский язык бережно охранялся и развивался последующими деятелями нашего литературного слова, сознательно поддерживавшими именно пушкинские языковые традиции. Таковы были многие наши классики-писатели: Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Чехов, Горький и т. д.

Конечно, за столетний период, отделяющий нас от Пушкина, наш литературный язык изменился. Кое-что в нем, обветшав, отпало, а вместе с тем произошло и сильнейшее его лексическое обогащение. Сравните рост в 40-е, 50-е годы и далее философской лексики, внедрение в 60-е, 70-е годы широких пластов диалектной лексики, обогащающие его в дальнейшем громадным слоем специальной научной, технической, профессиональной лексики и т. д. Все это, однако, было изменением, связанным с внутренним и внешним ростом языка, отвечавшим общему нашему культурному подъему. Основы же литературного языка, которые были заложены в нем деятельностью Пушкина, сохранились в незыблемом виде. Эти основы должны оберегаться и развиваться и в современном нашем литературном языке. Мы должны поэтому и сейчас в работе над собственной речью и в общей направляющей деятельности в области культуры речи отправляться от основ нашего литературного языка, заложенных Пушкиным.<...>

IV

Если обратиться к характеристике современного русского литературного языка, взяв его на широком фоне как язык всего революционного периода, следует отметить громадные происшедшие в нем сдвиги. И это само по себе естественно: в нашей общественной структуре, в

мировоззрении, в жизненном укладе произошел резкий перелом, что не могло не отразиться столь же резко на языке. Можно было бы с помощью лингвистического спектра констатировать изменения, происшедшие и в фонетической, и в морфологической области, и в синтаксисе. Особенно же значительные и всеми ощутимые изменения произошли в лексической и семантической стороне языка. Действительно, в связи с новыми общественными условиями, в связи с ростом новой государственности одни слои лексики, отвечавшие определенным понятиям прежнего общественного уклада, совсем исчезли, иные сохранились, но были переосмыслены. Наконец, заново сложились громадные слои новой лексики. Быстрый рост новой государственности, мощный общий культурный рост, широчайшие сдвиги в области наук и многообразных отраслей техники, в частности, связанные с индустриализацией страны, — все это может дать представление о громадном лексическом обогащении нашего языка. Наконец, следует отметить общий рост литературного нашего языка, вызванный тем обстоятельством, что в числе деятелей литературного языка оказались в большом числе представители таких слоев общества, которые до этого активного участия в жизни литературного слова не принимали. В результате не мог не произойти известный отход нашего литературного языка от общей линии предшествующего его развития. Язык действительно стал переполняться неологизмами или разнообразными элементами нелитературной или внелитературной лексики. Так, в общий язык стала вливаться областная лексика, просторечная, профессиональная, арготическая и т. д. Все это отводило от нормы прежнего литературного языка, колебало его устои, опиравшиеся на крепкую связь с предшествующими корифеями-классиками, начиная с Пушкина, все это грозило порчей языка.

Такое положение не могло не привлечь общественного внимания к проблеме развития литературного языка. Известна дискуссия на эту тему начала 30-х годов, в которой руководящая роль принадлежала великому нашему деятелю и тонкому ценителю русского слова А. М. Горькому. На этой дискуссии было подчеркнуто, что русский литературный язык есть величайшее общественное достояние, что направление развития его далеко не безразлично для самой общественности. И действительно, итоги дискуссии были чрезвычайно важны для дальнейшего развития русского литературного языка.

Активно было начато оздоровление языка. Так, при быстрых темпах строительства в начальный период революционной поры в язык в громадном количестве стали проникать сокращенные слова разных типов образования. Но это не полнокровная, не дающая нормального обогащения языка лексика, это слова условного, временного назначения.

Понятно, что началось освобождение языка и от этих пластов лексики.

Подобным образом определились грани допустимой для литературного пользования лексикой диалектного происхождения, просторечной и т. д. Наш литературный язык постепенно, в результате неуклонных забот о нем, выравнялся (в своей общей линии) и принял

прежнее устойчивое положение языка, преемственно развивающегося на основе прочных традиций.

Это внимание к языку, активные заботы о нем не должны ослабляться. Непрерывным должно быть бережное внимание общественности к нашему литературному языку, как к величайшему культурному нашему достоянию, непрерывной должна быть забота о нем и со стороны каждого из нас, счастливых носителей великого русского языка. Необходимо бережно хранить его чистоту и правильность, бороться за выразительность нашей речи, за простоту языка, активизировать его развитие в более высоких формах.

Правильное в широком смысле пользование русским языком предполагает соблюдение норм литературного произношения: правильное употребление склоняемых, спрягаемых форм, правильность синтаксического построения фраз, правильное семантическое использование лексики — в этом именно значении, которое точно соответствует содержанию каждого данного слова.

V

Система русского литературного языка в отношении произношения не содержит сама по себе особенных трудностей, каких-либо пунктов специфического, осложняющего характера. Однако сложное прошлое русского литературного языка, культивировавшегося в Киеве, Владимире, Москве, Петербурге, осложнило наше литературное произношение, лишив его твердой устойчивости. Исторически, как об этом сказано было выше, в основу литературного языка легло московское наречие. Живая московская основа поэтому характеризует и современное состояние нашего литературного языка. Поэтому литературные нормы языка требуют «акающего» произношения, произношения согласного *г* как взрывного звука и т. д.

Однако прежние «московские» нормы литературного произношения заметно разрежаются, смягчаются, несколько сближаясь с северными нормами. Это сказывается главным образом на характере «аканья», ныне уже не проявляющегося в таком резком виде, как это было лет 75—100 назад. Так, в современном литературном языке уже нет чистого *а* на месте предударного *о* или чистого *и* на месте предударного *е* или *я*, не произносим мы *шыры* вм. шары и т. п. И в других отношениях резкие старые «московские» особенности в нормах современного литературного произношения смягчились: так, произношение *шн* вместо *чн* в словах является не общей устойчивой нормой языка.

В 3 л. мн. числа не обязательно безударная флексия у глаголов 2-го спряжения звучит как *ут* (любют), возвратная глагольная частица *ся, сь* не обязательна в произношении с твердым *с* и т. д.

Необходимо с вниманием относиться к самой произносительной стороне языка, не только избегая расходящегося с литературными нормами диалектного произношения, но и, в случаях неустойчивости самих произносительных норм, держась твердой линии нормализованного литературного произношения.

Обращает на себя внимание черта русского языка — палатализую-

щее влияние гласных переднего ряда на предшествующие согласные. Эта черта проявляется даже в словах иноязычного происхождения с согласными в них перед гласной *е*, однако лишь тогда, когда они совсем ассимилируются нашим языком. Сравните, например, произношение *леди* (прежде: *лэди*), *вена, ректор, комета, реальный, температура* и т. д. с мягкими согласными, как в обычных русских словах, а рядом твердые согласные, например, в *дэнди, кашнэ, тэррор, коттэдж* и т. п. Иногда можно встретиться с перебоями в произношении в одном и другом направлении, например с произношением твердых согласных в словах, давно ассимилированных нашим языком, или, напротив с произношением мягких согласных в иных рядах лексики. Таково произношение: *тэма, идэя, тэкст, тэхника, тэрмин, протэст* и т. п.; или, напротив, с мягкими согласными: *тенденция, антенна, кодекс* и пр. И то и другое произношение неправильно.

В русском литературном языке воздействие гласных переднего ряда сказывается на предшествующих согласных как непосредственно, так через них и на стоящих перед ними согласных.

Однако это последнее воздействие вообще не затрагивает губных согласных, задненёбных и плавного *р*. Встречающееся иногда произношение подобных согласных в палатальном виде (например, *лафьки — лавки, корьмить* и т. п.) уже не может считаться литературным, хотя оно свойственно разным диалектам, в частности и московскому, и принадлежало прежде литературному языку.

Очень много двоящегося материала относится к постановке ударения в словах или группах слов. Эта сторона литературного языка требует особенного к себе внимания. Русское ударение является свободным в том смысле, что в словах оно может падать на любой слог. Оно, вместе с тем, в известных группах слов может передвигаться, падая в одних формах на один, а в других на другой слог.

Ударение в русском языке носит печать закономерности. Но оно в определенных линиях подвергалось изменениям в прошлом, далеком и близком к нашему времени, оно изменяется и в наше время. Так, имя существительное *жена* имело когда-то устойчивое ударение на флексии, но уже в литературном языке XVIII в. мы наблюдаем колеблющееся ударение в формах множественного числа от этого существительного — и старое на флексии и новое на корневой части слова (ср. *жены́* и *жёны*).

Или отдельные глаголы 2-го спряжения типа *вертеть, дарить* и т. п., в формах настоящего времени имевшие когда-то наконечное ударение, позднее, уже в свидетельствах литературного языка XVIII в., представляют двоякое ударение — старое, на флексии (*верти́шь, дари́шь*), и новое, на корне (*ве́ртишь, да́ришь*).

В результате в языке явилась двойственность данных форм, сказавшаяся между прочим на появлении двойственности по ударению и в прош. врем. страд. причастий от этого типа глаголов (например, *гру́зишь* и *грузи́шь* и в причастии *гру́женный* и *гружённый*).

Все это показывает, насколько сложен в русском языке вопрос, связанный с ударением.

Например, правильными литературными формами от глагола

звони́ть служат лишь *звони́шь, звони́т* и т. д., также — *определи́т, посели́т, распоряди́тся* и т. п. В страдательных причастиях литературно нормализованное ударение лишь — *привезённый, приведённый, принесённый* (краткие формы — *привезён, -на́, -ны́; приведён, принесён*) или *сплочённый, упрощённый, обострённый, договорённый* (откуда существительное *договорённость*) и т. д.

Точно так же в склонении отдельных имен существительных на ударяемое *-а* в вин. пад ед. числа литературно нормализованным выступает ударение на окончании; например: *весну́, полосу́* и т. п. В группах существительных женского рода, оканчивающихся на мягкий согласный, типа *летопись, рукопись* и т. д., ударение во мн. числе не переносится на окончание, т. е. формы, например, родительного падежа имеют ударение — *ле́тописей, ру́кописей, ме́стностей, це́лей, о́траслей, про́филей* и т. д.

Известная неустойчивость ударения присуща и изолированным словам (существительным, прилагательным и т. д.). Здесь на литературное произношение воздействуют разнообразные слои нелитературной или внелитературной речи: профессиональный язык, просторечие, диалектная речь и т. д. Таково, например, профессиональное произношение *до́быча* при нормально литературном *добы́ча*; диалектное *русло́* вм. *ру́сло*; *свекла́* вместо *свёкла*; просторечные *до́говор, при́говор* вм. *догово́р, приго́вор* и т. п. Профессиональная речь или просторечная стихия влияют на лексику иноязычного происхождения, вызывая и здесь неустойчивое, двоящееся ударение. В числе примеров этого рода лексики с колеблющимся ударением можно отметить, например, слова *кварта́л, киломе́тр, докуме́нт, инструме́нт, медикаме́нт, аге́нт, алфави́т, катало́г, диало́г, экспе́рт* и т. д. Все они должны произноситься с наконечным ударением.

Во многих словах-терминах на *-ия*, привившихся к языку с ударением на основе, наблюдается колеблющееся ударение с вторичной ударяемостью на суффиксе. Таковы, например, существительные, *инду́стрия, металлу́ргия, дипло́матия, де́зентерия, афа́зия* и т. д.

В категории имен прилагательных сказывается та же струя воздействия профессионального языка на литературный язык. Она выражается в тяготении к перемещению ударения с корня на суффикс (*-ов*) или на окончание у прилагательных, образованных от имен существительных с неподвижным типом ударения. Сравните нормальные *план — пла́новый, фланг — фла́нговый* и т. д., также *ме́тровый, киломе́тровый, ли́тровый, пятили́тровый* и т. д.

Правильное ударение слов или форм слов для русского языка, обладающего свободным ударением, само по себе необходимо. Тем более необходимо для русского литературного языка пользование ударением, литературно нормализованным. Эта сторона речи должна поэтому у каждого из нас вызывать особое к себе внимание. Мы должны активно наблюдать за своей речью, корректируя ее в согласии с показаниями наших грамматических или ответственных словарных изданий, а особенно воспитывая себя на образцах стихотворной речи классических представителей русской литературы.

Правильность и чистота русского литературного языка требует

вместе с нормализованным произношением правильного употребления склоняемых, спрягаемых форм, а равным образом и синтаксического построения речи. Это понятно само собой.

Трудности здесь заключаются в самой природе соответственных морфологических и синтаксических явлений языка. Они представляют собой нечто, покрывающееся понятием современной системы языка, а вместе с тем содержат придаток различных иных явлений и фактов, которые, с одной стороны, пережиточно, сохранились от предшествующих эпох, а с другой — служат началом чего-то нового, зарождающегося в языке.

Все это объясняет наличие и здесь пестроты и некоторой неустойчивости языка, колебания форм, в значительной мере и здесь обусловливающегося воздействием нелитературной речи, особенно профессиональных языков и просторечия.

Для примера можно остановиться в склонении имен существительных на представляющем остроту вопросе об окончании известных групп существительных муж. рода в им. пад. мн. числа *-ы* без ударения или *-а* под ударением. Различие же это в отношении ударения от именительного падежа обычно проходит по всем прочим падежам мн. числа: при форме им. мн. числа на неударяемое *-ы* обычно и во всех остальных падежах мн. числа окончания бывают безударны, и, напротив, при наличии в им. мн. окончания *-а* в прочих падежах всегда ударение также падает на флексию. Например: *огоро́ды, огоро́дов, огоро́дам, подъе́зды, подъе́здов, догово́ры, догово́ров, догово́рам,* но — *берега́, берего́в, берега́м, сорта́, сорто́в, сорта́м* и т. д.

Окончание *-а* в им. мн. существительных муж. рода новое по происхождению. Оно первоначально было окончанием им.-вин. падежа двойственного числа у подвижноударяемых существительных. Например: *бе́рег, бе́рега* и *два берега́; го́род, го́рода* и — *два города́*. С утратой в русском языке категории двойственного числа формы на *-а* у группы подвижноударяемых имен существительных были осмыслены как новые формы мн. числа; напротив, формы на *-а* у неподвижных по ударению существительных, совпадающие с род. пад. ед. числа, были синтаксически переосмыслены и явились для языкового восприятия как новые сочетания числительного *два* (а позднее также *три* и *четыре*) с существительным в родительном падеже ед. числа (ср. *два брата).* Новые формы им. мн. на *-а* могли фактически возникнуть в языке после утраты самой категории двойственного числа. Судя по памятникам, они действительно не восходят ранее, чем к XV—XVI вв. Как формы новые они робко выступают на протяжении XVI—XVII вв., но с Петровской эпохи заметно растут и в пределах русской лексики на протяжении XIX в. становятся нормой нашего литературного языка.

Одновременно, сначала очень незначительно, а с XIX в. широко распространяются эти формы на *-а* на смежные группы имен существительных с неподвижным типом ударяемости. Главным образом это иноязычные слова и в очень ограниченном числе — русские (из области старой книжной лексики).

В отличие от основного контингента русских слов — подвижноударяемых, вообще вошедших в систему языка в новых формах на *-а* и

сохраняющихся в нем до настоящего времени, этот вторичный слой образований на *-а*, очень значительный и возрастающий непрерывно на наших глазах, далеко не может считаться прочно вошедшим в общий литературный язык.

Дело в том, что очень многие примеры с формами на *-а* этой последней категории обязаны своим происхождением профессиональной речи, свойственны именно ей и не всегда могут считаться нормализованными, допустимыми для общего литературного употребления. С другой стороны, многие образцы подобных форм на *-а* являются специфическими формами просторечия или разговорного языка.

Все это объясняет значительную пестроту нашего современного языка в употреблении этих форм. <...>

Остановлюсь для примера еще на вопросе (из области морфологии глагола) об образовании кратных форм глаголов на *-ивать (-ывать)* от основ с корневым *о* под ударением. В старшем слое этих образований мы находим в корневой части гласный *а* под ударением (в соответствии с *о* отправной глагольной основы). Например, *выпрашивать* при *просить, похаживать* при *ходить, прокалывать* при *колоть* и т. п. В позднейшем слое этих образований (обычно от именных основ) гласный *о* отправной глагольной основы первоначально сохранялся.

Однако под воздействием подобных образований старейшего типа и здесь начался процесс замены корневого гласного *о* гласным *а*. Явление это известно нашим диалектам, наблюдается оно и в литературном языке, особенно заметно с конца XVIII в. В литературном языке изменение это шло постепенно на всем протяжении XIX и XX вв., представляя собой развивающееся явление. Это последнее обстоятельство объясняет известную неустойчивость в употреблении разных вариантов образований в современном нашем литературном языке; преобладающим и в настоящее время в литературном употреблении является тип форм с сохранением гласного *о*. Таковы, например, глаголы: *озабочивать, подытоживать, приохочивать, разрознивать, узаконивать, упрочивать, приурочивать, ускоривать,* или также *заподозривать, обеспокоивать*. От этих глаголов могут встретиться в разговорном языке вариантные образования с корневым гласным *а* (не *о*). Они, однако, являясь отчасти областными, отчасти разговорными или просторечными, не могут считаться нормальными литературными образованиями. С устойчивым коренным гласным *а* для современного литературного употребления могут быть отмечены лишь следующие глаголы: *обрабатывать, заболачивать, унаваживать, затрагивать, задабривать, усваивать, оспаривать* (но: *переспоривать), притаптывать, опоражнивать, удваивать, утрачивать, сплачивать, успокаивать*. В редких случаях и здесь в разговорном языке могут встретиться вариантные формы старейшей поры, с корневым гласным *о*, но это для современной литературной нормы уже стареющие или устарелые образования. Сравните, впрочем, глагольную пару *оспорить — оспаривать,* но *переспорить — переспоривать.*

Не касаюсь многообразных иных вопросов как морфологии, так и синтаксиса с вариантностью форм, представляемых языком.

VI

Русский язык — сам по себе язык большой выразительной силы. Высказываний на этот счет в характеристике русского языка много, начиная с дифирамба русскому языку Ломоносова. Поэтому практически необходимо бороться за выразительность нашей речи, т. е. тщательно работать над своим языком и стилем. Все величайшие деятели русского слова напряженно работали над своим языком и настойчиво учили каждого так именно относиться к своему языку. Таковы Карамзин и Батюшков, с чрезвычайной тщательностью работавшие над языком. Нельзя, конечно, не назвать имени Пушкина, рукописное наследие которого показывает безостановочную работу его над языком. Можно вспомнить о том, что письма, например, Пушкин редко писал без черновиков, а сохранившиеся отдельные письма Пушкина в первоначальном черновом наброске и отработанном набело виде свидетельствуют о громадной работе Пушкина над своим языком. Вот почему письма Пушкина служат для нас образцами прозы. Таковы же многие другие деятели русского слова — Лермонтов, Тургенев и т. д., в наше время особенно Чехов и М. Горький.

Можно, например, видеть, как сам Ленин тщательно работал над языком и дал образцы действительно чеканного по обработанности языка. В работе над языком и стилем, в стремлении достигнуть большей выразительности речи необходимо при выражении своей мысли искать «нужных» слов, кратких и ярких, недвусмысленных, четко отвечающих требованиям мысли. Необходимо всячески бороться с употреблением шаблонных речевых штампов, с прикрашиванием речи вычурами, с игрой в оригинальничанье, с витиеватостью речи. Необходимо избегать заимствованных слов или выражений, если имеются русские слова в одинаковом значении. Конечно, следует избегать и употребления сокращенных слов разных типов, так как эти слова, мало сказать, что сами обладают нулевой выразительной силой, — они портят все речевое окружение, лишая его выразительности. Выразительна речь предельно четкая в составляющих ее элементах, краткая и простая в своем выражении, ясная и понятная для широкого восприятия. В этом смысле простота языка — необходимое условие самой выразительности речи.

Русский литературный язык богат лексически, богат и стилистически. Ломоносову принадлежит первая попытка дать стилистическую дифференциацию русского литературного языка. На ней выросло его учение о трех стилях. По этому учению определенным жанрам литературных произведений свойствен определенный стиль или возможность одновременного сочетания в них и одного и другого стиля. Но, по верной мысли Ломоносова, не должно быть терпимо прихотливое смешение стилей в любом виде литературных произведений. Это последнее положение Ломоносова, правильность которого может быть подтверждена всем последующим ходом развития русского литературного языка, сохраняет свое значение и до нашего времени. Нельзя книжный язык в работе научного содержания скрещивать с элементами разговорного стиля или в произведении высокого лириче-

ского жанра перемешивать нормальный литературный язык с просторечной стихией и т. п.

Русский литературный язык за два века, отделяющие нас от эпохи Ломоносова, неизмеримо вырос, обогатившись сильнейшим образом и в стилистическом отношении. Сравните широкие вкрапления в язык диалектного характера в 60-е годы и позднéе подобное же вкрапление элементов профессиональной речи, просторечия и т. д.

То же произошло в языке в больших масштабах в начальный революционный период. В результате стилевые отношения в литературном языке в эту пору значительно осложнились. Дискуссия по вопросу русского литературного языка в начале 1930-х годов имела большое значение в том отношении, что она установила грани допустимого использования диалектизмов в нормах литературного языка. Это, несомненно, повысило уровень, удельный вес высоких форм литературнóго языка в целом.

Но собственно то, что имело непосредственное отношение к элементам диалектным в составе русского литературного языка, должно относиться и к прочим «нелитературным» его элементам: к просторечию, к элементам разговорной речи, входящим в состав литературного языка.

Наш литературный язык не оскудеет и не обеднится, а, напротив, окрепнет и вырастет в более строгих и высоких своих формах, если мы с большой разборчивостью как в письменной, так и в живой речи будем относиться к использованию не только диалектных элементов, но и иных не чисто литературных пластов, каковы элементы профессионального языка, просторечие, да и известные элементы живой разговорной речи. Этим будет достигнута бóльшая высота нашего литературного языка, о которой так же надо заботиться, как о его чистоте и правильности.

Обнорский С. П. Культура русского языка. М. — Л., 1948. Перепечатано в кн.: *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960. с. 272—293.

Л. В. Щерба

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Литературный язык, которым мы пользуемся, — это подлинно драгоценнейшее наследие, полученное нами от предшествующих поколений, драгоценнейшее, ибо оно дает нам возможность выражать свои мысли и чувства и понимать их не только у наших современников, но и у́ великих людей минувших времен.

Более пристальное рассмотрение нам показывает, что наш литературный язык часто заставляет нас отливать наши мысли в формы, им заранее заготовленные, что он иногда шаблонизирует нашу мысль; но дальше оказывается, что он же дает материал для преодоления этих форм, для движения мысли вперед. Ищущим, настойчиво

добивающимся он позволяет быть творцом выражения новой мысли, он позволяет дополнять и развивать себя. Таким образом, он является и нашим отцом и нашим детищем. Что же может быть ближе и дороже нам, чем «н а ш литературный язык»?

Прежде чем я обращусь к поэту, который несравненно лучше меня выразит все эти мысли, позволю себе сделать небольшое отступление, которое как раз тоже будет некоторой иллюстрацией сказанного.

Может возникнуть вопрос, не лучше сказать: «Что может быть ближе и дороже нам, чем родной язык?» И верно, слово *родной* — волшебное слово, оно затрагивает сокровеннейшие стороны нашего существа, оно согревает своим интимным теплом все то, к чему прикладывается в качестве эпитета: *родная страна, родной дом, родная мать, родной язык*. Понятие это лежит в основе всей нашей национальной политики, которая делает Союз наш подлинно союзом братских народов. И тем не менее я сознательно не употребил этого слова, заменив его лишенным всякой эмоциональной окраски словечком *наш* — «наш литературный язык», — и сделал это потому, что для многих из нас русский литературный язык, быть может, и не родной язык, но язык, на котором мы привыкли думать, воспринимать чужие мысли и чувства и выражать свои, язык, общий у нас во всем коллективом граждан нашего братского Союза. Поэтому он *наш*, а это больше чем родной; но я не могу кратко выразить тот пафос, то тепло, которое я хотел бы придать этому понятию, так как наш литературный язык не имеет еще для этого простых готовых средств. Что же, должны ли мы отвернуться от него в силу этого? Конечно, нет, так как без него мы немы. Должны ли мы перестать любить наш литературный язык, который не всегда поспевает за дерзаниями нашей мысли? Конечно, нет, так как только любящим его, т. е. в совершенстве владеющим им, открывает он свои возможности, открывает пути, на которых можно найти выражения, вполне адекватные новым мыслям и чувствам. Его надо любить и неустанно изучать в его совершенных образцах, но вместе с тем и бороться с ним, стремясь найти новые способы выражения новых мыслей.

Обо всем этом прекрасно говорит Валерий Брюсов в своем не очень известном стихотворении «Родной язык». <...>

Но прежде чем заняться рассмотрением специально русского литературного языка, надо остановиться немного на выяснении природы литературного языка вообще. Всякое понятие лучше всего выясняется из противоположений, а всем кажется очевидным, что литературный язык прежде всего противополагается диалектам. И в общем это верно; однако я думаю, что есть противоположение более глубокое, которое, в сущности, и обусловливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков.

Надо прежде всего предостеречь от смешения литературного и письменного языков: всякий письменный язык будет, конечно, литературным в том смысле, какой я придаю этому термину, но литературный язык не обязательно должен быть письменным. Наиболее очевидным примером этого являются разные виды оратор-

ской речи. Но сюда же, конечно, относится и всё так называемое народное творчество, будут ли это былины, или частушки, или сказки, или просто рассказы, анекдоты.

Если вдуматься глубже в суть вещей, то мы придем к заключению, что в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, противополагаемый диалогу — разговорной речи. Эта последняя состоит из взаимных реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, определяемых ситуацией или высказыванием собеседника. Диалог — это в сущности цепь реплик. Монолог — это уже организованная система облеченных в словескую форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог есть литературное произведение в зачатке. Недаром монологу надо учить. В малокультурной среде только немногие, люди с тем или иным литературным дарованием, способны к монологу; большинство не в состоянии ничего связно рассказать. Все это можно наблюдать каждый день кругом себя; но не всегда это доходит до сознания. Я впервые, обратил на это внимание при моих диалектологических штудиях... и притом в среде со значительным школьным образованием, по-видимому, недостаточно, однако, устремленным на развитие монолога, т. е. попросту на умение рассказывать.

Очевидно, что структура реплик (диалога) и структура монолога (литературного языка) будут совершенно разные. Репликам абсолютно не свойственны сложные предложения, которые являются уделом лишь монолога. Зато в монологе обыкновенно не бывает неполных предложений, из которых нормально состоят все реплики. Кроме того, — и это собственно и является самым важным — репликам свойственны и всевозможные фонетические сокращения, и неожиданные формообразования и непривычные словообразования, и странное на первый взгляд словоупотребление, и, наконец, всякие нарушения синтаксических норм.

В самом деле, кто в языке реплик, в быстром диалоге не наблюдал за собой таких вещей, как *драсте — драсте* вместо *здравствуйте; нет туфлéй* — вместо *нет туфель; мой окны* вместо *мой окна; обезбáливать* вместо *обезбóливать; подгинать* вместо *подгибать; стережение твоих вещей* в смысле *охранение твоих вещей; я не позволю играть над собою* (контаминация *играть собой* и *издеваться над собой*); *это играет большое значение* (вместо *роль*) и т. п. Я привожу случаи, которые наблюдал, вероятно, каждый и нелингвист, но если заняться систематически регистрацией всех «оговорок» и «обмолвок», то можно записать такие перлы, про которые их авторы будут с ожесточением утверждать, что они никоим образом не могли сказать что-либо подобное. Все эти оговорки происходят лишь благодаря недостаточному контролю сознания при спонтанном диалоге. Причины же их лежат, с одной стороны, в стремлении к упрощению нашей речевой деятельности и во влиянии разных аналогий, а с другой — в стремлении как можно скорее найти наиболее адекватное выражение оттенку нашей мысли в данной ситуации: совершенно очевидно, что на упрек: *Чего ты не*

стерег моих вещей?, ответ самый естественный будет: *Надоело мне* ***это стережение*** *твоих вещей*.

В монологической речи всего этого не бывает или бывает в гораздо меньшей степени: она протекает более в рамках традиционных форм, воспоминание о которых при полном контроле сознания является основным организующим началом нашей монологической речи.

Таким образом, литературная монологическая речь не дает отступлений от нормы или дает их крайне мало. Диалектическая же разговорная речь, наоборот, соткана из всяких изменений нормы. Можно сказать, что все изменения языка, которые потом проявляются и в монологической речи, куются и накопляются в кузнице разговорной речи. И это вполне понятно: в диалоге, т. е. при коротких репликах, ситуация, жест, выражение лица, интонация — все это настолько помогает взаимопониманию, что слова и их формы перестают играть сколько-нибудь существенную роль в этом процессе, и речь легко сводится к одному словечку *того*, которое может обозначать что угодно: *Да он, знаете, того; Он его и того* и т. д. В более или менее длинном монологе, т. е. при рассказе, это абсолютно невозможно, прежде всего так как отсутствуют ясные ситуации, а при известных обстоятельствах и жест, и выражение лица могут оказаться недейственными. Поэтому никакие отступления от нормы не страшны в разговорной речи; их в буквальном смысле никто не замечает — ни говорящий, ни слушающий. В монологической речи они немыслимы.

И далее, в диалоге принимают участие обыкновенно два лица, чаще всего и прежде всего два так или иначе социально связанных между собой лица, которые, как мы говорим, понимают друг друга с полуслова. Монолог чаще всего адресуется к ряду лиц, среди которых могут быть близкие и неблизкие, и вовсе чужие: все это лишает возможности рассчитывать на непосредственное понимание и заставляет прибегать к традиционным формам речи, к литературному языку, который — один для всех, своих и чужих, и который, таким образом, возвышается над всем этим разнообразием ситуаций и людей.

Из сказанного вытекает и всем понятное противоположение литературного языка и диалекта, с которого я начал (при этом надо иметь в виду, что диалекты могут быть местные, т. е. объединяющие людей географически, и социальные, т. е. объединяющие людей по профессии, классу и т. п.). Литературный язык — один для всех, своих и чужих <...>, тогда как диалект обслуживает только определенную группу людей.

В этом плане литературный язык уже не монолог, противополагаемый диалогу, это самостоятельный диалект, но особого типа, «наддиалектный диалект», если можно так выразиться; это второй язык для всех говорящих на диалекте, но второй, который является первым по своему значению, по своей социальной роли. Есть люди, которые знают только литературный диалект, только этот второй язык. При нем образуется свой разговорный язык и даже языки.

Чем большее число диалектов объединяет данный литературный язык, тем традиционнее неподвижнее должны быть его нормы. Он не может следовать за изменениями в разговорном языке того или другого

диалекта, так как он тогда перестанет быть всем понятным, т. е. перестанет выполнять ту основную функцию, которую должен выполнять литературный язык и которая, в сущности, только и делает его литературным, т. е. общепринятым, а потому и общепонятным. Этим и объясняется тот факт, что мировые литературные языки сравнительно мало меняются в течение веков, несмотря на большие пертурбации, переживаемые коллективами, которые этими языками обслуживаются.

Чем большее число диалектов местных и особенно социальных <...> объединяет данный литературный язык, или — что то же — чем дифференцированнее общество, которое он обслуживает, тем сложнее его стилистическая структура, и этим он отличается как от литературного языка — монолога, так и в принципе и от разговорного языка.

В обществах, знающих уже письменность, литературный язык прежде всего раздваивается на устный и письменный, что, конечно, может перекрещиваться и с другими делениями. Различия между этими разновидностями литературного языка определяются, с одной стороны, их разной функциональной направленностью, а с другой, однако, и чисто техническими причинами.

В самом деле, в устной речи невозможны те сложные построения, которые характеризуют, например, немецкий письменный язык и которые для своего понимания требуют в конце фразы возможности возврата к их началу. <...>

В письменной же речи никак не могут быть переданы интонации живой речи и, в частности, так называемые логические ударения. Поэтому, если я желаю сообщить, что проходивший вчера вечером человек был Иван Иванович, я могу в устной речи сказать: *Иван Иванович приходил вчера вечером,* сделав логическое ударение на *Иван Иванович*; но написать так я не могу, так как в письменной речи это будет сообщение о факте прихода Ивана Ивановича вчера вечером. Чтобы выразить в письменной речи сообщение, что приходивший вчера вечером человек был Иван Иванович, я обязательно должен написать: *Вчера вечером приходил Иван Иванович.* Этот пример ясно показывает пропасть, разделяющую письменный литературный язык от устного; но он же показывает еще большую пропасть, разделяющую литературный язык, который чаще всего бывает все же письменным, от разговорного: в этом последнем интонация, логическое ударение являются едва ли не основными выразительными средствами, чего по существу вещей не может быть в письменном языке. <...> Из этого вытекает и практическое правило поведения: не переносить синтаксических форм разговорной речи в письменную, а если делать это, то лишь с большой осторожностью.

Оставив для простоты устный литературный язык в стороне, перейдем к разным формам письменного языка. Здесь найдем прежде всего две большие группы его разновидностей: разные формы языка художественной литературы и разные формы делового языка. Обращаясь к последним, мы видим тут канцелярский язык, или стиль, язык законов, научный язык, эпистолярный стиль, переходящий в том

смысле, как обыкновенно употребляют этот термин, в формы художественного языка, и другие. Я назвал разновидности, наиболее осознанные среди нелингвистов; на самом деле их очень много — достаточно указать на медицинскую разновидность, которую все легко себе могут представить и которая имеет даже свой разговорный язык.

Можно сказать — и многие нелингвисты так и думают, — что все эти разновидности, в сущности, не нужны и что лучше было бы, если бы все писалось на некотором общем языке. Особенно склонны люди это думать о канцелярском стиле — термин, который приобрел даже некоторое неодобрительное значение. Конечно, во всех этих разновидностях существуют бесполезные пережитки вроде, например, архаического *оный*, канцелярского стиля, но в основном каждая разновидность вызывается к жизни функциональной целесообразностью. Так, основная разновидность канцелярского стиля имеет своей задачей представить все обстоятельства дела во всех их логических взаимоотношениях вместе с выводом из них в одном целом. Отсюда вытекает культура сложных предложений по способу подчинения в канцелярском стиле. И в самом деле, подобным образом хорошо построенные предложения дают возможность читателю все сразу понять и сразу же принять соответственное решение. Если изложить содержание такого сложного предложения в виде независимых друг от друга элементов, то читателю потребуется значительное количество времени и энергии на то, чтобы свести эти элементы в единое логическое целое и сделать соответственные выводы.

Язык законов требует прежде всего точности и невозможности каких-либо кривотолков; быстрота понимания не является уже в таком случае исключительно важной, так как заинтересованный человек безо всякого понукания прочтет всякую статью закона и два и три раза.

Зато язык прокламаций, имеющий в виду широкие народные массы, должен схватываться на лету, должен бить в одну точку и не разменяваться на мелочи и оговорки — все это тоже находит свое языковое выражение.

Научный язык имеет свою специфику: строгость в выборе терминов, которые не должны допускать никаких двусмысленностей.

Эпистолярный стиль имеет множество вариантов в зависимости от социальных взаимоотношений корреспондентов. Эти разновидности были всегда так очевидны, что в прежние времена составлялись особые руководства для писания писем, называвшиеся «письмовниками».

Язык художественной литературы имеет, конечно, гораздо больше вариаций, чем деловой язык, но они не так очевидны и во всяком случае не так легко классифицируются. Но главное, что они имеют совершенно иную направленность: они должны рисовать все то разнообразие разговорных, социальных и отчасти и географических диалектов, которые объединяет данный литературный язык. Через язык рисуется та социальная среда, к которой принадлежат действующие лица. При этом все дело в том, что диалекты вводятся в ткань литературных произведений, конечно, не полностью, а лишь в очень немногих элементах, являющихся как бы условными намеками на данные диалекты. <...>

Эти элементы должны быть общепонятны, но входят в литера-

турный язык как особый слой, характеризующий тот или другой диалект или даже язык. Украинские *батько* в смысле отец, *жинка* в смысле жена и многое другое входят в русский литературный язык как украинизмы, но *выданнѧ* — издание, *хвылына* — минута, *пыка* — рожа, морда, *рожа* — роза не войдут в русский литературный язык, пока тем или другим способом не станут общепонятны.

Если начать со способов изображения географически разной среды, то можно вспомнить, что мы говорим, например, о *деревнях* у русских, о *хуторах* на Украине, об *аулах* на Кавказе, о *кишлаках* в Средней Азии, о *заимках* в Сибири.

Нужно заметить, что все эти условные обозначения могут быть очень неточны. Крайним примером такой неточности и условности является французское обозначение всех восточных народов словом tartare.

Далее, например, Украина и украинский язык изображается, кроме вышеуказанных *батько* и *жинка*, посредством слов *хата* вместо изба, *жито* вместо рожь, *парубок* вместо парень, *дивчина* вместо девушка, *брехать* вместо лаять, в прежние времена еще и посредством *горелка* (или *горилка*) вместо водка, *гопак* вместо казачок и т. д. Для характеристики Средней Азии служат, кроме *кишлака* в смысле деревня, *паранджа* (которой отвечает *чадра* на Кавказе), *бай* в смысле кулак, *декханин* в смысле крестьянин, *арык* в смысле ирригационный канал и т. д. <...>

Все эти примеры взяты наудачу и вовсе не имеют целью нарисовать сколько-нибудь полную картину в этом направлении. Любопытно только отметить, что в литературном языке почти что нет способов локализировать точнее русские крестьянские диалекты; по-видимому, здесь превалируют социальная точка зрения. Так называемые областные слова, в значительном количестве вошедшие в русский литературный язык, имеют целью характеризовать действующих лиц как крестьян: таковы *зипун* в смысле кафтан, пальто, *панева* в смысле юбка, *рушник* (ручное полотенце), *зимник* в смысле санный путь, *изборна* в смысле жмыхи, *редина, реднина* в смысле редкая ткань, *рядно* в смысле грубый холст и т. д. Сюда же, может быть, относятся и такие слова, как *баловать, пошаливать* в смысле грабить, *играть свадьбу* в смысле справлять свадьбу и т. п. Такие слова являются переходными между словами специфически крестьянскими и словами, которые получили в нашей лексикографии название п р о с т о р е ч н ы х, т. е. характеризующих людей, не вполне овладевших литературным языком. Надо, впрочем, отметить, что элементы просторечия часто в большом ходу в разговорном языке людей и владеющих литературной речью. Таковы: *авось, небось, кажись, бордовый* (цвет бордо), *боязно, ржа* [слово, которое во времена Пушкина было литературным] (ржавчина) и др.

В таком же плане можно говорить о слое фабричных слов в литературном языке, о слое школьных слов и о многих, многих других слоях.

Особо стоят три, если не четыре соотносительных слоя слов — торжественный, нейтральный и фамильярный, к которым можно прибавить и четвертый — вульгарный. [На самом деле их,

конечно, больше, и все дело оказывается гораздо сложнее, чем оно здесь представлено. Достаточно вспомнить о так называемых архаизмах, модернизмах, варваризмах и т. п.]. Их иллюстрировать можно, например, следующими рядами: *лик, лицо, морда, рожа; вкушать, есть, уплетать, лопать* или *жрать*.

[*Кушать* относится сюда же, но занимает особое место рядом с *есть*. Оно, кстати сказать, является прекрасным примером сложности системы литературного языка: *кушать* неупотребительно ни в первых, ни в третьих лицах, а только в повелительном наклонении, где оно заменяет формы *ешь, ешьте*, являющиеся уже фамильярными, и с осторожностью в форме вежливости (2-е лицо мн. ч.), где оно легко может получать слащавый оттенок. Форма 3-го лица ед. ч. может употребляться лишь как выражение нежности по отношению к ребенку. Что касается слов *трескать, шамать*, то они являются нелитературными, арготическими.]

Совершенно особо стоит стихотворный язык, и не с точки зрения его собственно поэтической функции, а с узколингвистической: он традиционно допускает такие слова, которые вовсе невозможны в обыкновенной речи, как например, *хладный* вместо *холодный*, *пламень* вместо *пламя* и многое другое.

Еще более особо стоит язык драмы — своеобразный продукт контаминации разговорного и литературного языков.

В заключение этого отдела я должен сказать, что, к нашему великому стыду, многое здесь для нас еще неясно. Русским филологам предстоит еще большая работа по созданию настоящей полной стилистики русского литературного языка. В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок.

Из всего сказанного ясно, что развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом.

Теперь перейдем к вопросу, чем определяется сравнительное достоинство отдельных литературных языков. Не требует доказательств, что оно определяется прежде всего богатством наличных средств выражения как для общих, так и для частных понятий. Не так очевидно, что оно определяется также и богатством синонимики вообще. Однако нетрудно заметить, что синонимические ряды обыкновенно образуют систему оттенков одного и того же понятия, которые в известных условиях могут быть не безразличны. Возьмем, например, цикл слова *знаменитый* (в применении к человеку), с которым конкурируют *известный, выдающийся, замечательный* и *большой*. Все эти слова обозначают, конечно, одно и то же, но каждое подходит к одному и тому же понятию несколько с особой точки зрения: *большой ученый* является как бы объективной характеристикой; *выдающийся ученый* подчеркивает, может быть, то же, но в аспекте несколько более

сравнительном; *замечательный ученый* говорит об особом интересе, который он возбуждает; *известный ученый* отмечает его популярность; то же делает и *знаменитый ученый,* но отличается от *известный ученый* превосходной степенью качества.

Подбным образом можно было бы разобрать ряд: *кое-кто из читателей, отдельные читатели, некоторые читатели* и множество других синонимических рядов.

Не так очевидна важность синонимов для обозначения новых понятий; однако понятно, что слово *танцовщик* — синоним слова *танцор, плясун*, отдифференцировавшийся от своих собратьев. Синонимы, таким образом, являются до некоторой степени арсеналом готовых обозначений для вновь возникающих понятий, дифференцирующихся из старых.

Еще менее очевидна техническая роль синонимов. Между тем только она дает свободу маневрирования в литературном языке. В самом деле: в первоначальном наброске моего доклада я написал: «Два так или иначе социально связанные *друг с другом* лица, которые, как мы говорим, понимают *друг друга* с полуслова». Получилось нескладное повторение сходного выражения, но синоним *между собой* вместо *друг с другом* сразу спас положение.

Наконец, — и это едва ли не самое главное, хотя и наименее очевидное, — достоинство литературного языка определяется степенью сложности системы его средств выражения в том смысле, как это было мной нарисовано выше, т. е. богатством готовых возможностей выражать разнообразные оттенки.

Спрашивается, удовлетворяет ли наш русский литературный язык всем этим требованиям? Объективный ответ, мне кажется, дан нашей действительно великой литературой: раз можно было создать такую литературу, значит и язык наш стоит на высоте стоящих перед ним задач. А объективное подтверждение того, что наша литература подлинно великая, я вижу в том, что она не только национальная литература, но что она и интернациональна. Несмотря на трудности языка, она переводится и читается всем миром; мало того, она оказала то или другое несомненное влияние на ход мировой литературы, и это констатируем не мы, русские ученые, которых можно заподозрить в пристрастии, а это констатируют иностранные ученые, которых, конечно, далеко не всех, скорее, и зачастую не без основания, можно заподозрить в обратном пристрастии.

Обращаясь к рассмотрению вопроса в лингвистическом аспекте, нужно констатировать прежде всего исторически сложившееся свойство русского языка — не чуждаться никаких иностранных заимствований, если только они идут на пользу дела.

Русский литературный язык начал с того, что усвоил себе через посредство средневекового международного языка Восточной Европы — восточной латыни, если так можно сказать, — языка, неудачно называемого церковнославянским, целый арсенал отвлеченных понятий, полученных от греков. *Благодать, благодарить, благословение, страсть, отвлечение, наитие, создание* и множество других подобных слов — все это греческое наследие в славянской оболочке. *Поэтика,*

реторика, библиотека — все эти поздние слова имели своих греческих предшественников в виде *пиитики, риторики, вивлиофики* и т. п.

Но дело не только в этом греческом наследии, а в самой этой «восточной латыни», в этом церковнославянском языке. Будучи, в противоположность настоящей латыни, в общем понятен всякому русскому человеку, так называемый церковнославянский язык обогатил русский не только багажом отвлеченных понятий и слов, но и бесконечными дублетами, которые сразу создали в русском языке сложную систему синонимических средств выражения: *он всему делу голова* и *он глава этого дела; в результате переворота горожане превратились в граждан; разница в годах заставила их жить розно; рожать детей — рождать высокие мысли* и т. п.

Если бы русский литературный язык не вырос в атмосфере церковнославянского, то немыслимо было бы то замечательное стихотворение Пушкина «Пророк», которым мы восторгаемся и до сих пор. <...>

Позднее, с XVI в., начинается влияние западных языков — латинского, немецкого, французского и, меньше, английского, голландского, итальянского, давших русскому языку всю массу интернациональных слов и богатую научную и техническую терминологию. XVIII век протекает под знаком влияния французского языка, который формирует значение многих русских слов и оборотов. Нельзя не упомянуть и восточных языковых влияний, идущих, по-видимому, особенно из Средней Азии, бывшей в свое время передовой культурной страной.

Я не говорю об исконных русских элементах, которые, конечно, составили основу русского литературного языка, не говорю и о русских диалектах, которые все время давали богатый материал нашему литературному языку. Именно постоянная живая связь с живым народным языком, которую так пропагандировал наш замечательный лексикограф середины прошлого века В. И. Даль, и помогла нам переварить все то, что поглотил русский литературный язык за 1000 лет своего существования. Пушкинские просвирни помогли нам избавиться от мятлевских де Курдюковых, т. е. от бессмысленной иностранщины, и мы имеем в современном русском языке элементы весьма разнородные по происхождению, но спаянные в единую сложную систему. Эта разнородность и обусловила оригинальность нашей языковой культуры. Воспользовавшись всем багажом Запада, мы остались тем не менее самими собой именно благодаря этой черте всей нашей культуры.

Амальгама, которая получилась в русском языке, так органична, что она до сих пор далеко не всегда раскрыта в своем генезисе. Всякий понимает, что *глава, млечный, гражданин* — так называемые церковнославянские слова, что *балет, вальс, соус, мебель, авиатор* — французские слова, что *революция, конституция, абсолютный* — в конечном счете латинские слова, что *философия, грамматика, арифметика* — греческие слова и даже, что *балык, башлык, шашлык* — турецкие. Но никому не придет в голову искать в слове *влияние* французское influence или в выражении *На берегу (пустынных) волн* искать французское — и дальше латинское, а может быть и греческое — au bord des ondes, видеть в словах *вражеский, пустынный* церковнославянизмы.

Разнородность элементов дала основу нашей стилистике; старые книжные элементы продолжают свое бытие в торжественной, возвышенной речи, народные элементы образуют обыденную речь, утонченную зачастую совершенно незаметным для невооруженного глаза французским влиянием, а интернациональная терминология составляет ткань научного языка.

Мы видим, таким образом, что русский литературный язык действительно выковал себе очень сложную, а потому и отзывчивую систему выразительных средств. На это потребовались века, ибо только с Пушкина приобретает наш век свою полную гибкость и способность выражать все, что нужно. Зато теперь в наших руках находится драгоценнейшее орудие, орудие мысли, орудие воздействия и взаимодействия, орудие, созданное трудами длинного ряда поколений.

Выше я говорил, что суть всякого литературного языка в его стабильности, в его традиционности. Когда чью-либо речь характеризуют словами: «Он говорит литературно», — то это именно и значит, что он говорит согласно традиционным нормам.

Спрашивается, неужели же литературный язык не изменяется, неужели наш русский литературный язык является мертвым языком? Конечно, нет — такой язык нам был бы не нужен. Как же происходят изменения литературного языка? По-видимому, они происходят в основном двумя способами.

Прежде всего литературный язык, как и всякий язык вообще, должен называть все новые понятия, нарождающиеся в данном обществе. Конечно, поскольку литературный язык обыкновенно находится в руках того или иного господствующего класса, новые понятия и названия создаются применительно к его точке зрения или во всяком случае названия эти приобретают эмоциональную окраску, соответствующую этой точке зрения. В самом слове *мужик* ничего нет обидного для крестьянина, однако оно так насыщено презрительным к нему отношением, что по справедливости было изгнано из советского словаря. Само название новых понятий происходит путем заимствования названий из той среды, откуда идут и понятия. Такое происхождение новых слов вполне очевидно для названия вещей и предметов. Таковы: *чай, кофе, кумыс, паранджа, чесуча, автомобиль, аэроплан* и тысячи подобных слов. Но это справедливо и для новых слов вообще; однако это не всегда вполне ясно, так как заимствования могут происходить не только из чужих языков, но и из диалектов, как географических, так и особенно из социальных.

Иногда может казаться, что то или другое слово возникло в недрах самого литературного языка, по правилам словообразования данного языка и из его материалов. Так можно думать про слово *самолет*.<...> Однако я уверен, что слово это возникло в военном диалекте и взято оттуда. Я думаю вообще, что литературный язык меньше сам создает, чем берет созданное жизнью, а языковая жизнь бьется и кипит главным образом в разговорном языке отдельных человеческих группировок.

В этом плане и происходит постоянное взаимодействие литературного языка и диалектов. Если бы литературный язык оторвался от диалектов, от «почвы», то он подобно Антею потерял бы всю свою си-

лу и уподобился бы мертвому языку, каким является теперь латинский язык.

Далее, изменения в содержании понятий или в их оценке тоже находят себе то или иное отражение в языке. При этом обыкновенно происходят значительные пертурбации, ибо в языке вообще, а тем более в литературном языке, являющемся сложной системой, все настолько связано, что ничего нельзя затронуть, не приведя в движение целого ряда других колесиков. Несколько примеров наглядно покажут, в чем дело. Как известно, слова *господин, госпожа* в функции титула, приставляемого к фамилии, а также слово *господа* в смысле обращения к собранию исчезли из обихода в силу тех ассоциаций, которые имели эти слова со словом *господин* в смысле барин. Заменой этих терминов явились слова *товарищ* и *гражданин*, причем, как это и естественно, слово *товарищ* первоначально употреблялось преимущественно в тех случаях, когда были основания думать, что обращаешься к единомышленникам. Постепенно употребление это несколько расширилось, но все же его происхождение и сохраняемая им благодаря этому задушевность мешают употреблять его по отношению к явно несимпатичному человеку: *гражданин Иванов,* скажем мы в таком случае. В результате слово *гражданин* в известных условиях неожиданно может получать неодобрительный оттенок, несмотря на возвышенный характер понятия, им выражаемого. Или вот другой случай. Мы, лингвисты, привыкли говорить *диалектические особенности, диалектическая дифференциация* и т. п., производя слово *диалектический* от *диалект*. Теперь когда в нашей жизни приобрели большое значение такие сочетания, как *диалектическая философия, диалектический материализм*, когда мы говорим о *диалектической действительности* и т. п., получаются иногда двусмысленности в лингвистическом словоупотреблении, и мы, лингвисты, совершенно независимо один от другого ищем замены для нашего термина и колеблемся между *диалектными различиями* и *диалектальными различиями*. Еще пример: в старом языке можно было с полным успехом сказать: *большинство коммунистической молодежи настроено идеалистически* (т. е. искренно желает блага общества). В этой мысли нет ничего неподходящего и сейчас, но сказать так неудобно, ибо слово *идеалистический* слишком утвердилось в своем философском значении.

Все подобные процессы совершенно закономерны и необходимы. Только благодаря этим изменениям литературный язык и может выполнять свою функцию — выражать наши мысли и чувства, выражать нашу идеологию.

Другие пути изменения литературного языка идут, так сказать, снизу и происходят совершенно по другим мотивам. Каждый из нас, будучи носителем литературного языка, является в то же время и носителем того или иного диалекта, если не географического, то во всяком случае социального (а иногда и не одного, а нескольких); далее, каждый из нас, естественно, принимает активнейшее участие в разговорном языке, который играет основную роль в жизни человека. Отсюда со всей неопровержимостью следует, что изменения, вырабатывающиеся в разговорном языке, а также факты диалектов мы

склонны переносить и в литературный язык. Литературный язык, как язык традиционный, сопротивляется этим новшествам, и между разговаривающим обывателем и тем же обывателем, носителем литературного языка, происходит вечная борьба. Трудно сказать, кто в этой борьбе оказывается победителем. Ибо, конечно, литературный язык принимает многое, навязываемое ему разговорным языком и диалектами, и таким образом и совершается его развитие, но лишь тогда, когда он приспособил новое к своей системе, подправив и переделав его соответственным образом. Но беда, если разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык и безнадежно испортит его систему выразительных средств, которые только потому и выразительны, что образуют систему. Тогда наступает конец литературному языку, и многовековую работу по его созданию приходится начинать сызнова, с нуля. Так было с латинским языком, когда на его основе стали создаваться современные романские языки.

Практические выводы из того, что сказано выше, и составляют смысл кампании, поднятой Горьким, о необходимости беречь русский литературный язык от засорения его диалектизмами и вульгаризмами. Я старался лишь подвести теоретический, лингвистический фундамент под его положения. В заключение приведу два примера, которые покажут, о чем идет речь, на практике.

Разговорная речь наша стремится к распространению форм множественного числа на ударенное *-а* от известных категорий имен мужского рода. В этом нет ничего удивительного и даже нового: на глазах старшего поколения *профессора́, учителя́* и т. п. сменили более старые формы — *профе́ссоры, учи́тели*. Однако нас, стариков, вполне привыкших к *профессора́, учителя́, образа́* и т. п., шокируют *инженера́, договора́, выбора́* и т. п. Около этих форм возникло немало дискуссий, в результате которых в руководящей прессе новые формы исчезли. Почему? Конечно, не ради наших стариковских ушей, а потому, что это разрушало выразительную систему русского литературного языка, который придает в словах, еще не перешедших окончательно ко множественному на *-а* ударенное, этим последним формам собирательный и даже презрительный оттенок: *инжене́ры* и *инженера́,* как *хле́бы* и *хлеба́, о́бразы* и *образа́* и т. п.

Другой пример из области произношения. В беглом разговоре неударенное *е* звучит как более или менее неясное *и*: *несу, везу,* почти как *нису, визу*. Однако при более четком произношении *е* восстанавливается. Таков закон литературного языка. Но в некоторых южных говорах *и* остается на месте неударенного *е* при всяких обстоятельствах — эти говоры так и называются и к а ю щ и м и. И недаром Тургенев в своих «Певцах» охарактеризовал орловское произношение мальчугана из конца рассказа тем, что заставил его кричать: «*Тебя тятя высечь хочи-и-ит*». Пока Ленинград, старый Петербург, район «е́кальцев», а не «и́кальцев», играл не последнюю роль в судьбах литературного языка, дело не возбуждало никакого сомнения. Теперь, когда дирижерская палочка перешла к Москве, куда «икальцы» стекаются в большом количестве, *е* литературного языка начинает подвергаться большой опасности. Раздавались уже голоса об утверждении буквы *и*

даже в орфографии. Литературный язык должен сопротивляться этому натиску, так как подобное изменение грозило бы расстройством всей выразительной системы русского языка. Сейчас произношение *вечир, миту, плисать* и т. п. мы считаем диалектным, а тогда пришлось бы считать таковым *вечер, мету, плесать* или *плясать,* и в «Пиковой даме» пришлось бы петь в интермедии *он не пришел плисать.* <...> Дело, конечно, не в «Пиковой даме», а вообще в пении, где пришлось бы все неударенные *е* заменять через *и*. Произошел бы полный переворот, но... без всякой идеологии, а потому я полагаю, что его и не будет.

Русский язык в школе, 1939, № 4. Перепечатано в кн.: *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 113—129.

Л. В. Щерба

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РУССКОМУ ЯЗЫКУ)

Позвольте в качестве мотто моей статьи выставить стихотворение Брюсова, которое как-то не сделалось популярным, хотя замечательно глубоко, по-моему, рисует сущность языка. Стихотворение это называется «Родной язык», но при его восприятии в данном случае не следует останавливаться именно на этой идее, так как содержание стихотворения значительно шире, и не в этом, как мне кажется, его пафос. Впрочем, к заглавию мы еще вернемся в дальнейшем. Вот это стихотворение:

Мой верный друг, мой враг коварный,
Мой царь, мой раб, родной язык.
Мои стихи — как дым алтарный.
Как вызов яростный — мой крик.
Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил.
Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.
Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев нежданных,
Овладевавших мной стихов.
Но часто, радостью измучен
Иль тихой упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей — отзвук твой.
Ты, ждешь, подобен великану,
Я пред тобой склонен лицом,
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль, с божеством.
Нет грани моему упорству.
Ты — в вечности, я — в кратких днях,
Но все ж, как магу, мне покорствуй
Иль обрати безумца в прах.
Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю, — ты ответствуй,
Иду, — ты будь готов к борьбе.

Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты — мститель мой, ты — мой спаситель,
Твой мир — навек моя обитель,
Твой голос — небо надо мной.

Превращая поэзию в прозу, можно сказать, что дело идет здесь о языке как системе выразительных средств данного коллектива. Система эта, как система коллектива, является данной для каждого индивида: она выше его, и он не властен ничего изменить в ней. Эта система (т. е. наш язык) имеет громадный ассортимент готовых шаблонов, готовых фраз и даже готовых мыслей. И это естественно: человеку в процессе повседневного общения нет времени для особого языкотворчества, и он в громадном большинстве случаев пользуется готовыми фразами (на самом деле это не совсем так, и акт творчества в разной мере сопутствует всякому говорению и даже пониманию речи; но обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко). Что касается «готовых мыслей», то, позволяя себе как лингвисту лингвистический каламбур, я склонен утверждать, что всякая готовая мысль есть отсутствие мысли как некоего динамического процесса. Язык наш часто помогает нам не думать; мало того, он зачастую тиранически мешает нам думать, ибо незаметно подсовывает нам понятия, не соответствующие больше действительности, и общие, трафаретные суждения, требующие еще диалектической переработки.

Возвращаюсь, однако, к Брюсову и его антитезе. Итак, наш язык со всей его системой выразительных средств обязателен для индивида — и это по той простой причине, что всякий человек, пытающийся ниспровергнуть эту систему, будет не понят коллективом. И однако эта самая система имеет богатые средства для выражения любого дерзания мысли, любых ее нюансов, вплоть до самых тонких — только надо уметь найти эти средства. Они не даны в готовом виде: готовы только шаблоны. Но они есть, и всякий ищущий находит их. Что каждый развитой литературный язык содержит в себе в этом смысле неограниченные возможности, явствует хотя бы из того, что многие писатели-революционеры могли высказать, и прекрасно высказать, самые революционные идеи на русском языке того времени, широко пользуясь всем богатством русского литературного языка. Язык — детище народа; в создании культуры нации, а следовательно, и ее языка, участвуют все общественные классы, хотя они и находятся в состоянии непрерывной борьбы. Найти способы для выражения новых мыслей — задача нелегкая и требующая высшего напряжения всех духовных сил. Поскольку способы эти заложены в том же языке, получается впечатление борьбы с ним. Отсюда и рождается у Брюсова этот образ борьбы с божеством, который так прекрасно рисует «муки творчества», стремление облечь новые зарождающиеся мысли не в готовые, но в могущие быть понятыми коллективом формы. Этот образ в поэтической форме разрешает антитезу коллективного и индивидуального в языке в виде некоего диалектического единства.

В основе всякого литературного языка лежит накопленное веками «сокровище» фраз, словосочетаний, комбинаций фраз, изречений,

пословиц и т. п. Но это «сокровище» оказывается гораздо большим сокровищем, чем обыкновенно думают. Обычно его понимают как сумму накопленной данным народом мудрости; между тем в языковом материале, унаследованном от старших поколений, заложены в виде возможностей и линии речевого поведения будущих поколений, наследников этого сокровища. Грамматика и ее правила никем не сочиняются, они выводятся из унаследованного материала — говорящими бессознательно, а учеными, составляющими грамматические книги, максимально сознательно. Но если правила грамматики большей частью не требуют особенно большого материала, то правила употребления слов выводятся из всей совокупности читаемого в данном коллективе материала, т. е. из всей актуальной литературы.

Вот элементарная, но совершенно очевидная иллюстрация сказанного. Одна пожилая дама — это было очень давно, — говоря о женской эмансипации, как-то сказала при мне: «В наше время опасались, как бы молодые девушки не стали скакать в обрыв», и все поняли, о чем идет речь, так как соответственное образное употребление слова *обрыв* подготовлено романом Гончарова. Возможно, что об этом романе была речь раньше, возможно, что и без этого все подумали именно об «Обрыве» Гончарова, но вполне возможно, что сознание собеседников до этого и не доходило. Одно несомненно, что этот новый способ выражения мысли был вызван к жизни гончаровским образом, хотя он ни в коей мере и не был еще дан у Гончарова в таком виде.

Разберем в этом плане несколько первых строк брюсовского стихотворения, с которого я начал свою статью. Оно все построено на антитезе, — причем, конечно, не выдуманный Брюсовым, но усвоенный им из мировой поэтической традиции, — это своего рода «грамматика поэзии» (я мужественно решаюсь на святотатственное соединение этих двух терминов, так как твердо убежден, что когда наши поэты и литературоведы поймут, что такое н а с т о я щ а я грамматика, то вполне согласятся со мной). Нельзя придумать более шаблонных выражений как *верный друг* и *враг коварный*; но в антитезе они очень оживают и приобретают полную выразительность. *Мой царь, мой раб,* конечно, просто заимствованы у Державина из его оды «Бог». Но это не только не мешает делу, но даже повышает значительность брюсовской антитезы, сообщая ей хорошо знакомый пафос смутно помнящегося по содержанию, но замечательного стихотворения Державина.

Мне не нравится, откровенно говоря, сопоставление *моих стихов* с *моим криком*: по смыслу это решительно слабо. Но Брюсов искусно замаскировал это расстановкой элементов третьего и четвертого стихов, поставив в центре внимания *как вызов яростный* и тем затушевав *мой крик*. Зато словосочетание *вызов яростный* надо признать исключительно удачным: *яростный* отвлечено от такого сочетания, как *яростно нападать*, и сообщает слову *вызов* всю эффективность этого сочетания. Что касается *дым алтарный*, то оно употреблено здесь приблизительно в том же смысле, как например, *фимиам*. Конечно, это шаблонное выражение, но придание ему в контексте вполне понятного значения «восхваление», может

быть принадлежит и Брюсову. Насколько это удачно — вопрос другой.

Пропускаю следующий куплет, чтобы остановиться на двух словах третьего куплета. Во-первых, словосочетание *в потаенном смысле слов* едва ли не принадлежит Брюсову и является очень удачной находкой. Известны, хоть и устарели, сочетания *потаённая лестница, потаённый ход* (теперь скорее *потайная лестница, потайной ход*) и т. п.; но вряд ли мы имеем дело в данном случае просто с переносным значением слова *потаённый*, взятого из этих словосочетаний; *потаенный смысл слов* Брюсова, конечно, не ассоциируется и с областным, и во всяком случае просторечным *потаить*. Оно скорее получает динамическую глагольную окраску по структурной связи с глаголом *затаить*, особенно в словосочетании с *затаённым дыханием* (т. е. в состоянии исключительного напряжения), а в связи с произношением через *е*, а не через *ё* воспринимается как архаизм и в результате является неизмеримо более выразительным, чем его синоним *тайный*. (Ср.: *в потаенном смысле слов* и *в тайном смысле слов*).

Обращаю, наконец, внимание на сочетание *овладевавших мной стихов*, которое, думается, тоже принадлежит Брюсову и которое сделано по аналогии с таким выражением, как *мною овладела грусть, тоска, тихая радость* и т. п., а потому прекрасно изображает стихийный характер творческого процесса.

Разберем еще пример из Маяковского. Раскрываю наудачу книгу его стихов и попадаю на стихотворение «Прочь руки от Китая!» Уже первая фраза этого стихотворения не может быть правильно воспринята, а тем более создана без языкового сокровища, унаследованного нами, в том числе и Маяковским, от наших лингвистических предков:

Война,
империализма дочь,
Совнаркома
над миром витает.

В самом деле, никто сейчас не ставит родительного падежа перед определяемым им существительным; никто не скажет: *этой книги страницы, Совнаркома постановление*. А Маяковский сказал *империализма дочь*, и выходит это удачно, как-то компактно и выразительно, и можно сказать с уверенностью, что он не повторял слышанного. Кто же когда дал ему право так сказать, и почему мы это понимаем и одобряем? Да потому, что смутно припоминаем у Ломоносова *Градов и сел ограда, возлюбленная тишина,* потому, что каждому начитанному в нашей литературе знаком этот архаический порядок слов, идущий еще из греческого языка и сейчас подчеркивающий в поэтическом языке единство понятия. Я не говорю уже о словах *призрак* и *витает,* которые выразительны и уместны здесь лишь для людей начитанных, а слово *витает* в конечном счете и понятно только при условии достаточной начитанности.

Из всех этих примеров явствует, что наша языковая сокровищница является неистощимым запасом для всякого новотворчества в области языка, которое, однако, будет понятно всем обладателям той же

сокровищницы и которое само войдет в сокровищницу будущих поколений. Сокровищница эта полна всяких готовых мыслей, готовых шаблонов, фраз, образов и оборотов и охотно снабжает ими своих клиентов, которые в большинстве случаев просто повторяют слышанное. Но она имеет в виде этих самых шаблонов и богатый запас материалов для новотворчества, для выражения новых мыслей и новых чувств. Самое главное, что мы должны осознать здесь, — это то, что наряду с наблюдением природы в широком смысле и явлений современной нам жизни языковая сокровищница является основным и единственным источником искусства слова в самом широком смысле.

Если мы отвергаем эту сокровищницу, то нам или придется обращаться к варягам, т. е. заимствовать слова и образы из других языков, или вернуться в первобытное состояние и начинать накопление с самого начала.

Из всего этого сразу же можно сделать вывод, что литературный язык тем совершеннее, чем богаче и шире его сокровищница, т. е. больший круг литературных произведений читается в данном обществе.

Далее, не менее очевидно и то, что тем богаче будет эта сокровищница, чем однороднее будет ее материал, т. е., говоря попросту, чем понятнее будут нам все литературные произведения, в нее входящие. Всякий резкий разрыв в ее составе уменьшает ее ценность: произведения, в которых мы чувствуем, что «так не говорят», а тем более, что «это и вовсе непонятно», выпадает из нашей сокровищницы. С этой точки зрения любопытно отметить, что французская революция XVIII в. хотя и внесла в язык XIX в. очень много нового, однако не создала непроходимой грани между произведениями XVII и XVIII вв. с одной стороны, и произведениями XIX и XX вв., с другой, в смысле их понятности.

И сейчас еще французская молодежь воспитывается на классической литературе, на Мольере, Расине, Лафонтене и других великих писателях XVII в. Я не говорю уже о писателях XVIII в., Руссо, Вольтере, Бомарше и других, которых читаем и мы и которые занимают почетное место во французской языковой сокровищнице. Наша актуальная литература начинается лишь с XIX в., но мы читаем и кое-что из XVIII в. и безусловно в какой-либо мере приобщаемся к народному творчеству в виде былин, сказок, песен и т. п. Однако мы должны помнить, что еще в XVIII в. жива была сокровищница нашей древней литературы, накопление которой началось еще в IX в. и которая наполнена всем тем, что имела греческая литература и культура того времени. Мы утратили эту сокровищницу в том смысле, что перестали читать нашу древнюю литературу, — и это более чем естественно. Однако наша современная сокровищница успела вобрать в себя из старой все ценное, и хотя сама она и начинается только с XIX в., но начинается не с нуля, как в этом легко убедиться хотя бы на Пушкине.

Из всего этого можно сделать и некоторые практические выводы: наши писатели обязаны с карандашом в руке штудировать и штудировать нашу литературу, и не только начиная с Пушкина, и не ожидать, что новые способы выражения новых мыслей свалятся к нам сами собой

в виде манны небесной. Надо отметить, что, по почину Горького, в этом смысле многое делается: издаются, например, две серии «Библиотеки поэта» — маленькая и большая. Эти «Библиотеки» в высшей степени полезны каждому человеку, желающему расширить свой горизонт в области истоков нашего литературного языка. С другой стороны, наша средняя школа, которая обязана готовить п о н и м а ю щ и х читателей, должна не столько рассуждать по поводу литературы, сколько напитать своих воспитанников всей совокупностью нашей классической литературы и научить их читать ее со смыслом, так, как она того заслуживает.

Из того, что в основе всякого литературного языка лежит богатство всей еще читаемой литературы, вовсе не следует, что литературный язык не меняется. Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив: почти ничто в его языке нас не шокирует. И однако было бы смешно думать, что сейчас можно написать в смысле языка вполне по-пушкински. В самом деле, разве можно сегодня написать *Все мои братья и сестры умерли во младенчестве* («Капитанская дочка»)? Это вполне понятно, но так никто не пишет и не говорит.

Неподготовленный, хотя и вполне грамотный читатель нижеприводимые стихи

> Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный,
> Без томной робости твой ловит светлый взор,
> Движенья милые, игривый разговор
> И след улыбки незабвенной

вне контекста поймет только в самом пошлом смысле. Между тем во времена Пушкина (а это стихи Пушкина) *любовник*, как и французское amant, обозначало просто «влюбленный»; *упоенный* переводило французское enivré — «опьяненный» и употреблялось в переносном смысле, а *игривый* обозначало приблизительно «оживленный, веселый». Цитированные строки как нельзя более далеки от какой бы то ни было даже тени пошлости (Пушкин даже это подчеркнул словами *без томной робости*).

Что литературный язык, как и всё в жизни, тоже изменяется, — не подлежит никакому сомнению, и надо выяснить только, какие изменения являются безусловно необходимыми по существу вещей, а каких в той или другой мере можно и должно избегать. Надо выяснить, какие изменения обогащают язык, удовлетворяя вновь возникающим потребностям мысли и коммуникации, а какие, разрушая его единство, уменьшают «сокровищницу», лежащую в его основе, а следовательно, его обедняют.

Уже более или менее a priori можно догадываться, что отмирание старого, ставшего ненужным и даже вредным, ничего не разрушает, ибо, в сущности, остается в сокровищнице языка и лишь передвигается в категории, уже существующие во всяком литературном языке: «устарелое», «специфически буржуазное» и т. п. Таковы слова: *городовой, полиция, пристав, исправник, фельдфебель, доходный дом* или *тантьема, инородны* и т. д. Эти слова пассивно существуют у нас, поскольку мы читаем старую или зарубежную литературу. В некоторых случаях они существуют и активно, когда мы говорим о прошлом

и т. п., но они лишены актуальности и реже могут служить отправным пунктом для развития значений: никому не придет в голову говорить теперь о *фельдфебельской выправке* или *фельдфебельской психологии*. Говоря проще, эти слова присоединились к таким словам, как *городничий, винный откуп, откупщик* т. п.

Совершенно очевидно, что все новые слова или новые значения старых слов, появляющиеся для обозначения возникающих новых идей и понятий или их новых оттенков, ни в какой мере не деформируют язык, а лишь обогащают его. Таковы и бесчисленные, появившиеся после революции новые слова, отражающие новую жизнь, новый быт, новое миропонимание нашей эпохи и в конце концов просто новую психологию. Сюда относятся такие бесчисленные слова, как *Совет, Советская власть, комиссариат, милиция, милиционер, Красная Армия, красноармеец, боец, трудовая интеллигенция, народный заседатель* и множество других. Громадная масса новых советских слов вошла в язык в особой форме так называемых сложносокращенных слов. Сюда относятся такие слова, как *исполком, ЦК, Политбюро, нарком, вуз, втуз, местком, колхоз, домработница* и т. п. Любопытно отметить, что все эти слова прижились просто как слова, не специально как сокращенные слова: никто не раскрывает себе *колхоз* как *коллективное хозяйство,* а скорее *коллективное хозяйство* приходится раскрывать как *колхоз*. Одно время наблюдалось чрезмерное увлечение сложносокращенными словами. Но в дальнейшем оказалось, что такое увлечение ими ведет в конце концов к затруднению взаимопонимания. В самом деле, эти слова удобны или когда они не нуждаются в расшифровке, т. е. когда они являются простыми и часто всеми употребляющимися словами, как например *колхоз, местком*, или когда их расшифровка всем очевидна, что бывает только тогда, когда одна из частей сложного слова является обыкновенным словом, а другая — своего рода префиксом или суффиксом с известным всякому значением, как например *партработник, партбилет, партсобрание* и т. п.

В тех случаях, когда расшифровка затруднена, а слово необщеупотребительное, то сложносокращенные слова решительно вредны, так как непонятны. В самом деле, что значит *ЛГУ* (Ленинградский государственный университет), *БАН* (библиотека Академии наук), *ИЯМ* (Институт языка и мышления) и т. п. Подобные слова недопустимы в литературном языке и возможны только в узких заинтересованных кругах, образуя своего рода арго.

Одним из высших мерил достоинства языка является его общепонятность.

В этом плане я хочу указать на одно замечательное отличие между дореволюционным литературным языком и литературным языком эпохи строительства социализма. До революции технические слова почти совсем не входили в литературный язык: *струпцинки, колосники, колировать, банкаброш* и т. п. — все эти слова не входили в литературный язык и не попадали даже на страницы ежедневной прессы. Это старая европейская традиция литературных языков, ярко сказавшаяся впервые на «Словаре французской Академии» XVII в., которую, между

прочим, всегда сильно упрекали за принципиальное пренебрежение к производственным терминам. Между тем это было вполне понятно: литературный язык в первую голову был тогда языком салона, языком высшего общества, которое весьма далеко стояло от всякого производства, которое, больше того, презирало всякое производство, гнушалось им. В дальнейшем идет процесс постепенной демократизации литературного языка, обслуживаемых литературным языком значительных слоев людей дéла, людей, стоящих близко к производству. В связи с этим в каждом новом издании «Словаря французской Академии» появляется все новое и новое количество производственных терминов. Тот же процесс, но не в такой четкой форме происходил и у нас. Революция резко изменила положение вещей — и не в том смысле, что реальные люди с производства сами составили то «общество», функцией которого является литературный язык, а изменилась идеология общества. Нетрудовые элементы потеряли все в обществе (постепенно и вовсе исчезает из него), и вопросы производства и его организации стали в центре внимания: элементы политехнического образования стали внедряться в общественное сознание вместе со стремлением в том или другом отношении заполнить пропасть между умственным и физическим трудом. Все это привело к тому, что производственная терминология стала вливаться широкой струей в наш литературный язык, расширяя знакомство с элементами разнообразных производственных процессов. Газеты наши пестрят такими словами, которые вовсе не знало предшествующее поколение: *зябь, взмет, врубовая машина, крекинг* и т. п. И надо сказать, что тут тоже имеется некоторый перегиб, ибо увлечение производственными терминами приводит иногда к непонятности языка.

В доказательство позвольте привести телеграмму из Архангельска следующего содержания, помещенную в одной из газет: «Сплавные операции проходят лучше, чем в прошлом году. Запони Северной Двины уже выполнили навигационный план сплотки».

Или вот еще отрывок из телеграммы о новом типе американского бомбардировщика: «Этот бомбардировщик дальнего действия — Боинг «Б-17» — идентичен прежним моделям. Отличие состоит в том, что пулеметные установки заменены пятью турелями, заподлицо утопленными в фюзеляже».

Самым деликатным, самым уязвимым и вместе с тем очень важным элементом языка является его стилистическая структура. Большинство эффектов литературной речи основано на тонкой игре стилями. Почему нам так нравится язык Ленина, например, в его больших философских работах? Да потому, что Ленин все время оживляет свое изложение разными словами другого, не научно-философского стиля. Это как раз замечательно гармонирует с его насмешками над «цеховыми учеными», которые словечка не скажут спроста.

Стилистическая структура языка состоит, как известно, в том, что слова его образуют группы по какому-либо сопровождающему их оттенку: либо это возвышенные слова — *вкушать, возвещать* и т. д., либо это обыденные слова (их можно бы назвать с некоторым основанием «внестилевыми») — *есть, сообщать,* либо фамильярные — *упле-*

тать, выкладывать (*он в пять минут выложил нам все новости*), либо официальные — *потреблять* (в смысле *есть*), *доводить до сведения* и т. д. В словаре Ушакова таких групп насчитывается 36. Их, конечно, гораздо больше (о чем говорится и в самом словаре). Уже из этого видно, какая это тонкая и сложная структура. Всякое употребление слов в ином контексте, чем тот, который определяется оттенком их группы, может вызывать тот или другой стилистический эффект и может быть неуместным. Самые элементарные эффекты вызываются, например, внесением фамильярных слов в возвышенный стиль. Примером такого элементарного комического эффекта является старинная шутка: «Хощеши дам ти подзатыльницу?» — «Абие воздам ти сторицею», где все дело во внесении житейского, хотя и стилизованного слова *подзатыльница* в церковнославянскую речь, с малопонятным *абие* (в смысле *тотчас*) и т. д. Этот невинный прием и сейчас часто вызывает у нас искренний смех. Такой же эффект получился бы в стихотворении Брюсова, если вместо *мой верный друг, мой враг коварный* сказать *мой верный приятель;* но это, конечно, разрушило бы все стихотворение.

Если кто в серьезной книге напишет «фагоциты *уплетают* микробов», это будет глупо и неуместно.

Я не буду ничего говорить о механизме противопоставления слов синонимического характера, который играет большую роль в стилистической структуре языка (примеры его даны в вышеприведенных словах). Обращу ваще внимание лишь на то, что слова сами по себе очень часто не имеют никаких признаков для их зачисления в ту или другую группу, а группы держатся только на основании строгого употребления слов, их составляющих, соответственно оттенку данной группы. Из этого вытекает, что всякое неуместное со стилистической точки зрения употребление слов разрушает стилистическую структуру языка, а язык с разрушенной стилистической структурой то же, что совершенно расстроенный музыкальный инструмент, с той только разницей, что инструмент можно немедленно настроить, а стилистическая структура языка создается веками.

С этой точки зрения «засорять язык ненужными словами» значит не только вносить новые, но ничего нового не выражающие и притом непонятные слова, но и просто употреблять слова грубые, или областные, или арготические и т. п. как обыденные (внестилевые) и этим в корне уничтожать стилистическую перспективу данного литературного языка.

Однако все то, о чем я здесь пишу, в сущности, не ново. Но на что я хотел бы обратить совершенно особое внимание — это на ту новую роль, которую русский язык призван играть среди прочих языков нашего Союза и которая заставляет нас смотреть на многие вопросы развития русского литературного языка с совершенно новой точки зрения. В самом деле, мы, строители нового, социалистического общества, являемся братским союзом чуть не двухсот народов, говорящих (а теперь пишущих благодаря нашей национальной политике) на своих родных, национальных языках. У нас у всех общее дело, являющееся основным смыслом жизни современных поколений граждан нашего Союза. Но общее дело требует и общего языка. Недаром

еще библейская мифология наилучшее средство для разрушения большого общего дела видела в наделении его участников разными языками. В литературе этой легендой пользуются в более переносном смысле, но она справедлива и в самом прямом, непосредственном смысле. Совершенно очевидно, что таким общим языком для народов СССР может быть только русский язык. Он, конечно, вовсе не должен заменить литературные языки народов, входящих в наш Союз, но он должен помогать этим народам понимать друг друга. Это обстоятельство ставит новые задачи перед русским литературным языком. Если до революции русский литературный язык обслуживал только русских, то теперь он должен обслуживать и все народы нашего Союза. В связи с этим до революции мы главным образом с любовью культивировали в нашем языке все специфически русское, родное — меткие слова и обороты, не переводимые на другие языки, вплоть до отдельных форм, которым не было аналогов в европейских языках, и вплоть до буквы ѣ, в которой для многих, как это ни странно, чуть ли не воплощалась русская народность.

Русский язык, конечно, является родным для русских, но он должен сделаться, и делается на самом деле, и международным языком социалистической культуры, по крайней мере для всех народов СССР. Мы, конечно, не можем изменить нашего языка для наших сограждан, но мы можем подумать о том, чтобы впредь не поощрять тех изменений в языке, которые, ничего не прибавляя в смысле выразительности, затрудняют усвоение языка. Мы не должны повторять ошибок французского языка, в котором существует множество внутренне не обоснованных дифференциаций, крайне затрудняющих овладение французским языком как родным. Элементарную иллюстрацию сказанного можно видеть, например, в том, что говорят je bois l'eau, le vin, но je prends le café, le thé и т. д.

И таких примеров множество.

В русском языке подобных случаев гораздо меньше. Он вообще терпимее и свободнее, и нам надо поддерживать эту разумную свободу, поскольку, конечно, она не портит языка.

Советская педагогика, 1942, № 3—4. Перепечатано в кн.: *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 130—140.

С. И. Ожегов

ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Известно, как богат и стилистически многообразен русский литературный язык. В течение веков в процессе устного общения и под пером выдающихся писателей он развил в себе сложную систему средств выражения, обслуживающих все стороны общественной жизни.

Особенно блестящая пора развития нашего литературного языка — пушкинская эпоха, когда завершается процесс формирования

русского языка как языка нации. В эту эпоху сложились основные нормы литературного языка, которые характеризуют и язык нашего времени. Тогда же наметились и те закономерности развития литературного языка, которые в основном свойственны ему и ныне; установились методы использования в нем лексических, словообразовательных и иных элементов церковнославянской стихии, пронизывающей книжную речь. Литературный язык принял ту устойчивую, по сравнению с XVIII в., форму, которая позволила строже квалифицировать и отграничивать литературную речь от народно-диалектных словарных, грамматических и произносительных элементов, от элементов жаргонной или профессиональной речи, от отживающих элементов старого книжного языка.

Совершенствование языка в процессе обслуживания усложняющихся потребностей общества является одним из важнейших законов языкового развития. От Пушкина до наших дней русский народ прошел сложный исторический путь, и все новые условия жизни народа — установление капиталистических отношений, рост революционно-демократического движения в XIX в., а затем, к началу XX в., мощный подъем рабочего революционного движения под руководством Коммунистической партии, победа Великой Октябрьской социалистической революции и построение социалистического общества в нашей стране — нашли широкое отражение в языке.

Неуклонное пополнение словарного состава и другие изменения, совершающиеся в русском языке одновременно с развитием литературно-художественных и публицистических стилей, сопровождались и изменениями стилистических норм литературного языка. Постепенное совершенствование грамматических и произносительных норм в процессе развертывания внутренних закономерностей развития языка привело к сосуществованию, на определенных этапах, новых, прогрессивных элементов и старых, отживающих. Создавались серии дублетных способов выражения, возникали колебания в стилистических, грамматических и произносительных нормах литературного языка. Кроме того, в силу ряда причин, вызванных особенностями исторического развития общества, возникали явные неправильности, искажавшие и нарушавшие нормы литературной речи.

Если изменения в языке всегда тесно связаны с изменениями в жизни общества, народа, то и само общество не безразлично к языку. Борьба за выправление колеблющихся норм литературной речи стала характерным явлением для всего послепушкинского периода развития русского литературного языка. Борьба эта шла в двух направлениях.

С одной стороны, буржуазно-дворянская интеллигенция оказывала противодействие всему тому, что вело к нарушению старых, привычных для нее норм, и противилась закреплению новых явлений, хотя бы и закономерно возникавших в языке. Так, например, раздавались протесты против употребления форм именительного падежа множественного числа с окончанием *-á* вместо *-ы*: *счетá*, *поездá*, *профессорá*, хотя для определенных разрядов существительных мужского рода это было закономерным явлением. Характерно в этом отношении и приведенное Л. Н. Толстым в третьей части его автобио-

графической трилогии исходящее из уст аристократов осуждение особенностей речи студентов-разночинцев, которые «выговаривали иностранные заглавия по-русски» или «употребляли слова *глупец* вместо *дурак, словно* вместо *точно, великолепно* вместо *прекрасно* и т. п.» («Юность», гл. XVIII).

С другой стороны, велась борьба против всего того, что считалось неправильным, нарушавшим чистоту русской литературной речи, искажавшим нормы словоупотребления или произношения. В один ряд с действительными неправильностями ставились и новые, еще непривычные явления, проникавшие в литературную речь из демократических слоев общества. Эта борьба велась на страницах периодической печати, отчасти в филологических журналах, в разного рода справочниках типа книжки В. Долопчева «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» (изд. 2, Варшава, 1909). В 1895 г. был образован недолго просуществовавший «Союз ревнителей русского слова», который ставил своей задачей борьбу с засорением русского языка иностранными словами.

Известно страстное выступление судебного деятеля П. С. Пороховщикова в его книге «Искусство речи на суде», изданной в 1910 г. под псевдонимом П. Сергеич. <...> «Наши отцы и деды, — писал Пороховщиков, — говорили чистым русским языком, без грубостей и без излишней изысканности; в наше время, в так называемом обществе, среди людей, получивших высшее образование, точнее сказать, высший диплом, читающих толстые журналы, знакомых с древними и новыми языками, мы слышали такие выражения, как *позавчера, ни к чему, ни по чем, тринадцать душ гостей, помер* вместо *умер, выпивал* вместо *пил, занять приятелю деньги*».<...> Точка зрения пуриста, уверенного в полной незыблемости языковых форм, ярко сформулированная здесь, не чужда многим нашим современникам, в том числе и филологам.

Тот же автор обратил внимание на сложность совершающихся в обществе языковых процессов. Говоря об обилии неправильностей в ударении, он следующим образом рассуждает о колебаниях в ударении слова *приговор*: «Произнесение этого последнего слова подчиняется какому-то непонятному закону: образованные люди в обществе, воспитанницы женских учебных заведений и члены сидячей магистратуры произносят: *приговóр*; так же говорят подсудимые, т. е. необразованные люди, знающие звуковые законы языка по чутью; чины прокуратуры, присяжные поверенные и их помощники, секретари судебных мест и кандидаты на судебные должности произносят: *прúговор*; я спросил трех воспитанников из старших классов реального училища, и каждый порознь сказал: *прúговор*. Различие это тем менее понятно, что никаких сомнений о правильном произношении этого слова нет».<...>

Специалисты-языковеды со второй половины XIX в. стояли в стороне от этой борьбы и не шли дальше констатирования фактов. Так, академик А. А. Шахматов в своем курсе «Очерк современного русского литературного языка» (литографированное изд., СПб., 1913), говоря о звуковых законах русского языка, лишь отмечает наличие колебаний в литературном произношении, не делая из этого никаких выводов о том, что предпочесть. Такой же описательный характер носят, например,

книги В. И. Чернышева: «Правильность и чистота русской речи» (СПб., 1911), «Русское ударение» (СПб., 1912), «Законы и правила русского произношения» (изд. 2, СПб., 1908)<...> грамматика русского языка Р. Кошутича (Пг., 1919) и другие. Проблемы нормализации языка на основе научного анализа закономерностей языкового развития не ставились. Более того, в дореволюционной филологической науке господствовали такие взгляды на задачи науки, которые препятствовали даже постановке вопросов нормализации языка как научной проблемы. Традиции М. В. Ломоносова и академика А. Х. Востокова, всегда заботившихся о нормализации литературной речи на научных основах, были забыты. Задачей языковеда считалось лишь объективное описание фактов языка.

Наиболее яркое выражение эта точка зрения нашла в словарных работах академика А. А. Шахматова. Он полностью отказался от мысли установить в издаваемом им академическом словаре границы словарного состава и грамматические нормы литературного языка. В словарь включались слова и грамматические формы слов, отмеченные в произведениях писателей, народных говорах и других многообразных источниках, собранных в словарной картотеке Академии наук. «Важная особенность словаря, — писал чл.-корр. АН СССР Е. С. Истрина, — отказ от установления я з ы к о в ы х норм. Шахматову вообще чужда была задача нормализации языка, и недаром он не раз в своих обращениях к Отделению настоятельно повторял, что вопросы нормы подлежат решению не его, редактора, но Отделения. Взамен нормативных помет он выдвигает документацию, точные ссылки на источник». <...> Таким образом, вопрос нормы решался здесь не научным анализом, а ссылкой на авторитет источника: «Характер источника ясно определяет, насколько то или другое слово следует считать общеупотребительным, насколько то или иное выражение можно признать достойным подражания». <...>

Возражая против такой нейтральной позиции, педагог И. Х. Пахман отмечал в своей записке по поводу плана академического словаря, что и писатели нередко отступают от обычного употребления, и прямо предлагал «факты языка подвергать строгой критике и в необходимых случаях исправлять их и даже отвергать, не щадя никаких авторитетов». <...> Академик А. А. Шахматов в ответе И. Х. Пахману, приводя примеры того, как трудно установить даже нормы ударения, не допускает мысли о возможности нормализации: «Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показать, *как* говорят, решалось указывать, как *надо* говорить». <...>

Нормализаторские попытки академика Я. К. Грота в статьях о русском ударении, о русской лексикографии и в академическом словаре под его редакцией не получили теоретического завершения, не были продолжены дореволюционной языковедческой наукой и только в советское время нашли отражение в лексикографической практике — в известном «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (М., 1935—1940).

В советскую эпоху вопросы нормализации языка, упорядочения словоупотребления и произношения приобрели большое общественное

значение, приняли характер борьбы за повышение культуры речи, за правильность и точность языка, за его ясность и чистоту, за умелое пользование всеми выразительными средствами языка.

Это объясняется в первую очередь тем, что функции литературного языка в период формирования и расцвета социалистических наций необычайно расширились. Широкое распространение получила устная публичная речь. Печать — книга и газета — сделались достоянием широких народных масс. Радиовещание, звуковое кино и, что важнее всего, школа со всеобщим обязательным обучением стали мощным орудием распространения литературного языка.

В огромной степени расширялся круг носителей общенародного языка в его литературной форме; народные массы овладевали нормами литературной речи. Разумеется, это не был процесс пассивного усвоения. Народ и вышедшая из его рядов трудовая советская интеллигенция вносили в литературную речь многие элементы своих речевых навыков — и в области словоупотребления, и в области произношения, и в области использования грамматических форм. Часто это были элементы, общие многим народным говорам, общенародные, укреплявшие в литературном языке прогрессивные тенденции его развития, но еще не получившие значения признанной нормы. Нередко произносились и элементы местных народных говоров или грубого просторечия; естественно, что они рассматривались как неправильности, как инородное тело в составе литературной речи. Вместе с тем возникали как отражение новых общественно-политических отношений и роста социалистического производства, целые пласты новой лексики, в том числе и терминологии на народно-языковой основе, значительно обогатившие словарный состав русского языка.

Если принять во внимание, что русский язык испытал немалые колебания своих литературных норм в процессе исторического развития и на дореволюционных этапах, что новые явления колебаний существовали наряду со старыми, что в языке, естественно, начали складываться новые соотношения между его элементами, что изменялся самый критерий общественной оценки языковых явлений, то становится понятным значительный разнобой в литературных нормах, обнаруживающихся в наши дни.

Ясно, что при широте функций современного русского литературного языка отсутствие четких и для всех убедительных норм при наличии колебаний в области словоупотребления, произношения и стилистических форм речи совершенно нетерпимо. Необходимо найти пути для того, чтобы язык, понятный для всего общества и единый для всех его членов, мог наилучшим образом осуществлять свои задачи как орудие общения, как орудие развития общества. Руководители партии и правительства в своих выступлениях не раз указывали на политическое значение точности и ясности речи.

Вопросы правильности и чистоты речи начали привлекать к себе внимание еще в начале 20-х гг. нашего века. Однако в те годы еще господствовала, преимущественно у старой интеллигенции, точка зрения пуризма: новое в словоупотреблении и литературном словотворчестве охотно признавалось загрязняющим, искажающим литературный язык.

Для того периода характерна была брошюра А. Г. Горнфельда «Новые словечки и старые слова» (Пг., 1922), не предлагавшая никаких решений для усовершенствования лексико-стилистических норм.

В 30-х гг., когда пути развития русского литературного языка, отражающего потребности советского общества, определились уже более отчетливо, началась подлинная борьба за повышение культуры речи. Деятельность А. М. Горького, а впоследствии Ф. В. Гладкова и других крупных советских писателей немало содействовала стилистическому совершенствованию не только литературно-художественной, но и публицистической, и устной публичной речи. Работы ряда языковедов, особенно академика Л. В. Щербы, чл.-корр. АН СССР Д. Н. Ушакова и проф. Р. И. Аванесова, существенно помогли уяснению колебаний в области произносительных норм. Теоретические же работы академика В. В. Виноградова создали прочную базу для разработки вопросов нормализации языка как самостоятельного научного направления в языкознании.

Характерной особенностью нашей социалистической действительности является то, что не только писатели, ученые и общественные деятели вносили и вносят свой вклад в дело повышения культуры речи. В этом принимают активное участие все — рабочие и учителя, работники театра и сельского хозяйства, представители советской интеллигенции самых разнообразных специальностей. Их выступления на страницах газет и журналов с высказываниями по поводу отдельных вопросов культуры языка, особенно волнующих общественность, содержат обычно немало интересных суждений и предложений. Такие высказывания чрезвычайно существенны для научных выводов, ибо отражают известные тенденции развития языковых норм и обнаруживают общественную оценку тех или иных языковых явлений.

Усилия советских языковедов должны быть решительно направлены на повышение культуры речи, что является потребностью всего советского народа. Разработка проблем культуры речи — важнейшего элемента социалистической культуры — означает внедрение достижений языкознания в народные массы. Две взаимно связанные задачи стоят перед языковедами: создание пособий, доступных широким слоям трудящихся, и одновременная теоретическая разработка языковедческих проблем, непосредственно относящихся к вопросам языковой нормализации и тем самым к вопросам повышения культуры речи.

Языковеды повинны в том, что до сих пор создано очень мало теоретически обоснованных и вместе с тем вполне доступных справочников, которые могли бы служить надежным руководством в речевой практике. Первый советский справочник этого рода, «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, пользующийся заслуженным авторитетом, как нормативный справочник во многом уже устарел.

Да и самый вопрос о норме нельзя считать решенным. А отсутствие научно-теоретической базы и эмпиризм при рекомендации тех или иных норм приводят лишь к частным решениям по поводу отдельных случаев колебаний и к субъективным оценкам, лишенным научной убедительности и общеобязательного характера.

Поэтому едва ли не самым существенным вопросом, от решения которого зависит направление и содержание работ в области нормализации всех сторон литературного языка, является вопрос о понимании нормы.

Прежде всего может ли быть единой языковая норма от Пушкина до наших дней на всех этапах развития русского литературного языка, как склонны думать, упрощая дело, и некоторые языковеды? Действительно, каждый новый этап в жизни языка не отгорожен от предшествующего, а подготовлен им и тесно с ним связан. Но язык — явление общественное, и поэтому каждый новый этап его развития исторически обусловлен, неразрывно связан с этапами развития общества и отражает свойственные последнему потребности общения. При сохранении структуры языка, грамматического строя и основного словарного фонда, а также подавляющей массы словарного состава и типов сочетаемости слов на каждом этапе складываются свои, своеобразные соотношения всех языковых средств. Следовательно, каждый этап развития языка, являясь продолжением этапа предшествующего, имеет свои нормы, и объективное развитие языка есть становление его нормы.

Вместе с тем, при исследовании норм необходимо твердо помнить, что законы развития языка существуют независимо от воли людей, являясь отражением объективных процессов. Однако, познав эти законы, открыв языковые нормы, общество может целесообразно использовать и применять их, т. е., исходя из тенденций развития языка, нормализовать те или иные его стороны в соответствии с потребностями общения и обмена мыслями в ту или иную историческую эпоху.

Раскрытие внутренних законов развития языка на конкретном языковом материале является нашей первоочередной задачей, ибо только знание этих законов может служить прочным фундаментом для установления научных принципов нормализации литературного языка и его стилистического упорядочения. При этом необходимо иметь в виду, что, обладая своими специфическими закономерностями развития, каждая из сторон языка — произношение, словарь, грамматика — в своем развитии тесно связаны между собой.

Языковая норма — не статистическое явление, ибо распространенной и часто повторяющейся в языке может быть, как известно, и ошибка. Языковая норма есть прежде всего явление типическое, т. е. соответствующее сущности данного социально-исторического явления, а не просто наиболее распространенное, часто повторяющееся, обыденное. Именно поэтому нельзя рассматривать языковую норму как некое статистическое среднее.

Из всего сказанного вытекает, что языковая норма — не извечная, неподвижная, застывшая категория. Языковая норма есть исторически обусловленный факт, проявление исторических закономерностей развития языка и типических для каждой эпохи тенденций развития, поддержанное и одобряемое обществом в его языковой практике. Отсюда следует, что норма — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых

элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов.

Дальнейшая разработка понятия нормы применительно к различным сторонам языка — словарному составу, грамматике, произношению (орфоэпии), ударению — позволит с научной объективностью установить принципы нормализации литературного языка и будет содействовать общему повышению культуры речи.

Нормализация произношения — одна из первых задач, требующих разрешения. Радио и школа, театр и практика публичной речи страдают от разнобоя в произношении, наблюдающегося в наши дни.

Произносительная система языка, подобно грамматическому строю, отличается большой устойчивостью, так как звуковой строй общенародного русского языка и его территориальных диалектов складывался веками. Различия в произношении гласных звуков в слове в зависимости от ударения, варианты в произношении отдельных согласных звуков и иные явления, отстоявшиеся в процессе сложного исторического развития и взаимодействия старого книжно-литературного языка и общенародного русского языка с его диалектами, дали возможность литературному русскому языку использовать в своей произносительной системе, для усовершенствования и обогащения ее, все необходимые средства.

Так, например, обосновывая свою теорию «трех штилей», Ломоносов устанавливает нормы разговорного и книжного произношения, отводя последнему место в чтении, в произношении стихов и в публичной речи. Такое положение просуществовало долго, и следы его сохранялись даже тогда, когда на разговорной основе сложилась единая, литературная произносительная норма общенародного языка. Окончательно эта норма утвердилась, когда ее приняли и в чтении стихов, и в публичной речи, и, наконец, в театре.

К середине XIX в. в русском театре происходил решительный поворот к реалистическому национальному репертуару, к демократическому зрителю. Гоголь и Островский стали знаменем сцены. Московский Малый театр, театр Щепкина и Садовских, воспитал замечательную плеяду реалистических актеров. Для реалистической комедии и драмы, как ранее для водевиля, принимается произносительная норма общенародного языка. Именно с этих пор для многих поколений русских людей московское произношение (т. е. произношение, принятое и закрепленное в первую очередь Малым театром) становится нормой, образцом, к которому следует стремиться. Для языковедов это подкреплялось историческими соображениями о ведущей роли московского говора в образовании норм литературной речи; для других это были традиции Малого театра и образцы произношения коренной московской интеллигенции.

Однако московская норма произношения на всем протяжении своего существования испытывала колебания и подвергалась различным воздействиям. Так, в живом произношении сохранялись как дублетные некоторые нормы старого книжного произношения. Расширение и

постепенная демократизация социального состава интеллигенции приводили к воздействию элементов диалектного произношения. Жаргонной речи дворянских и буржуазных «верхов» были свойственны некоторые особенности, главным образом в области произношения иноязычных слов, просачивавшиеся иногда в литературную произносительную норму. С уверенностью можно сказать, что именно этому влиянию обязано распространенное в образованном кругу, как говорил академик Я. К. Грот, произношение мягкого *ц* в таких словах, как *лекция*, и мягкого *н* перед мягким *ц*, например *Франьция, станьция*. <...> Это явление типично было особенно для высших слоев петербургской интеллигенции.

[В связи с этим уместно сказать, что обычное у нас противопоставление «московского» произношения «петербургскому» как какой-то особой системе норм основано на малой изученности вопроса. Авторы, касавшиеся этого, в том числе и В. И. Чернышев в своей статье «Как говорят в Петербурге» («Голос и речь», 1913, № 1 и 2), указывают главным образом или на варианты московской нормы произношения, или на диалектные, просторечные и иноязычные по происхождению отклонения, мало свойственные литературно говорящим людям и всегда возможные в городах с пестрым населением. И в Москве, и в Петербурге были одинаковые произносительные нормы для литературно говорящих людей. Известные отличия от них наблюдались лишь в некоторых социальных слоях старого бюрократического Петербурга.]

Устойчивость московских норм при постоянном наличии колебаний — такова характеристика предреволюционного состояния литературного произношения. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую фазу в его развитии. Носитель общенародного русского языка в его литературной форме постепенно изменялся, нарождалась новая, советская интеллигенция, рабочие и крестьяне вступали в широкое общение с людьми, владеющими литературной речью, и усваивали литературную произносительную форму. Усвоение литературных норм являлось вместе с тем и освоением письменной речи, а чтение и письмо содействовали широкому появлению таких произносительных вариантов, близких к написаниям, которые противоречили московской норме, но не противоречили существовавшим издавна в литературной речи случаям колебаний, произносительным дублетам, принадлежавшим к старым книжным нормам. Вместе с тем в литературное произношение привносились и такие произносительные навыки, которые были общи для многих диалектов и укрепляли прогрессивные тенденции развития литературного языка.

К концу 20-х и началу 30-х гг., когда культурная роль новой интеллигенции определилась совершенно отчетливо, с той же отчетливостью обнаружилась расшатанность старой московской произносительной нормы, массовость колебаний, вариантов, дублетов произношения, а иногда и прямых неправильностей. Сам Малый театр переживал острый «орфоэпический» кризис. Лишь актеры старейшего поколения сохранили почти во всей чистоте нормы московского произношения конца XIX — начала XX в. Это был период резких колебаний и острых исканий нормы, это была пора горячего обсуждения проблем произношения не только на страницах специальной, но и общей печати. Решение ничего не решать, а только признать объективное наличие колебаний и расшатанности нормы никого не могло удовлетворить.

Естественным было обращение к твердости старых норм. Именно в этот период старые московские нормы были наиболее подробно описаны Д. Н. Ушаковым <...> и с тех пор в представлении многих они получили значение идеальных, но недосягаемых во всей полноте норм.

Всякое отклонение от них рассматривалось как вредное влияние орфографии или просторечия, как порча языка. В этом обнаруживалась антиисторическая, по существу, точка зрения; представлялось, что нормы современного языка, поскольку они всегда спорны, следует искать в нормах прошлого, которые по субъективно-психологическим ощущениям людей старшего поколения всегда кажутся устойчивыми. Там, где учили произношению — в школах, в театре, на радио, — рекомендовались именно старые московские нормы, что только содействовало закреплению разнобоя.

Однако жизнь брала свое, язык совершенствовался и развивался. Совершенствовалась и старая московская норма, впитывая в себя живые соки народной речи и утверждая тем прогрессивные тенденции своего развития. Москва по-прежнему является носителем этих норм, но не потому, что в Москве сохранились «коренные москвичи» из старых интеллигентов, а потому, что Москва — культурно-политический центр социалистической страны, закрепляющий в практике живого произношения, радиовещания и театра свои произносительные нормы.

Литературная норма общественного произношения, переживая и теперь известные колебания, представляет собой результат развития и усовершенствования старой московской нормы.

Так, система произношения безударных гласных стала более универсальной, т. е. подчинила себе, в основном, и все те случаи, которые представляли собой отклонения. Например, предударное *а* после шипящих *ж, ш* произносилось по старой московской норме как звук, близкий к *ы*: *жыра, шыры, шылить*. Ныне господствующим стало произношение *жара, шары, шалить*. Лишь немногие слова, например *жылеть*, подчиняются еще старой норме. Произношение иноязычных по происхождению слов теперь полностью подчиняется законам русского произношения, а допускавшееся прежде для многих слов сохранение безударных *о* и *е* теперь не рекомендуется; отчетливое произношение безударного *о* в словах *поэт, поэзия, форпост, модель, коктейль, конкретно, костюм, жокей*, являющееся остатком дворянского произношения и сохраняющееся пережиточно у людей старшего поколения <...> воспринимается теперь как манерность <...>

Общей норме подчинилось в основном и произношение безударных окончаний 3-го лица множественного числа глаголов 2-го спряжения; теперь произносят *слышат, видят* вместо старомосковских *слышут, видют*, сохранившихся у людей старшего поколения или как стилизация.

Ревниво переживали сторонники сохранения старомосковской нормы колебания в произношении тех глаголов на *-ива* и прилагательных, основы которых оканчивались на звуки *г, к, х*. По старой московской норме они произносились твердо: *мяхкай, пылкай, ветхай, натягавать, вспахавать, постукавать*.

Ныне, хотя и существуют колебания, господствующим стало мягкое

произношение этих звуков: *мягкий, пылкий, ветхий, натягивать, вскакивать, постукивать*, — не противоречащие орфографии, совпадающее с произношением многих народных говоров и со старым книжным произношением, традиция которого поддерживалась, как указывалось выше, и во времена господства старой московской нормы и во второй половине XIX в. Эти же обстоятельства привели ныне к господству мягкого произношения частицы *-ся, -сь* в глаголах взамен твердого старого московского произношения: *мойся*, а не *мойса*, *уселась*, а не *уселась* и т. п.

В соответствии с русскими звуковыми законами, согласный перед *е* произносится мягко. Заимствованные слова, входя в русский язык, подчиняются этому закону. Это явление известно издавна. Так, вряд ли можно найти старые заимствования из греческого, которые не подчинялись бы этому закону (ср. *патерик, тетрадь*). Новые заимствования, начиная с XVIII—XIX вв., в основном ему подчиняются, но во многих словах то более, то менее устойчиво устанавливается и твердое произношение согласного на иноязычный лад. Чем прочнее закреплялось слово в русском языке, тем больше оно имело шансов произноситься на русский лад.

Со второй половины XIX в. намечается известное социальное распределение двух способов произношения иноязычных слов. В жаргонном дворянско-буржуазном употреблении господствует склонность произносить перед *е* твердый согласный сближенно с иноязычным произношением. Демократическая разночинная интеллигенция приняла, как норму, произношение на русский лад — с мягким согласным и с закреплением в иноязычном произношении лишь отдельных слов (например, *пенснэ*, а не *пенсне*). Иногда разное произношение служило для смыслового различия (*панель* в значении «тротуар» и *панэль* «деревянная обшивка или окраска под дерево нижней части стен в помещении»). С течением времени произношение иноязычных слов все более подчинялось демократической, народной традиции и захватывало все более широкие ряды слов. С иноязычным произношением оставались отдельные слова, преимущественно не обращавшиеся в широких кругах, или научные термины. Ср., например, *гэмпера* (название краски), *отэль*. Однако долго, вплоть до революции, за иноязычным произношением неправомерно сохранялась репутация «образованности», «правильности».

Революция дала простор русскому произношению, и круг слов с иноязычной манерой произношения значительно сузился. Из слов широкого употребления лишь немногие закреплялись с твердым произношением, например, *антэнна, партэр, тэрмос, тэмбр, модэль, дэжторный*, и более или менее широко его сохраняют ныне лишь специальные термины. Такова норма. Но иногда в сознании некоторых людей выплывает репутация «образованности» произношения на иностранный лад, и тогда обнаруживается стремление либо иноязычные слова или русские с иноязычными морфемами произносить в чуждой русскому языку манере.

Совершенно прав писатель Ф. В. Гладков, протестуя в своих выступлениях против этой космополитической моды. Действительно,

за последние десять лет стало часто встречаться нарушающее чистоту русской речи произношение с твердым согласным многих слов, например: *претэнзия, тэматика, рэнэгат, контэкст, дэкан, картотэка, пионэр, трэнэр, милиционэр, корреспондэнт, музэй, фанэра, дэмон, фланэль, шинэль* и т. п. Иногда «на иностранный лад» переделывают не совсем понятные слова: Неопалимовский переулок в Москве становится «Нэопалинским». Певцы иногда злоупотребляют произношением на иноязычный лад, и русское слово звучит как *свирэль*.

Выдвигая принципы нормализации русского литературного произношения, совершенно прав С. И. Бернштейн, когда говорит, что из существующих в литературном языке вариантов надлежит выбирать те, которые стоят ближе к орфографической норме слов.<...>Однако влияние орфографии — дело вторичного порядка. Современная орфография влияет на современное произношение только тогда, когда она отражает живые фонетические явления, существовавшие как вариант старой произносительной нормы.

Поэтому установление произносительных норм требует глубоких исторических изысканий. Ближайшие закономерности нашей эпохи могут быть определены исследованием тех тенденций, которые складывались, начиная с формирования русского национального языка, в течение периода XVIII — начало XX в. и в советскую эпоху. Только эта теоретическая база позволит научно и объективно сформулировать современные произносительные нормы.

Известно, как велико количество колебаний в русском ударении. Нормализация ударения, устранение дублетных ударений — назревшая задача в области повышения культуры речи. Между тем сделано здесь очень мало. Словари русского языка, вышедшие у нас за последние три десятилетия, во многих случаях не могли решить этого вопроса до конца и с полной научной объективностью, потому что у нас не было обобщающих теоретических работ, посвященных изучению исторических закономерностей развития русского ударения. Нет поэтому и специальной дисциплины — русской акцентологии, имеющей свои специфические задачи в отличие от славянской акцентологии, дающей, впрочем, во многих случаях ключ к пониманию закономерностей современного русского ударения.

Особенности русского ударения складывались значительно позже периода славянской общности. Русское же литературное ударение на всем протяжении развития русского литературного языка было связано с особенностями взаимоотношений литературного языка с северными и южными народными говорами на различных исторических этапах, а также с влиянием церковно-книжного произношения, имевшего широкое распространение в эпоху русского средневековья. Колебания в области ударения особенно увеличиваются в XVIII — XIX вв., в пределах единого национального языка, отражавшего в себе борьбу многообразных акцентных традиций. Произношение заимствованных из различных языков слов в отношении ударения не имело единой линии развития, что также увеличивало акцентологическую пестроту.

Дальнейшее внутреннее развитие акцентологической системы вместе с появлением новых акцентных типов по аналогии с другими явления-

ми еще более усложняло всю область русского ударения. Постепенно складывались новые закономерности в области ударения, новые тенденции, нуждающиеся в специальном историческом изучении, без которого нет выхода из субъективных оценок преимущества того или иного ударения в том или ином частном случае.

Так, например, в период образования национального языка складываются две, иногда противоборствующие тенденции: перенос ударения на значимую часть слова (сочетания слов), с одной стороны, и унификация типов ударения — с другой.

Известно, что при сочетании некоторых существительных с предлогом последний перетягивает на себя ударение. Еще в начале XIX в. академик А. Х. Востоков считал это явление просторечным<...>, ибо традиции старого литературно-книжного произношения его не знали. В течение XIX в. оно становится нормой литературной речи. В наши дни происходит заметное разрушение этой нормы под влиянием тенденции переноса ударения на значимую часть. Вместо того, чтобы говорить: *за́ десять, за́ сорок, по́д ноги, по́ полю, по́д вечер* и т. п., часто произносят: *за де́сять, за со́рок, под но́ги, по по́лю, под ве́чер*. Но ударение сохраняется на предлоге, когда сочетание приобрело устойчивое, фразеологическое значение. Скажут: *заткнуть топор за по́яс,* но *заткнуть кого-нибудь за́ пояс*; или: *забраться на до́м,* но *взять работу на́ дом*; *идти по́д руку с кем-нибудь, вести за́ руку кого-нибудь*. Вместе с тем наблюдаются и многочисленные случаи колебаний. Говорят: *лес находится за го́родом,* т. е. по ту сторону города, но одновременно: *жить за го́родом* и *жить за́ городом,* т. е. в пригородной местности. Известные ошибки в ударении отдельных слов, например, *обо́стрить* вместо *обостри́ть,* или *обле́гчить* вместо *облегчи́ть,* или *обо́бщить* вместо *обобщи́ть,* связаны также с тенденцией переноса ударения на более значимую, корневую часть. На наличие такой тенденции указывает, например, то, что во времена Пушкина в литературной речи могло произноситься *ускори́ть,* а не *уско́рить,* как сейчас: «Я *ускори́л* Федора кончину» («Борис Годунов»).

Тенденция к унификации ударения приводит, например, к произношению *вахтёр* (ср. *актёр, гравёр* и т. п.) вместо прежде правильного *вахтер* (заимствование из немецкого). Та же тенденция приводит к унификации в ударении кратких форм прилагательных множественного числа по ударению женского рода; отсюда появляются неизвестные прежде *правы́ (вы правы́), годны́, верны́* (ср. ж. р. *права́, годна́, верна́*). В кратких формах некоторых причастий происходит подравнивание ударений форм женского рода по мужскому и среднему роду и по множественному числу; отсюда распространенные ударения *со́здана, при́нята* и т. п. вместо *создана́, принята́* и т. п.

Нормализовывать все эти явления можно только на основе изучения исторических путей развития данных категорий слов в отношении ударения, начиная прежде всего от эпохи сложения национального языка.

В ряде случаев нормализация ударения может быть осуществлена также и в процессе изучения внутренних закономерностей, складывающихся в современном языке. Известно, например, двоякое ударение:

библиоте́ка и *библио́тека*. Не входя в подробное рассмотрение исторических причин этой двойственности, можно было бы рекомендовать произносить это слово с ударением *библиоте́ка*. Такое решение унифицировало бы ударение данного разряда слов потому, что все н о в ы е слова создаются по этой акцентологической схеме: *картоте́ка, игроте́ка, фильмоте́ка* и т. п.

При введении в 20-х годах метрической системы в общенародное употребление вошло слово *километр*, которое почти сразу же, по образцу широко известных терминов — *баро́метр, мано́метр, термо́метр* — и новых, вроде *спидо́метр*, стало произноситься повсеместно как *кило́метр*, вопреки требованиям языковедов произносить *киломе́тр*, как это было тогда, когда слово *километр* фактически не бытовало в русской языковой действительности, будучи достоянием лишь научно-технической терминологии. Не правильнее ли пойти за народным употреблением, если оно отражает какие-то уже сложившиеся закономерности в определенном разряде слов? Это один из важных вопросов науки о нормах литературного языка, требующих методологического обоснования.

Таковы главнейшие проблемы в области нормализации ударения.

Не менее важны вопросы грамматической нормализации. Академическая двухтомная «Грамматика русского языка» (М., 1952 и М., 1954) является крупнейшим вкладом в изучение грамматической системы русского языка, подведение итогов развития русской грамматической мысли от времен Ломоносова. Однако она не ставила перед собой непосредственной задачи нормализации во всех тех случаях, когда в грамматической системе обнаруживались колебания. Тем более, что колебания в области употребления грамматических форм связаны не только с наличием равноправных дублетов, но и с возможностями стилистической их дифференциации, с лексико-фразеологическими различиями (например, «производство сахара», но «купить сахару»; вин. мн. *кре́нделя*, но в выражении только «*кренделя́ выписывать*»). Это особая исследовательская задача, связанная с изучением истории функционирования грамматических форм на всем протяжении существования русского национального языка.

Так, известно, что окончание именительного падежа множественного числа существительных мужского рода на *-а* (под ударением), начиная с XIX в., активно вытесняет в некоторых разрядах слов окончание *-ы* (без ударения). История этого явления внешне необычно прихотлива. Многие слова, приобретая это окончание, в дальнейшем его не сохранили и возвращались к старому. Взамен появились новые серии слов, с окончанием *-а́*. В 70-х гг. XIX в. говорили: *гетма́на, лектора́, маклера́, рупора́, фактора́, конюха́, циркуля́, ефрейтора́, служителя́, смотрителя́, вахтера́* и т. п.<...>Ныне все эти слова в именительном падеже множественного числа имеют окончание *-ы, -и*. Взамен их появляются в разговорной речи *выбора́, выхода́, супа́, торта́* и т. д. Нормализаторская практика радиовещания, стремясь к «правильным» формам, отвергает давно установившиеся формы *тенора́, токаря́, слесаря́* и т. п., заменяет их формами *те́норы, то́кари, сле́сари*. На этом примере видно, в каком глубоком изучении развития

грамматических закономерностей нуждается вопрос нормализации грамматических форм. Еще сложнее вопрос о нормализации употребления синтаксических конструкций, в особенности многообразных типов словосочетаний, так как это связано с изучением многообразных семантических и стилистических функций синтаксических дублетов.

Нормализация произносительной, акцентологической и грамматической сторон языка тесно соприкасается с необходимостью нормализации правописания. Основные принципы, на основе которых должна развиваться русская орфография, представляются достаточно ясными. Дело здесь преимущественно сводится к унификации, к решительному устранению разнобоя в написаниях отдельных слов, к подведению этих написаний под общие правила, к выяснению частных спорных случаев. Однако нельзя сказать, что вопросы орфографии решены. Так, один из самых больных вопросов нашей орфографии — слитное или раздельное написание предложных сочетаний, наречий. Дело не только в том, чтобы решить вопрос на сегодня: как писать уже существующие наречные сочетания. Предложные наречные сочетания — живая, развивающаяся в языке категория, новые сочетания возникают постоянно. Поэтому здесь необходимо, на основе исследования лексико-семантических и грамматических условий образования и функционирования различных типов этих сочетаний, создать правила, с достаточной ясностью регламентирующие слитное или раздельное написание. В существующих правилах недостаточно разъяснен вопрос о слитном или через дефис написании сложных прилагательных. Они возникают теперь массами. Объективно убедительные рекомендации относительно их написания можно дать лишь в результате исследования типов их морфологической структуры, ибо практика языка, главным образом терминологической речи, создает постоянно все новые прилагательные, часто выходящие за пределы типов старого образования и потому не охватываемые существующими правилами. К таким же теоретически не разрешенным до конца вопросам относится, например, написание иностранных личных и географических собственных имен. Вопрос этот решается некоторыми языковедами с отвлеченных теоретических позиций, без серьезного учета исторических условий развития этих имен в русском языке. Сейчас в русском языке обращается немалое количество таких имен, постепенно вовлекаются и новые. Если написание новых пополнений обычно находится в соответствии с произношением, а иногда и с написанием, существующим в языке-источнике, то правомерно ли изменение написаний имен, уже имеющих традицию в русском языке? Этот вопрос законно был поставлен в свое время академиком Л. В. Щербой, рассматривавшим написание иностранных имен в связи с произносительными традициями русского языка.<...>

Особенно существенным звеном высокой культуры речи является правильное словоупотребление в широком смысле. Именно оно, в сочетании с правильным произношением, ударением и с правильным использованием грамматических форм в речи, определяет точность, ясность и выразительность языка. А между тем вопросы правильности словоупотребления являются наименее разработанной в теоретическом

отношении областью. Еще во многом здесь господствуют суждения, основанные на субъективной оценке фактов. Соответствующие руководства и отдельные работы обычно не выходят за пределы эмпирических наблюдений и отдельных обобщений.

Объективные и убедительные выводы, необходимые для нормализации и усовершенствования практики словоупотребления, могут быть получены только на основе изучения исторических закономерностей развития русского литературного словоупотребления, развития лексики в стилистическом отношении.

Нормализация словоупотребления не может быть успешно решена без разработки всего круга вопросов, связанных со стилистическими структурами языка. Сюда относится изучение стилей литературного языка, реально выявляющихся в жанровых разновидностях речи, и прежде всего стилистических разрядов русской лексики и их функций в различных стилях литературной речи (ораторской, публицистической, научной, деловой), а также в художественной литературе. За многими разрядами лексики в процессе общественной практики закрепилась та или иная стилистическая окраска. Изучение лексики с закрепленной стилистической окраской должно вестись с учетом исторической изменяемости состава этой лексики, перераспределения ее внутри различных стилистических категорий в последовательно сменяющиеся исторические периоды.

Непосредственно связано с этим определение функции синонимических средств языка (и не только, конечно, лексических, но и фразеологических и синтаксических). Для нормализации словоупотребления важно установить лексические границы литературного языка, т. е. выяснить закономерности функционирования в нем тех или иных разрядов диалектной, просторечной, фамильярно-жаргонной, эмоционально окрашенной, в том числе вульгарно-просторечной, а также терминологической лексики. Эти границы исторически подвижны, так как они определяются потребностями общения и стилистическими вкусами, характерными для общественности своего времени.

К числу важнейших проблем словоупотребления принадлежит вопрос об изучении норм словосочетания и сочетаемости в речи слов различных грамматических и смысловых категорий. Словарный состав выступает грамматически оформленным в определенных конструкциях. Однако вхождение отдельных слов и целых смысловых разрядов слов в ту или иную конструкцию словосочетания исторически изменчиво. Семантическое и лексическое развитие языка — одна из существенных причин перегруппировки слов внутри грамматических конструкций словосочетаний. Академик В. В. Виноградов в статье «Вопросы изучения словосочетаний» ‹ ... › приводит замечательный пример такой перегруппировки. Слово *отвращение* в первой половине XIX в. употреблялось еще в конструкции: *отвращение от чего-нибудь*. Но к середине XIX в., утратив, по-видимому, в сознании говорящих ясность своей внутренней формы, следовательно, семантически обособившись от своего глагола, сохранившего управление: *отвратить от чего-нибудь*, это слово перешло в конструкцию с предлогом *к* (характерную для слов со смысловым содержанием отношения): *отвращение к чему-*

нибудь. Или, например, в первой половине XIX в. глагол *касаться* употреблялся в предложной конструкции: *касаться до чего-нибудь*. Позднее в литературном языке он употреблялся уже в беспредложной конструкции: *касаться чего-нибудь,* а предложная конструкция сохранилась лишь в современном просторечии: *это до меня не касается*. Совершенно ясно, что установление объективно убедительных норм сочетаемости слов, установление правильности сочетаний возможно только при изучении исторических закономерностей развития сочетаемости слов в литературном языке и вытекающих из них прогрессивных тенденций современного развития.

Сюда непосредственно примыкает изучение фразеологических и иных устойчивых сочетаний для выработки, в частности, методов оценки правильности образования новых сочетаний, в массе возникающих в современном языке и часто противоречащих семантическим нормам соединения слов. Непосредственно с этим связано выявление разного рода штампов, засоряющих, обедняющих и затемняющих нашу речь. В выступлениях на Втором Всесоюзном съезде советских писателей, особенно в речах В. В. Виноградова, К. И. Чуковского, Ф. В. Гладкова и других, ясно прозвучало требование изучать весь круг лексико-стилистических вопросов и вести борьбу со всем тем, что лишает наш язык ясности, точности и выразительности. Правильное словоупотребление непосредственно связано с одним из существенных вопросов культуры речи — вопросом о чистоте языка, о границах употребления иноязычных по происхождению слов. Известно, что значительное количество иноязычных слов, главным образом терминов, внедрилось в русский язык, освоено им, вошло в общественную практику употребления. Известно также, что на всем пути развития русского литературного языка появлялись, исчезали и существовали иноязычные по происхождению слова, употребление которых отнюдь не вызывалось насущной потребностью общения, часто не связано было с необходимостью точного выражения мысли.

Прежде всего это слова из нетерминологической лексики, проникавшие в литературный русский язык из дворянско-буржуазной и впоследствии шире — из интеллигентной обиходной речи, которая была наполнена иноязычной по происхождению и грамматически русифицированной лексикой. Один из главных источников их бытования в русском языке — двуязычие русского дворянства, широко применявшего в потоке русской речи французские по преимуществу слова, приобретавшие впоследствии грамматически русифицированный вид. Процесс этот ясно вскрывается, например, из наблюдений над речью действующих лиц в романах Л. Толстого. Не представляя собой семантических оттенков в отражении действительности, эти слова лексики, попав в широкое литературное словоупотребление, пополняли синонимические или, вернее, дублетно-семантические ряды русской лексики. Употребление их придавало речи оттенок «учености», «образованности», не создавая ни большей точности, ни большей выразительности. Многие подобные слова выпали из современного языка, так как на них была печать дворянского дореволюционного словоупотребления, чуждого нашей эпохе. Но сохранялись социально-

нейтральные, такие, как *доминировать, апробировать, апеллировать к чему-нибудь, акклиматизироваться* (в применении к человеку), *акцентировать* (в переносном значении), *экипировать, элиминировать, превалировать, импозантный, экстравагантный, эксцентрический* (в переносном значении), *адепт, антураж, амикошонство* и т. п. Все они, сохраняясь в речи старшего поколения по преимуществу, не служат украшению языка. Именно на это нетерминологическое употребление указывал В. И. Ленин в своей знаменитой заметке «Об очистке русского языка», когда писал: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?» <...> Необходимо исследование семантической ценности этих разрядов иноязычной лексики в словарном составе современного русского языка для разумного решения вопроса о нормах употребления этой лексики.

Давно прошло то время, когда терминологическая лексика сравнительно медленно просачивалась в общее употребление. Теперь положение уже не то, и понятно поэтому, что требование освобождения терминологии от ненужных, неоправданных, мало понятных народу иноязычных элементов стало необычайно жизненным. «Тысячи иностранных слов, специальных терминов и названий засоряют медицинскую литературу и крайне затрудняют пользование ею, — пишет «Литературная газета». — Вместо того, чтобы написать *опухоль*, пишут *тумор*, вместо *ощупывание* (при исследовании больного) — *пальпация*, вместо *выделяемая слюна — сецернируемая слюна*, вместо *всасывание — резорбция* и т. д.» <...> Упорядочение использования иноязычных элементов и рациональное, разумное очищение терминологии от некоторых из них является одной из насущных задач повышения культуры речи.

[Выработка принципов нормализации употребления иноязычной лексики тем более необходима, что вопрос об иноязычных заимствованиях является важным не только для русского, но и для других литературных языков Советского Союза.]

Не менее важным делом в области повышения культуры речи является вообще усовершенствование терминологии. В первую очередь в этом заинтересованы специалисты, пользующиеся терминологией. Не менее заинтересована и широкая общественность, так как известно, что огромное количество специальных терминов входит теперь в общее употребление. Следовательно, теперь, больше чем когда бы то ни было, термин должен обладать не только точностью, но и предельной ясностью и понятностью.

Работу по уточнению и упорядочению терминологии, по созданию новых терминов ведут соответствующие специалисты. Возможно, что со стороны специально терминологической это не вызывает неудобств. Однако есть языковая сторона дела, всегда тесно связанная со специально терминологической. Языковедам постоянно приходится по многочисленным запросам различных институтов, ведомств и учреждений решать частные терминологические казусы. Решения от случая к случаю не могут удовлетворить ни специалистов, ни языковедов. Назрела необходимость теоретической разработки языковых вопросов

в области терминологии. Сюда относятся, например, вопрос о языковой структуре термина, о грамматических элементах и словообразовательных типах, которые могут быть использованы при создании новых терминов; вопрос о типах терминологических словосочетаний, о типах терминов — сложносокращенных слов, об образовании производных от терминов слов; вопрос об использовании местных, диалектных слов в составе терминов или в качестве терминов, о необходимости соответствия слов, входящих в термины, нормам литературного языка в отношении произношения, ударения, словообразования.

Разработка указанных проблем, интересующих всех говорящих, независимо от их специальности, должна вестись с учетом мнений, оценок и пожеланий самих носителей языка — нашей общественности. Но для того, чтобы эти пожелания имели конструктивный характер, необходима широкая научная пропаганда принципов разумной нормализации литературной речи, пропаганда научных методов этой нормализации, а также самих норм, разъяснение подчас ошибочных, но имеющих хождение представлений о развитии языка и о факторах, влияющих на установление норм.

Таковы важнейшие вопросы в области повышения культуры речи. Главное то, что они должны быть решены не с позиций субъективной оценки, а на основе исследования исторических закономерностей и тенденций развития литературного языка.

Вопросы культуры речи. М., 1955, вып. 1, с. 5—33. Перепечатано в кн.: *Ожегов С. И.* Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974, с. 251—276.

Ф. П. Филин

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЯЗЫКОВОЙ НОРМЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

Вопрос о языковой норме так же стар, как и сам язык. Главное назначение языка — быть средством общения, хранения и передачи накапливаемых знаний (и всякого рода другой «информации») — предопределяет его общественную природу, тем самым обязательность его норм для членов данного языкового коллектива.

По-видимому, в любом обществе в практике речевого общения всегда так или иначе решалось, как нужно говорить и как не надо говорить. Я хорошо помню, как в старой русской деревне местные жители остро реагировали на «странности» городской речи, не только подражая ей, но и высмеивая ее особенности. В семье взрослые стараются поправлять языковые ошибки ребенка. Полное безразличие к средствам языкового выражения — явление ненормальное. Думаю, что так было везде и всегда.

Разумеется, содержание и форма поисков и реализации «правильного» и «неправильного» были бесконечно разнообразными. До возникновения научного языкознания опора была на опыт, «языковое чутье»; утверждение норм проходило стихийно. И все же «языковых ката-

строф», приводивших к распаду общества вследствии утраты взаимопонимания, не было. Библейская легенда о вавилонской башне, которая была недостроена из-за «размешения языков», — всего лишь попытка на фантастической основе объяснить наличие множества языков, их происхождение.

Утверждения авторов некоторых современных брошюр и статей по вопросам культуры речи, что без их многополезной деятельности и неусыпных забот литературному языку грозит непоправимая порча, являются по меньшей мере преувеличением. Я не говорю уже о том, что эти брошюры чаще всего читаются теми, кто в языковой опеке не нуждается (как на лекции на антирелигиозные темы, бывает, ходят те, кто давно уже не верует в бога). Если языковеды не могут обходиться без изучения языка, то язык обходится и может обходиться без них.

Однако из этого вовсе не следует, что борьба за культуру речи, опирающаяся на достижения современной науки, не имеет существенного значения. В любом стихийном процессе имеются свои «накладные расходы», без которых можно обойтись. Следует согласиться с В. П. Григорьевым, убедительно показавшим, что установки противников нормализации литературного языка не способствуют, а мешают подъему культуры речи.<...>Сама постановка вопроса о норме несовместима с отрицанием сознательного вмешательства в развитие языковой стихии.

Многое в выяснении норм современного русского литературного языка и выработке соответствующих рекомендаций уже сделано. В лингвистической литературе это прежде всего труды Д. Н. Ушакова, Л. В. Щербы, В. И. Чернышева, С. П. Обнорского, Е. С. Истриной, В. В. Виноградова, Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, Р. И. Аванесова... Видное место в когорте ученых, плодотворно поработавших над проблемами языковой нормализации, принадлежит С. И. Ожегову. Им, в частности, предложено определение понятия языковой нормы, которое я позволю себе здесь привести: «Языковая норма есть исторически обусловленный факт, проявление исторических закономерностей развития языка и типических для каждой эпохи тенденций развития, поддержанное и одобряемое обществом в его языковой практике. Отсюда следует, что норма — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов».<...>

С этим общим определением вполне можно согласиться. С. И. Ожегов добавляет, что дальнейшая разработка понятия нормы должна идти по линии детализации применительно к различным сторонам языка.

Понятие нормы, конечно, теснейшим образом связано с понятием системы языка, реально существующей в данный момент ее развития. Норма («правильное», «предпочитаемое») или отклонение от нее проявляются в том или ином использовании (выборе, отборе)

сосуществующих в языковой системе однозначных элементов. Фонологические, грамматические, лексические и т. п. «значимости» в системе могут выражаться единственно возможными или двумя и более сосуществующими (реально или потенциально) языковыми единицами. Слова *дом* и *том* в фонетическом (фонологическом) отношении отличаются единственно потому, что в них имеются неодинаковые фонемы [д] и [т], выполняющие смыслоразличительные функции. Других возможностей их различения в системе русского языка нет. Следовательно, для владеющих русским языком вопрос о норме или отклонении от нее в данном случае не стоит. Именительный падеж единственного числа слов класса *дом, том* и пр. выражается посредством «нулевого окончания» и никак иначе. Если мы хотим точно обозначить понятие «часть какого-либо сочинения, собрания сочинений, издания, составляющая отдельную книгу», мы употребим слово *том*. Там, где нет возможностей выбора, нет и проблемы нормы.

Однако, как известно, языковая система всегда является продуктом длительного и сложного исторического развития, представляет собой «историю в снятом виде». Ее непрерывное изменение, сохранение старых и возникновение новых элементов, постоянное воздействие внеязыковых факторов и т. п. приводит к накоплению сосуществующих однозначных явлений, становящихся как бы «избыточными» и приходящих в противоречие друг с другом. Проблема нормы возникает в тех случаях, когда в языковой системе имеются варианты средств обозначения «одного и того же». Конечно, это положение применимо к отбору вариантных средств теми, кто владеет данной языковой системой. Для тех, кто только овладевает неродным языком, эта проблема становится актуальной и тогда, когда для обозначения чего-либо в языке существует только единственный способ.

Разумеется, не всякая вариантность средств языкового выражения «избыточна». Она становится «избыточной» только тогда, когда варианты не имеют никакой особой нагрузки (семантической, интонационной, стилистической, экспрессивной и т. п.). Еще в начале прошлого столетия в русском литературном языке фрикативный ɣ, поддерживаемый церковным произношением, употреблялся (перед гласными) в неопределенно широком круге слов. С падением роли церковного произношения круг этих слов постепенно сужался, а в наше время он стал излишним и в таких словах, как *господи, благодарю, богатый* и др. Пути возникновения «избыточных» вариантов очень различны (воздействие на литературный язык диалектов, городского просторечия, жаргонов, трудности овладения литературными нормами и т. п.). Одни из этих вариантов находятся на стадии вымирания (как, например, упомянутые выше ɣ), другие «сосуществуют», третьи только что возникают и т. д. Этот стихийный процесс был и долгое время еще будет существовать.

Задача языковедов — подготавливать и внедрять научно обоснованные, разумные рекомендации, которые позволяли бы обществу сознательно устранять языковую «избыточность», несовместимую с культурой речи. Устранение ненужных вариантов обязательно предполагает выбор одного из них как образца, «эталона», на который нужно

ориентироваться. С тех пор, как вопросы культуры речи стали обсуждаться в обществе, при выборе образца всегда так или иначе выдвигались два основания: «так говорили (писали) раньше, так было принято теми, наследниками которых мы являемся в области культуры» (языковая традиция) и «так говорит (пишет) сейчас большинство» (языковое употребление). Эти основания являются решающими и в наше время и останутся таковыми неопределенно длительное время, как бы ни изменялись методы лингвистического исследования.

Разумеется, языковая традиция и языковое употребление часто находятся в противоречии друг с другом, в чем и кроется главная трудность определения современных языковых образцов, эталонов. Очень часто одни из нормализаторов отдают предпочтение языковой традиции, другие языковому употреблению. В наше время этот «вечный вопрос», породивший столько споров, приобрел новую остроту в связи с распространением формализованных, количественных методов в лингвистических исследованиях.

Мы здесь не будем затрагивать сложных и далеко не решенных проблем взаимоотношения содержательных (качественных) и формализованных (количественных) подходов к языку. Однако полезность и, следовательно, необходимость применения количественных методов в определении конкретных языковых норм очевидно для всех. Прежде всего нужно отметить опыты стилистического анализа количественного соотношения языковых вариантов. В частности, в сборниках «Вопросы культуры речи» были помещены интересные статьи И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова, А. В. Суперанской, Н. Д. Андреева. <...> Имеются попытки статистическим путем определить происходящие сдвиги в стилистической и эмоционально-оценочной окраске различных явлений в современном русском литературном языке.<...>

Если бы удалось в широких масштабах установить частотность употребления типичных вариантов на всех языковых «уровнях» у различных слоев населения и к тому же проводить статистическое обследование по одним и тем же вопросам время от времени, это дало бы неоценимый материал для точного определения тенденций и направлений в развитии языковых вариантов. Другое дело, насколько возможно практически осуществить такого рода массовые статистические обследования.

Даже при самых оптимальных результатах широкого применения статистических и иных количественных методов проблема установления языковых норм не может быть решена. Бóльшая употребительность того или иного варианта далеко не всегда может быть достаточным основанием для того, чтобы считать этот вариант образцовым, единственно правильным. Во времена Пушкина литературным языком владел ничтожный процент населения, подавляющее большинство народа говорило на диалектах. Диалектизмы и просторечие, церковнославянские и западноевропейские элементы в их столкновении друг с другом давали себя знать и в языке образованных слоев населения. Нормы, которые были установлены и освящены гением Пушкина, дали бы низкие статистические показатели (в смысле их

распространенности в пушкинское время среди широких слоев населения), а между тем многие из них выжили и являются образцовыми и в настоящее время. В. И. Даль, включая в свой словарь диалектные слова и значения слов, многие из которых употреблялись десятками миллионов человек, как известно, преследовал отнюдь не цели коллекционирования. Он рекомендовал эти слова для употребления в литературном языке, но из этих замыслов Даля ничего не получилось.

В наше время положение серьезно изменилось: литературный язык стал достоянием широких масс населения, и, таким образом, практическая ценность результатов статистических и иных количественных методов исследования для определения языковых образцов значительно возрастает. И все же я не уверен, что́ окажется употребительнее в речи городского населения — пресловутое «кто крайний» (в очереди) или «кто последний» (несмотря на то, что против употребления выражения «кто крайний» было справедливо сказано много гневных слов в статьях «Литературной газеты» и в других изданиях).

Теперь часто можно слышать (и читать) о том, что многие особенности так называемого «московского произношения» устарели и их не следует придерживаться. Основанием для таких утверждений служит то, что нормы этого произношения малоупотребительны. Н. Д. Андреев, например, в 1958—1960 гг. обследовал речь 2280 москвичей и ленинградцев и установил, что *-ский* произносит 2277 информантов, а *-скъй* только 3. «Таким образом, — пишет Н. Д. Андреев, — экспериментально доказано, что произношение слов, оканчивающихся на *-скъй,* которое употребляют еще актеры академических театров Москвы и дикторы центрального радиовещания, противопоставляет их основной массе носителей русского языка. Это противопоставление является совершенно бесплодным, поскольку из результатов опыта явствует, что на живую речь тех поколений, которые усвоили русский язык после Октябрьской революции, оно не оказало абсолютно никакого влияния». <...>

Эксперимент Н. Д. Андреева безусловно интересен и заслуживает внимания, однако нужно внести некоторые уточнения. Вариант *-скъй* произносят не только актеры московских театров и дикторы центрального радиовещания. По моим наблюдениям, в такой же степени он распространен и в ленинградских академических театрах, ленинградском телевидении и радиовещании. Этот вариант стараются внедрить в произношение учеников многие учителя-словесники, его нередко можно услышать в старых интеллигентных семьях. «Московскому произношению» *-скъй* подражают в провинциальных театрах, радио- и телевизионных передачах. Если ориентироваться на информантов, хорошо владеющих русским литературным языком, а не на случайных прохожих на улице, то статистические данные получились бы иными.

По данным А. В. Суперанской (см. упомянутую выше статью), в речи студенческой молодежи некоторых московских вузов соотношение *-ий* и *-ъй* после заднеязычных согласных в разных словах выражается в цифрах: 213—16, 221—11, 210—19, 217—14. У интеллигентов старшего

поколения удельный вес *-ъй* был бы еще выше. Конечно, произношение *-ий* сейчас преобладает над *-ъй* в любой русской языковой среде (исключая носителей диалектов, у которых широко распространены *-ай, -ой, -ъй*). Вполне вероятно, что вариант *-ъй* в будущем вовсе выйдет из употребления, как и некоторые другие нормы «московского произношения» (многие другие его нормы продолжают преобладать в речи хорошо владеющих литературным языком). Как известно, язык постоянно изменяется, и придет время, когда особенности этого произношения будут описываться в учебниках по исторической фонетике русского языка. Сменившие их нормы тоже, по-видимому, устареют и будут заменены какими-либо новыми и т. п.

Однако почему же в целом «московское произношение» в несколько измененном виде пропагандировалось в течение десятков лет и продолжает пропагандироваться с театральных подмостков, на радио, в кино и телевидении, в лекциях по культуре речи, в школе и т. д.? Конечно, такая живучесть устоявшейся произносительной системы не может быть объяснена поддержкой со стороны пуристически настроенных интеллигентов. «Московское произношение» выполняло и еще будет выполнять важную культурно-социальную функцию: оно защищает литературный язык от натиска разнородных диалектных, просторечных и жаргонных вариантов произношения. Если бы этим вариантам была дана свобода, устои произносительной системы литературного языка были бы серьезно поколеблены, что угрожало бы исторически сложившейся культуре языка и речи и вызвало бы много затруднений в языковом общении. «Московское произношение» — эталон, образец на данном этапе развития русского орфоэпии. Воздействие просторечной и диалектной стихии, а также правописания (*-ий,* в частности, результат ориентации произношения на правописание) коснулось только отдельных сторон «московского произношения», вызвало рост колебаний некоторых его особенностей, но не разрушило его основ.

То, что сказано о произносительных нормах, относится и ко всем другим «уровням» языка. Одно количественное изучение проблемы языковой нормы ничего еще не решает. Я уже не говорю о том, что, прежде чем что-либо подсчитывать или математическими методами строить модели «языкового поведения» и т. д., надо знать, что́ подсчитывать и для чего подсчитывать.

Вопросы культуры речи. М., 1966, вып. 7, с. 15—22. Перепечатано в кн.: *Филин Ф. П.* Очерки по теории языкознания. М., 1982, с. 179—186.

Раздел третий
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий раздел посвящен специальным или частным проблемам культуры русской речи.

В статье Александра Матвеевича Пешковского (1878—1933) рассмотрены методически и теоретически важные вопросы соотношения и противопоставления объективного (научного) и нормативного (учебно-дидактического) подхода к языку. В ней подробно говорится о задачах школы в воспитании культуры речи, о необходимости сближения — в теории и на практике — объективной и нормативной точек зрения на язык. Понятие языковой нормы выступает здесь как объективное и вместе с тем развивающееся (изменяющееся) явление, которое в сознании говорящих и пишущих нередко предстает в виде раз и навсегда отлитого «языкового идеала». В этой связи делается вывод (недостаточно обоснованный, с современных научных позиций) о неизбежной ретроспективности литературной нормы.

Статья С. П. Обнорского посвящена конкретным орфоэпическим и грамматическим нормам, а также их вариантам, изменениям (закономерным и ошибочным) в пределах книжного и разговорного стилей. Автор говорит о многоаспектности нормативной системы как отражении богатства языка, сложной и длительной истории его развития.

Задачи научного изучения и упорядочения литературных норм становятся особенно актуальными в условиях интенсивного развития русского языка в послеоктябрьский период. В статье рассмотрены варианты в образовании отыменных глаголов на *-ировать* и *-овать*, а также другие «двойственные формы» (варианты) в области именного склонения, образования форм причастий, в ударении и т. п., которые нуждаются в оценке и упорядочении. Основой нормализации современного русского литературного языка выдвигается принцип его «высоты» (т. е. обработанности его книжно-письменных форм), который предполагает освобождение от просторечных, разговорных, профессиональных и других стилистически сниженных элементов в пределах нормативного употребления.

В двух статьях Виктора Владимировича Виноградова (1895—1969) затрагивается проблематика, связанная с соотношением культуры речи и стилистики, с актуальными задачами культуры речи как научной дисциплины на современном этапе ее развития. Автор выдвигает положение о необходимости изучать нормы языка не только в историко-результативном, но и в динамическом аспекте. Культура речи рассматривается в целом как составная часть истории литературного языка и истории стилей художественной литературы. Однако в отличие от стилистики литературной речи проблемы речевой культуры «распространяются и на те сферы общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи и в систему литературных норм».

Во второй статье В. В. Виноградова говорится о связях личных и общественно-групповых оценок с общей характеристикой речевой жизни нации в тот или иной период. В ней также ставятся задачи повышения выразительности речи, свободного и творческого владения различными языковыми средствами.

Специальные аспекты нормативной лексикографии обстоятельно исследуются в статье С. И. Ожегова. Автор решает вопрос о границах современного русского литературного языка и его норм. Русскую нормативную лексикографию он расценивает как «важнейший источник распространения и укрепления норм русской литературной речи и повышения культуры речи вообще».

Особое внимание в статье С. И. Ожегова уделяется анализу структурных различий разных типов словарей: б о л ь ш о г о (представляющего современный литературный язык в широкой исторической перспективе), с р е д н е г о (с детальной разработкой стилистического многообразия современного литературного языка) и к р а т к о г о (популярного, преследующего практические цели активной нормализации). В связи с предложенной типологией решаются специальные вопросы выделения омонимов, определения значений слов, структуры словарной статьи, объема грамматической и стилистической информации в каждом из трех типов толковых словарей.

В статье Рубена Александровича Будагова (род. в 1910 г.) с научных лингвистических позиций оценивается опыт современных советских писателей в создании книг о русском языке, о культуре речи. Анализ проводится на материале книг Б. Тимофеева «Правильно ли мы говорим?», К. И. Чуковского «Живой как жизнь» и А. К. Югова «Судьбы родного слова». Автор критикует ошибочные положения книги Югова, в которой отождествляются язык писателя, общенародный и литературный язык, допускаются необоснованные нападки (с позиций ложно понимаемой языковой «вседозволенности» и «свободы творческой воли писателя») на современную нормативную лексикографию и нормализаторскую деятельность ученых-языковедов, педагогов и редакторов.

Заключает раздел статья Ф. П. Филина о богатстве и функциональной широте русского языка — средства межнационального общения народов СССР, а также о его роли и распространенности в современном мире в качестве одного из самых авторитетных мировых языков.

Общепризнанный авторитет современного русского языка представляет собой объективно-историческое явление: это язык В. И. Ленина, язык великой мировой литературы и культуры, язык коммунизма. Главная задача ленинской национальной политики в области языкового строительства на современном этапе состоит в установлении гармонического национально-русского двуязычия. При этом русский язык, обогащаясь сам, обогащает и все взаимодействующие с ним языки братских народов СССР, способствует всестороннему раскрытию заложенных в них смысловых и выразительных возможностей.

А. М. Пешковский

ОБЪЕКТИВНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ЯЗЫК

Объективной точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение — п о з н а в а т е л ь н о е. Ни чувство, ни воля, конечно, не исчезают при этом, но они как бы переливаются целиком в познание. Человек не хочет ничего от изучаемого предмета ни для себя, ни для других, а он хочет только его познать. Он не испытывает от него самого ни удовольствия, ни неудовольствия, а испытывает только величайшее удовольствие от его познания. Так как эмоционально-волевое отношение тесно связано с оценкой предмета, то отсутствие о ц е н к и — первый признак объективного рассмотрения предмета. Такова точка зрения наук математических и естественных. Понятия прогресса и совершенства абсолютно невозможны в математических науках. В естественных науках они, правда, уже имеют применение, но в чисто эволюционном смысле. Когда говорят, что цветковые растения совершеннее папоротников, папоротники совершеннее лиственных мхов и т. д., то имеют в виду только то, что первые с л о ж н е е вторых, что в них части (органы и клетки) более д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы, а никак не то, что первые в каком-либо отношении л у ч ш е вторых.

Если подходить к науке о языке с этим различием субъективного и объективного, то языковедение окажется наукой не гуманитарной, а е с т е с т в е н н о й. Понятие языкового прогресса в нем целиком заменяется понятием языковой эволюции. Если в начальном периоде нашей науки и были оживленные споры о преимуществах тех или иных языков или групп языков друг перед другом (например, синтетических пред аналитическими), то в настоящее время эти споры приумолкли <...>

Совершенно так же, как зоолог и ботаник в конце концов вынуждены признать к а ж д о е животное и растение совершенством в своем роде, в смысле идеального приспособления к окружающей среде, так же и современный лингвист признает каждый язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выразился. И не только к целым языкам, но и к отдельным языковым фактам лингвист как таковой может относиться в настоящее время только объективно-познавательно. Для него нет в п р о ц е с с е и з у ч е н и я (заранее подчеркиваю это условие ввиду всего последующего) ни «правильного» и «неправильного» в языке, ни «красивого» и «некрасивого», ни «удачного» и «неудачного» и т. д., и т. д. В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых. Как пушкинский «дьяк, в приказах поседелый», он

Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева...

с той лишь разницей, что в конечном итоге он ни одного факта не осудит, а лишь и з у ч и т. Эта точка зрения, для современного лингвиста сама собою подразумевающаяся, столь чужда широкой публике, что я считаю нелишним иллюстрировать это объективное отношение на отдельных конкретных примерах, чтобы читатель видел, что оно возможно по отношению ко всякому языковому факту, хотя бы даже вызывающему глубокое негодование или гомерический смех у каждого интеллигента, в том числе и у лингвиста вне его исследовательских задач.

Прежде всего по отношению ко всему народному языку (т. е., например, для русиста к о в с е м у русскому языку, кроме его литературного наречия), у лингвиста, конечно, не может быть той наивной точки зрения неспециалиста, по которой все особенности народной речи объясняются п о р ч е й литературного языка. Ведь такое понимание приводит к взгляду, что народные наречия образуются из литературных, а этого в настоящее время не допустил бы в сущности и ни один профан, если бы он хоть на одну минутку задержался мыслью на предмете, по которому принято скользить. Слишком уж очевидно, что и до возникновения литератур существовали народы, что эти народы на каких-то языках говорили и что литературы при своем зарождении могли воспользоваться только этими языками и ничем другим. Таким образом, современные, например, русские наречия и говоры есть для лингвиста только потомки более древних наречий и говоров русских, эти последние — потомки еще более древних и т. д. и т. д. вплоть до самого момента распадения русского языка на наречия и говоры, а литературное наречие есть л и ш ь о д н о из этих областных наречий, обособившееся в своей истории, испытавшее, благодаря своей «литературности», более с л о ж н у ю эволюцию, вобравшее в себя целый ряд чужеродных элементов и зажившее своей особой, в значительной мере н е е с т е с т в е н н о й, с точки зрения общих законов развития языка, жизнью. Понятно, что народные наречия и говоры не только не могут игнорироваться при таких условиях лингвистом, а, напротив, они для него и составляют главный и

наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования, подобно тому как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению оранжереи. Таким образом, какое-нибудь «вчерась» будет для него не испорченным «вчера», а образованием чрезвычайно древнего типа, аналогичным древнецерковнославянскому «днесь» (дьньсь), древнерусскому и современному «здесь» («сьдесь»), современным народным: «летось», «лонись», «ономнясь» и др., составившимся из родительного падежа слова «вечер» с особой формой основы («вьчера») и указательного местоимения *сь* (равняется современному *сей*, ср. аналогичные французские образования *ceci* и *cela*); какое-нибудь «купалси», «напилси» не будет испорченным «купался», «напился», а будет остатком чрезвычайно древнего (общеславянского *и*, м. б., даже балтийско-славянского) образования возвратной формы с дательным падежом возвратного местоимения (древнерусское и древнецерковнославянское *си — себе*); какие-нибудь «пекёт», «текёт», «бегит», «сидю», «видю», «пустю» не вызовут в нем улыбки, а наведут его на глубокие размышления о влиянии 1-го лица ед. числа на остальные лица всех чисел и об обратных влияниях последних на 1-е, об удельном весе того и других в процессе языковых ассоциаций и т. д. Есть, конечно, в народных говорах и не самородные факты, а заимствованные из литературного наречия, которое в силу своих культурных преимуществ всегда оказывает крупное влияние на народные говоры. Сюда относятся такие факты, как «сумлеваюсь», «антиресный», «дилехтор», «я человек увлекающий», «выдающие новости» и т. д. На первый взгляд, уж эти-то факты как будто должны определиться как «искажения» литературной речи. Но и тут наука подходит к делу с объективной меркой и определяет их, как факт с м е ш е н и я языков и наречий (в данном случае местного с литературным), находя в каждом отдельном факте смешения свои закономерные черты («сумлеваюсь» — народная этимология, «дилехтор» — диссимиляция плавных и т. д.) и рассматривая само смешение как один из наиболее общих и основных процессов языковой жизни. Когда при мне переврали раз название нашей науки, окрестив ее «языконоведением», я тотчас занес этот факт в свою записную книжку, как яркий и интересный пример так называемой контаминации, т. е. слияния двух языковых образов (языковедение — законоведение) в один смешанный. Всевозможные индивидуальные дефекты речи, картавленье, шепелявленье и т. д. проливают иногда глубокий свет на нормальные фонетические процессы и привлекают к себе не меньший интерес лингвиста, чем эти последние. Совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи. Даже чисто искусственные факты постановки человеком неверного ударения на слове, которое он узнает т о л ь к о и з к н и г (*ро́ман, по́ртфель*), дают интересный материал для суждения о языковых ассоциациях данного индивида. Когда меня спросили на юге, как надо говорить: «верноподда́нический» или «верноподданни́ческий», я отметил у себя оба факта для последующего размышления о них.

Такова объективная точка зрения на язык. Как видит читатель, она

диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения, в силу которой мы над каждым языковым фактом творим или, по крайней мере, стремимся творить суд, суд «скорый» и зачастую «неправый» и «немилостивый». Мы или признаем за фактом «право гражданства», или присуждаем его сурово к вечному изгнанию из языковой сферы. Суд этот обычно бывает пристрастнейшим из всех судов на земле, так как судья руководится прежде всего собственными привычками и вкусами, а затем смутным воспоминанием о каких-то усвоенных на школьной скамье законах — «правилах». Но, во всяком случае, он убежден, что для *каждого* языкового случая такие правила существуют, что всё, чего он не доучил в школе, имеется в полных списках, хранящихся в недоступных для профана местах, у жрецов грамматической науки, и что последние только составлением этих списков «живота и смерти» и занимаются. Так как это убеждение в существовании объективной, общеобязательной «нормы» для каждого языкового явления и необходимости этой нормы для самого существования языка составляет самую характерную черту этого обычного житейско-интеллигентского понимания языка, то мы и назовем эту точку зрения *нормативной*. И нашей ближайшей задачей будет исследовать происхождение этой точки зрения как вообще в гражданской жизни, так и в частности, и по преимуществу в школе.

Когда человеку, относившемуся к языку исключительно нормативно, случается столкнуться с подлинной наукой о языке и с ее объективной точкой зрения, когда он узнаёт, что объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что «неправильно», нет, что в языке «всё течет», так что то, что вчера было «правильным», сегодня может оказаться «неправильным» и наоборот; когда он вообще начинает постигать язык, как самодовлеющую, живущую *по своим законам*, величественную стихию, — тогда у него легко может зародиться отрицательное и даже ироническое отношение к своему прежнему «нормативизму» и к задачам нормирования языка. И чем наивнее была его прежняя вера в существование норм, тем бурнее может оказаться, как у всякого новообращенного, его новое отрицание их. От такого поверхностно-революционного отношения к нормативной точке зрения я решительнейшим образом должен предостеречь читателя. Ближайший анализ покажет, что для *литературного наречия* наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть *единственно-жизненное* отношение, а что выведенный из объективной точки зрения квиетизм был бы смертным приговором литературному наречию.

Прежде всего, при ближайшем рассмотрении оказывается, что среди многих отличий литературного наречия от естественных, народных наречий и языков как раз самым существенным, прямо можно сказать, конститутивным является именно это стремление говорящего так или иначе *нормировать* свою речь, говорить не просто, а *как-то*. В естественном состоянии языка говорящий не может задуматься над тем, *как* он говорит, потому что самой мысли о возможности различного говорения у него нет. Не поймут его — он перескажет, и даже обычно другими словами, но все это совершенно

«биологически», без всякой задержки мысли на языковых фактах. Крестьянину, не бывшему в школе и избежавшему влияний школы, даже и в голову не может прийти, что речь его может быть «правильна» или «неправильна». Он говорит, как птица поет. Совсем другое дело человек, прикоснувшийся хоть на миг к изучению литературного наречия. Он моментально узнаёт, что есть речь «правильная» и «неправильная», «образцовая» и отступающая от «образца». И это связано с самым существованием и с самым зарождением у народа литературного, т. е. образцового, наречия. И зарождается-то оно как «лучшее», как язык преобладающего в каком-либо отношении (не всегда литературном, а и политическом, религиозном, коммерческом и т. д.) племени и преобладающих в тех же отношениях классов, как язык, который надо для успеха на жизненном поприще усвоить, заменив им свой, доморощенный, житейский язык, т. е. как некая норма. Существование языкового идеала у говорящих — вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого момента его возникновения, черта, в значительной мере создающая самое это наречие и поддерживающая его во всё время его существования. С точки зрения естественного процесса речи, с точки зрения, так сказать, физиологии и биологии языка, эта черта совершенно неестественна. Если сравнить речь с другими привычными процессами нашего организма, например с ходьбой или дыханием, то «говорение» интеллигента будет так же отличаться от говорения крестьянина, как ходьба по канату от естественной ходьбы или как дыхание факира от обычного дыхания. Но эта-то неестественность и оказывается как раз условием существования литературного наречия.

Присмотримся поближе к основным чертам этого литературно-языкового идеала. Первой и самой замечательной чертой является его поразительный консерватизм, равного которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех идеалов это единственный, который лежит целиком позади. «Правильной» всегда представляется речь старших поколений, предшествовавших литературных школ. Ссылка на традицию, на прецеденты, на «отцов» есть первый аргумент при попытке оправдать какую-либо шероховатость. Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. Сама по себе нормативность не связана с неподвижностью норм. В области права мы имеем пример норм, еще более принудительных и в то же время как раз подвижных, произвольно и планомерно изменяемых. Не то в языке. Здесь норма есть идеал, раз навсегда уже достигнутый, как бы отлитый на веки вечные. Это сообщает литературным наречиям особый характер постоянства по сравнению с естественными наречиями, мешает им эволюционировать в сколько-нибудь заметных размерах. Современный образованный итальянец легко читает Данте, современный же итальянский крестьянин вряд ли бы разобрался в языке родной деревни XIII века. Если в языке «всё течет», то в литературном наречии это течение заграждено плотиной нормативного консерватизма до такой степени, что языковая река чуть ли не превращена в искусственное озеро. Не трудно видеть, что этот

консерватизм не случаен, что он тесно связан опять-таки с самым существованием литературного наречия и литературы. Разговорный язык может меняться в каком угодно темпе, и беды не произойдет, потому что мы говорим с отцами нашими и дедами, но не далее. Читая Пушкина, мы уже говорим с прадедом, а для англичанина, читающего Шекспира, и для итальянца, читающего Данте, это «пра» удесятерится. Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается в себе предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова. Слишком тонкий слой почвы давал бы слишком слабое питание литературным росткам. Консерватизм литературного наречия, объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы.

Второй особенностью литературно-языкового идеала является то, что этот идеал всегда — местный. Мы все стараемся говорить не только, как говорили наши отцы, но и как говорят в Москве, в частности на сцене Малого и Художественного театров. Взоры и слух всех французов обращены на небольшую площадку сцены Comédie Française. Эта особенность, опять-таки связанная с самой сущностью и происхождением литературного наречия (наречие возобладавшего племени, занимавшего определенную территорию), оказывается в культурно-историческом отношении не менее важной. Если языковой консерватизм объединяет народ во времени, то равнение на языковый центр (Москва, Париж и т. д.) объединяет народ территориально. Основным свойством языковой эволюции признается в современном языкознании дифференциация языков, в силу которой всякий говор стремится обособиться от других говоров, распасться в свою очередь на говоры и сделаться наречием, всякое наречие стремится сделаться языком, всякий язык — целой языковой группой родственных языков и т. д. Словом, здесь эволюция совершенно аналогична эволюции животного и растительного мира и протекает целиком по дарвиновской схеме, по принципу «расхождения признаков»: разновидности делаются видами, виды родами и т. д. Так в естественном состоянии, но опять-таки не так при существовании литературного наречия. Литературное наречие не только объединяет различные части народа, говорящие на разных наречиях, как междурайонное, понятное всюду, оно и непосредственно воздействует на местные наречия и говоры, нивелируя их своим влиянием и задерживая процесс дифференциации. А на такое непосредственное воздействие одна литературная, книжная традиция без живого, звучащего в национальном центре образца вряд ли оказалась бы способной. Говоря популярно, если бы рязанцы, туляки, калужане и т. д. не прислушивались бы к Москве, у них на месте нынешних наречий и говоров образовались бы в скорости свои рязанский, тульский, калужский и т. д. языки и национальности, и с русской национальностью было бы покончено.

Всё, о чем я говорил до сих пор, касается той стороны литературно-языкового идеала, которая определяется понятиями «правильного» и «неправильного». Но ведь кроме правильности мы требуем от речи и много другого. Из этого другого я коснусь здесь только того, чего мы в с е требуем от себя и от других, всегда и везде, требуем так же неумолимо, как правильности, именно — я с н о с т и речи. Наш собеседник может говорить плоско, худосочно, неизобразительно, растянуто, неточно даже — мы со всем этим будем мириться. Но, если он будет говорить н е п о н я т н о, мы просто прекратим разговор. Мне могут возразить, что понятность требуется и в естественной речи, что она есть необходимое условие всякой речи как процесса социального и что в этом отношении известного рода «норма» рисуется в уме даже дикаря: говорящий непонятно представится ему именно ненормальным. Всё это так, и нормативность, в известном смысле, действительно входит в природу в с я к о г о говорения (см. ниже о социальной обусловленности речевого процесса). Но дело в том, что в естественном состоянии языка на нормативности этой никогда не приходится настаивать и даже не случается о ней подумать. В естественном состоянии все, кроме сумасшедших и сумасшедствующих (колдуны, шаманы, заклинатели), говорят нормально, т. е. понятно. Даже в нашей деревне говорят непонятно только придурковатые да те, которые хотят «свою образованность показать» (т. е. задетые уже литературным наречием). В литературном наречии, напротив, все всегда и везде говорят в той или иной степени н е п о н я т н о. Это может показаться парадоксом, но я прошу вспомнить любое собрание, любой доклад, любой спор. Разве не обращаются всегда к докладчику с просьбой р а з ъ я с н и т ь то или иное положение (причем вопросы обличают зачастую п о л н о е непонимание вопрошателей), разве не занимаемся мы в наших спорах преимущественно выяснением того, что мы «х о т и м с к а з а т ь» или «х о т е л и с к а з а т ь», и разве не расходимся в результате всех этих выяснений часто глубоко непонятными и непонимающими? Я прошу вспомнить, сколько времени тратится в наших спорах на действительное выяснение истины и сколько на устранение словесных недоразумений, на уговор о значении слов (это всё в лучшем случае, когда спорящие не просто твердят каждый свое, а стараются понять друг друга); прошу вспомнить, сколько времени тратится юристами на выяснение с м ы с л а того или иного свидетельского показания, того или иного закона; прошу вспомнить, сколько людей в науке, в поэзии, в философии, в религии заняты исключительно т о л к о в а н и е м чужих мыслей, выраженных подчас самими творцами как будто бы классически ясно и просто, но тем не менее всегда создающих целый ряд толков, сект, течений, направлений и т. д.; прошу всё это вспомнить — и читатель согласится со мной, что з а т р у д н е н н о е п о н и м а н и е есть необходимый спутник литературно-культурного говорения. Дикари просто «говорят», а мы всё время что-то «хотим» сказать. Мы, как слепцы, ищем с протянутыми руками друг друга в воздухе. Каждый в п о л н е понимает только свою собственную речь. Это создает усиленный с п р о с на я с н о с т ь в литературном наречии. Чем непонятнее культурные люди вынуждены говорить

(почему — об этом ниже), тем понятнее они х о т я т говорить. После правильности ясность следует считать наиболее общепризнанной, наиболее интенсивно сознаваемой нами чертой нашего литературно-языкового идеала. Сама правильность даже оценивается нами так высоко, в сущности, как необходимое условие ясности.

Ряд предыдущих сопоставлений первобытных условий жизни языка с культурными, вероятно, привел уже читателя к догадке, что «непонятность» литературного наречия для самих говорящих на нем обусловливается общей с л о ж н о с т ь ю культурной жизни. Но я все-таки проанализирую здесь, в чем состоит эта сложность с чисто лингвистической точки зрения, чтобы показать, что повышенные, по сравнению с естественным состоянием, заботы о ясности, наравне с заботами о правильности, являются необходимым условием самого существования литературного наречия.

Еще Пауль<...> и свое время показал, что естественная речь (конечно, и р а з г о в о р н о-литературная, поскольку она одной стороной своей примыкает к естественной) по природе своей э л л и п т и ч н а, что мы всегда н е д о г о в а р и в а е м своих мыслей, опуская из речи всё, что дано о б с т а н о в к о й или п р е д ы д у щ и м о п ы т о м разговаривающих. Так за столом мы спрашиваем: «Вы кофе или чай?»; встретив знакомого, спрашиваем: «Ты куда?»; услышав надоевшую музыку, говорим: «Опять!»; предлагая воду, скажем: «Кипяченая, не беспокойтесь!»; видя, что перо у собеседника не пишет, скажем: «А вы карандашом!» и т. д. Такие случаи, когда подающий воду говорит: «Это кипяченая *вода*», или следящий за письмом говорит: «А вы *пишите* карандашом» — принадлежат несомненно к более редким. Язык по природе э к о н о м е н в средствах. Не трудно видеть, что эта экономия возможна только при двух, уже указанных выше, условиях: 1) общности обстановки (обеденный стол, вода, писанье) и 2) общности предыдущего опыта (музыка). Каждая из вышеприведенных фраз с а м а п о с е б е совершенно непонятна и может иметь огромное количество значений в зависимости от этих двух факторов. Карандашом можно не только писать, им можно заткнуть отверстие, подрисовать брови, растолочь обратной стороной кристалл и т. д. и т. д. Фраза: «А вы карандашом!» может иметь соответственно этому множество значений. Точно так же вопрос: «Вы кофе или чай?» имеет в устах хозяйки одно значение, в устах встретившихся в магазине знакомых, делающих закупки, — другое, в устах лекторов по технологии, распределяющих между собой лекции о культурных растениях, — третье и т. д. и т. д. И все это мгновенно и без малейшего усилия понимается благодаря общей обстановке и общему опыту. Даже и наиболее недоговоренное из предыдущих примеров восклицанье «Опять!», могущее иметь уже поистине бесконечное количество значений, на практике всегда будет понято наиболее точным образом. Можно даже сказать, что точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше поводов для недоразумений. Это прямо приводит нас к причинам «непонятности» литературной речи. Ч е м л и т е р а т у р н е е р е ч ь, т е м м е н ь ш у ю р о л ь и г р а е т в н е й о б щ а я о б с т а н о в-

к а и о б щ и й п р е д ы д у щ и й о п ы т г о в о р я щ и х. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой стороны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митинге. Первые говорят т о л ь к о о том, что или перед их глазами, или переживается ими сообща в течение всей жизни ежедневно; второй говорит обо всем, к р о м е этого. Обстановка в его речи с о в е р ш е н н о отсутствует, а предыдущий опыт распадается на индивидуальные опыты тысячи съехавшихся со всего света лиц, объединенных только общностью человеческой природы. Во сколько же раз ему т р у д н е е быть понятым, и во сколько раз больше он поэтому должен с т а р а т ь с я говорить понятно! Всякий, кому случалось составлять уличное или газетное объявление о пропаже пианино, прекрасно помнит, как именно с о с т а в л я л его, а не просто писал, как он обдумывал каждое слово, и как нередко он рвал черновики. Почему это? Потому, что т р у д н о с т ь я з ы к о в о г о о б щ е н и я р а с т е т п р я м о п р о п о р ц и о н а л ь н о ч и с л у о б щ а ю щ и х с я, и там, где одна из общающихся сторон является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума. А во всякой п е ч а т н о й (т. е. собственно литературной) речи это именно так и есть: книги печатаются для неопределенного множества лиц. Понятно, что в противовес этой неизбежной затрудненности общения в культурном обществе должен был чисто биологически возникнуть к у л ь т с л о в а, к у л ь т у м е н ь я г о в о р и т ь, что для естественных условий значит абсурдно. И если бы даже ни правописание наше, ни грамматика нашего литературного наречия сама по себе, ни словарь его не представляли никаких трудностей (предположение, конечно, фактическое), мы все равно учились бы и учили бы родному языку в школе, потому что каждый из нас, как только он выйдет из пределов домашнего обихода, как только он заговорит о том, чего нет и не было ранее перед глазами его собеседника, должен у м е т ь г о в о р и т ь, чтобы быть понятым.

Основная и наибольшая часть этого уменья говорить дается в школе. Жизнь мало сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная государственно-культурная роль постановки родного языка в школе именно как предмета н о р м а т и в н о г о. Там, где дети усиленно у ч а т с я г о в о р и т ь, там взрослые не теряют бесконечного количества времени на отыскание в словесном потоке собеседника основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что составляют более ясные контракты и т. д. и т. д. Уменье говорить, это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык н о р м и р у е м ы й.

Такова роль нормативного изучения родного языка в школе. Может возникнуть вопрос: а как же наука с ее объективной точкой зрения? Ведь

нормативная точка зрения не научна. Мирится ли всё это с насаждением языковой науки в школе, за которое мы все теперь так ратуем?

Не только мирится одно с другим, но и требует одно другого. Противоречие этих двух точек зрения, как это мы тотчас увидим, только мнимое.

Прежде всего, беря вопрос во внешкольном, широком масштабе, мы должны признать, что противоречие факта и идеала, сущего и должного, свойственно вообще нашей мысли во всех областях ее. И наука с жизнью давным давно уже поделили между собой эти вещи: наука взяла себе «сущее», а жизнь — «должное»; там же, где «должное» с очевидностью основывается на «сущем», создались специальные, промежуточные между жизнью и наукой сферы — прикладные, нормативные науки (нормативность метафизического свойства я здесь для простоты оставляю в стороне). Политическая экономия изучает законы хозяйственной жизни, как они даны самой жизнью, т. е. объективно, а экономическая политика направляет эту жизнь по желанному руслу, т. е. действует субъективно на основе объективных данных экономической науки. Наука о финансах изучает законы финансовой эволюции государства, а финансовая политика извлекает из этого изучения уроки для направления финансовой жизни государства по желательному пути и т. д., и т. д. И в других областях даже принято, чтобы практик был хоть немного и теоретиком, чтобы государственный деятель знал и историю, и политическую экономию, и финансовое право, и множество других вещей, которые ему не мешают, а, наоборот, помогают. В свою очередь, и теоретики постоянно вмешиваются в этих областях в сферу практики, дают советы, являются сторонниками определенных государственных мер, соответственно своим научным симпатиям и убеждениям и т. д. Словом, наука изучает, жизнь творит, а мост между наукой и жизнью вполне налажен. Конечно, всякий ученый-экономист прекрасно знает, где он перестает быть политико-экономом и становится экономическим политиком, всякий финансовед знает, где он превращается в финансового деятеля, и всякий обыватель знает, где он из наблюдателя государственной, правовой, экономической и т. д. жизни (а наблюдает жизнь и изучает ее, конечно, всякий, и от научного изучения такое изучение отличается только несистематичностью и неметодичностью) превращается в активного участника ее. Раздвоение наблюдения и действия во всех других областях, кроме языковой, так элементарно, что не требует даже размышлений. Напротив, в языке все так привыкли к действию и так далеки от наблюдения и изучения, что, внезапно распознав язык как предмет наблюдения и изучения, готовы забыть, что они непрестанные творцы того же самого процесса, который наблюдают; и что эти две свои роли — роль наблюдателя и роль творца — каждый сам в себе должен разделить и в первой быть объективным, а во второй субъективным (насколько вообще допускает это такая объективная сфера, как язык). В начале статьи я все время подчеркивал, что лингвист как таковой не знает оценки языковых фактов, что для лингвиста в процессе изучения все факты хороши. Теперь, я надеюсь, мои

подчеркивания ясны. Лингвист не как лингвист, а как участник языкового процесса, как член данной языковой общины, конечно, расценивает языковые факты наравне со всеми прочими образованными людьми, с той лишь разницей, что у него для этой расценки гораздо больше специальных знаний. И не только расценивает, но сплошь и рядом активной проповедью вмешивается в процесс языковой эволюции (хотя опять-таки подчеркиваю, что стихийность языковых явлений плохо мирится с индивидуальным вмешательством и придает ему всегда вид донкихотства). Точно так же и обыватель, поскольку он наблюдает язык и интересуется им (случай не частый, конечно), является частично лингвистом, а поскольку морщится от каких-нибудь «местов» или «делов» — языковым политиком, человеком, участвующим в нормировании речи.

Есть одна область общественных отношений, где это совмещение наблюдения и действия сказывается особенно ярко. Это — рынок. На рынке, как известно, каждый приноравляется к так называемой рыночной цене, стараясь купить не дороже, а продать не дешевле этой цены. Цену эту он воспринимает как нечто объективно данное: «сегодня пуд картофеля *стоит* столько-то». Но в то же время известно, что это *стоит* слагается из соотношения спроса и предложения, в которых участвует каждый посетитель рынка. Приноравливаясь к объективной «стоимости», но в то же время всяким актом купли-продажи и даже простым подходом к этому акту субъективно с о з д а е т (пропорционально своей доле участия в общем обороте рынка) эту самую «стоимость». Совершенно то же и в языке. Все мы, чтобы нас понимали, д о л ж н ы равняться в нашей языковой деятельности по окружающим, должны говорить, как в с е. Непосредственное воздействие говорящей среды на каждого индивидуума ведет к тому же: каждый невольно подражает в с е м окружающим его. Но, с другой стороны, как создается это «к а к в с е»? Если каждый подражает каждому, то почему же в конце концов получается не нечто абсолютно однообразное, а, напротив, такое разнообразие, при котором нет 2-х людей, абсолютно одинаково говорящих? Всё дело в том, что это «как все» создается сложением миллионов индивидуальных языков, в том числе и м о и м. Всякий говорящий одновременно и п о д р а ж а е т и в ы з ы в а е т п о д р а ж а н и е, и говорит «как все» и создает это «как все». Как нет на рынке ни одного покупателя (даже из приценивающихся или осведомляющихся только) и ни одного продавца, которые бы не участвовали в создании рыночной цены, так нет в языке ни одного говорящего, который бы не участвовал в создании самого языка. Разница между обывателем и литератором здесь только количественная, как между крупными покупателями-продавцами и мелкими, но не качественная. И стремление всякого говорящего повлиять на язык, по сути дела, было бы настолько же естественно и законно, как стремление купить на рынке дешевле, а продать дороже.

В ш к о л е эти две стороны должны войти в теснейшее соприкосновение уже по одним методическим причинам. Изучение одних сухих «норм» высшей «литературности» без объяснения, откуда они взялись, насколько совпадают с разговорной действительностью и насколько

отличаются от нее, было бы нестерпимо скучным. Это равнялось бы зубрению языкового «свода законов» без всякого юридического освещения, что, как известно, ни в одной юридической школе не практикуется. С другой стороны, о д н о наблюдение над языком без всякого практического применения этого наблюдения было бы, по крайней мере для школьника первой ступени, безусловно не по плечу. Теоретический интерес должен поддерживаться практическим, практический — теоретическим. Ребенок должен отчетливо понимать, что он у ч и т с я х о р о ш о г о в о р и т ь, но что для того, чтобы этому научиться, надо прислушиваться к тому и подумать над тем, к а к л ю д и г о в о р я т. Уже и в детском уме объективная и нормативная точка зрения должны прийти в должное равновесие и взаимодействие. Но для этого прежде всего надо, чтобы последнее твердо и стройно установилось в уме учителя, чему я и хотел посодействовать настоящей статьей.

Русский язык в школе: Труды постоянной комиссии преподавателей рус. яз. и лит./Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М. — Пг., 1923, вып. 1. Перепечатано в кн.: *Пешковский А. М.* Избранные труды. М., 1959, с. 50—62.

С. П. Обнорский

ПРАВИЛЬНОСТИ И НЕПРАВИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В работе над Орфографическим словарем русского языка, изданном в виде проекта Наркомпросом в 1936 г. заново подготовлявшемся последние годы, а кроме того в обработке однотомного Словаря русского языка пришлось столкнуться со всей сложной совокупностью явлений и фактов, относящихся к орфоэпической системе современного русского литературного языка. Если в отношении к орфографической системе русского языка можно было бы без труда указать на те или иные пункты ее неустойчивости, то полный учет этих пунктов не оказался бы слишком большим. Мы поэтому с основанием и научным правом можем систему нашего правописания характеризовать с общей положительной стороны. В отношении русской орфоэпической системы не приходится говорить об ее неустойчивости. Конечно, известные черты неустойчивости у нас в живой речи есть, и с ними, когда они граничат с неправильностями, надо бороться так же, как и с неустойчивостью, с противоречивостью в сфере письма. Но в отношении русской орфоэпической системы приходится говорить, что она сама по себе очень сложна. Сложность орфоэпической системы русского языка находит себе объяснение и в общем богатстве и мощности нашего языка, и в сложной и длинной истории его развития, и в особой силе и импульсивности развития его за последнее время в революционный период. Последнее особенно осложнило общую систему нашей орфоэпии, в связи с чем именно в последнее время с остротою встали задачи научного ее изучения. Впрочем, научное изучение русской орфоэпии

только начато. Сюда принадлежат главным образом труды В. И. Чернышева. Отправное значение для орфоэпического изучения русского языка должно иметь издание академического словаря, равно как и обстоятельной, академической грамматики русского языка. Основным же фондом здесь должно послужить возможно полное и точное описательное изучение живого и письменного языка современных деятелей русского слова.

Понятию «орфоэпия» обычно придается суженное значение, как дисциплине, изучающей нормы правильного литературного произношения. Но это понятие, конечно, обнимает язык более широко, не ограничиваясь одной произносительной стороной, оно включает и нормы литературного использования в речи форм (склоняемых, спрягаемых), и нормы синтаксического построения речи, и т. д. В последующем изложении из области современной русской орфоэпии немногое будет затронуто, соприкасающееся собственно с произносительной стороной нашего языка, и в большей степени будут охвачены вопросы морфологической его структуры. Впрочем, и здесь и там отдельные проблемы теснейшим образом связаны с вопросами ударения, т. е. с той же произносительной стороной языка.

1. Известен закон из истории русского языка о переходе (не начального) *е* в *о*. Согласно с этим законом в русском языке всякое *е* изменялось в *о* перед твердым согласным или в исходе слова, например *мёд, лён, всё*. Не переходило, однако, в *о* то *е*, которое образовалось из ятя, например, *мера, на стене*. Последнее надо понимать так, что, когда ять совпал с *е*, этот закон уже не имел живого действия. Однако должно думать, что долго еще, но уже по реминисценции, переход *е* в *о* осуществлялся в языке спорадическим путем. Это были главным образом изолированные случаи с книжной лексикой или архаической официальной русской лексикой, долго державшейся в языке в произношении на славянский лад, т. е. с *е*. Заимствованные слова позднейшей поры сохранялись по общей норме в произношении с *е*, ср. *комета, метод*.

Современный русский литературный язык вообще хорошо сохраняет в интересующих группах лексики соотносительное произношение *е — о* в подударном положении. Однако есть изолированные случаи с двойственным произношением то *е*, то *о* в одних и тех же словах. Замечательно при этом, что среди этих случаев примеров с доминирующим *о* (согласно общему положению), редко колеблющихся с *е*, в языке очень немного, и двойственное произношение *е — о* главным образом падает на случаи с преобладающим произношением *е*, варьирующим (обычно в просторечии) с параллельным их произношением с *о*. Последнее обстоятельство с ясностью свидетельствует о том, что современные нормы литературного языка в этом отношении следуют линии нашего литературного языка старшей поры. Среди примеров с нормальным *о* и более редким *е* в литературном употреблении следует отметить слово *жёлчь, жёлчный*, также существительные *шёрстка* с прилагательными типа *коротко-, длинношёрстный* и т. п., кроме того, слово *пёрышко*. Редкими, свойственными просторечию, являются случаи с *ё* в словах *передёржка* вместо *передержка, всплёск* вместо *всплеск*, ср. еще *шлём* вместо литературного *шлем*. Заимство-

ванное *манёвр* (как и производные — *манёвренный* и др.), отвечая ближе произношению оригинала, должно считаться более отвечающим литературной норме, чем редкий вариант его *маневр*, с *е*. К противоположной группе случаев с более устойчивым *е* и редким *о* принадлежат слова *зев, рубеж* с производными прилагательными *зарубежный, порубежный, оседлый*; таковы же бывшие славянизмы или вообще примеры книжных образований: *современный* и др. под., *одно-, много-, разноплеменный* (но *единоплеменный* с устойчивым *е*), *одно-, разно-, соименный* (но *поимённый* с устойчивым *о*), *местоименный, можжевеловый*; сюда же можно отнести причастные образования действительного залога прошедшего времени от глаголов *течь, облечь, влечь, нести, везти, вести, умереть (отекший, облекший, привлекший, принесший, приведший, привезший, умерший)*, доминирующие в произношении с *е*. Последнюю, наконец, категорию примеров в рассматриваемой группе слов составляют слова, нормально произносящиеся в литературном языке с *е*, однако известные в вариантном произношении и с *о*, в произношении с отпечатком более или менее выраженной просторечности. Таково нормальное *согбенный* при варианте *согбённый, запрет, запретный* при *запрёт, -ный, подземный, наземный* при *под(на)зёмный, отместка* при *отмёстка*, наконец заведомо просторечные или областные формы — *призёмистый, хребёт, пёкло, пёрст, валёжник, посажённый* (к сажень), , *поперёчный, опромётчивый*.

Как указано выше, старый ять не подлежал переходу в *о*, однако в литературный язык проникли из диалектов и прочно закрепились одиночные слова с подобным произношением. Это известные по старым еще школьным грамматикам формы именительного падежа множественного числа: *гнёзда, звёзды*; прошедшего времени *приобрёл*; причастия *надёван*; сюда же должно присоединить прилагательные *звёздный, надзвёздный*, долгое время в литературном произношении сохранявшие старое *е*; таково же страдательное причастие *преодолённый* (вариант *преодоленный* является устарелым). С выраженным оттенком просторечия звучат слова — *опёка, издёвка, смётка, слёжка*, также прошедшее время от глагола *сечь*, например *рассёк, осёкся*, наконец, прилагательное, по происхождению страдательное причастие, *недоумённый*.По литературной норме все эти слова должны произноситься с *е*.

2. Известную неустойчивость обнаруживают кратные глагольные образования на *-ивать (-ывать)* от основ, содержащих гласный *о* под ударением. Старый слой этих образований от первичных, собственно глагольных, основ характеризуется наличностью *а* под ударением на месте гласного *о*, принадлежавшего отправной глагольной основе. Ср. *просить — выпрашивать, ходить — похаживать, доить — выдаивать, колоть — прокалывать* и т. д. Позднейший слой подобных образований, образований главным образом от именных основ (в редких случаях и от местоименных основ или от основ числительных), характеризовался первоначально сохранением гласного *о* отправной глагольной основы. Однако под несомненным воздействием кратких глагольных образований старейшего типа и здесь начался процесс замены корневого гласного *о* гласным *а*. Это изменение известно и в

наших говорах, оно наблюдается и в нашем литературном языке, особенно заметно с конца XVIII в. В литературном языке изменение это шло постепенно на всем протяжении XIX и XX вв.: перед нами явление живое и для современной стадии литературного языка. Последнее обстоятельство объясняет известную неустойчивость с принадлежностью разных вариантов интересующих образований современному нашему литературному языку. Главенствующими и в настоящее время в литературном употреблении являются глагольные образования с сохранением корневого гласного *о*. Таковы, например, глаголы — *озабочивать, подытоживать, приохочивать, разрознивать, узако́нивать, упрочивать, приурочивать, ускоривать,* или также — *заподозривать, опорочивать, удостоивать, уполномочивать*. От этих глаголов, в особенности же от последнего из ряда, могут встретиться в разговорном языке вариантные образования с корневым гласным *а* (не *о*), они, однако, являясь отчасти областными, отчасти разговорными или просторечными, не могут считаться нормальными литературными образованиями. С более или менее устойчивым корневым гласным *а* для нормального литературного употребления могут быть отмечены лишь следующие глаголы: *заболачивать, занаваживать (у-), затрагивать (до-, притрагиваться), за (с-, у-) забривать, о(при-, у-) сваивать, оспаривать,* (хотя *переспоривать), (ис-, об-, от-, пере-, по-, с-) таптывать, опоражниваться, с(у-) двaивать, с(у-) траивать, сплачивать, успокаивать*. В отдельных случаях и здесь в разговорном языке могут встретиться вариантные формы старейшей поры, с корневым гласным *о* (не *а*), но это для современной литературной нормы уже стареющие или устарелые образования. Впрочем, диалектное колебание *унаваживать* и *унавоживать* поддерживает двойственное употребление этого по своей семантике не городского слова в общем языке. Ср. также, с одной стороны, отмеченную глагольную пару *оспорить — оспаривать,* но, с другой стороны, иное отношение в *переспорить — переспоривать*.

3. Встречаются в литературном языке одиночные заимствования греко-латинского происхождения, от которых в образовании производных не наблюдается устойчивости: рядом с нормальными органического характера в подходящих случаях производными образованиями используются как дублетные формы их образования, сложившиеся на основе иноязычной же лексики в подходящей грамматической функции. Так, слово *синтаксис* есть грецизм. Прилагательное от этого слова звучит двояко: *синтаксический* и *синтактический*, причем последний вариант оправдывается греческой же формой прилагательного (συντακτικός). Форма прилагательного *синтактический* — ограниченная по употреблению форма, форма книжного, нарочито искусственного языка. Нет оснований поэтому поддерживать ее в общем употреблении. Форма *синтаксический*, с другой стороны, как нормальное, морфологически оправданное адъективное образование к *синтакс-ис*, получает тем большие основания для безраздельного своего закрепления в общелитературном языке. На этом же основании следует считать нормальными литературными формами *апоплексический* (не *апоплектический*, ср.

апоплексия), *апокалипсический* (не *апокалиптический*, ср. *апокалипсис*), *каталепсический* (не *каталептический*). Однако в общее употребление вошла форма прилагательного *эпилептический* (от *эпилепсия*), ср. также существительное *эпилептик*. Как принадлежащие сферам ограниченного научного употребления выступают в подобной же форме, с *т*, прилагательные *паралактический* (ср. паралакс) и *эллиптический* (ср. эллипсис). Нет оснований, конечно, этим формам, прочно вошедшим в язык, предпочитать вариантные, редкие в употреблении, образования с *с*. Двойственно также в употреблении адъективное производное к существительному *флексия*: оно звучит и в виде *флексивный* и в виде *флективный*. Ввиду ограниченности употребления в речевой практике этого слова (оно принадлежит области лингвистики) можно было бы из обоих его вариантов нормализовать последний вариант, с *т*, вообще преобладающий в речи. К группе рассмотренных фактов, наконец, относится двойственность глагольного производного к существительному *дискуссия*. Таковы варианты глагола, с одной стороны, *дискуссировать* и, с другой стороны, *дискутировать*. Из обоих вариантов в качестве нормального для литературного употребления должен быть отмечен последний вариант; в этой форме глагол преимущественно употребляется в языке; в этой форме, кроме того, выступает в незатемненном виде глагольная основа, которая фонетически осложнена в субстантивном образовании *дискуссия* и в создавшемся на его основе вариантом глагольном производном *дискуссировать*. С этой формой глагола (*дискутировать*) рядом с существительным *дискуссия* можно сопоставить глагол-термин *перкутировать* — рядом с существительным *перкуссия*.

4. Обращает на себя внимание значительная группа отыменных глаголов в русском языке: они образуются то помощью суффикса *-овать*, то помощью суффикса *-ировать*. Первый суффикс используется в образованиях и от русских и от иноязычных основ, например *торговать, стол-оваться, ноч-евать, оркестр-овать, презент-овать, туш-евать;* второй суффикс употребляется почти исключительно в производных от иноязычных основ, например *вальс-ировать, фотограф-ировать*. Единичным здесь исключением является недавнее техническое (искусственное) образование *молнировать*, если не считать таких глаголов, как *большевизировать, советизировать* и т. п., явившихся при *большевизм, большевизация* и т. п., подобно *европеизировать* при *европеизм, европеизация* и т. д. Таким образом в образованиях от русских основ глагольный суффикс был только *-ова*, в глаголах же от иноязычных основ суффиксом выступал тот же *-ова-*, а кроме того *-ирова-*. Последнее обстоятельство не могло не послужить и послужило почвой начавшегося процесса морфологического выравнивания глагольных образований, сложившихся на базе иноязычных основ. Понятно, что это выравнивание шло по линии постепенного вытеснения глаголов с сложным суффиксом *-ир+ова-*, в составе которого, между прочим, первый элемент иноязычного происхождения, вариантными, параллельно созданными, глагольными образованиями на *-ова-*. Процесс этот, начавшись рано, еще с XIX в., имеет живое значение и в настоящее время. Можно было бы в этом отношении указать на ряд

глаголов, ныне характеризующихся суффиксальным *-ова-*, в прошлом же являвшихся образованиями на *-ирова-*, образованиями либо совсем забытыми, либо осознаваемыми со стороны полной своей архаичности. Ср. такие глаголы, как *иллюмин-овать, оркестр-овать, характеризовать* и т. п. или особенно частые глаголы на *-изова-*, как *деморализовать, децентрализовать, (де)натурализовать, инвентаризовать, колонизовать, кристаллизоваться, локализовать, материализовать, милитаризовать, мобилизовать (де-, от-), нейтрализовать, нормализовать, парализовать, скандализовать, лабиализовать, палатализовать* и др. под. Варианты этих глаголов — на *-ирова-* или *-изирова-* — уже являются устарелыми элементами лексики и не должны считаться нормальными элементами современного нашего литературного словаря. Немало в нашем языке глаголов, двойственно звучащих и в форме на *-ирова-* и в форме на *-ова-*. Ср. такие глаголы, как *авторизировать* и *авторизовать, аккредитированный* и *аккредитованный, акцентировать* и *акцентовать, вулканизировать* и *вулканизовать, детализировать* и *детализовать, инструментировать* и *инструментовать, канонизировать* и *канонизовать, конкретизировать* и *конкретизовать, легализировать* и *легализовать, модернизировать* и *модернизовать, муниципализировать* и *муниципализовать, популяризировать* и *популяризовать, секуляризировать* и *секуляризовать, солидаризироваться* и *солидаризоваться, стабилизировать* и *стабилизовать, стандартизировать* и *стандартизовать, терроризировать* и *терроризовать, типизировать* и *типизовать, утилизировать* и *утилизовать, цитировать* и *цитовать, сублимировать* и *сублимовать, йотированный* и *йотованный, перлюстрировать* и *перлюстровать* и др. под. В отношении этого ряда глаголов трудно сказать, какой из типов здесь является доминирующим в литературном современном употреблении (хотя *типизировать, утилизировать* преобладают над вариантами на *-ова-*); тем не менее безусловно желательно эти двойственные формы для литературного использования как-то нормализовать. В этом отношении линия нормализации не вызывает затруднений. Несомненно, что язык боролся и борется против громоздких образований на *-ирова-*, с этим наполовину нерусским суффиксом, в пользу форм на *-ова-*, с этим широким по распространению в языке типически славянским, русским в частности, словообразовательным элементом. Этим вариантным глагольным образованиям на *-ова-* при наличности параллельных форм на *-ирова-* в каждом данном случае в линии нормализации языка должно быть отдаваемо предпочтение. Именно образования на *-ова-*, при которых имеются в языке для одних и тех же глаголов и вариантные формы на *-ирова-*, должны вытеснить из литературного употребления эти последние. Из истории русского литературного языка и из современного языка можно видеть, что жизнь многих глагольных образований на *-ирова-* начинается именно с того, что при соответственных глаголах возникают варианты их на *-ова-*, в конце концов вытесняющие своих предшественников — формы на *-ирова-*. Можно из современного языка привести немало примеров с формами на *-ирова-*, при которых варианты на *-ова-*, можно сказать, существуют в языке более или менее

потенциально, принадлежа более разговорной речи, в словарных изданиях обычно не будучи регистрируемы и т. д. Ср., например, глаголы — *драматиз-ировать, европеиз-ировать, идеализ-ировать, индивидуализ-ировать, индустриализ-ировать, монополиз-ировать, морализ-ировать, национализ-ировать, специализ-ировать, назализ-ироваться* и т. п. Очевидно, дело лишь во времени, и варианты этих глаголов на *-ова-* станут равноправными по употреблению в литературном языке, а в дальнейшем и вытеснят вовсе из языка своих предков — формы на *-ирова-*. Впрочем, в отдельных случаях история дублетных глаголов на *-ова-* и *-ирова-*, осложняясь фактором семантическим, может заключиться сохранением и одного и другого варианта глагола в системе литературного языка. Сохранность обоих вариантов глагола в языке должна иметь опору в достаточной их семантической или стилистической дифференциации. Можно вспомнить о глаголе *репетировать* с вариантом *репетовать*: последний вариант глагола сохранился в специфическом значении в театральной сфере, ср. здесь существительные *срепетовка, срепетованность*. Ср. еще глагол *формировать* и в техническом значении *формовать*.

5. В области именного склонения, как и спряжения, немало встречается двойственных форм, нуждающихся соответственно в литературной нормализации.

В склонении имен существительных остро стоит вопрос об окончании известных рядов существительных муж. рода в именительном падеже мн. числа *-ы* без ударения или *-á* под ударением. Следует при этом иметь в виду, что пользование в им. мн. окончанием *-ы* без ударения означает тем самым почти всегда употребление и во всех косвенных падежах мн. числа безударных окончаний и наоборот — если существительное имеет в им. мн. окончание *-á*, во всех прочих падежах мн. числа у него ударение также падает на окончания. Окончание *-á* в им. мн. существительных муж. рода — новое по происхождению. Это окончание собственно первоначально являлось флексией той же падежной формы подвижноударяемых существительных в двойственном числе (у неподвижных по ударению существительных форма им.-вин. дв. числа совпадала с род. п. ед. числа). С утратой двойственного числа, как специальной грамматической категории, эти формы на *-á* у группы подвижноударяемых имен существительных были осмыслены как формы множ. числа, подобно тому как в группе существительных с неподвижным типом ударяемости форма им.-вин. дв. числа на *-á (-а)*, совпадавшая с формой родительного п. ед. числа, была и синтаксически переосмыслена, явившись для языкового восприятия именно как форма род. падежа. Ср., с одной стороны, новые формы им. мн. числа, как *берегá, бокá, городá, рогá* и т. п., с другой стороны, новые словосочетания с род. падежом существительного, как *два договóра, два купцá, два человéка* и т. п., давшие начало такому употреблению род. падежа от существительных женского и среднего рода в их сочетаниях с числительными *два, три, четыре* (например, *две сестры́, два селá, три пóля* и т. п.). Новые формы им. мн. на *-á*, явившиеся в результате переработки первоначальных форм дв. числа, могли фактически возникнуть в языке лишь после утраты самой категории

двойственного числа. Действительно, примеры им. мн. на *-á* по памятникам не восходят далее, чем к XVI в. Выступают эти формы, как формы новые, робко на протяжении XVI—XVII вв., но с Петровской эпохи они заметно растут и в пределах русской лексики на протяжении XIX ст. становятся нормой нашего литературного языка. Одновременно, сначала очень незначительно, а с XIX в. с большой широтой идет распространение этих форм на *-á* на смежные группы имен существительных, по своему происхождению неподвижноударяемых. Главным образом это — заимствованные слова и в очень ограниченном числе слова русские (из области старой книжной лексики). Если основной контингент русских слов, слов подвижноударяемых, вообще вошел в систему языка в новых формах на *-á* и эти формы устойчиво сохраняются в нормах литературного языка до настоящего времени, то этот вторичный слой образований на *-á*, слой очень значительный и возрастающий непрерывно на наших глазах, далеко не может считаться прочно вошедшим в общий литературный язык. Очень многие примеры с формами на *-á* этой последней категории обязаны своим происхождением профессиональной речи, типически свойственны ей и не могут быть нормализованы для общего литературного языка. Таковы же некоторые образцы форм на *-á*, характерные для области просторечия или разговорного языка. Все это объясняет значительную пестроту нашего языка в употреблении интересующих форм. При малом числе существительных, прочно дающих формы на *-á* как общую литературную норму (ср., например, формы — *бортá, шелкá, тормозá* [впрочем, в фигуральном употреблении возможна лишь форма *тóрмозы*], *докторá, директорá, инспекторá, юнкерá, профессорá* и др.), мы встречаем длинный ряд существительных, знающих формы на *-á*, но лишь как формы профессионального, не общелитературного языка, мы находим и примеры двойственных форм на *-ы* без ударения и *-á* под ударением, возможных в том и другом виде для литературного употребления. В числе общих «грамматических» условий, регулирующих образование в современном языке форм на *-á*, следует отметить собственно одно: отсутствие ударяемости в слове на конечном слоге дает уже возможность образования форм им. мн. на *-á*, а следовательно и обратно — от слов с наконечной ударяемостью невозможны формы им. мн. на *-á*. Действительно, с точки зрения общих литературных норм системе языка поэтому особенно противоречат такие образования, как *инженерá, офицерá, договорá*: ср. ед. число *инженéр, офицéр, договóр*. И хотя формы *инженерá* и *договорá* приходится слышать нередко, они не могут признаваться литературными формами. Не могут также оканчиваться на *-á* имена существительные муж. рода, но принадлежащие к категории pluralia tantum (слов, употребляющихся вообще лишь в форме мн. числа). Поэтому просторечное *выборá*, профессиональное *прискá* находятся в том же внутреннем противоречии с общими нормами для образований на *-á*. Односложные существительные в группе заимствованных слов вообще очень редко допускают в им. мн. окончание *-á*, потому что с этой формой наконечное ударение переносится во все прочие падежи мн. числа, существительные же заимствования представляют собой по общей норме слова с не-

подвижным типом ударяемости. Действительно, из числа односложных слов-заимствований формы на *-á* имеют немногие существительные: *шёлк*, очень старое заимствование, давно уже не осознаваемое как заимствованное слово, *борт*, *спорт*, кроме того, *том* и *тон* представляют во мн. числе колеблющиеся формы на *-ы* и *-á*. В прочих случаях, хотя в отдельных примерах просторечие и знает употребление форм на *-á*, для литературной нормы эти формы неприемлемы. Ср. в литературном употреблении лишь — *плу́ги*, *при́зы*, *то́рты*, *фо́рты*, *це́хи*, *по́рты*, *клу́бы* и др. Больше того, от отдельных существительных этого типа (односложных) встречаются формы мн. числа не на *-á*, но на *-ы́*, однако и эти формы обычно не отвечают нормам литературного употребления, ср. профессиональное или просторечное произношение им. мн. *плуги́*, *призы́*, *шрифты́*, *штабы́*, *штрафы́*; нормальное же литературное произношение лишь *плу́ги*, *при́зы*, *шри́фты*, *шта́бы*, *штра́фы* (т. е. и соответственные косвенные падежи от них с безударными окончаниями — *плу́гов*, *при́зов* и т. п.). [Однако более или менее устойчивое наконечное ударение имеем в *шкафы́*, *спирты́*]. Поэтому и от *фронт* нормальная литературная форма мн. числа *фро́нты*, *фро́нтов*, *фро́нтам* (форма *фронты́*, *фронто́в*, *фронтам*, подобная формам *штабы́*, *штрафо́в*, *шрифто́в* и т. п., насаждаемая радио, профессионального происхождения, профессиональной принадлежности). Такими же, в своем большинстве профессионального происхождения, формами являются многие иные образования на *-á* от двухсложных (и трех-, и многосложных) слов, как, например, *архитекторá*, *авторá*, *аптекаря́*, *библиотекаря́*, *бухгалтерá*, *боцманá*, *вахтерá*, *инструкторá*, <...> *крейсерá*, *катерá*, *прожекторá*, *шомполá*, или *джемперá*, *свитерá*, *примусá*, *штепселя́*, *грифеля́*, *трюфеля́*, *флигеля́*, *лагеря́* [(детские) *лагеря́* семантически разошлись с (военными) *ла́герями*] и т. д.; таковы же формы — *очеркá*, *почеркá*, *рапортá*, *секторá*, *профиля́* и мн. др., или просторечные и областные: *месяцá*, *клеверá*, *неводá* и др. Во всех этих случаях литературно нормализованными должны быть признаны формы на *-ы*, т. е. тем самым и косвенные падежи с ударением не на окончании, а на основе: не *авторо́в*, а *а́второв;* не *боцманов́*, *вахтеро́в*, *мичманов́*, *редакторо́в* и т. д., а *бо́цманов*, *ва́хтеров*, *ми́чманов*, *реда́кторов*; подобным образом — *кре́йсеров*, *ка́теров*, *проже́кторов*, *ла́герей*, *о́черков*, *се́кторов*, *про́филей*, *ме́сяцев* и т. д. По приведенным примерам можно видеть, насколько разговорная речь в пользовании этого типа формами неустойчива, насколько она отходит от правильных норм литературного языка. Должно заметить, что в некоторых случаях — как в русских словах, так и в словах заимствованных — прежняя двойственность форм им. мн. на *-ы* и *-á* сохраняется и до настоящего времени в литературном употреблении. Такова двойственность форм *ко́робы* и *коробá*, *ку́зовы* и *кузовá*, *ле́кари* и *лекаря́*, *хле́вы* и *хлевá*, *я́стребы* и *ястребá*; или в заимствованиях — *е́гери* и *егеря́*, *то́поли* и *тополя́*, *фельдфе́бели* и *фельдфебеля́*, *я́кори* и *якоря́* и некоторые другие. Отмечу двойственность формы с наконечным ударением: *стоги́* и *стогá*, *кормы́* и *кормá;* в парности образований *хле́бы* (о печеном хлебе) и *хлебá* (злаки) — явление семантической дифференциации; ср. выше *ла́гери* и *лагеря́*.

В склонении имен существительных муж. и ср. рода известная неустойчивость наблюдается в образовании формы род. п. мн. числа. В отдельных категориях слов муж. рода (наименования народностей и др. слова и термины с значением единиц веса и др., названия плодов) в род. мн. рядом с нормальным его образованием встречаются формы без окончания *-ов*. С точки зрения грамматической нормализации следует в подходящих случаях держаться форм с флексией, т. е. практиковать в род. мн. формы *аваров* (не *авар*), *сарматов* (не *сармат*) и т. п., *гренадеров, гусаров, драгунов,* или *ваттов, вольтов, граммов, омов* и т. п., также *баклажанов, бергамотов, помидоров* и т. п. В словах среднего рода на *-ье* и на *-це* подобным образом форма род. мн. образуется двойственно — то по общей норме для существительных ср. рода, т. е. без флексии, то помощью окончания *-ев*. Следует и здесь рекомендовать для поддержания единства грамматических норм следование именно общим положениям грамматики, т. е. пользование формами без окончания. Поэтому следует в род. мн. держаться форм: *поместий* (от *поместье*), *кочевий* (от *кочевье*) и т. п., *корытец* (от *корытце*), *полотенец* (от *полотенце*), *щупалец* (от *щупальце*) и т. п.

В склонении имен существительных следует отметить ряд явлений, связанных с неустойчивостью в области ударения. Выше отмечено колебание образований им. п. мн. числа от существительных (подвижноударяемых) муж. рода с окончанием *-ы* без ударения и *-á* под ударением. В косвенных падежах мн. числа поэтому выступают формы, с одной стороны, с безударными окончаниями, с другой стороны, с ударением на окончаниях. Позднейший слой этих же образований от заимствований в общелитературном языке знает в малом количестве формы на *-á*, и от них только согласно с общим положением и косвенные падежи представляют формы с ударяемой флексией.

Существительные женского рода на *-á* (подвижного типа по ударению) первоначально в вин. п. ед. числа представляли форму с ударением на основе, не переносившимся на флексию: например, *рукá — рýку, ногá — нóгу* и т. п. Однако во многих случаях под влиянием наконечного ударения во всех прочих падежах ед. числа (кроме вин. падежа) и форма вин. падежа стала двоиться в произношении, звуча с ударением то на основе, то на флексии. Эта тенденция к выравнению по ударяемости всех форм ед. числа подходящих существительных применительно к форме им. падежа еще сильнее обнаруживается в стадии современного литературного языка. По норме современного литературного языка ряд существительных, если и употребляется в вин. ед. числа с ударением на основе, то лишь в каких-либо застывших сочетаниях, в пословичных выражениях и т. п., вообще же от них практикуется уже одна форма вин. падежа — с ударением на флексии. Ср. вин. ед. *весну́* (не вёсну), *золу́, лозу́, полу́, полосу́, реку́, росу́, слободу́, сноху́;* обычны также формы *косу́* (орудие), *стену́*. В сочетании этих существительных с предлогами обычно также в нормах литературного употребления отсутствует перенос ударения с имени на предлог: *за полу́, на полосу́, за(на) реку́, под косу́, на стену́* и т. п.

Имена существительные женского рода на мягкий согласный, подвижного типа по ударению, во мн. числе, начиная с род. падежа,

имеют ударение на окончании. В отдельных случаях такое ударение наблюдается у существительных с неподвижным ударением на основе; например, *древностéй, рукописéй, летописéй, пристанéй* и др., ср. еще *в целя́х* в полунаречном значении. Это ударение расходится с нормой литературного произношения.

6. В образовании глагольных форм следует заметить о формах прошедшего времени, также соответственных причастий прош. времени действительного залога от глаголов на *-нуть*. Среди этих глаголов одни в названных формах (глаголы в основном перфективные, однократного значения) всегда сохраняют *-ну-*, например *блеснуть, кашлянуть* и т. п., другие (в подавляющей массе несовершенного вида) колеблющимся образом то сохраняют, то опускают *-ну-*, например: *погаснуть — погас, погаснул, погасший, погаснувший; тускнуть, потускнуть — тускнул, потуск, тускнувший, потускший* и *потускнувший*. Эти глаголы в старший период литературного языка в более широком виде представляли интересующие формы с сохранением *-ну-*, особенно когда имели «возвышенное» значение или употреблялись в фигуральном смысле (например, *воздвигнул* брань на кого-нибудь, но *воздвиг* памятник). В современном литературном языке эти семантические и стилистические признаки также играют известную роль в употреблении форм с сохранением или опущением *-ну-*, вместе с тем вообще употребление форм без *-ну-* представляется значительно выросшим по сравнению с прежним литературным языком. Определенно нормировать употребление одних и других форм не представляется возможным иначе, как путем их рассмотрения в словарном порядке. В образовании причастий прошедшего времени действительного залога обращают на себя внимание отдельные глаголы первого спряжения с основой на зубные согласные. У некоторых из этих глаголов старые формы на *д, т+ший* замещены новыми образованиями на *-вший*, ср., например, *клавший, севший, упавший, кравший*. Рядом с этими новыми образованиями сохраняются старого типа формы, например: *метший, ведший* и др. По образцу приведенных новых образований на *-вший* встречаются в употреблении и соответственные формы от глаголов *брести, приобрести, изобрести: брёвший, приобрёвший, изобрёвший*. Эти формы, однако, не могут считаться получившими литературное признание: нормальными литературными формами должны считаться старшего типа образования: *брёдший, приобрётший* и *изобрётший*. Не имеет твердого установления форма страдательного причастия прошедшего времени от *пеленать*: встречаются три разновидности формы — *пеленанный, пеленутый, пеленатый*. Ввиду полной устарелости первого варианта для современного языка должна рекомендоваться последняя разновидность формы — *пеленатый*, так как вариант *пеленутый* не имел бы никакого морфологического для себя оправдания. В отношении деепричастных форм следует отметить вариантность деепричастия прошедшего времени на *-в* и *-вши*. Формы на *-в* (*сделав*) — нормальные литературные образования, формы на *-вши* (*сделавши*)—свойственны разговорной речи или просторечию. Среди деепричастий прошедшего времени выделяются формы от глаголов — *мереть, тереть, переть*. Нормальные соответственные

образования — *умерши, отерши, опреши*. От последних двух глаголов, кроме того, употребляются вторичные по образованию формы — *отерев, стерев, протерев* и т. п., *оперев*. Эти формы более свойственны разговорному языку и просторечию.

В образовании отдельных глагольных форм следует обратить внимание на некоторые явления, связанные с неустойчивостью в области ударения.

Среди глаголов второго спряжения с ударением в инфинитиве на конечном слоге часть сохраняет это наконечное ударение во всех лицах настоящего времени, например: *глядéть, гляжý, глядúшь, глядя́т, лишúть, лишý, лишúшь, лишáт*; значительное же количество их в 1-м л. ед. числа имеет наконечное ударение, в прочих же лицах ед. числа и во всем множ. числе характеризуется ударяемостью на основе, например: *терпéть, терплю́ — тéрпишь, тéрпят, варúть, варю́ — вáришь, вáрят*. Последний тип ударяемости у многих глаголов упрочился сравнительно недавно; от начала XIX в. мы имеем еще немало свидетельств старого на них ударения, наконечного во всех лицах настоящего времени. В связи с этим во многих глаголах мы и в настоящее время встречаем двоякого характера ударяемость, например: *дарúть, дарю́, дáришь*, и несколько устарелую форму — *дарúшь, божúться, божýсь, бóжишься* и *божúшься* и др. под.

В отдельных случаях мы встречаемся с вторичным типом ударяемости, не узаконенным нормами литературного употребления. Так, при литературном образце спряжения *звонúть, звоню́, звонúшь, звоня́т* (также — *зазвонить, отзвонить, позвонить, созвониться*) в разговорной речи встречаются формы глагола с иной ударяемостью (*звонúшь — звóнят*), литературным языком не нормализованные. Ср. еще подобные формы от глаголов *селúть (поселить, расселить, заселить, вселить, переселить), селю́, сéлишь, сéлят* — вместо *селúшь, селя́т, распоряди́ться, распоряжýсь, распоря́дишься, распоря́дятся* вместо *распоря́дишься, распоряди́тся, теребúть, теблю́, терéбишь, терéбят* — вместо *теребúшь, теребя́т, трубúть, трублю́, трýбишь, трýбят* — вместо *трубúшь, трубя́т, определúть, определю́, определишь, определят* — вместо *определúшь, определя́т* и др.

Заслуживает внимания также форма причастия страд. залога прош. времени на *-нный*. Глаголы первого спряжения с основой в инфинитиве на гласный в причастных образованиях на *-нный* имеют ударение на корне независимо от того, какова ударяемость глагола в инфинитиве. Например, *мáзать — мáзанный* и *стреля́ть — стрéлянный, вязáть — вя́занный*. Те же глаголы с основой в инфинитиве на согласный характеризуются наконечным ударением и в инфинитиве (*мести́, плести́, везти́, беречь* из *берéчь*, *сечь, печь* из *сечь, печь* и т. п.) и в форме наст. времени (*метёшь, плетёшь, везёшь, бережёшь, сечёшь* и т. п.). Причастные образования от них обычно имеют ударение не на корне, а на тематическом гласном, т. е. звучат на *-ённый: метённый (за-, на-, об-, под-, с-), плетённый, ведённый, везённый, несённый, бережённый, подстережённый, сечённый, наречённый, приобретённый, истолчённый* и т. п. Областными по своему происхождению, нелитературными являются нередко встречающиеся в разговорной речи причастные

формы от отдельных глаголов этого типа с накоренным ударением, как *принесённый, приведённый, привезённый* и т. п. Однако немногие глаголы здесь имеют накоренное ударение в причастной форме: *подстри́женный, изгры́зенный*; в особом положении форма *кра́денный*, ср. наст. вр. *крадёшь* и старшая форма *кра́дешь*; наконец в отдельных примерах можно наблюдать при сохранении старого типа ударяемости причастий на тематическом гласном проникновение нового ударения накоренного (в разговорном языке). Ср. *напрячь, запрячь* и т. п., обычно *напряжённый, запряжённый* и т. п., но и *запряженный*, ср. *сечь* — причастие *отсечённый, пересечённый, рассечённый, усечённый*, но в значении «наказать» возможны в разговорном языке новые формы, как *засе́ченный, иссе́ченный, пересе́ченный*.

Глаголы второго спряжения с ударением в инфинитиве на конечном слоге по общей норме в причастии имеют ударение на тематическом гласном, если во всем настоящем времени у них ударение на окончании, например: *возврати́ть, возвращу́, возврати́шь, возврати́т — возвращённый, изнури́ть, изнурю́, изнури́шь, изнури́т — изнурённый*; если же в наст. времени при наконечном ударении 1 л. ед. ч. в остальных лицах ед. и мн. числа ударение оказывается на корне, то и в страдательном причастии является то же накоренное ударение, например: *проси́ть, прошу́, про́сишь, про́сят — спро́шенный, люби́ть, лю́блю, любишь, лю́бят — разлю́бленный, излю́бленный*. Глаголы с неподвижным ударением на начальном или срединном слоге сохраняют свое ударение и в причастном образовании, например: *озабо́тить — озабо́ченный; пригото́вить — пригото́вленный*. Приведенные общие нормы оправдываются на большом количестве фактического материала с глаголами второго спряжения. Но есть немногие нарушения этих норм, отчасти узаконенные литературным употреблением, но в большей своей части принадлежащие разговорному языку. Ввиду того, что тип глаголов с различной ударяемостью в настоящем времени 1-го л. ед. ч. и всех прочих лиц ед. и мн. числа по своему происхождению в литературном языке тип молодой, о чем свидетельствует и колебание у ряда глаголов ударяемости в формах наст. времени — на корне или на окончании, — понятна известная неустойчивость и в ударении причастных образований от этих глаголов. Так, колебание в наст. времени *гру́зишь* и *грузи́шь* объясняет колебание и причастной формы *гру́женный* — и *гружённый*, при этом как ударение *грузи́шь*, так и причастной формы *гружённый* уже несколько устарелое. Подобным образом от *дои́ть, пои́ть, кои́ть* причастные образования звучат *доённый, поённый* (*вс-, на-, о-*), *кроённый* (ср. литературные формы наст. вр. *дои́шь, пои́шь, кои́шь*), но это ударение сбивается: областные или просторечные формы *до́ишь, по́ишь, кро́ишь* вызывают и причастные варианты — *подо́енный, вспо́енный, перекро́енный* и т. п. Подобное же колебание, характерное для разговорной речи (просторечия), можно отметить и для ряда иных глаголов, например при *всучённый — всу́ченный*, при *под(за, на, пере)синённый* — вариант с накоренным ударением, при *засорённый — наса́оренный*, колебание *наса́оленный* и *за(про, пере)солённый* и др. В ряде случаев держатся архаические причастные образования на *-ённый*, хотя формы наст. времени

встречаются с ударением на корне (или с колеблющимся ударением — и на корне и на флексии), например *дел*ённый *(от-, раз-), захорон*ённый, *за(из, об, от, под)мен*ённый, *на(от)клон*ённый, *осажд*ённый, *по(про)бужд*ённый, *повторё*нный, *рукоположё*нный, *крещё*нный *(о-, пере-), обсужд*ённый *(о-, при-);* варианты с накоренным ударением, иногда встречающиеся от отдельных глаголов, не являются нормальными для литературного употребления (ср. *захоро́ненный, подме́ненный, повто́ренный*). Глагол *оцени́ть, оце́нишь* дает нормально причастную форму *оце́ненный, расце́ненный,* но рядом сохраняются и старшего типа образования — *оценённый, расценённый,* ср. в качестве прилагательного только архаического типа форму *неоценённый.* Отмечу колебание по ударению внешне, формально близких глагольных форм, объясняющееся семантической дифференцированностью. При *купи́ть, закупи́ть* и т. п. — причастие (*за*) *ку́пленный* (ср. наст. вр. *куплю́, ку́пишь*), но от *искупи́ть, искуплю́, искупи́шь* — причастие по норме *искуплённый.* Подобным образом от *начини́ть* (= снабдить начинкой) — причастие *начинённый,* от *учини́ть, причини́ть — учинённый, причинённый,* но от *зачини́ть, почини́ть* и т. п. (= исправить шитьем) — причастие *зачи́ненный, почи́ненный* и т. п. Ср. еще отношение причастных образований *одарённый* при *по(раз)да́ренный, насаждённый* при *наса́женный, поса́женный* и др. под. Глаголы с наконечною ударяемостью и в инфинитиве и в наст. времени в редких примерах дают причастные образования с ударением на корне, ср. *до(на)ско́бленный, наслёженный, нави́нченный.* Однако в разговорном языке подобные случаи встречаются и от иных глаголов, притом как вариантные образования к нормальным причастиям на *-ённый.* Ср. *разгро́мленный, сплоченный, упро́щенный, обо́стренный, насторо́женный, уто́нченный,* сюда же можно отнести и существительное *догово́ренность* (образование от причастной формы). Все эти примеры с перенесенным ударением не принадлежат литературной норме. Таковы же, напротив, случаи с перенесенным обратным ударением на тематический гласный у глаголов с неподвижным типом ударения на корне. Сюда принадлежат нормализованные в литературном языке формы *по(при)нуждённый* (от *пону́дить, прину́дить*), *обрамлённый* (от *обра́мить*), *за(про, у)медлённый* (ср. *ме́длить*). В разговорном языке можно еще встретить формы *пресыщённый* (от *пресытить*) рядом с нормальным *пресы́щенный,* кроме того — *осведомлённый, уведомлённый* (ср. также имя существительное *осведомлённость*) от *осведомить, уве́домить.* Все эти последние разговорные варианты соответствуют нормализованным в литературном языке причастным образованием с ударением на корне.

Страдательные причастия от отдельных глаголов, в связи с семантическими чертами последних, переходили в прилагательные, в том или другом случае сохраняя одновременно и причастные и свои функции. Такие адъективированные причастия старой поры образования характеризуются одиночным, не двойным, суффиксальным *н* (впрочем, по современным правописным нормам одиночное *н* в отпричастных прилагательных пишется лишь в глаголах, не осложненных префиксами, в префиксированных же прилагательных, образовавшихся

из причастий, сохраняется написание двойного *н*, как и в причастиях) ср. *копчёный, крещёный, лощёный, мощёный, золочёный* и др., а рядом — *воспалённый, восхищённый, врождённый, исступлённый, извращённый, измождённый, изощрённый, изнурённый, изумлённый, искажённый, истощённый, одухотворённый* и т. д. Но, кроме того, прилагательные, образованные от причастий, в отличие от причастных форм нередко характеризуются иным ударением, именно ударением на тематическом гласном данной формы, в то время как в собственном причастии ударение падает на корень. Причина этой дифференциации форм по ударению, очевидно, должна объясняться из старой поры, к которой относится образование адъективированных форм причастий: это была пора, когда причастия от соответственных глаголов характеризовались именно не накоренною ударяемостью, отсюда и не накоренная ударяемость образовавшихся из этих причастий прилагательных. Позднее, в связи с передвижкой ударения в отдельных группах глаголов, именно перенесением ударения во 2—3-м л. ед. числа и во мн. числе наст. времени с окончанием на корень, изменилось аналогично и ударение причастных образований от этих глаголов, также передвинувшееся на корень. Так, стали противостоять по ударению прилагательные: *дарёный, гружёный, краплёный, кручёный, лечёный, мочёный, пилёный, солёный, сверлёный, сучёный, сушёный, топлёный, точёный, тушёный, учёный, хвалёный, чинёный* (ср. еще *посажёный* отец), *смышлёный, назва́ный* (брат) причастным формам *да́ренный, гру́женный* и т. д. Эта старая черта иногда дает себя знать и в позднейшее время при образовании прилагательных от причастий: если причастная форма соответственного глагола характеризуется накоренною ударяемостью, для отличия от причастия соответственное прилагательное может получить перемещение ударения с корня на тематический гласный. Ср. причастие от *озло́бить — озло́бленный*, но прилагательное с двойным ударением *озло́бленный* и разговорное *озлоблённый*, причастие *обосо́бленный* и прилагательное (в разговорном языке) *обособлённый* (отсюда двойственность ударения существительного — *обосо́бленность* и разговорное *обособлённость*), причастие *прибли́женный* и прилагательное *приближённый*, причастие *уни́женный* и прилагательное *унижённый*, причастие *заслу́женный* и прилагательное *заслужённый* (заслужённый деятель науки), причастие *из(воз, раз)лю́бленный* и прилагательное (также существительное) *влюблённый*. Ср. нередкую передвижку ударения к концу в адъективированных страдательных причастиях на *-тый*, например: *ли́тый* причастие, *литóй* прилагательное, *ви́тый* причастие, *витóй* прилагательное, *пи́тый* причастие, *испитóй* (чай) прилагательное, *при́нятый* причастие, *принятóй* прилагательное, *сня́тый* причастие, *снятóй* (снятое молоко) прилагательное и др. под.

7. Ударение слов независимо от принадлежности их к той или другой грамматической категории, независимо от их изменяемости невозможно рассматривать в порядке элементов изолированной лексики. Здесь поэтому остановлюсь на немногих фактах обобщающего характера с колебанием ударения в русском литературном языке.

Из слов с ударением, русских по происхождению, следует отметить

как литературно нормализованные варианты: *договóр* и *приговóр* (поэтому мн. число *договóры, приговóры*), не *дóговор, прúговор* (варианты разговорного языка); *созы́в* (не *сóзыв*, вариант просторечия); *послáнец* (нормальное образование от страдательного причастия *пóслан-н-ый*); *добы́ча* (не *дóбыча*, вариант профессиональный); *рýсло* (не *русло́*, вариант диалектный); *изобретéние, приобретéние* (не *изобрéтение, приобрéтение*, вариант разговорный); *мышлéние* (не *мы́шление*, вариант искусственного образования, ср. *замышлéние, измышлéние, помышлéние, размышлéние, умышлéние*).

Среди заимствований можно выделить слова: *агéнт* и производные *агéнтство, агéнтский* (не *áгент*, вариант просторечия), *алфавúт* (не *алфáвит*, вариант просторечный), *террóр, каталóг, некролóг, диалóг, диагнóз, экспéрт* (латино-греческие слова, вторично прошедшие европейское посредство), *докумéнт, инструмéнт, медикамéнт, фермéнт, фрагмéнт* (хотя *орнáмент*), *библиотéка* (не *библиóтека*, просторечный вариант), *киломéтр* (не *килóметр*, просторечный вариант), *феномен, нéктар, дóллар* (согласно с непосредственными источниками заимствования — первые два слова из греческого языка, последнее — из английского), слова на безударное *-ия* в лексике, прививщейся к литературному употреблению, как *афáзия, дизентéрия, лапопáтия, лапаротóмия, идиосинкрáзия* и др. Особого внимания заслуживают обильные в языке отглагольные существительные на *-ение*, представляющие известный материал двойственного по ударению произношения. Среди образований на *-ение* выделяются производные от глаголов первого спряжения с основой на согласный (типа *нес-ти, беречь*) и на *-е-* (*стареть*). Ударение существительных от всех этих глаголов согласуется с ударением инфинитива или — что то же — с ударением 1-го лица ед. ч. наст. времени: *смятéние, сбережéние, вспоможéние, изобретéние, прояснéние* и т. п. Ударение существительных, образованных от глаголов второго спряжения, представляет систему более сложную. Если глаголы имеют наконечную ударяемость и в инфинитиве и в формах наст. времени, в одном ли 1-м лице ед. числа или во всех лицах ед. и множ. числа, образованные от таких глаголов существительные имеют ударение на *-éние: смут-úть, смутúшь — смущéние, просúть, прóсишь — прошéние*. Поэтому от *опростúть(ся), сплотúть(ся)* существительные должны звучать в виде *опрощéние, сплочéние* (рядом встречаются в разговорной речи варианты *опрóщение, сплóчение*, которые не могут быть нормализованы для литературного употребления). Что касается глаголов с ударением (неподвижным) на корне, то по общей норме оно сохраняется и в соответственных производных существительных на *-ение*, особенно в тех случаях, когда эти существительные имеют четкое значение, связанное с значением данного глагола. Ср. *крáсить — крáшение, слáвить — слáвление, вúдеть — вúдение, калéчить — калéчение, морóчить — морóчение, порóчить — порóчение, конопáтить — конопáчение* и т. п. Однако во многих случаях у соответственных имен существительных ударение падает и на суффикс *-ение*, особенно тогда, когда в значении соответственных существительных имеется отход от значения собственного глагола, когда имеется перенесение, расширение

этого значения. Например, при *кра́шение* ср. *украше́ние,* при *ви́дение — виде́ние,* также *привиде́ние,* при *сла́вление — прославле́ние,* или ср. еще существительные — *значе́ние* (*обо-, предна-*), *муче́ние, мышле́ние* (*за-, из-, по-, раз-, у-,* ср. также *осмысле́ние*), *на(раз)руше́ние, за(про)медле́ние, обособле́ние, оглавле́ние, о(раз)грабле́ние, одобре́ние, озлобле́ние, осведомле́ние, освое́ние, о(по, рас)слабле́ние, о (на, предо) ставле́ние, от (вы, за, ис, на, с, при) числе́ние, оформле́ние, очище́ние, до (вы, за, ис, на, по, пере) полне́ние, по (пре, воз) выше́ние, по (до-, соиз-, произ) зволе́ние, поздравле́ние, по(с, при, у) ниже́ние, по (рас-, предвос) хище́ние, прибавле́ние (у, из), приготовле́ние, приспособле́ние, продолже́ние, противле́ние, приближе́ние, раз (у-) множе́ние, ране́ние, увере́ние (разу-), расшире́ние, уваже́ние, ударе́ние, удвое́ние, утрое́ние, удобре́ние (о-), (пред) уведомле́ние, (пре) увеличе́ние, узаконе́ние, улучше́ние, уменьше́ние, умилостивле́ние, уподобле́ние, у (ус) покое́ние, усиле́ние, ускоре́ние, у (на, по) строе́ние, утеше́ние, ухудше́ние* и др. В немногих случаях в этой категории существительных можно наблюдать колебание ударения. Ср. при *обеспе́чить — обеспе́чение,* но в разговорной речи и *обеспече́ние,* при *сосредото́чить — сосредото́чение,* но в разговорной речи и *сосредоточе́ние,* при *упро́чить — упро́чение* и разговорное *упрочи́ение.* Во всех этих случаях литературным должен быть признан вариант с накоренным ударением. От *удостове́рить* мы имеем *удостове́рение* в чистом значении абстрагированного глагола действия и *удостовере́ние* в значении документа. Глаголы *ограни́чить (раз-), обнару́жить* имеют двойственную форму существительного: *ограни́чение* при менее употребительном варианте *ограниче́ние, обнару́жение* и *обнаруже́ние* без четкого различения в употреблении этих вариантов.

Немало в нашем языке имен существительных на *-аж.* Это всё заимствования из французского языка. Значительное число этих слов в языке привело к тому, что в них обособился суффикс *-аж,* с помощью которого начали слагаться производные от русских слов. Таких, однако, производных в языке немного: *листа́ж, строка́ж,* ср. еще шутливое *подхалима́ж.* Как в словах иноязычных, в этих существительных ударение должно быть неподвижным. Таково действительно большинство слов: *абордаж, ажиота́ж, бракера́ж, арбитра́ж, верниса́ж, дрена́ж, кабота́ж, камуфля́ж, картона́ж, корса́ж, кута́ж, кура́ж, литра́ж, масса́ж, метра́ж, пилота́ж, плинта́ж, плюма́ж, репорта́ж, сабота́ж, такела́ж, типа́ж, тонна́ж, трельяж, трена́ж, трикота́ж, фикса́ж, фюзеля́ж, хронометра́ж, шанта́ж, шпиона́ж, экипа́ж.* Однако под влиянием русских слов на *-ёж,* в прочих падежах, имеющих ударение на окончании, и в эти слова на *-аж* начало проникать наконечное ударение. Это явление коснулось слов профессионального языка и употребления. Так, узаконилось новое ударение слова *бага́ж — багажа́, фура́ж — фуража́, тира́ж — тиража́.* Последнее слово в ед. числе, по данным словаря под ред. Д. Н. Ушакова, допускает колебание *тира́жа* и *тиража́.* Это было, надо думать, ко времени подготовки к изданию данного (4-го) тома словаря. В настоящее время можно без колебания нормировать одну форму слова — с наконечным ударением. Колебавшееся по ударению *банда́ж, банда́жа* и *бандажа́* (сведения словаря

Ушакова) в настоящее время также может считаться словом с установившимся наконечным ударением — *банда́ж, бандажа́*. В последние годы в эту же группу слов, с новым типом ударяемости, включилось существительное *блинда́ж*. Следует заметить, что и некоторые другие существительные на *-аж*, отчасти в просторечии, отчасти в профессиональной речи, произносятся с новым наконечным ударением, например: *кура́ж — куража́, шанта́ж — шантажа́, дрена́ж — дренажа́, листа́ж — листажа́, масса́ж — массажа́, метра́ж — метража́, монта́ж — монтажа́, стелла́ж — стеллажа́* и нек. др. Но эта передвижка ударения нормами литературного языка не закреплена.

Среди имен прилагательных много пестроты в ударении образований на *-ов*, вообще очень распространенных в языке. И здесь двойственности и неустойчивости ударения в значительной мере содействовали волны новой специфической ударяемости, сложившейся на почве профессионального языка и просторечия. Здесь, в частности, обращает на себя внимание значительный слой прилагательных, образованных от иноязычных существительных. Эти существительные обычно неподвижны по ударяемости, и в именах прилагательных от них по общей норме ожидается сохранение ударения на корне. Между тем можно было бы привести немало примеров двоящегося ударения в этой группе прилагательных — и на корне, и с передвижкой его к концу слова — на суффикс *-ов-* или на окончание. Последние варианты вторичны по образованию в языке, обязаны по большей части профессиональной или просторечной струе, направляющейся в язык, и не всегда могут считаться литературно нормализованными. Ср. при *ге́рбовый* варианты *гербово́й* и более редко *гербо́вый*, от *ма́чта* прилагательное *ма́чтовый* и профессионализм *мачто́вый*, от *план* обычная форма *пла́новый* и разговорный вариант *планово́й*, от *приз* нормальная форма *при́зовый* и профессиональный вариант *призово́й*, от *фланг* форма *фла́нговый* и разговорный и профессиональный вариант *флангово́вый* и *флангово́й* и т. д. Существительные *грамм, литр, метр, ватт* и т. п. предполагают адъективные образования типа *гра́ммовый, ли́тровый, ме́тровый, ва́ттовый* и т. п. Они существуют в языке, а рядом — просторечные варианты типа *двухлитро́вый, полуметро́вый, километро́вый* и т. п. От *семе́стр, триме́стр* нормальные прилагательные *семе́стровый, триме́стровый*, однако в первом случае норма сбивается вариантом-профессионализмом *семестро́вый* и т. д. Эта группа прилагательных особенно нуждается в нормализации.

Русский литературный язык, мощный и богатый сам по себе с богатым и сложным своим прошлым, особенно сложен в составляющих его элементах. Современный русский литературный язык есть скрещение самых разнообразных стилей. Ломоносов в своем учении о трех стилях с величайшей научной прозорливостью указал на непозволительность, на «неправильность» скрещения в данном роде произведений разных речевых стилей. Каждому роду произведений принадлежит свой стиль или возможность сочетания в нем определенных стилей. Это основное положение Ломоносова оправдывается всем последующим развитием нашего литературного языка, под пером лучших представителей русского слова оно имеет действенное значение

и в современном состоянии нашего литературного языка, обеспечивая сохранность чистоты в дальнейшем его росте. Это положение должно определять и наше отношение к заботам о современном литературном языке как величайшем национальном нашем достоянии. Однако наша задача хранить **чистоту** литературного языка, а вместе с тем стараться поднять его на большую **высоту**. В этом смысле нужно стремиться к тому, чтобы несколько поднять удельный вес высоких стилей нашего литературного языка. Это в свою очередь достигалось бы ценой некоторого снижения различных нелитературных элементов речи, входящих в состав тех или иных речевых стилей, и особенно профессиональной речи и просторечия, не говоря о собственно диалектной речи. В свое время в известной литературной дискуссии, с главенствующим участием А. М. Горького, дано понимание диалектизмов, определено значение их удельного веса в литературном языке. Собственно это положение должно относиться и к просторечной стихии, и к профессиональному языку, и к самим элементам разговорной речи, как ингредиентам понятия современного русского литературного языка. Литературный язык нисколько не потеряет, не обеднится, а, напротив, поднимется в строгих и высоких своих формах, если мы будем более разборчивы и более скупы, и не только в письменной, но и в живой речи, к использованию элементов профессионального языка, просторечной стихии, да и самого разговорного нашего языка. Это общее положение, представляется, должно явиться основополагающим в нормализации современного русского литературного языка.

Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1944, т. 3, вып. 5, с. 233—250. Перепечатано в кн.: *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960, с. 253—272.

В. В. Виноградов

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

4

<...> В круг проблематики культуры языка входят или граничат с ним следующие задачи.

1. Изучение норм языка на всех уровнях языковой системы в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях; следовательно, явления нормализации должны исследоваться не только в историко-результативном, но и в динамическом аспекте.

2. Изучение стилей языка и стилей речи в их соотношениях и взаимодействиях. Для глубокого понимания стилей языка в их соотношениях должны быть определены структурные типы основных стилевых систем языка в орфоэпическом, грамматическом и лексико-фразеологическом аспектах, должны быть описаны и исследованы их связи и взаимопроникновения. Для описания движения и взаимодействия стилей речи должны быть охарактеризованы и сопоставлены разные

типические или типологические композиционные формы речевых построений с определением стилистических границ употребления слов, выражений, конструкций и диапазона их колебаний.

3. Необходимо на основе всей полноты современной речевой жизни в ее соотношении с системой языка, с нормами ее структуры и ее модификаций определить доминирующие тенденции языкового развития, непрестанно проверяя их на вновь возникающих речевых явлениях.

4. Наука о культуре языка или культуре речи представляет собою теоретическую и практическую дисциплину (или сферу исследований), смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы как с целью живого, оперативного воздействия на дальнейшие процессы развития языка, так и с целью определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с движением стилей художественной литературы.

5

С точки зрения этих принципов и тенденций должны объективно-исторически анализироваться личные или общественно-групповые оценки разнообразных речевых явлений, характеризующих или иллюстрирующих состояние культуры в ту или иную эпоху или в той или иной функционально-языковой сфере. <...>

А. М. Горький всегда отделял вопрос о немотивированных нарушениях или разрушениях литературно-языковых норм от вопроса об эстетических функциях и эстетической ценности обращения, осложнения стиля «нелитературными словечками». В письме к И. А. Груздеву (9. 1. 1926 г.) он писал (по поводу стиля рассказов, повестей и романов в № 3 альманаха «Ковш»): «Погоня за новыми словечками, неумеренное употребление местных словарей, местных языкоблудий на меня лично наводит тоску... В этом стремлении украсить рассказ н е л и т е р а т у р н ы м и с л о в е ч к а м и, — кроме засорения языка хламом, — чувствуется мещанская эстетика, желание изукрасить икону фольгой, бумажными цветочками и «виноградом». Это — плохо». <...>

У А. М. Горького к тому времени сложились очень ясные и твердые представления как о нормах русского литературного языка советской эпохи, так и о нормах языка русской советской художественной литературы. В письме к В. Каверину (13. X. 1923 г.) Горький так написал об этом: «У всех вас — неладно с языком. Федин пишет: ...жутко ей *от носящейся* в снежных саванах головы вихрастой», нелепо связывая и путая два глагола *носиться* и *относиться*.' Погоня за образом приводит его к таким неудачам: «Золотые язычки свечек метались, как привязанные на цепь звери». Он употребляет такие сочетания слогов, как «и-их-ли». И вообще с русским языком обращаются зверски. Шагинян Мариэтта сочиняет: «подливку, настоенную на сковородках», у нее «литература, общественность, даже наука, в чем нельзя сомневаться, объединились с небывалым подъемом», а «комендант закусил рюмку водки маслиной, проколотой вилкой». За ее роман «Перемена» ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками». <...>

В письме к К. Федину (Сорренто, 13. XII. 1924 г.) Горький высказывал свои критические суждения о языке романа Федина «Города и годы» (Л., 1924): «... позвольте указать на некоторые неточности языка, например: стр. 13, «треснутый» лист железа, 71-я «непохитимый патент», 309 «колче холод» — это все сомнительно, 326 «визжал, как зарезанный» — визжать зарезанному не полагается, недорезанному — да. От этих шатких словечек лучше избавиться...

Есть у нас и такая фраза, в точках: «В умятый снег вросли тупоносые круглые валенки, — неподвижны парни, молчаливы».

От этих неуклюжестей в новой книге вы избавились, язык ее богаче, красивей и точнее, и вообще она звучит более «культурно», чем множество других современных книг, более «европейски».

[ЛН, 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, с. 480—481. В последующих изданиях К. А. Федин, оставив «треснутый лист железа» и «непохитимый патент», выражение «еще колче холод» заменил словами: «еще больше колется холод». В другом месте (сцена казни Лепендина) К. А. Федин изменил конец фразы и вместо «визжал как загрызанный пес», поставил «визжать», отбросив последние три слова (у Горького дано ошибочно: «визжал как зарезанный...»).]

Совершенно ясно, что в этой очень внимательной и суровой критике сказываются общие требования А. М. Горького к стилистике современного русского литературного языка как базе развития стилей советской художественной литературы.

Не менее сложную, требующую основательного культурно-исторического обсуждения задачу ставит перед лингвистами К. Паустовский, привлекая внимание к особой, чрезвычайно важной сфере прикладного языкознания — к сфере преобразования топонимики.

В «Книге скитаний» К. Паустовский (гл. «Речка Вертушинка») пишет: «Названия — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта.

Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней необходимости, следует это делать прежде всего грамотно со знанием страны и с любовью к ней. В противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса и обличают невежество тех, кто их придумывает.

Нельзя называть города так неблагозвучно, что людям в них неприятно жить.

Примеров можно привести много.

Вместо того, чтобы город, где жил украинский писатель Иван Франко, назвать просто и хорошо «Франко», неуклюжий переименователь сообразил дать ему непроизносимое имя «Ивано-Франковск».

Коктебель в Крыму (кстати, красивое и легкое имя) переименовали в Планерское. Прежде всего это неграмотно. Если исходить от слова «планер», то нужно говорить «планерное», а не «планерское». И что за окончание — Планерск-о-е? К чему это относится, это прилагательное «планерское», повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, кто так казенно назвал это удивительное по своей суровой красоте место».

В сущности, К. Паустовский с глубокой болью отмечает здесь одну

характеристическую черту современной советской речевой жизни — широкое распространение канцелярски-бюрократических шаблонов выражения и обозначения. Ее иногда рассматривают и как болезнь речи. Недаром К. И. Чуковский назвал ее *канцелярит* (конечно, не по связи с минералогическими и техническими терминами: александрит, малахит и т. п., а по сопричастности медицинским терминам: бронхит, гастрит, трахеит, бурсит, плексит и т. п.).

6

Как видно из предшествующего изложения, проблематика, связанная с изучением культуры языка, вовлекает в свой круг исследования не только оценку отдельных явлений, относящихся к разным областям и сферам употребления современного языка, но и общую характеристику «речевой жизни» общества того или иного периода, той или иной эпохи. С этой точки зрения изучение проблем культуры языка составляет важную органическую часть истории литературного языка и истории стилей художественной литературы. <...>

7

Не надо думать, что проблемы культуры языка или культуры речи (так, как они здесь представляются или изображаются) целиком совпадают с задачами и принципами стилистики литературной речи. Основная суть вопроса именно в том, что изучение культуры языка распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи и в систему литературных норм. Вот конкретная иллюстрация из истории речевой культуры. Иртеньев, герой повести Толстого «Юность», так отзывается о речи студентов-разночинцев: «Они употребляли слова: *глупец* вместо *дурак*, *словно* вместо *точно, великолепно* вместо *прекрасно, движучи* и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили *ма́шина* вместо *маши́на, дея́тельность* вместо *де́ятельность, на́рочно* вместо *наро́чно, в камине́* вместо *в ками́не, Ше́кспир* вместо *Шекспи́р* и т. д. и т. д. ...Они выговаривали иностранные заглавия по-русски... *Подлец, свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней, дружеской ноге». И там же: «Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них, и наоборот» (гл. 43).

Та же чуждость Л. Толстому словесной эстетики и речевой культуры разночинно-демократических кругов еще ярче сказались в стиле комедии Толстого «Зараженное семейство» (1856—1857 гг.), направленной против Чернышевского и его сторонников. Эта пьеса построена на социально-речевых сопоставлениях, контрастах и каламбурно-комических столкновениях. Семинарская и нигилистическая

манера речи противопоставлены народной речи няни. «Следы специальной работы Толстого над изучением жаргона людей», — писал Б. М. Эйхенбаум во второй книге своей замечательной монографии «Лев Толстой», — сохранились в черновых рукописях в виде листка, на котором выписаны характерные выражения вроде: *не гуманно, устой жизни, присущий молодому народу, общественная среда* и пр. Основные персонажи пьесы, являющиеся представителями «новых людей», говорят этим специфическим, сгущенным жаргоном, часто утрированным до крайности и тем самым превращающим комедию в фарс. Дудкина говорит языком книжных цитат: «Вольный труд не может быть убыточен, это противно всем основным законам политической экономии», «Прогресс неудержимо вносит свет в самые закоснелые условия жизни» и т. д. Студент Твердынский (из духовного звания) говорит «семинарским языком, окрашенным особой лексикой»: на вопрос: «Где Петрушка?» он отвечает: «шествует»; на вопрос: «Что делали?» отвечает: «рыболовство учиняли»; статью называет «невредной» (так же — «девица невредная»); к ученику своему обращается: «Прибышев младший, шествуйте» или «Ну-с, Прибышев младший, упитались? Шествуемте». Венеровский, представитель именно «новых людей» («мы люди новые», — говорит он в беседе с помещиком), говорит языком передовой интеллигенции — языком «Современника», языком Чернышевского. Эти жаргоны перемешаны и утрированы в языке пятнадцатилетнего Петруши, который на требование отца, чтобы он поцеловал руку у матери, отвечает: «Разве что-нибудь произойдет из того, что я буду прикладывать оконечности моих губ к внешней стороне кисти матери?». Здесь, мимоходом, высмеяно характерное для нигилистов (ср. у Тургенева) увлечение естествознанием, приводящее к подобным «научным» определениям самых обыкновенных явлений.

Каждый персонаж комедии представляет собой определенную и замкнутую языковую систему или «маску»; на контрастах этих словесных масок построен самый сюжет комедии, в фабульном отношении мало подвижный. Некоторые выражения ведут прямо к Чернышевскому и являются пародией на его язык. Дудкина и Твердынский употребляют слово «заложение» («Честные и либеральные заложения моей натуры»), которое фигурировало еще в повести Григоровича «Школа гостеприимства», как слово Чернушкина. <...> Венеровский, говоря с Любочкой, употребляет выражения «миленькая» или «моя миленькая» («вы очень умны, миленькая») — слово, которое коробит Любочку: «Не говорите: миленькая. Так нехорошо; это слово постоянно употребляет в романе Чернышевского Лопухов, называя жену «миленькая», а она его — «миленький». <...>

«Зараженное семейство» — пародия на «Что делать?» и на язык тогдашней передовой разночинской интеллигенции.

8

Одной из характерных черт в развитии разных функциональных сфер русского устного речевого общения в советскую эпоху является наряду с широким распространением элементов канцелярского,

официально-делового или документального стиля немотивированное применение письменно-книжных оборотов и конструкций, выходящих за границы своих стилистических норм. И. Грекова в рассказе «Дамский мастер» <...> изображает молодого парикмахера Виталия, который, не закончив школу, по собственной инициативе и программе занимается пополнением своего образования.

Вот своеобразные особенности его книжного, литературно не вполне обработанного стиля.

« — Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Отец у меня сильно пьющий и мачеха слишком религиозная. Чтобы не сидеть у них на шее, мне не удалось закончить свое образование, я, в сущности, имею неполных семь классов, но окончание образования входит в мой план. Пока не удается заняться этим вплотную из-за квартирного вопроса, но все же я повышаю свой уровень, читаю разные произведения согласно плану... я иногда интересных девушек позволяю себе обслуживать без всякой материальной точки зрения... У солидной клиентуры уже и волос не тот, и форма лица не так выражена, и к тому же она требует себе определенную прическу, а не ту, которую я как мастер ей предлагаю. С другой стороны, много занимаясь с девушками, я рискую не заработать себе на жизнь... Я интересовался Галей как подходящим материалом для прически, у ней живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. Я пробовал на ней различные типы бигуди. А теперь я ее голову исчерпал, мне это уже неинтересно, я должен развиваться дальше, не могу же я всегда работать над одним типом волоса...

Выбирая себе клиентуру, я всегда смотрю: могу ли я в данном случае почерпнуть для своего развития, а не то, чтобы обслуживать сплошь и каждую».

9

Из изложенного следует:

1. Изучение проблем культуры речи имеет огромное и не только практическое, но и научно-теоретическое и историческое значение в области языкознания.

2. Субъективно-эстетический и субъективно-идеологический дилетантизм в оценке и освещении вопросов культуры русского языка — явление временное, обусловленное потребностями современного советского общества, но без обращения к научной теории языка обреченное на бесплодие.

3. Неотложной задачей советского языкознания является исследование теоретических основ культуры языка и культуры речи.

4. Для этого необходимо раскрытие и обобщение закономерностей и тенденций развития современного русского языка на базе изучения всех сторон системы русского языка в ее функционально-стилистических вариациях.

5. Исследование вопросов культуры языка тесно связано с задачами и содержанием стилистики языка и стилистики речи. Эти явно отстающие сферы изучения современного русского языка должны

привлечь интенсивный исследовательский интерес специалистов-русистов.

6. В этом кругу исследований целесообразно сочетать осуществление практических задач — подготовку словарей современного русского языка, нормативно-стилистических, синонимических, фразеологических, словообразовательно-инструктивных и т. п. — с разработкой широких теоретических проблем в области построения описательных грамматик нового типа, воспроизведения лексико-семантической системы современного языка, системы его стилей и т. д. Для решения этих задач должны быть использованы все живые и продуктивные методы современного языкознания — качественные и количественные, структурные и внутренние, семантические и др.

7. Изучение проблем культуры языка должно быть также обращено в сторону наблюдений и разысканий в области речевой жизни русского общества и его разных слоев в разные периоды жизни и культурной истории народа. Эти наблюдения и разыскания существенно обогатят историю русского литературного языка и историю стилей русской художественной литературы.

Вопросы языкознания, 1964, № 3. Перепечатано в кн.: *Виноградов В. В.* Проблемы русской стилистики. М., 1981, с. 175—183.

В. В. Виноградов

РУССКАЯ РЕЧЬ, ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

2

Вопросы культуры речи должны рассматриваться с двух точек зрения, в двух аспектах. С одной стороны, сюда относится анализ тех общественно-языковых явлений, которые свидетельствуют о недостатке или недостатках литературной грамотности. Исследование отступлений от национальной литературно-языковой нормы не может быть отделено от рассмотрения изменений в социальной структуре советского общества, в составе интеллигенции. Оно должно дать также ясные указания на источники, причины и условия разнообразных искажений и нарушений литературно-языковой нормы. Борьба с такого рода проявлениями безграмотности или недостаточной литературной грамотности может быть успешной лишь в том случае, если она будет осмыслена как с нормативно-стилистической, так и с социально-исторической точек зрения.

Но есть и другой аспект у проблемы культуры речи. Общественная речь должна быть не только правильной, но и выразительной. Свободное и творческое употребление разнообразных языковых средств опирается на глубокое знание стилей речи и умелое их применение, а также на понимание законов и правил их взаимодействия и взаимопроникновения. <...>

К. Паустовский в статье «Поэзия прозы» протестовал против «обеднения» и «засорения» современного русского языка: «... сейчас в

русском языке идет двоякий процесс: законного и быстрого обогащения языка за счет новых форм жизни и новых понятий, и рядом с этим заметно обеднение, или, вернее, засорение языка. Наш прекрасный, звучный, гибкий язык лишают красок, образности, выразительности, приближают его к языку бюрократических канцелярий или к языку пресловутого телеграфиста Ять». <...>

3

Для того чтобы вопросы культуры речи и борьба за речевую культуру советского народа, советского общества были поставлены на твердую научную базу, необходимо широкое, всестороннее изучение народной «речевой жизни». Нет нужды в данном случае углубляться в проблему разграничения понятий языка и речи. Ясно главное: понимание языка как специфической структуры, как системы взаимосвязанных элементов, которые распределяются по разным также взаимосвязанным и взаимодействующим планам или «уровням» — фонологическому, морфологическому, синтаксическому или синтагматическому, лексическому или лексико-фразеологическому, семантическому, а отчасти и стилистическому, не может охватить всего многообразия явлений и проявлений общественного функционирования речи, всех форм, видов и фактов социально-речевой действительности, всех реальных манифестаций, воплощений и трансформаций языка. Вот почему, наряду с исследованиями языковой структуры вообще и национальных языковых структур в частности, в разных странах, с разными приемами и задачами, с разной интенсивностью, на различной методической и даже методологической базе ведется изучение живой устной и письменной речи во всем многообразии форм, жанров и обнаружений — вплоть до индивидуальных.

Одно из лингвистических направлений, связанных с исследованием этого круга проблем, в японской лингвистике было недавно охарактеризовано Н. И. Конрадом в работе «О «языковом существовании». <...>

Легко увидеть и оценить практические цели этого направления научного языкознания — создание прочной основы для сознательного нормализующего воздействия общественной воли на речевую практику. Для этого необходимо развертывание огромной работы по обследованию самых разнообразных областей речевой практики — устной и письменной. Такая работа даст важные наблюдения и обобщения и для понимания структуры стилей художественной литературы. В Японии была подвергнута обследованию речь представителей разных слоев населения — ремесленников, мелких торговцев, мелких служащих, крестьян и др. При этом ставилась задача — определить, что конкретно следует считать в современном обществе «общим языком».

Этот опыт описан здесь так подробно не потому, что предлагается скопировать его и применить к русскому языку, но для того, чтобы яснее стала важность широкого, всестороннего освещения всего многообразия современной русской устной и письменной речи (как и всякой другой национальной речи в Советском Союзе).

4

Самые глубокие и ответственные обобщения, которые могут быть сделаны на основе всестороннего изучения разновидностей и жанров современной устной и письменной речи, должны быть систематизированы в стилистике современного русского языка. Ведь предметом стилистики служат все области и все способы использования языка, в особенности литературного. Распространение стилистических приемов, методов и принципов исследования на изучение многообразных форм и видов языкового общения можно считать ценнейшим достижением современной филологии. <...>

6

Стилистика русского языка и стилистика русской речи имеют огромное значение для стилистики художественной литературы. Они дают ей ценнейший материал наблюдений и обобщений, хотя и в ином, не эстетическом, а объективно-историческом или синхронно-нормативном освещении. Но задачи, цели, самый предмет изучения, критерии его оценки и категории его распределения у стилистики художественной литературы совсем другие. В стилистике художественной литературы изучаются не только способы использования разнообразных средств общего языка, его стилей, различных форм устной и письменной речи, не только приемы литературно-художественных новообразований, новые типы сочетания разностильных элементов, но и мотивированные в словесно-эстетическом плане многообразные роды и формы отступлений от норм общего литературного языка. Любопытный материал для такого изучения представляют пародии, шуточные, каламбурные произведения.

В заметках И. А. Груздева о встречах и переписке с М. Горьким содержится такое интересное наблюдение Горького, относящееся к Маяковскому: «... он обнаружил пристрастие к словесным фокусам:

Седеет к октябрю сова—
Седеют когти Брюсова

и т. д. в этом роде. Это было бы хорошо, будь это весело. Но он придавал натянутой игре словами как будто серьезное значение, чуть ли не возводя ее «на ступень мистики в фонетике», как однажды выразился А. Белый. <...>

Нет ничего опаснее и вреднее при исследовании общих вопросов речевой культуры, как смешивать общий литературный язык, его стилистические нормы и вариации и язык художественной литературы. <...>

Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, уменье пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием — самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности.

Вопросы языкознания, 1961, № 4. Перепечатано в кн.: *Виноградов В. В.* Проблемы русской стилистики. М., 1981, с. 171—174.

С. И. Ожегов

О ТРЕХ ТИПАХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Ленинская национальная политика, создавшая исключительно благоприятные условия для развития национальных языков, направила языковую мысль в новые области. Со всей остротой встали вопросы оформления литературных языков народов, не имевших письменности или имевших ее на другом языке, встали вопросы широкой нормализации литературной речи. Создание словарей стало первой конкретной формой разрешения этих вопросов. Словарная работа получила поистине грандиозный размах. За годы после Октябрьской социалистической революции созданы сотни двуязычных словарей разного объема и разных типов (русско-национальных и национально-русских). Словари не только расширяли научный кругозор языковедов, вовлекая в научный оборот лексику малоизученных или неизученных языков: утверждая нормы своего литературного языка и углубляя знание великого русского языка среди широких масс национальных республик и областей, словари становились рычагами культуры, существенными звеньями глубочайшего социального процесса, происшедшего в нашей стране, — культурной революции. Культурное и политическое значение словарей и словарной работы вышло далеко за пределы собственно филологических интересов. Началась работа по созданию и толковых словарей национальных языков.

Естественно, что лексикографическая работа в области двуязычных словарей для народов Советского Союза опиралась на давнюю и богатую традицию русских словарей. К опыту русских словарей обращались и такие богатые лексикографической традицией страны, как Армения и Грузия. Огромное значение русской лексикографии как базы для создания двуязычных словарей выявилось после того, как вышел в свет четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, давший первый и достаточно полный свод словарного состава русского языка нашего времени. После Великой Отечественной войны русская лексикография является опорой при создании двуязычных словарей в социалистических и в других зарубежных странах, как об этом свидетельствует, например, вышедший в Будапеште русско-венгерский словарь. <...> Однако роль русской лексикографии не исчерпывается только тем, чтобы быть базой для двуязычных словарей. Ее роль шире и глубже. Прежде всего, русская лексикография становится образцом для создания словарей национальных языков. Так, С. Малхасянц, автор четырехтомного «Толкового словаря армянского языка», удостоенного Государственной премии, в предисловии к своему словарю особо отмечает пользу, принесенную ему «Толковым словарем русского языка» при окончательном редактировании армянского словаря <...>, а проф. И. Иордан прямо указал, что русские словари могут послужить образцом для создания словаря современного румынского языка массового типа <...> Являясь своего рода энциклопедией языка, словари современного русского языка доставляют широкий материал для теоретиче-

ских исследований в области современной лексикологии, грамматики, акцентологии, орфоэпии <...> Русская лексикография служит базой для развертывания терминологической работы, имеющей существенное значение и для наших национальных республик. Русская лексикография является важнейшим источником распространения и укрепления норм русской литературной речи и повышения культуры вообще. Недаром радио, печать, школа в своей повседневной практике постоянно обращаются к словарям. Вместе с тем и за рубежами нашей страны словари русского литературного языка призваны содействовать и распространению русского языка, и распространению принципов советского языкознания.

Ответственное положение, которое занимает русская лексикография советской эпохи, и важность культурно политической роли, ею выполняемой в Советском Союзе и за его пределами, предъявляют русской лексикографии высокие требования. Характеризуя состояние научно-исследовательской работы в области изучения словарного состава, акад. В. В. Виноградов отмечал, что именно лексикографическая работа дала особенно ценные и ощутимые результаты.

* * *

Великая Октябрьская социалистическая революция не сразу оказала свое влияние на развитие лексикографической мысли. В первые годы революции еще только закладывались основы нового общества, новые языковые стихии еще только осваивали себе место в составе литературного языка; границы самого литературного языка, становившегося достоянием широких народных масс, обнаруживали необычайную подвижность. Широко пополнялся словарный состав, отражая новые идеи, отношения и быт. Со всей остротой вставал вопрос о культуре речи.

В 1920 г. В. И. Ленин, предвосхищая дальнейшее развитие лингвистической мысли, со всей решительностью ставит вопрос о необходимости создания нового словаря русского языка. Характеризуя словарь Даля, В. И. Ленин 18 января 1920 г. писал А. В. Луначарскому: «Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького.

Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек? Как бы Вы отнеслись к этой мысли?

Словарь классического русского языка?»[87] Так возникает идея словаря советской эпохи, получившая осуществление спустя несколько лет. Одновременно В. И. Ленин выдвигает другую, практическую задачу — создать «краткий (*малый* «Ларусс» образец) словарь русского языка (от Пушкина до Горького). Образцового, современного. По новому правописанию»[88]. Для реализации указания В. И. Ленина при Главнауке

[87] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 51, с. 122.
[88] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 52, с. 199.

Наркомпроса вскоре был организован редакционный комитет, и работа началась при большом количестве сотрудников. Но осенью 1923 г. Наркомпрос, не удовлетворенный работой комитета в том виде, в котором она велась, счел целесообразным работу по словарю временно прекратить. Печальный конец этой работы имел глубокие внутренние причины. В качестве «новых» привлекались материалы из художественной литературы, главным образом, предреволюционной поры. Рядом с Маяковским широко использовались материалы из символистов и дореволюционной лирики; наряду с выписками из М. Горького широко были представлены второстепенные произведения предреволюционной буржуазной прозы. Понятно, что на этом разнородном материале, который по замыслу должен был быть собран с большой полнотой, трудно было обосновать и документировать семантику современного русского языка в революционную пору. Всем ходом вещей эта первая попытка была обречена на неудачу.

К исходу 20-х гг. выявляются предпосылки для развертывания лексикографической работы. Уже созданы были основы нового, социалистического общества. Обозначился характер новых явлений в словарном составе, яснее сложилось представление о тенденциях развития литературного языка наступавшей социалистической эпохи. Глубокий общественный интерес к вопросам нормы литературного языка немало содействовал уяснению языковых процессов современности.

В 1929 г. происходит перестройка словарной работы Академии наук. По новому плану «Словарь русского языка» — теперь «Толковый словарь с о в р е м е н н о г о русского языка, взятый в историческом развитии» <...> Привлекавшийся ранее материал диалектных и письменных источников от середины XVII в. до наших дней значительно пополняется лексическими материалами из энциклопедических словарей, справочников, специальных изданий и учебников, вышедших во время революции, из произведений советской литературы, из газет и журналов, из общественно-политических сочинений. Но принципы и структура словаря не изменилась: это был тот же шахматовский thesaurus (словарь — «сокровищница») <...>, но пополненный свежими материалами. Принцип включения л ю б о г о зарегистрированного слова, при интенсивном росте картотеки за счет ничем не ограниченного репертуара источников, привел к гипертрофии шахматовского принципа, к отрицанию здоровых начал шахматовского плана. Понятие русского словаря в словаре начинает расплываться и стираться. Словарь не только некритично относится к далевским образованиям вроде *алкач, даровщик, маивать, макаронщичий*, но и помещает причудливые образования индивидуального писательского творчества, вроде *акмеистик, жертвогадатель, дамство, акростиший*, французские слова, написанные писателем по-русски, вроде *а жан, аливрувер, аларм*, случайно встретившиеся в новых или старых газетах сокращенные слова и образования вроде *академбой, активистовский, аламанщик*, или узкоспециальную научно-техническую, медицинскую и прочую терминологию, независимо от того, современная она или принадлежит к младенческой поре развития науки, как, например,

дамасси́н, майзе́на, медри́ль, дальнописец, магазино-офицер, аллантиаз, аллиа́нция. Применявшиеся без особой систематичности стилистические указания не сообщали словарю нормативного характера.

Назревал вопрос о создании нового, нормативного словаря русского языка советской эпохи. В 1928 г. группой филологов выдвигается его проект. Задачи словаря, его структура, принципы установления лексических границ литературного языка и стилистической дифференциации лексики в основном были разработаны В. В. Виноградовым, а вопросы нормализации произносительной и морфологической стороны принадлежали главным образом Д. Н. Ушакову. Двенадцатилетний труд завершился выходом «Толкового словаря русского языка» (1935—1940), первого словаря русского языка советской эпохи.

По сравнению со «Словарем Академии Российской» и словарем акад. Я. К. Грота проблема нормативности поставлена «Толковым словарем» в более широком масштабе, на почве более широких научных представлений и в более сложной социально-языковой обстановке. Самым трудным в построении нормативного словаря является определение конкретных форм совершенствования общенародного языка, пополнения словарного состава и отмирания отживающих элементов. Необходимым был анализ словоупотребления формирующегося советского общества, советской интеллигенции. Живые лексические процессы, в которых отражались и новые общественные идеологические отношения, создавали новое взаимоотношение активного и пассивного лексического запаса в литературном языке, новые стилистические и эмоциональные оценки. Эти процессы в языке и должен был представить «Толковый словарь». Акад. Л. В. Щерба в статье «Опыт общей теории лексикографии» <...> в своей классификации типов словарей назвал «Толковый словарь» «более или менее компромиссным словарем», стоящим между идеальным нормативным и словарем-справочником типа словаря Даля. Действительно, наличие в «Толковом словаре» слоев лексики пассивного запаса (в широком понимании этого слова) сближает его с типом словаря-справочника по терминологии Л. В. Щербы. Но в этом, между прочим, заключается то понятие нормативности, которое свойственно нашей эпохе, особенно 30-м гг., времени больших изменений в словарном составе литературного языка. Стремлением отразить живые процессы в современном языке определялась структура словаря. Это отразилось прежде всего на принципах определения лексических границ литературного языка. Отпадала устарелая лексика, связанная со старым бытом и понятиями, но удерживались архаизмы, стилистически оправданные в современном языке. Широко включались новые образования, отражавшие новые социальные явления и воплощавшие прогрессивные тенденции литературного языка. Не находили себе места диалектизмы или просторечные элементы, лишенные экспрессивной ценности в составе стилей литературной речи. Получили известное ограничение специальная терминология узкого употребления (научная, техническая, ремесленная и т. п.) и заимствованная лексика. Достаточно полно, по сравнению со многими предшествующими словарями, представлена фразеология. Получили нормативную регламентацию формы слов, ударение и про-

изношение, представленные в традиционном духе «московской нормы». Проблема нормализации употребления лексики литературного языка и периферийных сфер, включенных в словарь, разрешалась детально разработанной системой классификации слов по сферам употребления. Слова или отдельные значения характеризовались принадлежностью их к той или иной стилистической разновидности устной или письменной речи, к тому или иному историческому пласту, к лексике определенной экспрессивно-эмоциональной оценки. Наличие в словаре широко проведенной нормализации более всего отмечалось критикой. «Правильному употреблению со стороны стилистической, — писал член-корр. АН СССР Л. А. Булаховский, -- данное пособие учит впервые, и работа, проделанная его авторами для разграничения разновидностей устной и письменной речи, исторической перспективы языка, эмоциональных оттенков и под., представляет в русской лексикологии новый важный этап» <...>

Создание нормативного словаря — дело лингвистически ответственное; принципы его построения несовместимы с принципами генетических изучений. Недаром А. А. Шахматов-историк нормализацию языка не считал делом науки. Но ведь лингвисту не только ведомы пути развития языка, он сам — носитель языка коллектива. Поэтому он не только регистрирует и объясняет факты языка, но, как проницательный участник языкового творчества коллектива, сам становится законодателем норм. Поэтому так важно лингвисту, создателю нормативного словаря, проникнуть в языковый дух эпохи. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова посильно выполнил эту задачу. Поэтому так неоднороден состав его томов: он создавался на всем протяжении 30-х гг. и отразил в себе все колебания в лексике, свойственные той эпохе.

«Толковый словарь русского языка», как справедливо говорит в статье «Толковые словари русского языка» акад. В. В. Виноградов, «подводит итоги предшествующей работе над составлением словаря литературного языка» и «пускает в широкий общественный оборот достижения академической традиции в области лексикографии» <... >

В 1949 г. вышел однотомный «Словарь русского языка», который по принципам составления тесно примыкает к четырехтомному «Толковому словарю». Он создавался в то время, когда нормы русского литературного языка определились с бóльшей четкостью, нежели это было в 30-е гг. Словарь ставил своей задачей отразить эти нормы. Это коснулось многих сторон словаря: состава слов, иллюстративных примеров, фразеологии, отбора значений в многозначных словах, унификации произносительной и акцентологической стороны и т. д. Многие стороны словаря, в том числе вопросы стилистической классификации, отбора слов, вопросы омонимики, требуют дальнейшей разработки. <...> Этот словарь — попытка создания массового словаря, преследующего цели повышения культуры речи.

В конце 30-х гг. произошла реорганизация академического словаря, приведшая к выходу в 1948—1950 гг. первого и второго томов пятнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» <...> В этом издании словаря идея создания thesaurus'a

окончательно оставлена. Основной костяк словаря составляет лексика литературного (в широком смысле) русского языка, в том виде, как он сложился с начала XIX в., с пушкинской поры. Словарь строится как толково-исторический, иначе — как словарь современного языка с широкой исторической перспективой <...> Эта установка сближает новый словарь с первоначальным замыслом акад. А. А. Шахматова <...>, так как историческая перспектива создается именно благодаря включению обильного языкового материала из произведений писателей прошлого века.

Подводя итоги, следует признать, что в области общих словарей языка русская советская лексикография, используя богатый опыт дореволюционной лексикографии, достигла известных положительных результатов. Практически созданы и теоретически намечены три основных типа нормативных общих словарей русского языка: б о л ь ш о й, представляющий современный литературный язык в широкой исторической перспективе; с р е д н и й, с детальной разработкой исторически оправданного стилистического многообразия современного литературного языка, и, наконец, к р а т к и й, популярного типа, стремящийся к активной нормализации современной литературной речи.

* * *

К разграничению трех типов общих словарей русского языка советская лексикография пришла в процессе практической работы, в процессе выполнения насущных требований советской общественности. Советские лексикографы творчески использовали классическое наследие русской лексикографии в новых общественных условиях, когда лексикография стала одной из форм пропаганды культуры речи, пропаганды норм общерусского литературного языка. Жизнь показала практическую рациональность этих типов словарей, удовлетворяющих различным запросам.

Основным вопросом при методологическом обосновании типов словарей современного языка и тесно связанных с этим принципов лексического отбора является вопрос о границах современного литературного русского языка. Что следует понимать под «современным» языком? Практика нашей лексикографии связывала границы современного языка с именем Пушкина, но обычно легко переступала эти границы, если находила за их пределами явления, встречающиеся доныне. Большинство работ, относящихся к исследованию или описанию норм современного языка, весьма показательно по отсутствию надежных методологических установок. Явления русского языка от Пушкина до наших дней рассматривались как бы существующими в одной плоскости, без учета своеобразия исторического развития. Так, современные колебания в произношении оценивались в сопоставлении с чистотой идеальных норм так называемого московского произношения, хотя последнее являлось исторической категорией, развивавшейся и изменявшейся на всем протяжении XIX в. вплоть до наших дней. Характерна в этом отношении статья Д. Н. Ушакова «Русская орфоэпия и ее задачи» <...>, впервые давшая произносительный кодекс старой «московской нормы» и ставшая знаменем борьбы со всеми,

даже закономерно возникавшими и развивавшимися колебаниями и изменениями в произношении. Для подтверждения колебаний в современном языке в области морфологии привлекались языковые явления из произведений писателей начала XIX в., хотя эти явления давно исчезли из общенародного языка современности и были характерны для раннего времени нового периода развития русского литературного языка. Так, например, Е. С. Истрина, рассматривая колебания в устно-разговорной разновидности современного литературного языка, пишет: «Влиянием народных говоров объясняется употребление мягких форм именительного падежа множественного числа некоторых прилагательных кратких (в сказуемом: *ради, сыти, пьяни, голодни*), что довольно обычно в устной речи, в частности в московской; ср. слова Чацкого: «*Вы ради? В добрый час*» (Г р и б о е д о в. «Горе от ума», действие 1, явление 7) <...> Ясно, что эта форма не есть факт колебания в с о в р е м е н н о м языке. Для него это устарелая, отжившая форма. Эти общие, по сути дела неисторические представления о границах современного русского литературного языка с отсутствием исторического расчленения явления развития языка на разных этапах, от Пушкина до наших дней, отражались и на трактовке лексического состава в наших словарях (например, в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова), главным образом в переоценке роли архаизмов в составе языка, роли некоторых слоев терминологии, в недостаточной характеристике развития значений в словах, претерпевших семантические изменения на протяжении XIX — первой четверти XX в.

Общенациональный русский язык, являющийся продуктом ряда эпох, оформляясь и развиваясь, в пушкинскую эпоху пришел в отношении структуры языка — его активного лексического запаса и грамматического строя, — а также в отношении многих пластов словарного состава к такому качеству, которое делает его близким к языку наших дней. Структура пушкинского языка сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина.

Положения эти предохраняют нас от механистического понимания современного языка. Действительно, пушкинский язык — основа современного языка, основа, продолжавшая в течение XIX и XX вв. совершенствоваться, обогащаться, шлифоваться. Каждый новый этап в развитии общественной жизни накладывал свой отпечаток на словарный состав языка. С каждым новым этапом развития появлялись новые слова и выражения, изменялись значения, выпадали из словарного запаса устаревающие слова. Следовательно, на каждом новом этапе развития общественной жизни происходили изменения в соотношении лексических элементов, нарождались новые черты лексической системы. Поворот в развитии общественной жизни, связанный с ростом революционно-демократического движения, принес, как известно, новые, своеобразные черты в развитие словарного состава русского литературного языка не только в отношении роста лексики, но и в отношении семантических изменений. Наблюдательные совре-

менники отмечали эти процессы. Н. В. Шелгунов писал, что нигилизм «взялся за критику слов и понятий», что он был «первой попыткой реального мышления сделать смотр и дать им (словам. — *С. О.*) более жизненный смысл» <...> На всем протяжении своего развития словарный состав прошел ряд этапов, и трудно отрицать, что словарный состав советской эпохи также отличается такими чертами своеобразия, которые выделяют его как новый этап в развитии лексики. Сопутствующие изменения в стилистической системе языка, а также протекающие крайне медленно процессы неравномерного совершенствования отдельных элементов грамматического строя, акцентологической и произносительной системы еще отчетливее подчеркивают своеобразие этапов развития русского литературного языка от Пушкина до наших дней.

Так, например, развитие словарного состава литературного русского языка, отражавшее становление буржуазных отношений и рост революционно-демократического движения во второй половине XIX в., значительно обогатившее словарный состав и знаменовавшее новый этап в развитии языка, сопровождалось такими процессами в области произношения, которые укрепили московское произношение как единую национальную литературную произносительную норму. Высказывания А. К. Толстого по вопросу о новых принципах стиховой рифмы отражали именно эти процессы.

Правильное разрешение вопроса о границах современного русского литературного языка и об этапах развития русского литературного языка от Пушкина до современности обусловливает правильное решение проблемы языковой нормы. Действительно, что такое объективное развитие языка как становление его норм? Если язык развивается в обществе, обслуживает нужды общества, если люди, социальные группы, классы не безразличны к языку, не безразличны к оценке явлений языка, то это значит, что норма есть система наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, система, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов.

В свете такого понимания норм современного языка яснее очерчивается внутреннее содержание и состав разных типов словарей современного языка, а сама классификация словарей может получить методологическое оправдание.

Действительно, с этой точки зрения четко определяется состав большого словаря современного русского языка. Это должен быть словарь современного языка с исторической перспективой, раскрывающей динамику исторического развития современного языка от пушкинской эпохи до наших дней. В связи с таким пониманием задач большого словаря уточняются задачи наметившихся в советское время типов среднего и краткого словарей: они раскрывают с большей или меньшей полнотой актуальный словарный состав нашей эпохи в его стилистическом многообразии.

Задачи, которые стоят перед словарями разных типов, определяют их структурные различия. Прежде всего это касается принципов отбора слов. Большой словарь с возможной полнотой включает лексику художественных и общественно-публицистических произведений XIX—XX вв., широко отраженную (систематически употребляемую) в художественной и отчасти в публицистической литературе, областную речь и просторечие разных типов, как выразительные средства литературного языка, терминологию и разговорную речь с ее типичными фразеологическими штампами, характерными для разных периодов развития литературного языка. Средний, и тем более краткий словари включают из этих разрядов в свой состав только актуальную для современности лексику, практически возможную в тех или иных стилях современного употребления, необходимую для языкового обслуживания многообразных нужд современной общественности.

Основой для всех типов словарей должна являться богатая, разносторонняя картотека произведений художественной и не художественной литературы. Только хорошо продуманная картотека, учитывающая всех безусловно значительных по своему общественному влиянию авторов, может служить прочной базой для отбора слов в разные типы словарей. Действительно, такая картотека, отражающая характер движения словарного состава, может служить надежным критерием для определения употребительности или изолированности слов, общности или единичности значения. С другой стороны, индивидуальное лексическое словоупотребление и словотворчество, если оно отвечает тем или иным лексическим потребностям общества и в особенности, если оно исходит от авторитетного или популярного мастера слова, может переходить в широкую обиходную речь. Не только общественная терминология, как, например, слова *нигилизм, нигилист*, испытывает эту судьбу. Любые лексические средства, отвечающие общим потребностям выразительной речи, могут попадать в общее употребление. Характерно в этом отношении свидетельство С. В. Максимова в его воспоминаниях об А. Н. Островском: «Подхваченные на сцене слова и выражения уже разносились по Гостиному двору, ... уходили в деревни, прямо в народ <...> . «Много слов, — пишет С. Максимов в другом месте, — взятых из его (Островского. — *С. О.*) произведений, прошло в обиход, и досужливому наблюдателю не трудно будет выделить их и занести как новость и особенность в словарь, подобно словам *метеорское звание, доказать, патриот своего отечества, черты его жизни* (на красных носах невоздержанных гуляк) и проч., за которыми скрываются целые представления и картины, обрисовываются оригинальные характеры и живые типы» <...>

К числу подсобных, но важных источников для изучения движения словарного состава относятся (для времени с 40-х гг. XIX до начала XX в.) разного рода справочные и терминологические словари, энциклопедии, словари иностранных слов, словари неправильностей и орфографические, недостаточно оцененные в нашей лексикографической практике. Как правило, лексикографическая практика для определения наличия слова следовала по таким вехам, как словарь Даля в первом и втором изданиях и в издании под редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ и

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, пропуская промежуточные звенья. И потому, вследствие плохой изученности лексикографических и справочных источников, в новейших словарных работах оказываются пропущенными, незафиксированными словарные явления, существенные и важные для понимания движения словарного состава. Так, слово *листва*, давно вошедшее в состав общенародного языка, впервые было зафиксировано только «Толковым словарем» Д. Н. Ушакова, а слово *государственность* не попало даже в последний по времени однотомный «Словарь русского языка» 1949 г.

Богатство и разносторонность словарного состава русского языка общепризнаны. Тем труднее и сложнее проблема отбора слов для словарей разных типов. Особенно это касается некоторых разрядов производных слов. Богатейшие словообразовательные возможности русского языка, о которых так верно говорил Н. Г. Чернышевский, создали необыкновенную выразительность и вместе с тем пестроту в обозначении одинаковых, однородных или сходных понятий. Если для среднего и краткого словарей (чисто нормативных), отражающих сравнительно ограниченный этап развития словарного состава, дело отбора словообразовательно параллельной лексики представляется более или менее ясным, то для отбора в словарь, рисующий историческую перспективу развития лексики, лексикографическая практика встречается с рядом трудностей.

Еще в конце XVIII — начале XIX в. люди старшего поколения становились в тупик перед лавиной новых образуемых слов. «Зараза выдумывать и ковать новые слова, — писал акад. Румовский, — ныне так распространилась, что в сем едином многие полагают свое достоинство и красоту языка российского, и стремлению сему положить преграду столь трудно, как реке, из берегов своих выступающей <...>

На разных этапах развития литературного языка по-разному складывались продуктивные и непродуктивные типы суффиксации. Многие из них лишь позднее установились как продуктивные или непродуктивные и легко использовались в параллельных образованиях, из которых одни выживали, иные впоследствии отпадали, хотя для своего времени могли быть в разряде активных. Для некоторых разрядов слов, как, например, для существительных со значением действующего лица, пестрота усиливалась заимствованными словами. Так, например, в XIX в. рядом со словом *прозаик* существовало *прозаист, пропагандист* (Даль) и *пропагатор, фотограф* и *фотографист, гипнотизер* и *гипнотизатор*. У Ф. М. Достоевского для обозначения писателя или художника, изображающих типичные явления жизни, употребляются слова *типичник* и *типист*. В наше время, наряду со словом *дипломник* (студент, готовящий дипломный проект), употребляется *дипломант, проектировщик* и *проектант*. В области прилагательных в XIX в.: *порывчатый* и *порывистый, отрывчатый* («отрывчатое восклицание») и *отрывистый, отчетистый* и *отчетливый, волосистый* (**Ну, брат, погоди еще,** — перебил ***волосистый*** *художник*) и *волосатый*. Рядом с *комфортабельный — комфортный:*

мёбель... мягкая, ***комфортная***. Рядом с *эластичный — эластический: ...опустившись на* ***эластический*** *шелковый диван.*

Не менее богато параллельное глагольное словообразование (и образование отглагольных существительных) с суффиксальными элементами *-ировать — -овать* и *-ывать — -ать*. Например, при современном *корректировать* у М. П. Погодина: *статья* ***прокорректирована*** *дважды*; при существовавшем *оправляться* у И. И. Дмитриева: *начал было* ***оправливаться*** *после долговременной болезни*; при существовавшем *оцениваться* у Н. А. Некрасова: *в коловратный наш век таланты не* ***оценяются***.

Не менее массовы параллели в глагольном словообразовании, связанном с образованием вторичного несовершенного вида от приставочного совершенного на всем протяжении XIX в. и до наших дней, типа *брошюровать — сброшюровать — сброшюровывать, фасовать — расфасовать — расфасовывать*. Ср., например, у Н. Лескова: *я* ***оробеваю*** *и пужаюсь при всяком знаке недоверия*. Явления параллельности в глагольном словообразовании вообще очень многообразны. Так, в «Словаре церковно-славянского и русского языка» 1847 г. приведены как однозначные слова *соперничать* и *соперничествовать, совершенствовать — усовершать* с совершенным видом *усовершенствовать — усовершить*. Все формы подтверждаются тогдашним употреблением. ***Соперничествуя*** *с Ломоносовым, он (Сумароков) не сознавал в нем гениального человека,* — пишет П. А. Плетнев. *Этот талант* ***усовершил*** *он сам собою, чтением, теорий и опытом,* — пишет акад. М. Лобанов. У А. Е. Измайлова: ***Усовершила*** *все, что начато Петром*. Лексическая пестрота усугубляется обилием образованных по продуктивным в данный период словообразовательным моделям новых слов, появляющихся в связи с многообразными потребностями, в том числе и стилистическими, а не всегда четко дифференцированных по значению. Их своеобразие в том, что они обычно не закрепляются в языке, не лексикализуются, не входят прочно в словарный состав, а существуют как живая потенция. Ср. у П. А. Плетнева: *Карамзин и Жуковский,* ***одушевители*** *молодого поколения писателей*. У А. А. Потебни: *Сочинитель или* ***применитель*** *басни сам ясно видит обобщения*, а у Л. Н. Толстого: *Когда я выходил, то меня учтиво провожал* ***показыватель***. Внутри словообразовательно параллельных разрядов лексики с недифференцированным значением не все одинаково зыбко, подвижно, неустойчиво. Одни из параллелей на всех этапах развития языка могут представляться лексически равноценными, иные равноценны лишь в известные периоды, иные становятся архаизмами или «неправильностями», иные получают ту или иную стилистическую оценку (ср. *скидывать* и *скидать* в значении несовершенного вида).

Подход к отбору этих разрядов лексики в разных типах словарей не может быть одинаков. Ясно, что краткий словарь нормативного типа включает только одну, активную форму параллели, сообразуясь с лексической значимостью параллельных образований. Нормативный словарь среднего типа может расширить круг параллелей включением стилистически отличающихся форм. Большой словарь с исторической

перспективой не может пройти мимо лексики этих разрядов без тщательной оценки исторической роли параллельных форм на разных этапах развития языка. Основным критерием оценки являются прочное наличие тех или иных параллелей в письменных источниках и сравнительная устойчивость той или иной словообразовательной параллели в зависимости от характера основы и суффиксации.

Ясно, конечно, что при наличии семантической дифференциации в параллельных словообразовательных разрядах, углубленной и стилистическими различиями, как, например, *принесение — принос — приношение*, вопросы отбора для всех типов словарей разрешаются по общему принципу лексической значимости.

Отбор словообразовательно параллельных разрядов лексики облегчается тем, что он тесно связан с грамматическим критерием оценки. Значительно труднее и обычно субъективнее бывает отбор тех слов, употребление которых связано с лингвистическими вкусами общества на разных этапах его развития, с обозначением преходящих явлений общественной жизни, с необходимостью подчеркнуть индивидуальную, своеобразную суть явления. Слои эти чрезвычайно многообразны и требуют специального изучения.

К ним можно отнести прежде всего разряд слов-подёнок, возникающих обычно в разговорной или публицистической речи для обозначения случайных, несущественных явлений быта. Они могут быть очень активны в течение короткого времени; но, представляя собой обычно название по случайному признаку, понятному только в обстановке данного времени, они быстро уходят со сцены. Среди них выделяются, например, названия предметов обихода: *румынки* (название высоких дамских ботинок, существовавшее в первые годы революции), *татьянка* (название дамской шляпы с широкими полями особого фасона, существовавшее в предреволюционные годы и в первые годы революции), *профитка* (род экономичной свечи; название, существовавшее в середине XIX в.) <...> Сюда можно отнести и замененные названия явлений, продолжающих существовать, например *американка* (закусочная с высокими столами, за которыми едят стоя, а также небольшая мастерская по ремонту и чистке одежды; название, вышедшее из употребления после войны). К словам-подёнкам можно отнести и многие шутливо-иронические образования вроде *разбайрониться* <...>, *нувеллист* в том значении, о котором пишет С. П. Жихарев: *Со времени войны с французами появился в Москве особый разряд людей под названием «нувеллистов», которых все занятие состоит только в том, что собирать разные новости, развозить их по городу и рассуждать о делах политических* <...> В середине XIX в. таких людей уже называли *газетчиками* <...>. Ясно, конечно, что элементы лексики, характеризуемые как слова-подёнки, не могут иметь места в составе даже словаря большого типа, ибо они — далекая периферия словарного состава. Однако это не значит, что они должны остаться вне лексикологического изучения. Они дают интересный материал для изучения закономерностей развития словарного состава. Собирание их может войти в задачу особого словаря с историко-бытовыми комментариями.

К словам-подёнкам примыкают слова, возникающие в узких общественных кругах и представляющие собой специфические обозначения тех или иных явлений жизни. Это слова жаргонного типа. Но они могут выходить за пределы узкого круга и на известное время становиться достоянием более широкого употребления. И если они по своим словообразовательным основам имеют тесные и понятные связи с основами словарного состава общенародного языка, то относительная устойчивость их увеличивается. Сюда относятся такие слова дворянско-интеллигентского употребления, как *сластун* (ср. у Д. В. Григоровича: *Боткин взял роль* ***сластуна,*** *брюзгливого и ворчливого статского советника*), *клубничник* (ср. у Ф. М. Достоевского: *ненавижу клубничку и* ***клубничников***). К этой группе жаргонных по происхождению слов принадлежат и многие заимствованные слова, как, например, *пшют, вояж, фраппировать, антураж* и т. п. Словарь большого типа должен с особой внимательностью отнестись к отбору этих слов. Свидетельства современников и правильная оценка общественной значимости слова могут служить критерием отбора. Поэтому понятно, что такие узкие жаргонные слова, как *шикар* в значении «фат» — человек, обладающий шиком <...> , не могут быть допускаемы и в словарь большого типа. С другой стороны, заслуживают внимания для включения в большой словарь такие слова, которые в последующем развитии словарного состава отпали, но которые, возникнув вне жаргонных условий, были достоянием разговорной речи как меткие обозначения характерных явлений. Таково слово *павлиниться*, включенное в Словарь 1847 г. и в Словарь Даля и естественно не зафиксированное «Толковым словарем» под редакцией Д. Н. Ушакова. Оно прозрачно по своему образованию: обозначение действия или состояния от названия животного, которому приписываются какие-нибудь признаки, свойства (ср. *петушиться, собачиться, лисить* и т. п.). В языке жив образ — сравнение хвастуна с павлином, кичливо распускающим хвост <...> Его без специфической, стилистической установки применяет В. Г. Белинский: *По понятию его быть генералом — значит чваниться и* ***павлиниться*** *перед низшими.*

Такого же внимания в большом словаре заслуживают слова и отдельные значения, которые в последующем развитии словарного состава были по разным причинам вытеснены синонимами. Ср., например, такие пары: *скрепился — сдержался: Почти все рассмеялись. Я кое-как* ***скрепился****; накидка — набросок: Любил делать первые* ***накидки*** *своих басен на лоскутках; усилился — усовершенствовался: Первого (французского языка) он не любил, а в последнем (в немецком языке)* ***усилился*** *чтением; язык* ***усилился****, уразнообразился.*

Одним из сложных вопросов лексического состава словарей является вопрос о месте специальной терминологии в общих словарях языка. Речь идет главным образом о терминах — отдельных словах, так как составные термины (словосочетания), за исключением вошедших в общее употребление (типа *железная дорога, политическая экономия* и т. п.), обычно относятся к сфере узкоспециального употребления и, как правило, не принимаются в расчет при обсуждении терминологических вопросов в словарях <...> Ясно, конечно, что словарь большого типа должен с возможной полнотой отражать

терминологическую лексику. Однако отсюда не следует, что он должен без разбора включать в себя любую терминологию энциклопедических словарей XIX и XX вв., словарей иностранных слов, часто насчитывающих свыше сотни тысяч заимствованных слов в русском языке. [Словарь Бурдона и Михельсона в издании 1865 г. содержал 30 000 слов, а через 20 лет, в издании 1885 г., уже 115 000 слов! Ясно, что в подавляющем большинстве это были слова-подёнки.] Из терминологии, бытовавшей в словарном составе русского языка с XIX в. и затем отпавшей, в большой словарь должна включаться только та, которая отражала существенные явления в развитии науки, техники, искусств. Таковы, например, старые физические термины *теплород, магнетизм*, военные *люнет, флеши* или еще памятные, но теперь отпавшие общественно-политические термины *дауэсизация, оптант* и т. п. Вряд ли необходим подобный разряд терминологии в общих словарях среднего и краткого типов.

При отборе терминов одного круга понятий обычно стремятся представить в исчерпывающей полноте видовую терминологию данного рода, считая это наиболее обоснованным решением вопроса. Так, если даются слова *квадрат, конус*, то должны быть даны все названия геометрических фигур; если есть *сталактит*, то должен быть *сталагмит*; то же относится, скажем, к названиям геологических эр, семейств растений или животных и т. п. Однако вряд ли это можно считать правильным. В действительности не наблюдается совпадения по значимости круга терминов основных и частных понятий науки и техники и круга терминов общего, общенародного употребления, которые только и могут иметь место в общих словарях языка, являясь средством общения вне данной научной или технической сферы. Так, для химии одинаково важна вся терминология периодической системы элементов. Однако с точки зрения лексического обихода общенародного языка, не следует включать даже в большой словарь такие названия элементов, как *актиний, ксенон, гафний, индий* и т. п. Вместе с тем мы знаем, что состав общеизвестных названий элементов расширяется, и при этом расширяется тогда, когда термин выходит за пределы только химической терминологии и становится достоянием таких отраслей техники, знание которых необходимо говорящим. Такова судьба таких терминов, как *висмут* и *радий* (применение в медицине), *уран* (в связи с открытием атомной энергии), *неон* (ср. особые осветительные неоновые лампы). Для краткого и даже среднего типа словаря вряд ли необходимо включение термина *недокись* и даже *закись* при наличии *перекиси* и *окиси*. Следовательно, решающим моментом для отбора терминов должна быть не важность термина в системе понятий данной науки или отрасли техники, а его общественная роль.

Таков далеко не исчерпывающий круг вопросов, связанных с отбором лексики в разные типы словарей. В общем задачи формирования словника разных типов ныне существующих словарей сводятся к следующему. Большой словарь включает в себя активный и пассивный запас лексики современного общенародного литературного языка и вышедшую из употребления, но характерную для развития словарного состава лексику. Средний словарь включает в себя активный и

пассивный запас лексики современного языка. Краткий словарь обнимает активный запас современной лексики с привлечением той лексики пассивного запаса, которая необходима с той или иной точки зрения для характеристики современного языка.

Один из серьезных и сложных вопросов словарной практики — это вопрос об омонимах. Как бы ни подходить к определению омонима, ясно, что за исключением традиционных омонимов (*ключ, печь, коса, брак* и т. п.) выделение омонимов не может быть одинаковым в разных типах словарей. Словарь, раскрывающий исторические перспективы развития слова, к проблеме омонимов должен подойти иначе, чем словарь живой структуры современного языка. С ростом производных слов, с дифференциацией словоупотребления происходит нарушение былых грамматико-семантических связей, облегчается вычленение омонимов. Для современного языка слово *жалованье* явно распалось на омонимы: с одной стороны, это действие по глаголу *жаловать* (слово устарелое), с другой — это синоним слова *зарплата*. Разделение этого слова на омонимы в большом словаре было бы известного рода модернизацией, разрушающей живые семантические связи, ибо в XIX в., судя по употреблению этого слова, в нем сохранялись отпавшие теперь звенья семантического развития слова: от значения действия по глаголу через значение вообще результата действия к узкому значению предметности (деньги за работу). Аналогична судьба отглагольного существительного *образование*, у которого в современном языке нарушились былые грамматико-семантические связи с глаголом и которое уже в новом, омонимическом значении обросло производными. Слова *бега, скачки*, образовавшиеся в результате развития омонимии с обозначающими действие по глаголу существительными *бег, скачка,* для XIX в. в большом словаре вряд ли могут быть выделены как омонимы, так как они, употребляясь и в единственном числе, были тесно связаны семантически с отглагольными существительными. Ср., например, у Д. В. Григоровича: *представь себе, в последний раз* ***на бегу*** *такой случай вышел;* или *да что же это наконец такое? и вы не* ***на скачке?***

Особый случай представляют слова, образованные от одной основы, но в разное время и независимо друг от друга и лишенные внутренних семантических связей: *ночник* — ночной извозчик в середине XIX в. и новое — *ночник* — летчик, специалист по ночным полетам; *ударник* — солдат ударных батальонов времен февральской революции и *ударник* — член ударной бригады на предприятии; *западники* — название представителей одного из общественных направлений XIX в. и *западники* — недавно появившееся слово для обозначения представителей западных империалистических стран. Подобного рода слова в любых типах словарей, по-видимому, должны быть представлены как омонимы.

Классификация и определения значений в словарях разных типов также не могут не иметь серьезных различий. Они достаточно ясны на примере только одной стороны семантической структуры словарей. Активный лексический состав языка, как известно, не остается неподвижным. Он изменяется, развивается. В словах активного сло-

варного состава могут утрачиваться некоторые значения, иногда, может быть, и основные, и на месте основного значения могут выступать новые, образовавшиеся в порядке так называемого сужения значений. Так, в слове *спица* отпало общее значение — заостренная короткая палочка, тычинка и сохранились как основные только значения спицы у колеса и спицы вязальной. Только словарь большого типа должен включить отпавшее ныне значение, тем более, что именно с ним связано уменьшительное *спичка*, из которого в процессе распадения сочетания *зажигательная (серная, фосфорная) спичка* образовался впоследствии омоним.

Вопрос о порядке значений — один из важных в словарной практике. Тенденции приблизить словарь к современности путем выдвижения более актуальных значений на первое место проводится иногда механически. Между тем разные типы значений слов и особенно из активного запаса лексики требуют дифференцированного подхода. В словах, значения которых развились в процессе сужения или расширения значений, легко допустимо выдвижение более актуальных значений. Так, в слове *вера* значение «убежденность» и в XIX в., несмотря на показания словарей того времени, выдвигалось как общее, а значение «религия» как специализированное, суженное. Иное дело в словах, новые значения которых возникали в процессе метафорического, переносного применения основного значения. Нарушение исторического порядка значений в таких словах, как, например, *жертва* ведет к искажению семантической перспективы и разрушает очевидные семантические связи с фразеологическими выражениями и производными словами. Эти соображения особенно существенны в словаре большого типа.

Новые в системе литературного языка слова, с XIX в. входившие в активный запас лексики, имеют свою семантическую историю. Следует ли в большом словаре давать в исторической последовательности значения таких слов, как *быт, класс, пролетариат, нация?* Ведь современное значение слова *быт* оформилось в первой четверти XIX в., современные значения слов *класс, пролетариат* оформились окончательно в марксистской литературе, хотя и применялись значительно раньше в русском языке. Современное значение слов *нация, народность* оформились в процессе разработки большевистской партией национального вопроса. А для времени Даля, да и позднее, слово *нация* лишь входило в общий синонимический ряд со словами *народ, народность, национальность*. В период своей «предыстории» слова этого типа не имели четких семантических границ. Поэтому наиболее целесообразным было бы в качестве основного значения выдвигать то, которое оформилось как значение общенародного языка, а те оттенки или значения, которые предшествовали этому, должны оговариваться особо.

Требуют дальнейшего уточнения и исследования вопросы стилистической классификации слов. По-видимому, в большом словаре, отражающем историческое развитие современной лексики, следует отказаться от оценочной стилистической характеристики. Она очень изменчива и неоднородна для разных этапов исторической действи-

тельности, и существующая стилистическая номенклатура, приноровленная к живой структуре языка нашего времени, приводит нередко к искажению в перспективе стилистического развития.

Уточнения требуют и вопросы грамматической, произносительной и акцентологической характеристики слова. Показ грамматического и звукового оформления слова и синтаксических возможностей его приобретает огромное значение для словаря. Чем точнее указания словаря в этом отношении, тем лучше он выполняет свою роль. Особенно важен для словаря показ лексических и фразеологических единиц, представляющих собой материал для несвободных, принудительных лексических связей. Сюда относятся, например, слова с ограниченной сочетаемостью или лексически застывшие синтаксические связки (*с тем, чтобы; так что* и т. п.), слова с индивидуальной морфологической и акцентной характеристикой, не учитываемой грамматиками (например, *прошел одну версту́* и *прошел с вёрсту, сёстрам*, но *всем сестра́м по серьгам, су́дьбы народа*, но *какими судьба́ми* и т. д.). Словарь, рисующий историческую перспективу, должен с возможной полнотой показать развитие лексики в этом отношении, тем более, что в процессе роста несвободных или «индивидуальных» сочетаний в последующие эпохи выкристаллизовываются новые значения слов.

Для характеристики оформления разных типов словарей в акцентологическом отношении можно указать такой пример. В большом словаре для форм настоящего времени от глагола *варить (вари́шь — ва́ришь)* должна быть отмечена историческая последовательность в произношении их от Пушкина до наших дней. В словаре, учитывающем стилистическое многообразие литературной речи, должна быть указана форма *вари́шь* как устарелая. В строго нормативном кратком словаре эта устарелая форма может отсутствовать.

Лексикологическая кодификация словарного состава современного русского языка, осуществленная в разных типах словарей с различными структурами, основанными на изучении исторической динамики развития современного литературного языка, открывает широкие перспективы. Подобные словари, прежде всего, явятся мощным средством распространения углубленных знаний о русском языке, о его богатстве и выразительности, средством, облегчающим непосредственное общение между братскими народами Советского Союза, мощным средством для повышения культуры речи. С другой стороны, словари современного языка, построенные на правильных методологических основах, создадут надежную материальную базу для исследования закономерностей развития словарного состава. Доведение до конца словаря древнерусского языка и создание словаря литературного языка XVIII в. позволят поставить на твердую почву историческое изучение русской лексики.

Вопросы языкознания, 1952, № 2, с. 84—104. Перепечатано в кн.: *Ожегов С. И.* Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974, с. 158—182.

Р. А. Будагов

ТРИ КНИГИ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

[См. *Б. Тимофеев.* Правильно ли мы говорим? Лениздат, 1961, 190 стр.; *К. Чуковский.* Живой как жизнь. М., «Молодая гвардия», 1962, 174 стр.; *А. Югов.* Судьбы родного слова. М., «Молодая гвардия», 1962, 173 стр. Все три книги позднее переиздавались.]

«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране, немыслима без любви к своему языку», — писал Константин Паустовский. Над этими словами нельзя не задуматься, нельзя не согласиться с ними. Поэтому следует всячески приветствовать различные попытки наших писателей по-своему рассказать широкому кругу читателей о том, что такое культура речи и почему она имеет такое большое («гражданское») значение. Оговоримся сразу. Рецензируемые книги совсем не похожи друг на друга и совсем по-разному обосновывают само понятие культуры речи. Больше того. Основные рекомендации, предлагаемые в книге А. Югова, кажутся мне неприемлемыми, а порою и просто ошибочными (см. третий раздел настоящего анализа). Но несомненно одно: интерес к культуре речи настолько велик, что все три названные здесь работы, несмотря на большие тиражи, были распроданы в два-три дня и стали своеобразной библиографической редкостью. Все это не может не радовать в первую очередь филологов, хотя книги подобного рода обычно принадлежат не их перу. Они создаются художниками слова. Быть может, мастерство изложения и придает им особую популярность.

[Такова и уже получившая широкую известность талантливая книга писателя Л. Успенского «Слово о словах» (ряд изданий), преследующая, однако, несколько иные цели. Нельзя здесь не упомянуть опыты И. Уразова («Почему мы так говорим?» М., «Огонек», 1956) и Л. Борового («Путь слова». М., «Советский писатель», 1974). Редким счастливым исключением, когда в роли автора работы о языке, рассчитанной на широкую аудиторию, выступает филолог, является книга профессора Б. Казанского «В мире слов» (Лениздат, 1958). Позднее были опубликованы книги лингвистов: *Ю. В. Откупщиков.* К истокам слова (рассказы о науке этимологии). Л., «Просвещение», 1968; *Н. М. Шанский.* В мире слов. М., «Просвещение», 1971; и некоторые другие.]

1

«Ну, мне надо вставать. Бывайте здоровы! Днями подойду. Кланяйтесь жене и сестре жены. Пока!» Такими выражениями начинает свою книгу «Правильно ли мы говорим?» Борис Тимофеев. Нетрудно заметить, что здесь почти все неправильно. Из автобуса не *встают*, а *выходят*. Пожелание «бывайте здоровы» создает впечатление, что говорящий желает знакомому не постоянного, а лишь временного здоровья («иногда будьте здоровы, иногда — нет»). *Подойти* — прежде всего приблизиться, тогда как говорящий собирался *прийти* к своему собеседнику. «Сестра жены» называется *свояченицей* — слово, неведомое говорящему. *Пока* вообще не относится к выражению прощания. *Днями* никак не может равняться *на днях*. Таким образом, в выражениях, заключающих в себе четырнадцать слов, шесть грубых ошибок. Говорящий либо не знает тех или иных русских слов (например,

свояченица), либо путает значения разных глаголов (*подходить — приходить*), либо смешивает их формы (*бывайте* и *будьте*), либо употребляет слова не по назначению (*пока* вместо *прощайте, до свидания, всего хорошего* и пр.).

Могут сказать: это грубые и элементарные ошибки, очевидные каждому более или менее интеллигентному человеку. Сто́ит ли писать об этом целую книгу? На подобный вопрос хорошо отвечает сам автор всем содержанием своей книги. Да, безусловно, стоит. Во-первых, аналогичные ошибки приходится слышать далеко не так редко, в том числе и в речи людей, считающих себя интеллигентными. Во-вторых, Б. Тимофеев обращает наше внимание не только на ошибки грубые, но и на промахи гораздо менее заметные, хотя и не менее опасные. В-третьих, наконец, — и это главное — автор заставляет каждого задуматься над тем, как он говорит и как он пишет.

Часто приходится слышать: «Так говорят». Иногда усиливают подобное утверждение: «Так говорит народ». Но ведь народ — это не безликая масса. А каждый отдельный человек может ошибаться. На утверждение «так говорит народ» Б. Тимофеев отвечает хорошим маленьким рассказом. Вот он:

«Несколько лет тому назад я услышал, как одна девушка напевала популярную арию из оперетты «Роз-Мари»: «Цветок душистых *прерий*...» Но она пела: «Цветок душистый, *прелый*...» Я подошел к девушке и, попросив извинения, указал на ее ошибку и объяснил, что такое *прерии*. Она выслушала, а затем, сказав: «Надо же!», ушла. Весьма вероятно, что она пела в искаженном виде с чужого голоса».

Этот рассказ хорошо передает, что широко распространенное утверждение «так говорят» нуждается во всесторонней проверке. Кто говорит? Почему так говорит? Обогащает ли подобная речь родной язык? Способствует ли она правильному выражению мысли? Ведь искажения речи бывают весьма различны, а причины их возникновения сложны и многообразны. Поэтому одна из важных задач культуры речи заключается как раз в том, чтобы разобраться в источниках подобных искажений и по возможности бороться с их распространением.

Спору нет. Язык постоянно развивается. То, что было не принято вчера, может быть принято сегодня. Но задача заключается в том, чтобы всякий раз принимать нужное и не принимать ненужное. Однако разграничение нужного и ненужного с позиции культуры речи произвести не так-то просто. Общий принцип здесь может быть сформулирован так: нужное — это все то, что способствует обогащению языка в самом широком смысле, ненужное — то, что не только не служит этой цели, но и способствует ослаблению языка, его искажению.

Конечно, бороться с речевыми привычками, получившими широкое распространение («Так говорят!»), трудно. И все же во многих случаях это необходимо. Подходящий к очереди чаще всего теперь спрашивает: «*Кто крайний?*» (вместо «*Кто последний?*»). При ближайшем рассмотрении оказывается, что *последний* кажется ему «обидным словом» («никто не хочет быть *последним*»). Казалось, можно было бы поставить вопрос так: раньше говорили *кто последний?*, теперь иначе — *кто крайний?* Второе выражение более новое, оно получило

широкое распространение, следовательно, и должно быть принято. Между тем рассуждать так невозможно с позиции того понимания культуры речи, которое только что было намечено. Прежде всего, как правильно показывает Б. Тимофеев, *крайний — это находящийся на краю*, а у всякой очереди обычно бывает два края. Поэтому *крайним* может быть первый и последний. Да и слово *последний,* разумеется, не может в этом вопросе («*Кто последний?*») заключать в себе что-либо обидное. Ср. *последние известия, последние новости, последние события* и пр.

Следовательно, принять новое («*Кто крайний?*») только на том основании, что оно новое, невозможно. «Старое» выражение («*Кто последний?*») оказывается в этом случае единственно возможным, тогда как «новое» искажает мысль, ослабляет выразительные (в нашем примере — дифференциальные) возможности русского языка.

А вот новые значения существительных *спутник* или *космонавт* обогащают нашу речь. Они дают возможность выразить в языке новые важные понятия. Как отмечает К. Чуковский, еще в 1960 г. в «Словаре русского языка» С. Ожегова о космонавте говорилось как о человеке, который *будет* совершать полеты в космос. В 1961 г. это *будет* превратилось в настоящее время: космонавты *совершают* полеты в космос. Следовательно, сама жизнь с ее нуждами и потребностями внесла существенные коррективы в семантику определенных слов. Старое значение слова *спутник* как бы неожиданно потускнело («человек, который вместе с кем-нибудь совершает путь»), и если бы В. Панова написала повесть «Спутники» не в 40-х годах, а в наше время, она врядли дала бы подобное название своему повествованию. Новое значение слова как бы рикошетом отражается на старом его осмыслении в силу системных связей и в языке, и в кругу современных понятий.

Таким образом, если одно новое (например, «*Кто крайний?*») оказывается для культуры речи совершенно неприемлемым, то другое новое (например, новые осмысления многих слов) становится не только приемлемым, но и необходимым, разумным, естественным. Следовательно, нет готовых рецептов, нельзя решать вопрос огулом (все новое хорошо или все новое плохо), требуется внимательное рассмотрение каждого случая, исходя из общих принципов, сформулированных выше. К такому же выводу приходят и Б. Тимофеев и К. Чуковский.

Было бы неправильно, однако, считать, что «новое разумное» относится только к сфере семантики слов, а «новое неразумное», «ненужное» — к сфере грамматики. Можно привести множество иных отношений. Во времена Чехова употребляли выражение «говорить *в* телефон», а сейчас «говорят *по* телефону» (пример К. Чуковского). Быть может тут сыграла известную роль техника передачи звука и улучшение конструкции самого телефонного аппарата. Чем более совершенствовалась техника передачи звука по каналу связи, тем меньше говорящий по телефону должен был кричать в трубку аппарата. Разговор стал идти не *в* телефон, а *по* телефону. Так или иначе норма современного языка знает теперь только одну форму — *по* телефону. Следовательно, в этом случае «новое разумное» относится к грамматике, а не к семантике. Но вот «новое» осмысление

прилагательного *качественный*, попытка отождествить его с прилагательным *хороший* и даже *отличный* («это качественная работа»), должно быть признано неправильным.

Качество всегда может быть и отличным и хорошим, так же как и посредственным и даже плохим, отвратительным (наблюдение Б. Тимофеева). В последних двух примерах «новое разумное» оказывается на стороне грамматики, а «новое неразумное» — на стороне лексики и семантики. Основной постулат культуры речи был сформулирован уже Пушкиным: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». <...>

Б. Тимофеев стремится не предписывать, а анализировать. В этом достоинство его работы. И пусть не всегда его книга озарена светом большой теории, наблюдения автора в целом остаются интересными и в большинстве случаев острыми. Лишь при толковании отдельных примеров он вдруг переходит с позиции анализа на позицию предписания: «Я не хочу другого слова», и баста. Но что значит «не хочу» в стилистике, Б. Тимофеев не разъясняет.

Автора можно упрекнуть и в том, что культуру речи он иногда понимает как сумму примеров: это хорошо, а это плохо. Но культура речи как определенная филологическая дисциплина не сводится к отдельным иллюстрациям. Она социально значительнее. Культура речи не может не учитывать и многообразия речевых стилей: возможное в одних контекстах оказывается невозможным в других. Принцип «правильное — неправильное» осложняется самим существованием различных стилей. С Тимофеевым можно, таким образом, спорить, но нельзя не оценить его вдумчивой и нужной работы. <...>

2

Еще более ярко и увлекательно написана книга К. Чуковского «Живой, как жизнь». Бесспорной является и ее общая тенденция: «... культура речи неотделима от общей культуры. Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество своего интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не говорили *выборá* или *мне ндравится*. Иной и пишет и говорит без ошибок, но какой у него бедный словарь, какие замусоленные фразы! Какая худосочная душевная жизнь сказывается в тех заплесневелых шаблонах, из которых состоит его речь!» Действительно, человек может сравнительно легко научиться правильно употреблять те или иные выражения. Но для настоящей культуры, для того, чтобы выйти из колеи «канцелярского языка» и всегда чувствовать красоту родной речи, нужна подлинная и высокая общая культура. «Худосочная душевная жизнь» порождает и худосочную речь, хотя говорящий и пишущий может при этом и не совершать грубых ошибок. Именно с этих бесспорных позиций и ведет свой живой рассказ о русском языке К. Чуковский.

В книге прекрасно показано, как часто низкий уровень речевой культуры те или иные авторы склонны объяснять догматически. Они уверены, что стоит только «освободить русский язык от иностранщины», как сейчас же все станет прекрасным и все заговорят на чистей-

шем родном языке. Другие всю беду усматривают в вульгаризмах: сто́ит только изгнать такие слова и словосочетания, как *лабуда, железно, на большой палец* и пр., — и проблема будет решена. Третьи негодуют на слишком строгое отношение к диалектизмам и старым русским словам и выражениям. Им кажется, что как только диалектизмы и архаизмы будут введены в литературный язык, речь станет «красочной и живописной», и тем самым уровень ее общей культуры не будет вызывать никаких сомнений. К. Чуковский перечисляет семь таких пунктов, каждый из которых, по мнению их сторонников, должен выступить в роли своеобразной панацеи от всех недугов нашей родной речи. В книге хорошо доказана полная несостоятельность всех подобных «теорий».

В самом деле. Обратим внимание хотя бы на пункт первый. Сколько было истрачено чернил на бумажную войну против иностранных слов! Между тем всякому мало-мальски размышляющему человеку должно быть ясно, что нельзя воевать против иностранных слов вообще. Весь вопрос в том, к а к и е это слова. В своей знаменитой заметке о русском языке В. И. Ленин выступал не против всяких иностранных слов, а прежде всего против их коверканья (анализ гибридного глагольного образования *будировать*). Казалось бы, ясно. И все же до сих пор у нас появляются статьи и даже книги, где чуть ли не вся проблема культуры речи сводится к борьбе с иностранными словами (об этом — в третьем разделе). В данном вопросе, как и во многих других, К. Чуковский сумел занять правильную позицию. Никого не может коробить предложение *Пионеры космических трасс*, сплошь состоящее из иностранных слов, но нелепы и чудовищны *прейскуранты цен* (где *прейс* и значит цена), *фигурировать документами* и прочие случаи «смешения французского с нижегородским». Бесспорно, могут быть ненужными и отдельные иностранные слова, правильно употребляемые (ср. споры о научной терминологии), но проблема и здесь не решается огульно, как и в других сферах культуры речи. Именно так освещается все это и у К. Чуковского.

Автор книги «Живой, как жизнь» отнюдь не пурист (в чем чуть-чуть можно упрекнуть Б. Тимофеева). Он отлично понимает постоянное движение и развитие языка. И если первый тезис К. Чуковского сводится к тому, что речевую культуру можно повышать только на основе общей культуры, то вторая, центральная идея работы — страстная и увлеченная защита многокрасочной палитры речи, борьба с бесцветным канцелярским языком.

Дело в том, что до сих пор культуру речи у нас нередко отождествляют с так называемым гладким языком. Этот же последний чаще всего оказывается языком бесцветным. Больше того. Научная книга, написанная живым языком с простыми разговорными интонациями, нередко кажется недостаточно серьезной многим педантам и даже некоторым редакторам (в ней, видите ли, мало *вследствие того, что; постольку, поскольку* и прочих признаков «высоконаучного изложения»). К. Чуковский гневно выступает против такой «концепции» культуры речи. И к нему не может не присоединиться всякий, кому дорог родной язык. Автор вспоминает рассказ М. Горького об одном

старичке переводчике, который решил помочь издательству «Всемирная литература». Начало прелестной романтической сказки он передал по-русски так: «За неимением красной розы, жизнь моя будет разбита». Горький указал ему, что канцелярский оборот *за неимением* здесь невозможен. Старик исправил:«*Ввиду отсутствия* красной розы жизнь моя будет разбита». А третий вариант звучал уже так: «Мне нужна красная роза, и я добуду себе *таковую*».

Легко, конечно, посмеяться над бедным старичком, который на склоне лет решил заняться труднейшим делом — художественным переводом. Но мы сами не замечаем, как часто канцелярский стиль заполняет наши собственные сочинения. Примеры, которые приводит К. Чуковский из опусов многих современных филологов (жаль, что он щадит их, не называя фамилий), убедительно об этом свидетельствуют (стр. 129, 139 и др.). А чего стоят хотя бы наши вывески в больших городах с «палочными изделиями» (читай «Палки») и с «индпошивом из материала ателье и заказчика!»

Подлинному писателю всегда свойственно чувство меры, столь важное и в культуре речи. Когда редактору рукописи И. Репина «Далекое — близкое» показалась слишком игривой фраза: «Зонт мой пропускал уже насквозь удары дождевых кулаков», то мы вместе с К. Чуковским, разумеется, станем на сторону Репина (у него прекрасно сказано!), но когда под флагом защиты образной манеры изложения оправдывают выражения типа *мощная книжка*, то всякий стилист возмутится вместе с К. Чуковским. Так, защита образной речи и разговорных интонаций изложения сочетается у автора с гневным протестом против всего вульгарного, нарочито грубого, против всего, что приводит к обеднению языка, к его коверканью. Чувство «соразмерности и сообразности» никогда не должно покидать стилиста. Даже арготические слова могут быть уместны в определенном контексте (например, в речевой характеристике персонажей). И все же К. Чуковский прав, одновременно выступая и против бесцветного языка и штампованных фраз, и против смешения слов и выражений разных речевых стилей, и против нарочитой грубости авторского изложения.

3

Совсем иное понимание культуры речи обнаруживаем в книге А. Югова «Судьбы родного слова». Скажу с самого начала, что основная тенденция этой книги представляется мне ошибочной. Разумеется, в работе А. Югова есть немало отдельных правильных суждений. Сам автор — писатель, знаток старого русского языка и его диалектов. И все же в книге защищается ошибочная концепция. Приходится сожалеть, что автор совсем не прислушался к тем критическим замечаниям, которые уже раздавались по его адресу, в то время как он публиковал свои статьи (ныне они вошли в книгу) в нашей периодической печати.

Исходные позиции А. Югова поначалу кажутся бесспорными. В первой главе «Эпоха и языковой «пятачок» он доказывает, что прозаики и поэты должны широко пользоваться всеми богатствами русского языка, всеми его выразительными ресурсами. Для осуществления этой

цели писатели обязаны знать не только литературную норму, но и свободно владеть сокровищницей русских диалектов, старой письменностью — словом, общенародным языком во всех его особенностях и проявлениях. Автор горячо полемизирует с теми, кто стремится прозаиков и поэтов нашего времени согнать на «языковой пятачок», ограничить их лексические и синтаксические средства, сделать их речь худосочной, бедной, маловыразительной, «гладкой». Нужно изучать русский язык в его удивительном богатстве. Такова задача, стоящая прежде всего перед писателями. Но к ее решению следует стремиться и «простым смертным», имеющим дело с устным и печатным словом, всем, кому дороги судьбы родной речи.

Можно ли возразить против подобной постановки вопроса? Разумеется, нет. Больше того. Такая постановка вопроса правильна и своевременна. Как уже отмечалось в связи с характеристикой книги К. Чуковского, у нас действительно имеется немало людей, сводящих культуру речи к защите «гладкого», бесцветного и бедного языка. Протесты А. Югова против концепции такого рода должны быть всячески поддержаны.

Но вот А. Югов переходит к обоснованию своей позиции. Как же он предполагает осуществить намеченную программу? Какие рекомендации дает молодому поколению читателей, которым в первую очередь адресована книга?

Через всю книгу А. Югова проводится отождествление трех понятий: языка писателя, общенародного языка и литературного языка. Автор утверждает: «Мы убежденно говорим: весь язык русского народа литературен — в том смысле, что право писателя на использование всего многообразия и богатства его форм нельзя ограничить, регламентировать» (стр. 62). Такие понятия, как просторечие, архаизмы, профессионализмы, диалектизмы, тут же признаются «лженаучно измышленными *измами*», так как они «разбивают на клетки... единое море русского языка». Здесь многое заставляет насторожиться. Конечно, писатель не только может, но и должен черпать свои языковые ресурсы из общенародного языка. Но, обращаясь к этому вечно живому источнику, писатель не может механически переносить все особенности общенародного языка и его диалектов в язык художественного произведения. Здесь необходим о т б о р, о котором неоднократно говорили сами художники слова. М. Горький, например, писал: «Мало ли что и мало ли как говорят в нашей огромной стране — литератор должен уметь отобрать для работы изображения словом наиболее живучие, четкие, простые и ясные слова. Литератор не обязан считать пошлость и глупость героев своей собственностью, точно так же как не обязан он пользоваться искаженным языком героев для описаний, он пользуется этим языком только для характеристики людей» <...> И в другой статье: «Почему нужно писать *тутовый* вместо — *здешний*? Есть тутовое дерево, и есть тошнотворное, достаточно уродливое словцо — *тутошний*, - зачем нужно еще более уродовать его? Иногда нелепые слова говорят о глухоте сочинителя, о том, что он не слышит языка...» <...>

Разумеется, М. Горький мог ошибаться в оценке тех или иных от-

дельных слов, однако общая позиция его в этом вопросе, бесспорно, правильна. Он не допускал смешения таких понятий, как язык писателя и общенародный язык со всеми его диалектами. Конечно, между первым и вторым существует непрерывное и глубокое взаимодействие, но они никогда не должны отождествляться. Между тем А. Югов целиком отождествляет эти понятия. Для него не существует проблемы *отбора*, о которой много говорили выдающиеся писатели разных стран и народов. А. Югов рекомендует писателям употреблять в авторской речи любые диалектные слова. Подобная позиция ему кажется демократичной. Но здесь лишь кажущаяся демократичность. Если в народной речи встречаются *хочите* или *тутовый* и писатель переносит подобные образования в авторскую речь, то он оказывает плохую услугу читателю, расшатывает его представления о возможностях родного языка и тем самым оказывается на антидемократических или ложнодемократических позициях.

На словах признавая понятие литературной нормы языка, А. Югов на протяжении всей своей книги по существу издевается над этим понятием. «Нормативная лексикография, — восклицает он, — пережиток». А как же тогда составлять словарь? Наряду со *здешний* включать *тутовый* и *тутошний*? Но тогда это не словарь литературного языка. Как показывает опыт Даля, сам по себе такой словарь очень полезен, но нельзя смешивать разные типы словарей. Между тем А. Югову кажется, что словарь литературного языка никому не нужен. «Считаю неоспоримым, — категорически заявляет он, — следующее историческое обстоятельство: так называемые «литературные нормы» русского языка (кавычки автора. — *Р. Б.*) и ныне действующие (вернее, злодействующие), — они установлены были «сверху», в императорской России. Это *классовые* нормы» (курсив автора. — *Р. Б.*). Так и сказано: современные литературные нормы русского языка — это классовые нормы (стр. 66). Но как тогда быть с писателями, блестящими стилистами, передовыми мыслителями, которые, пополняя и расширяя эти нормы, все же всегда считались с ними? Объявить их язык классово ограниченным?

Из правильных предпосылок А. Югов делает неправильные выводы, которые способны только дезориентировать читателя. Правильно то, что в сфере нормы литературного языка нельзя быть пуристом, что надо учитывать постоянное движение и развитие языка. Правильно и то, что язык нашей прессы и наших устных выступлений иногда бывает убогим, невыразительным. Протесты А. Югова против всего этого понятны и не могут не вызвать сочувствия. Но меры, предлагаемые писателем, его стремление разрушать всякую, даже динамически осмысленную норму, смешение разных лингвистических понятий (язык писателя, общенародный язык, литературный язык, диалекты) не могут не вызвать протеста.

Покажу еще на двух примерах, к чему приводит автора подобное смешение.

С одной стороны, диалектизмы объявляются «лженаучным измышлением», а с другой — автор постоянно говорит о диалектах и даже о «фонетических диалектных искажениях». Но если существуют

диалекты и даже диалектные искажения, то почему же диалектизмы оказываются невозможными? Архаизмы вызывают не меньший гнев автора. Стремясь возродить чуть ли не все слова старого русского языка, которые кажутся ему вполне современными, А. Югов выступает против самого понятия архаизма (тоже «лженаучное измышление»). Но, тут же забывая свою собственную концепцию архаизмов, автор пишет специальную статью «Архаизмы в поэтике Маяковского», где только что резко осужденное понятие («архаизмы») фигурирует уже в положительном контексте. Больше того. Этому «лженаучному измышлению» здесь дается такое определение, под которым мог бы подписаться и лингвист. Подобные внутренние противоречия пронизывают всю книгу А. Югова.

Известно, что всякий развитой язык, имеющий богатую письменность, располагает разными языковыми стилями. Мы говорим не совсем так, как пишем, и пишем не совсем так, как говорим. В научном сочинении обычно излагают мысли несколько иначе, чем в произведении художественном, даже если первое принадлежит перу выдающегося стилиста, далекого от употребления каких бы то ни было канцеляризмов. Все это хорошо известно. Но с этим мало считается А. Югов. Защищая богатство языка, он не учитывает своеобразия его различных стилей.

Конечно, вместе с А. Юговым писатель может воскликнуть: «Глагол — самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка». Но сказать так в научном сочинении по грамматике по крайней мере недостаточно. И дело здесь не в живописности приведенного описания (сама по себе образность языка хороша и в научном изложении), а в отсутствии чисто логических звеньев определения, столь существенных во всяком научном изложении. Следовательно, не считаться с разными стилями языка невозможно. Богатство речевых средств — достоинство всякого стиля. Но это разное богатство, и оно по-разному используется.

Здесь не случайно возник вопрос о языковых стилях, так как А. Югов вовсе не учитывает их специфики. Говоря о «русскости русского языка» (одна из глав книги так и называется), автор замечает: «С глубоким удовлетворением должен признать, что произведения советских поэтов и прозаиков именно в этом общем достоинстве художественного словаря являют нам многие прекрасные образцы». Так в чем же дело? Из-за чего же автор бьет тревогу? По-видимому, из-за того, что в других языковых стилях, например в научном изложении, эта «русскость русского языка» не соблюдается. Бесспорно, и научное сочинение, написанное по-русски, должно сохранять «русскость». Но учитывает ли автор, что характер и степень идиоматичности определяются и характером языкового стиля? Уже неизбежное присутствие интернациональных научных терминов во всяком современном научном сочинении закономерно меняет пропорции. Между тем А. Югов говорит о «русскости русского языка» безотносительно к его отдельным стилям.

Возникает и другой вопрос, на который не находим ответа у автора «Судеб родного слова». Если у большинства писателей все благополучно (см. выше «прекрасные образцы»), то, собственно, что тревожит

А. Югова? Разговорный язык? Стиль изложения научных сочинений? Тогда почему же книга начинается с языкового «пятачка», на который редакторы иногда действительно стремятся «согнать» писателей? Недифференцированное рассмотрение русского языка, как и языка русских писателей, не дает возможности автору ответить на все эти и многие другие аналогичные вопросы.

К сожалению, защита «русскости русской речи» ведется А. Юговым слишком прямолинейно. Эта прямолинейность нередко превращается в односторонность. Так, например, говоря о несобственно-прямой речи, автор утверждает, что «русская, народная манера — никогда не затягивать слишком эту внутреннюю речь героя... Но боже сохрани затягивать эту прямую речь героя на многие страницы! Когда я читаю этакое, я уже ясно вижу, что человек начитался иностранных романов...» (стр. 149). Но ведь длинный внутренний монолог героя в рамках несобственно-прямой речи в ряде случаев отражает сложный мир переживаний изображаемого персонажа. Неужели мы должны считать, что сложный духовный мир героев является уделом лишь богатых людей «в иностранных романах», а советским людям свойственны убогие мысли, опирающиеся на конструкции с *мол, дескать, де*, столь любезные сердцу нашего автора? Не говоря уже об общественной несостоятельности подобного противопоставления, стилистическая практика многих выдающихся русских писателей (стоит только вспомнить Достоевского и Л. Толстого) опровергает подобное искусственное противопоставление. «Иностранные романы» здесь ни при чем, тем более что именно в новейших иностранных романах внутренняя речь героев нередко бывает предельно лапидарной.

Но раз уже речь зашла об иностранном, то нельзя не отметить одностороннюю борьбу А. Югова чуть ли не со всеми иностранными словами. Хотя автор и оговаривается, что он выступает лишь против ненужных иностранных слов, в действительности едва ли не каждое иностранное слово в русском языке вызывает его гневный протест (иностранное отождествляется с иностранщиной; см., например, стр. 125). Лишних иностранных слов в русском языке наших дней действительно много и с ними действительно надо бороться, но куда более прав К. Чуковский, показавший, что иностранное иностранному — рознь и что проблема культуры речи гораздо шире проблемы «изгнания иностранных слов» во имя «русскости русского языка».

А. Югов неоднократно призывал «гордиться русским языкознанием», его наиболее выдающимися представителями (стр. 71, 72 и др.). Но как понимать в таком случае автора? Ведь русские языковеды никогда не отрицали различий между литературной и диалектной нормой, между архаизмами и неологизмами и многими другими важнейшими лингвистическими понятиями, само существование которых отрицается автором? Чем же тогда читателю следует гордиться? Сплошными заблуждениями языковедов или их «лженаучными измышлениями»?

Что касается этого последнего определения, то ему здесь вообще не повезло. Иначе как понять позицию издательства «Молодая гвардия», которое в предисловии к книге А. Югова заявило, что автор ведет «пламенный спор с современными лженаучными запретителями и педанта-

ми, потомками гречей и сенковских, которые мешают свободе нашего богатого и прекрасного языка...»? Но если это научный спор, то почему же противников А. Югова уже до начала спора объявлять лженаучными? Свободу русского языка защищать действительно надо, но нельзя смешивать (опять смешение!) такие столь непохожие друг на друга понятия, как свобода и анархия. А. Югов прав там, где он выступает в защиту первой, и совсем не прав там, где (вольно или невольно) берет под свою опеку вторую.

Нельзя не считаться и с огромным общекультурным значением литературной нормы языка. Об этом хорошо сказано в книге К. Чуковского: «... если бы чеховская «дама с собачкой» сказала при Дмитрии Гурове своему белому шпицу: «Ляжь!», Гуров, конечно, не мог бы влюбиться в нее и даже вряд ли начал бы с нею разговор... В этом *ляжь* (вместо *ляг)* — отпечаток такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит свое самозванство, едва только произнесет это слово».

Таковы три книги. Их авторов объединяет одно — искренняя и большая любовь к родному языку. Без этого условия вообще нельзя заниматься тем, что называется культурой речи. Но необходимо и другое — глубоко продуманная теория. Здесь-то и начинаются серьезные расхождения не только между авторами рассмотренных книг, но и между другими учеными и писателями.

Вопросы литературы, 1963, № 2, с. 192—202. Перепечатано в кн.: *Будагов Р. А.* Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 320—334.

Ф. П. Филин
ЯЗЫК ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ

Никто в точности не знает, сколько языков существует на земном шаре. Чаще всего называют цифру три тысячи, хотя она весьма приблизительна. Объясняется это тем, что нередко трудно провести границу между языками и диалектами и что языковедам не все еще известно. Каждый из живых языков имеет одинаковые возможности для своего развития и совершенствования. Не существует рас и народностей, по своей природе «высших» и «низших» (что до сих пор проповедуют сторонники расизма и апартеида), также не существует языков «полноценных» и «неполноценных» (о чем тоже иногда болтают в буржуазной печати). Степень развития того или иного языка зависит не от «врожденных» его особенностей (которых не бывает), а от конкретно-исторических условий в жизни носителей этого языка.

По своему строению языки мира очень различны (имеются флективные, агглютинативные, аморфные и другие языки), однако формальная структура языков не выдвигает одни из них на первое, а другие — на второе или последнее место. Главный и единственный критерий, который позволяет говорить о совершенстве языка, это возможность выражать на нем всю сумму знаний, накопленных

человечеством. Прогресс языка неразрывно связан с историей его создателей и носителей.

Как известно, история развития человечества из-за многих причин протекала и протекает неравномерно. Одни этнические единства и теперь находятся на уровне каменного века (такие племена обнаруживаются в труднодоступных тропических лесах и горах), другие вступили в высшую стадию истории человечества — строительство социалистического общества с его высокоразвитой цивилизацией. Естественно, что на языке «первобытных» племен невозможно выразить современную систему мышления и громадного комплекса понятий, свойственных современной культуре. Заметное различие в уровнях прогресса наблюдается и в истории отдельного языка. Например, на известном нам по письменным памятникам древнеанглийском языке нельзя было бы выразить современное богатство человеческой мысли, так как для этого в названном языке не нашлось бы соответствующих средств.

На одних языках в настоящее время говорят сотни миллионов людей, на других — только сотни и даже десятки человек (первых языков всего несколько, вторых много). Есть языки, которые являются средствами межнационального и даже международного общения, а другие в основном обслуживают только свое племя, народность или нацию. Следовательно, общественные роли языков неодинаковы. Так распорядилась сама история.

К языкам огромной общественной значимости относится русский язык. Русский язык добровольно избран всеми народами СССР, государства многоязычного, как средство межнационального общения. По данным переписи 1979 г., русским языком свободно владеет около 215 млн. человек, т. е. подавляющее большинство населения нашей страны. Но одно дело — свободно владеть, а другое дело — понимать. Теперь мало найдется советских граждан, которые вовсе не понимали бы по-русски. Значит, все население Советского Союза активно или пассивно (в разной степени) знает русский язык. А это свыше двухсот шестидесяти миллионов человек. В результате победы советского народа в Великой Отечественной войне ООН официально признала русский язык одним из своих рабочих языков. Русский язык как средство международного общения зазвучал на международных переговорах, на научных и иных международных конгрессах, съездах, конференциях.

Резко возросло и возрастает число людей и в зарубежных странах, которые стали его изучать. В дружественных нам социалистических странах русский язык стал обязательным предметом школьного преподавания. Особенный интерес в капиталистических и развивающихся странах русский язык вызвал к себе после первых запусков искусственных спутников земли и полета в космос Ю. А. Гагарина и других советских космонавтов. Сеть школ, курсов, кружков по изучению русского языка на всех континентах земли неизменно расширяется. Многие зарубежные специалисты заявляют, что без чтения русской научно-технической литературы они не могут считать себя в курсе развития своих специальностей.

Немало людей за рубежом привлекает богатейшая дореволюционная и советская художественная литература, которую они хотят

читать в подлинниках. Многие тысячи иностранных студентов и специалистов ежегодно обучаются русскому языку в советских вузах и других учреждениях. В Москве создан Институт русского языка имени А. С. Пушкина для подготовки преподавателей русского языка в различных странах. В Париже была основана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), в которую входят организации десятков стран Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии, во многом способствующая пропаганде знаний русского языка и совершенствованию методов его преподавания. Печатается научно-методический журнал «Русский язык за рубежом», выходят в свет многочисленные пособия, собираются за круглым столом иностранные переводчики русской художественной литературы, делается и многое другое.

Сколько же людей на земном шаре так или иначе пользуются в настоящее время русским языком (говорит, читает без словаря или со словарем, слушает по радио и телевидению, в быту и на службе)? Ответить на этот вопрос невозможно. И все же в ЮНЕСКО несколько лет тому назад назвали предположительную цифру: не менее полумиллиарда человек. Распространение русского языка как иностранного уступает пока только распространению английского языка. Нет сомнения в том, что вместе с дальнейшим ростом международного авторитета СССР будет происходить и постоянное увеличение числа людей за рубежом, для которых знание русского языка станет необходимо.

Встает вопрос, почему такая высокая роль выпала на долю русского языка (ведь языков, как было сказано выше, на земном шаре имеется приблизительно около трех тысяч?). Что это — историческая случайность? Конечно, нет.

Уже в древней Руси существовала богатейшая литература, оригинальная и переводная. Достаточно вспомнить такие произведения, как «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Русскую правду», «Хронику» Георгия Амартола, «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия, блестящее «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона и многие другие, в которых собственная высокая культура обогащалась византийскими, древнеболгарскими и иными трудами первостепенного для того времени значения. Древняя Русь стала преемницей великой средиземноморской культуры. Древнерусский язык впитывал в себя и перерабатывал в соответствии с собственными законами развития многочисленные элементы древнеболгарского и греческого (византийского) языков.

Созданные в то время традиции сохранялись и обогащались и в поздние времена. А. С. Пушкин хорошо подметил: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе

заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей*». <...>

Как известно, с XIV в. Москва сплачивает вокруг себя разрозненные княжества. Возникает Московское централизованное государство, в состав которого вошли многие народности. Ведущую роль в нем играла великорусская народность со своим оригинальным языком, наследником древнерусского языка. В Московском государстве продолжался расцвет самобытной культуры и литературы. В переломном XVIII в. к тому, что уже было накоплено, прибавляются многочисленные слова западноевропейских языков, обозначающие многие понятия высокой цивилизации. Русский язык занял почетное место среди наиболее развитых языков мира. М. В. Ломоносов имел право с гордостью заявить: «Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто, не упрежденный великими о других мнениями, простет в него разум и с прилежанием вникнет, со мною согласится. Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». <...>

В XIX в. происходит небывалый подъем русской литературы всех жанров. Появляется большая плеяда классиков мирового значения (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Достоевский, Л. Н. Толстой, Чехов и другие гиганты художественного слова). Развиваются научный, публицистический и другие стили. Русский литературный язык упорядочивается в стройную систему, становится богатейшей сокровищницей культуры, великолепным средством человеческого общения. Не только русские, но и выдающиеся зарубежные деятели признают его богатство и красоту.

Высокую оценку ему давали основоположники научного мировоззрения К. Маркс и Ф. Энгельс, изучившие русский язык и читавшие нужные им работы в подлиннике. В конце XIX в. начинает создавать на русском языке свои произведения великий вождь пролетариата В. И. Ленин. Ленинская эпоха в истории русского языка означала создание на нем терминологии и других средств выражения самой передовой философии и идеологии, ставших руководством в революционной борьбе, в построении нового социалистического общества.

Русский язык — язык Великой Октябрьской социалистической революции, язык съездов КПСС, постановлений партии и правительства, всесоюзных пятилетних планов, Конституции СССР. Основатель

пролетарской литературы М. Горький, А. Фадеев, К. Федин, Л. Леонов, М. Шолохов и многие другие классики советской литературы писали и продолжают писать на русском языке.

На русском языке создана и создается огромная научная и техническая литература, без знания которой невозможно продвижение вперед, немыслим научный и технический прогресс. На русский язык переводятся произведения поэтов, писателей, ученых, общественных деятелей, работников культуры всех национальностей и народностей СССР, благодаря чему многонациональное творчество, которое получает все больший размах в национальных республиках и областях нашей страны, становится достоянием всего советского народа, а также выходит и на мировую арену. Русский язык стал языком-посредником, средством межнационального общения, дружбы и братства народов Советского Союза.

Нужно также учитывать и другое важное обстоятельство — в наш век научно-технической революции во многих странах мира выходит в свет огромное количество публикаций, в которых заключается нужная нам информация для успешного развития социалистической экономики, науки и культуры. Важную роль в использовании этой информации играют переводы. По количеству переводов с иностранных языков русский язык занимает первое место в мире.

Русский язык стал гигантской сокровищницей всех областей человеческих знаний. Словарный состав его стремительно увеличивается. В семнадцатитомном академическом «Словаре современного русского литературного языка» описано свыше ста двадцати тысяч общеупотребительных слов и сотни тысяч значений и оттенков значений слов. В настоящее время подготавливается второе издание этого словаря, в котором будет содержаться не менее ста пятидесяти тысяч слов. А кроме общеупотребительных слов существует специальная терминология, количество которой учесть невозможно. Научно-технических и производственных терминов, номенклатурных наименований и прочих специальных обозначений в современном русском языке миллионы. Это необозримый океан слов, в котором каждый может найти все, что ему нужно (в научно-технических словарях и иных пособиях). Впрочем, на вопрос, сколько же всего слов в русском языке, мы можем ответить только так: это никому не известно.

Итак, русский язык — язык великой мировой культуры. В Советском Союзе он распространяется исключительно на добровольных началах, к нему тянутся советские люди по собственному желанию, они понимают, что многочисленным национальностям и народностям для взаимных связей нужен общий язык, что русский язык — средство для получения знаний, накопленных советским народом и всем человечеством.

Наши враги клевещут на советскую действительность, утверждая, будто бы в СССР проводится политика русификации, вытеснения других национальных языков. Это совершенно не соответствует действительности. У нас принимаются все меры для развития национальных языков и культур. За годы Советской власти впервые получили письменность пятьдесят языков, необычайно обогатились

старописьменные языки, расширились их функции, многие из них стали в один ряд с самыми развитыми языками мира.

Главная задача ленинской национальной политики в области языкового строительства — установление гармонического двуязычия, при котором каждый советский гражданин, не забывая свой родной язык, осваивает и язык межнационального общения. Сосуществование русского языка и национальных языков обогащает все языки, поднимает их на более высокую ступень развития, способствует раскрытию заложенных в них возможностей. Выгоду от гармонического двуязычия получают все советские люди.

Великий русский язык не затеняет другие языки, наоборот, способствует их расцвету. Такое стало возможным только при социалистическом строе, когда все нации, большие и малые, не на словах, а на деле стали равноправными во всех, в том числе и языковых, отношениях.

Новое время, М., 1980, 4 апр., № 14, с. 26—27. Перепечатано в кн.: *Филин Ф. П.* Очерки по теории языкознания. М., 1982, с. 186—192.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аванесов Р. И. 7, 9, 20, 218, 232
Аксаков К. С. 5
Аксаков С. Т. 61, 110
Андреев Н. Д. 234, 235
Андропов Ю. В. 42
Ахманова О. С. 31

Балли Ш. 164
Барсов А. А. 72
Барсукевич Л. 34
Бархударов С. Г. 10
Бектаев К. Б. 18
Белинский В. Г. 5, 56, 112, 133, 135, 160
Бельчиков Ю. А. 31
Белый А. 275
Беляев В. Ф. 31
Бернштейн С. И. 224
Блумфилд Л. 29, 30
Бодуэн де Куртенэ И. А. 17, 102, 284
Бондалетов В. Д. 26
Борковский В. И. 7
Боровой Л. 293
Бородина М. А. 12
Брюсов В. Я. 192, 204, 205, 207, 212
Будагов Р. А. 18, 28, 238, 293
Булаховский Л. А. 280
Булгарин Ф. В. 28
Буслаев Ф. И. 5, 47, 60, 78, 89, 99, 116, 125, 151

Вартапетова С. С. 26
Вербицкая Л. А. 32
Веселитский В. В. 31
Виноградов В. В. 7, 23, 29, 36, 37, 40, 218, 228, 229, 232, 237, 267, 271, 277, 280
Виноградов С. И. 28
Винокур Г. О. 7, 25, 28, 29, 33, 36, 37, 162, 163
Волошинов В. Н. 16, 37
Востоков А. Х. 5, 147, 225

Гавранек Б. 13, 22, 30, 38
Гладков Ф. В. 218, 223, 229
Гоголь Н. В. 46, 120
Головин Б. Н. 7, 32, 33
Горбачевич К. С. 7, 8, 20, 32
Горнфельд А. Г. 28, 218
Горький М. 7, 183, 184, 190, 209, 218, 267, 268, 275, 277, 278, 297
Граудина Л. К. 7, 10, 34
Греков Б. Д. 177
Греч Н. И. 28, 47, 58, 90, 93, 94, 97, 100, 101, 121, 122, 160
Грибоедов А. С. 28, 61
Григорьев В. П. 232
Грот Я. К. 5, 52, 55, 56, 58, 113, 117, 216, 221, 279
Груздев И. А. 268, 275
Гурычева М. С. 12

Даль В. И. 28, 102, 117, 128, 235
Дешериев Ю. Д. 29
Дзекцревская Л. Н. 32
Долопчев В. 6, 215
Дорошевский В. 23
Драганов П. Д. 171

Евгеньева А. П. 10
Едличка А. 13
Ельмслев Л. 13—15

Звегинцев В. А. 14
Зеленецкий К. П. 6

Иванов А. М. 34
Ильинская И. С. 234
Иордан И. 276
Истрина Е. С. 7, 216, 232, 282
Ицкович В. А. 7, 10

Казанский Б. 293
Карамзин Н. М. 5, 45, 46, 122, 182
Каспранский Р. Р. 18
Катлинская Л. П. 10
Кондрашов Н. А. 13
Конрад Н. И. 274
Косериу Э. 13—16, 34
Костомаров В. Г. 22, 26, 29, 32
Корш Ф. Е. 54
Кошутич Р. 216
Крылов И. А. 46, 61
Курковская Г. 23
Кушлина Э. Н. 26

Ламанский В. И. 148
Ларин Б. А. 232
Ленин В. И. 6, 42, 211, 230, 238, 277, 306
Леонова Н. А. 26
Леонтьев А. А. 22, 24, 26, 32
Лермонтов М. Ю. 47, 183
Ломоносов М. В. 5, 43, 45—47, 54, 62, 80, 112, 156, 161, 173, 181, 190, 220, 226, 306
Луначарский А. В. 277

Максимов С. В. 284
Маркс К. 306
Маяковский В. В. 207, 278
Михельсон М. И. 289
Мятлев И. П. 28

Николич Н. М. 47

Обнорский С. П. 5, 6, 162, 163, 173, 232, 237, 249
Овсянико-Куликовский Д. Н. 136
Огиенко И. И. 6
Ожегов С. И. 7, 10, 20, 21, 40, 162, 163, 213, 232, 237, 276, 295
Откупщиков Ю. В. 293

Пауль Г. 245
Паустовский К. Г. 269, 293
Пахман И. Х. 6, 215
Пеньковский А. Б. 26
Петрищева Е. Ф.
Пешковский А. М. 6, 12, 19, 28, 29, 36, 38, 237, 258
Пилинский Н. Н. 24
Пиотровская А. А. 18
Пиотровский Р. Г. 18
Погодин М. П. 28
Поливанов Е. Д. 37
Пороховщиков П. С. (П. Сергеич) 215
Потебня А. А. 5, 165
Прокопович Ф. 181
Протченко И. Ф. 10, 29
Пушкин А. С. 5, 11, 45, 46, 60, 61, 82, 95, 122, 139, 183, 209, 214, 234, 281

Розенталь Д. Э. 10
Румовский С. Я. 285

Серебренников Б. А. 17
Сидоров В. Н. 234
Скворцов Л. И. 7, 10
Скребнев Ю. М. 22, 31, 35
Соссюр Ф. 13—15, 17, 164
Срезневский И. И. 79
Степанов Г. В. 12. 23
Суперанская А. В. 234, 235

Теленкова М. А. 10
Тимофеев Б. 28, 238, 293
Толстой Л. Н. 43, 61, 229, 270
Томашевский Б. В. 38
Тургенев И. С. 43, 45, 122, 135, 156, 183

Уразов И. А. 293
Ушаков Д. Н. 6, 19, 212, 216, 218, 222, 232, 276, 281, 285
Ушинский К. Д. 40

Федин К. А. 269
Филин Ф. П. 9, 12, 13, 23, 26, 163, 231, 238, 303
Фонвизин Д. И. 28, 156

Чернышев В. И. 6, 40, 43, 216, 221, 232
Чернышевский Н. Г. 136, 270, 271
Чехов А. П. 183, 190
Чуковский К. И. 28, 229, 238, 270, 293, 295

Шанский Н. М. 26, 293
Шахматов А. А. 6, 12, 29, 43, 215, 216, 280, 281
Шварцкопф Б. С. 26
Шилова Н. Ю. 21, 25
Шестунов Н. В. 283
Шишков А. С. 28, 46, 182
Шлейхер А. 165
Шмелев Д. Н. 34, 35, 36

Щепкин В. Н. 164
Щерба Л. В. 6, 16, 18, 20, 24, 25, 35, 37, 38, 40, 162, 163, 191, 204, 218, 227, 232, 279

Эйхенбаум Б. М. 271
Энгельс Ф. 174, 306

Югов А. К. 28, 238, 293, 298

Якубинский Л. П. 24, 34, 37, 232

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Антинормализаторство *см.* пуризм
Вариантность (вариативность, вариабельность) 31—32, 38
варианты нормы 8
— — на разных языковых уровнях 8, 17, 25, 37
— — нормативные и ошибочные 25, 31, 32, 33
Диалектизмы 37, 194, 195, 197, 267
Динамичность нормы 8, 9, 18, 20—23
Дискуссии о языке 10
Иноязычные заимствования 9, 27, 199
Качества хорошей речи 30, 32, 33
Кодификация нормы 7
— — научная и официальная 20
— — норма и кодификация 7, 13
Коммуникативной целесообразности принцип *см.* принцип коммуникативной целесообразности
Культура речи (языка) 29,36
— — и общая культура речи человека 36, 167
— — и правильность 33
Литературный язык:
в эпоху НТР 9, 41,307
историческое развитие 12, 17, 25
нормы литературного языка (в отличие от диалектов) 37, 38
проблема «региональных вариантов» 8
язык писателя 29, 42, 299
Норма
— диспозитивная (вспомогательная) 19
— императивная (обязательная) 19
— и ее историческая изменчивость 8, 10, 13, 17, 25
— — — критерии 12, 13, 23
— — — реальное воплощение 24, 25, 39
— — — функциональность 30, 31
— — кодификация 7, 13, 15, 19, 30
— — отклонение от нормы (ошибка) 22, 34
— реализованная и реализуемая 17, 18
— стилевая 26, 196, 211
— языковая 11, 12, 17, 18, 23, 24
Норма — система — узус (речь) 13, 14, 15
Нормативность 12
Нормализация и кодификация 13, 19, 31
Ортология 31
Правильность и чистота речи 23
Принцип коммуникативной целесообразности 16, 26, 31, 32
Пропаганда лингвистических знаний 39, 231
Пуризм:
антинормализаторство 27
сущность и его виды 27, 28, 169
языковой 27
Русский язык в советскую эпоху 11, 213, 397, 308
Словари:
вопросы нормативной лексикографии 10, 237, 276
типология 237, 279
Статистика и норма 10, 34
Теория динамической нормы 20—23
Терминология и норма 9, 211, 230, 231
Функциональность нормы *см.* норма
Языковый вкус 36, 38, 167
Языковая политика 8, 12, 37, 42, 308
Языковая традиция и языковое употребление 13

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Введение. Актуальные теоретические проблемы культуры речи . 5

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Из истории нормализации русского языка

Введение 43
Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики 44
Из «Предисловия» к 1-му изданию (44) Из «Предисловия» ко 2-му изданию (44) Введение (45) Фонетика. § 13. Славянизмы (50) § 14. Иностранные слова (52) § 15. Сложные слова (58) Части речи. § 16. Образование существительных (60) § 17. Склонение существительных мужского рода (62) § 18. Средний род (72) § 19. Женский род (74) § 20. Собирательные формы (77) § 21. Славянизмы и иностранные слова (79) § 22. Род существительных (80) § 23. Число (85) § 24. Словообразование прилагательных (86) § 25. Склонение прилагательных (90) § 26. Степени сравнения (93) § 27. Имена числительные (94) § 28. Местоимения (97) § 29. Словообразование глаголов. Виды (100) § 38. Спряжение. Изъявительное наклонение (111) § 44. Повелительное наклонение (115) § 46. Причастие и деепричастие (118) § 49. Наречия (125) § 50. Предлоги (127) § 51. Союзы (129) § 52. Междометия (130) § 53. Частицы (130) Синтаксис. § 54. Подлежащее (131) § 55. Сказуемое (131) § 56. Безличное предложение (133) § 57. Согласование слов (135) § 58. Слитное предложение (136) § 59. Родительный падеж (138) § 60. Дательный падеж (138) § 61. Винительный падеж (138) § 63. Имена при числительных *два, оба* и др. (140) § 64. Управление глаголов и имен (141) § 65. Предлоги (144) § 66. Соединение предложений (149) § 67. Заимствованные обороты (151) § 68. Времена и наклонения (152) § 69. Употребление причастий и деепричастий (152) § 70. Союзы и частицы (154) § 71. Отрицания (155) § 72. Расположение слов и предложений (156) § 73. Ясность выражения (159) § 74. Выбор форм и слов (160)

www.ruslang.ru

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Общие проблемы культуры речи

Введение 16
Винокур Г. О. Культура языка 16
Обнорский С. П. Культура русского языка 173
Щерба Л. В. Современный русский литературный язык 191
Щерба Л. В. Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку) 204
Ожегов С. И. Очередные вопросы культуры речи 213
Филин Ф. П. Несколько слов о языковой норме и культуре речи 231

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

Специальные вопросы речевой культуры

Введение 237
Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык 238
Обнорский С. П. Правильности и неправильности современного русского литературного языка 249
Виноградов В. В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания 267
Виноградов В. В. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры 273
Ожегов С. И. О трех типах толковых словарей современного русского языка . . . 276
Будагов Р. А. Три книги о культуре речи 293
Филин Ф. П. Язык великой культуры 303
Указатель имен 309
Предметный указатель 311